This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

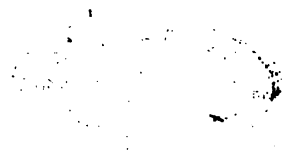
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Stav 6603.21 (8)

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

3 501

БИБЛІОТЕКА
МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМІИ.



СОЧИНЕНІЯ

В. Д. СПАСОВИЧА.

БИБЛІОТЕКА
МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМІИ.

M
56958

49
321.

СОЧИНЕНІЯ

В. Д. СПАСОВИЧА.

Томъ VIII.

ПОСЛѢДНІЯ РАБОТЫ ВЪ ДЕВЯНОСТЫХЪ ГОДАХЪ.

Князь А. П. Вяземскій.—Пушкинъ въ польской литературѣ и критикѣ.—Конрадъ Валенродъ.—Лермонтовъ въ книгѣ Н. Котляревскаго.—Джонъ Говардъ.—Новыя направленія въ наукѣ уголовнаго права.—На юбилеѣ А. М. Скабичевскаго. — Памяти А. П. Платонова. — Надъ могилою Е. И. Утина. — Дружба Шиллера и Гёте.

№ 18691.

БИБЛІОТЕКА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Н. Финдейзена, М. Морская, 9.

1896.

S/2V 6603.21 (8)

78*2

Князь Петръ Андреевичъ Вяземскій

и его польскія отношенія и знакомства.

I.

Лицо, которому посвящена настоящая статья, не принадлежало къ числу перворазрядныхъ и самыхъ крупныхъ дѣятелей своего времени, но оно всегда пользовалось большимъ почетомъ и имя его отмѣчено на самыхъ разнообразныхъ поприщахъ дѣятельности литературной и гражданской. Оно блистало не особенно ярко, но всегда замѣтно и въ отличнѣйшей компаніи, въ теченіе почти всей первой половины XIX вѣка, среди наиболѣе красивыхъ созвѣздій. Легкимъ успѣхамъ, на всѣхъ поприщахъ, князя Петра Андреевича Вяземскаго содѣйствовала, конечно, его счастливая родовая и общественная обстановка. Родился онъ, какъ говоритъ пословица, не красенъ, а *счастенъ;* путь его былъ съ малолѣтства ровенъ и усѣянъ цвѣтами. Аристократъ родомъ отъ Рюриковичей, сынъ нижегородскаго намѣстника екатерининскихъ временъ, потомъ московскаго сенатора, князь Вяземскій изъ чиновника могъ прямо пройти въ государственные люди, если же таковымъ не сдѣлался, хотя занималъ при Императорѣ Николаѣ довольно видныя мѣста (былъ вице-директоромъ департамента внѣшней торговли, потомъ директоромъ государственнаго заемнаго банка, наконецъ, товарищемъ министра народнаго просвѣщенія), то потому, что чувство-

Slav 6603.21 (8)

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

3 501

БИБЛІОТЕКА
МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМІИ.

СОЧИНЕНІЯ

В. Д. СПАСОВИЧА.

БИБЛІОТЕКА
МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМІИ

армейскіе штабы и всѣмъ губернскимъ предводителямъ и уѣзднымъ исправникамъ *).

Вполнѣ вѣря искренности патріотизма князя Вяземскаго, мы отрицаемъ въ этихъ виршахъ всякое искусство, всякую поэзію. Въ нихъ, прежде всего, нѣтъ правды. Вяземскій является продолжателемъ оффиціальнаго пѣснопѣвца россійскихъ побѣдъ—Державина, онъ служитъ службу и государственную, и народную, онъ сочиняетъ стихи по условному, почти казенному шаблону, судитъ прямолинейно съ удивительнымъ и неоправдываемымъ событіями самохвальствомъ. Любопытно было бы сопоставить эти грубыя издѣлія, сработанныя не перомъ, а мазилкою ad usum populi съ другимъ произведеніемъ молодого поэта, остроумнѣйшимъ и популярнѣйшимъ, вылившимся, вѣроятно, экспромтомъ въ счастливую минуту въ 1827 году, подъ заглавіемъ *Русскій Богъ*: «Богъ ухабовъ, Богъ мятелей, Богъ проселочныхъ дорогъ, Богъ ночлеговъ безъ постелей, Вотъ онъ, вотъ онъ Русскій Богъ!.. Богъ холодныхъ, Богъ голодныхъ—Нищихъ вдоль и поперекъ, Богъ имѣній бездоходныхъ... Богъ всѣхъ съ Анною на шеѣ, Богъ лакеевъ безъ сапогъ... Богъ пришельцевъ иноземцевъ, Богъ въ особенности нѣмцевъ, Вотъ онъ, вотъ онъ Русскій Богъ» (III, 452). Одно изъ этихъ двухъ изображеній настоящее, а другое очевидно, что маска. Снимите позднѣйшее полуоффиціальное, тогда за нимъ покажется настоящее лицо остряка XVIII вѣка, насмѣшника и вольтеріанца, который писалъ о себѣ: «мой умъ былъ воспитанъ и образованъ во французской школѣ» (I. XVIII) и который унаслѣдовалъ этотъ складъ ума отца: «Отецъ мой свѣтлый умъ Воль-

*) Примѣры: 1853 г. (XI, 38, 41, 108, 118). «Со льдовъ Двины до береговъ Дуная, Съ Алтайскихъ горъ за рубежи Днѣпра (?) Да грянетъ кличъ по гласу Николая: Ребята, въ строй, къ ружью, ура!.. Закипи святая сѣча, Грянь нашъ кликъ — побѣдъ предтеча: Русскій Богъ и Русскій Царь!.. Какъ трехгранной кочергой, Чисто тульскаго издѣлья, Жаръ сгребали на убой, Имъ на баню новоселья... Такъ училъ насъ подъ огнемъ Славный баньщикъ нашъ Суворовъ... Зададимъ вамъ пиръ, А тебя—вампиръ, Адмиралъ Непиръ, Ждетъ у насъ не пиръ...»

теровской эпохи Не полагалъ, что всѣ поэты — скоморохи». Съ раннихъ лѣтъ этотъ человѣкъ имѣлъ страсть къ писанію, писалъ только легкія вещи, но писалъ много и скоро. «Жизнь моя сама по себѣ,—писалъ онъ,—выходила скоропечатными листами; я себя расточалъ, оглядываться и собираться не думалъ, собственно я никогда не писалъ для публики; когда я съ перомъ въ рукѣ, она мнѣ и въ голову не приходила» (I, XLIII). Никогда не былъ онъ доволенъ своими произведеніями: «Въ моей судьбѣ ничего полнаго не совершается, все недоноски, недодѣлки. Ни въ чемъ я себя вполнѣ не выразилъ, никакой цѣли не достигъ, вертѣлся около многаго, а ничего обѣими руками не схватилъ, начиная отъ литературной моей дѣятельности до служебной и до странической» (IX, 281). Въ періодъ наибольшихъ успѣховъ князя Вяземскаго, въ самыхъ похвалахъ ему людей, которыхъ мнѣнія о себѣ онъ тщательно записывалъ, заключается, если ихъ брать *cum grano salis*, отрицаніе поэтическаго таланта и признаніе только полемическихъ способностей. «Mary Beck disait, пишетъ онъ, qu'elle me trouvait trop profond et qu'elle préferait Joukoffsky. Покорнѣйше благодарю, вы въ стихахъ любите что въ нихъ надобно любить: звуки, краски, простоту. Этого у меня мало, а у Жуковскаго много. Только въ моихъ стихахъ не тотъ порокъ, который изволите имъ приписывать. Я часто въ стихахъ умничаю и вслѣдствіе того сбиваюсь съ прямаго поэтическаго пути, что и принимаютъ за глубокомысленность» (X, 43). Вотъ слова Гоголя: «У князя Вяземскаго бездна мыслей. Стихъ употребленъ какъ первое попавшееся орудіе, никакой наружной отдѣлки нѣтъ, никакого также сосредоточенія и округленія мысли. Онъ не художникъ и не заботится объ этомъ. Его стихотворенія—импровизаціи, хотя для такихъ импровизацій нужно имѣть слишкомъ много всякихъ даровъ и, главное, приготовленную голову. Онъ не поэтъ по образованію. Судьба надѣлила его всѣми дарами, дала ему какъ бы въ придачу талантъ поэта,

затѣмъ, чтобы составить изъ него что-то полное» (I, LXII). Самъ о себѣ Вяземскій пишетъ: «Пушкинъ и Мицкевичъ увѣряли, что я рожденъ памфлетеромъ, открылось бы только поприще... Когда я молодъ былъ — и кровь кипѣла въ жилахъ. Я этотъ кипятокъ любилъ черпать въ чернилахъ. Журнальныхъ схватокъ пылъ, тревогъ журнальныхъ шумъ, Какъ хмѣлемъ подстрекали заносчивый мой умъ. Въ журнальный циркъ не разъ задорный литераторъ На драку выходилъ, какъ уличный гладіаторъ. Бояринъ-богатырь, оставивъ блескъ двора, Кидался сгоряча, почуевъ запахъ крови, Въ народную толпу, чтобъ испытать въ бою Свой жилистый кулакъ и мощь и прыть свою... И я былъ, сознаюсь, бойцомъ кулачнымъ, но... журналовъ перешедъ волнуемое поле, Сталъ менѣе прытокъ и жалостливъ сталъ болѣ» (1851 г. XI, 167. *Литературная исповѣдь*). Это сравненіе себя съ гладіаторомъ не совсѣмъ вѣрно. Для возбужденія гладіатора необходимъ гулъ публики, занимающей ступени цирка вокругъ сцены, между тѣмъ какъ Вяземскій къ этому-то гулу не былъ особенно чутокъ, но, обрѣтаясь въ блистательной компаніи, на самой вершинѣ россійскаго Парнасса, писалъ только для этихъ полубоговъ и дорожилъ только ихъ мнѣніями; когда же эти свѣтила одно за другимъ закатились, то Вяземскій и очутился точно въ пустомъ пространствѣ. «Не могу бѣжать къ Батюшкову, Жуковскому, Пушкину, чтобы подѣлиться съ ними свѣжимъ, только что созрѣвшимъ, только что сорваннымъ съ вѣтки плодомъ моей мысли. Оцѣнка ихъ была бы моею окончательною оцѣнкой» (I, XLVII).

Намъ нынѣ трудно опредѣлить, чѣмъ восхищались Пушкинъ и Жуковскій въ стихотвореніяхъ Вяземскаго *Первый опытъ* «Древній дубъ, пугалище Дріадъ, пріютъ крикливыхъ врановъ» (1817 г.) или *Уныніе* (1820 г.) «Единый другъ обманутый души...» О вольнодумной пьесѣ *Сравненіе Петербурга съ Москвой*, за которую чуть не поплатился авторъ въ концѣ царствованія Александра I, мы судить не можемъ, потому что одно только

заглавіе ея помѣщено въ 3-мъ томѣ, стр. 289, полнаго собранія его сочиненій. Въ *Негодованіи* (1818 г., III, 164) князь Вяземскій не безъ натугъ взобрался на ходули классической сатиры и ораторствуетъ, заигрывая на струнахъ гражданскаго чувства:

«Ищу я искреннихъ жрецовъ
Свободы—славныхъ душъ кумира.
Обширная темница міра
Являетъ мнѣ однихъ рабовъ...
Я зрѣлъ изгнанницей поруганную честь,
Доступнымъ торжищемъ—святыню правосудья,
Служенье истинѣ—коварства торжествомъ,
Законы правоты—священныя орудья —
Щитомъ могучему и слабому ярмомъ.
Зрѣлъ промышляющихъ спасительнымъ глаголомъ,
Ханжей, торгующихъ ученіемъ святымъ
Въ забвеніи Бога,—душъ, однимъ земнымъ престоламъ
Кадящихъ трепетно, однимъ богамъ земнымъ...»

Конечно, не съ этимъ грузнымъ и неудобочитаемымъ нынѣ багажомъ можетъ перейти имя Вяземскаго въ исторію литературы. Уцѣлѣютъ немногія удачныя вещи въ болѣе легкомъ родѣ. Останутся памятными счастливые стихи:

«Дай Богъ поболѣе журналовъ,
Плодятъ читателей они...
Гдѣ грамота—тамъ просвѣщенье,
Гдѣ просвѣщеніе—тамъ добро».

Уцѣлѣетъ отмѣченная Пушкинымъ характеристика современнаго ему человѣка въ посланіи Вяземскаго къ американцу Толстому (1818 г.):

«Подъ бурей рока твердый камень,
Въ волненьяхъ страсти легкій листъ».

Скорбные стихи на память убитому Пушкину свѣжи донынѣ, столь сильно они прочувствованы (IV, 257). Эти мелочи, *Русскій Богъ*, десятокъ эпиграммъ—вотъ и все, что, по нашему мнѣнію, спасетъ Вяземскаго отъ совершеннаго забвенія, въ которомъ онъ, повидимому, очутился уже въ срединѣ пятидесятыхъ годовъ. Тутъ не было никакого воображаемаго Вяземскимъ «заговора молчанія» со стороны молодаго поколѣнія. Причины

полнаго отъ него отчужденія молодыхъ литераторовъ лежали глубже, чѣмъ ему самому казалось, и заключались въ томъ, что князь Вяземскій не былъ собственно сверстникъ ни Пушкину, ни его поэтической плеядѣ, что всю свою жизнь, вплоть до гробовой доски, былъ онъ полный *классикъ* стараго покроя, между тѣмъ какъ кругомъ его умственная атмосфера общества радикальнѣйшимъ образомъ измѣнилась вслѣдствіе новыхъ вѣяній, вслѣдствіе теченія, извѣстнаго подъ именемъ *романтизма*. Намъ придется остановиться на этой коренной чертѣ писательства кн. Вяземскаго.

III.

Хотя кн. Вяземскій провозглашалъ себя романтикомъ (1822 г., I, 74) сообща съ лучшими поэтами своего времени, хотя онъ, вмѣстѣ съ «романтическою вольницей», поклонялся Байрону, имѣя, однако, не совсѣмъ ясное и довольно сбивчивое представленіе о содержаніи его поэзіи (1827 г., III, 426: «Гробъ сей—Иракловъ столбъ—одинъ былъ грань твоя, И жизнь твоя гласитъ, разбившись на могилѣ, Чѣмъ смертный можетъ быть и чѣмъ онъ быть не въ силѣ»), наконецъ, хотя Вяземскій перевелъ и посвятилъ Пушкину любимый обоими романъ Бэнжамена Констана *Адольфъ*, какъ прототипъ Чайльдъ-Гарольда; какъ романъ вѣка сего, въ которомъ выразился недугъ сердца современнаго человѣка, его эгоистическій субъективизмъ, безмѣрно раздутый и составляющій самую суть романтизма, но собственно эти чувства были напускныя и это поклоненіе романтизму не болѣе, какъ налетъ, подъ этимъ же налетомъ лежала нетронутая и никогда не измѣнявшаяся подкладка: боготвореніе Карамзина, какъ первоучителя, какъ законодателя литературы въ *Письмахъ русскаго путешественника* и въ *Исторіи*. Не бѣда, что Карамзинъ заимствовалъ отъ Руссо и внесъ къ намъ сантимента-

лизмъ или слезливость, Вяземскій полагаетъ, что и чувствительность не приторна, когда она не лжива (X, 177). Карамзинъ дорогъ Вяземскому потому, что, въ противность Шишкову и его старовѣрамъ, и мыслившимъ, и писавшимъ двуперстно, онъ былъ въ языкѣ *новаторъ*, а въ историческомъ и государственномъ отношеніи консерваторъ (X, 288, 1876 г.). Вся молодость князя (до 34 лѣтъ, т. е. до смерти Карамзина) прошла подъ сильнымъ личнымъ, почти отеческимъ вліяніемъ противника идей Сперанскаго и польской конституціи, повѣствователя, сочинявшаго эпосъ московскаго самодержавія, шествующаго путемъ, указываемымъ ему Провидѣніемъ. Карамзина побаивался Вяземскій, будучи еще ребенкомъ, когда у отца засиживался далеко за полночь *monsieur minuit et demi* (I, XXXI). Нѣсколько томовъ *Исторіи* написаны Карамзинымъ у самого Петра Андреевича въ гостяхъ, въ его подмосковномъ Остафьевѣ. Князь былъ постояннымъ посѣтителемъ Карамзина въ его крошечномъ царскосельскомъ домикѣ, гдѣ писалась *Записка о Польшѣ*, былъ почти свидѣтелемъ его прогулокъ съ Александромъ I, посвященныхъ интимнымъ бесѣдамъ о государственномъ строѣ въ «зеленомъ кабинетѣ», то есть по тѣнистымъ аллеямъ царскосельскаго парка. Онъ присутствовалъ при отъѣздѣ Карамзина, по волѣ Александра I, съ Аракчеевымъ для посѣщенія военныхъ поселеній. Изъ этой поѣздки Карамзинъ вернулся если не обращеннымъ въ аракчеевскую вѣру, то, во всякомъ случаѣ, съ нѣкоторыми впечатлѣніями, выгодными для Аракчеева, для его государственнаго ума (VII, 455). Всякій классицизмъ, а въ томъ числѣ и тотъ, который былъ въ Россіи самымъ послѣднимъ и самымъ утонченнымъ,—классицизмъ карамзинскій, былъ строгъ по отношенію къ формамъ, держался обѣими руками авторитета, вносилъ въ литературу дисциплину, начало государственности и нѣкоторыя, такъ сказать, полицейскія привычки, которыя непріятно поражаютъ насъ и въ самомъ князѣ Вяземскомъ. «Что ни

говори, — писалъ онъ въ 1847 году (II, 366), — а въ *республикѣ писемъ* нужна глава, нуженъ президентъ. Въ литературномъ мірѣ ниспроверженіе законовъ ума и вкуса, возмущеніе анархическаго своевольства противъ нравственныхъ и умственныхъ властей бываетъ также введеніемъ къ лжецарствію невѣжества» (II, 147). Нетерпимость свойственна была классикамъ вездѣ, не только въ Россіи, но и въ Западной Европѣ. О ней написано въ журналѣ Гонкуровъ (1861 г., I, 393): «En art et en littérature les opinions consacrées sont sacrées et peut être au XIX siècle est il moins dangereux de marcher sur un crucifix que sur les beautés de la tragedie». Эта нетерпимость сживалась въ Вяземскомъ самымъ страннымъ образомъ съ его либерализмомъ въ духѣ тридцатыхъ годовъ и съ его ненавистью къ цензурѣ, которая внушила ему въ его *Исповѣди* 1829 г. слѣдующія строки: «Ты не знаешь, до какой степени цензура наша давитъ все, что не словарь, а подобіе мысли. Дай намъ не полную, а умѣренную свободу печатанія — и въ годъ словесность наша преобразуется». Вяземскій былъ до жестокости строгъ ко всѣмъ писателямъ по исторіи, которые осмѣливались имѣть свои идеи, не совпадающія съ идеями Карамзина; онъ преслѣдовалъ Н. Полеваго, а въ письмѣ къ министру народнаго просвѣщенія Уварову 1836 г. (II, 211) написалъ нѣчто вродѣ доноса на вольнодумство Устрялова. Одно мѣсто въ этомъ письмѣ покоробило Пушкина: «14 декабря не было ли впослѣдствіи времени, такъ сказать, критика вооруженною рукой на мнѣніе, исповѣдуемое *Исторіей Государства Россійскаго* Карамзина?» Изъ того же источника истекало обвиненіе и Льва Толстаго въ нѣтовщинѣ, въ созданіи школы отрицанія и униженія исторіи подъ видомъ новой оцѣнки, разувѣренія въ народныхъ вѣрованіяхъ. Послѣднее обвиненіе уже по характеру времени, въ которомъ оно было сдѣлано (1868 г.), не было столь опасное, какъ первое.

Въ аристократической республикѣ письменъ, вмѣщающей въ себѣ отборный кружокъ немногихъ отличныхъ людей, Вяземскій стоялъ всегда за сосредоточеніе власти въ одномъ лицѣ. «Нерѣдко намъ, — кто-жь не слыхалъ (?), — пеняли, Что мы кружкомъ средь арзамаскихъ стѣнъ Олигархически себя держали, Какъ говорятъ въ республикѣ письменъ» (XI, 393). Литературное первенство въ этой олигархіи обозначалось для Вяземскаго до самой смерти Карамзина (22 мая 1826 г.) въ лицѣ Карамзина: «Онъ былъ лучезарнымъ средоточіемъ круга нашего, всего отечества. Три смерти оставили послѣ себя такую бездну пустоты, которую и завалить не придется: Наполеона, Байрона и Карамзина. При каждой изъ нихъ у меня будто отпало нѣчто отъ нравственнаго бытія моего» (IX, 90). Послѣ Карамзина литературное главенство олицетворялось для Вяземскаго не долгое время въ лицѣ Пушкина. Послѣ Пушкина верховное мѣсто осталось празднымъ (II, 357). Лермонтова Вяземскій не признавалъ, что можно заключить изъ слѣдующаго отрывка (II, 358): «Лермонтовъ не шелъ впередъ, лира его не звучала новыми струнами. Поэтическій горизонтъ его не расширялся. Онъ остался русскимъ и слабымъ осколкомъ Байрона. Бури Пушкина были бури внутреннія, бури Лермонтова болѣе внѣшнія (?), театральныя, заказныя, то-есть онъ ихъ заказывалъ самъ себѣ. Въ созданіяхъ Лермонтова красуется передъ вами міръ театральный со своими кулисами и суфлеромъ, который сидитъ въ будкѣ и подсказываетъ рѣчь, увлекательно повторяемую мастерскимъ художникомъ». Настоящее мало интересуетъ Вяземскаго; подъ старость онъ былъ въ немъ какъ не свой. Послѣдній человѣкъ, съ которымъ онъ могъ бесѣдовать о дѣлахъ минувшихъ дней, Плетневъ, умеръ въ 1866 г. (VII, 130). Одиночествуя и роясь въ воспоминаніяхъ давно минувшихъ лѣтъ, Вяземскій все чаще и чаще переносится мыслью, минуя Пушкина и Жуковскаго, къ Карамзину. Научившись отъ Пушкина пи-

сать картины русскаго сельскаго быта, русской природы, князь Вяземскій, при всей любви къ Карамзину, не чувствовалъ никогда никакого влеченія къ живописанію воскрешаемой Карамзинымъ, сказать мимоходомъ, немного прихорашиваемой имъ старины, къ архаизму, къ воспроизведенію прошлаго съ его типическими чертами и даже уродливостями. Онъ былъ слишкомъ европеецъ, слишкомъ классикъ, а потому, даже сознавая, что въ Россіи господствуетъ чужемысліе и чужеязычіе, что никто въ ней не старается дать поэзіи направленіе *народное* (мы бы сказали: народническое), онъ прямо заявляетъ, что онъ небольшой и небезусловный приверженецъ и поклонникъ литературной національности, потому что ни литературная, ни политическая національность, принятыя въ смыслѣ ограниченномъ, ни до чего хорошаго довести не могутъ (I, 183—185). Національности нѣтъ у Горація въ шитикѣ, она есть въ его твореніяхъ, не въ правилахъ, а въ чувствахъ (I, 169). Она чувство врожденное, захотѣть же вложить это чувство въ систему, въ законъ, это то же, что задушить его. Боже мой, до какихъ гнусностей можетъ довести патріотизмъ, то есть патріотизмъ, который зарождается въ нѣкоторыхъ головахъ, совершенно особо устроенныхъ, которыя хотѣли бы, напримѣръ, чтобы каждая басня Крылова носила свое русское тавро, чтобы баснописецъ былъ именно русскій гуртовщикъ, русскій разнощикъ русскихъ пѣвчихъ птицъ, а отнюдь не канареекъ и иныхъ заморскихъ пернатыхъ (I, 184). Эти разсужденія прекрасны, они особенно пригодны для настоящаго времени, въ которомъ излишества національнаго направленія ведутъ нерѣдко къ одичанію и къ явному регрессу. Но чрезвычайно любопытенъ примѣръ у Вяземскаго, показывающій, какъ мало было чутья у людей тридцатыхъ годовъ, у Вяземскаго и у самого Крылова, для эстетической оцѣнки красотъ средневѣковаго быта, допетровской старины. Пушкинъ читалъ въ С.-Петербургѣ у Алексѣя Перовскаго своего *Бориса*

Годунова въ рукописи. Послѣ чтенія онъ подходитъ къ Крылову и, добродушно смѣясь, говоритъ: «Признайтесь, Иванъ Андреевичъ, что моя трагедія вамъ не нравится и на глаза ваши не хороша».— «Почему же нехороша? — отвѣчалъ Крыловъ. — А вотъ что я вамъ скажу. Проповѣдникъ восхвалялъ Божій міръ и говорилъ: все такъ создано, что лучше и созданнымъ быть не можетъ. Послѣ проповѣди подходитъ къ нему горбатый и пеняетъ: не грѣшно ли вамъ насмѣхаться надо мною и увѣрять при мнѣ, что въ Божьемъ созданіи все прекрасно?— Такъ что же?—возражаетъ проповѣдникъ,— для горбатаго и ты очень хорошъ». Пушкинъ расхохотался и обнялъ Крылова. Вяземскій стоялъ тутъ же, подлѣ Крылова, и, повидимому, сочувствовалъ ему, то-есть находилъ, что архаическое, хотя бы и архинаціональное, составляетъ нѣкоторымъ образомъ видъ поэзіи горбатой.

IV.

Какъ литераторъ, князь Петръ Андреевичъ долженъ бы быть причисленъ только къ третьестепеннымъ писателямъ, но онъ любилъ переписываться съ другими даже ради собственнаго удовольствія и записывалъ всякую всячину въ свои записныя книжки, которыхъ накопилось числомъ 32 (томы 7, 8 и 9 *Полн. Собр. Соч.*). Эта переписка и эти книжки составляютъ нынѣ весьма цѣнные историческіе документы, ярко освѣщающіе вѣкъ князя Вяземскаго и его современниковъ. Князь Вяземскій не велъ систематическихъ дневниковъ для фиксированія психологическихъ самонаблюденій. Онъ безъ большого разбора заносилъ туда слухи, остроты, анекдоты,—словомъ, все видѣнное, пойманное на лету или пережитое. Онъ вполнѣ сознавалъ, что онъ отличный письмописецъ: «Письма въ жизни другихъ—эпизодъ, у меня они — исторія моей жизни (II, 92). Мои письма

ничто иное, какъ памфлеты. De n'ai pas la repartie prompte, ни того, что называютъ *le trait*. У меня много острыхъ словъ пропадающихъ, и, странное дѣло, я не слыву острякомъ. Надобно лишь отобрать свои письма у моихъ корреспондентовъ,—тутъ я весь на лицо» (IX, 121). Особенно живой историческій интересъ возбуждаютъ тѣ части переписки и записныхъ отмѣтокъ князя Вяземскаго, которыя касаются польско-русскихъ отношеній послѣ вѣнскаго мира въ царствованіе Александра I и Николая. Вяземскій провелъ многіе годы въ Варшавѣ, отлично зналъ польскіе языкъ и литературу, помогъ успѣху Мицкевича въ Москвѣ и Петербургѣ, наконецъ, послѣ вспыхнувшаго въ 1831 году мятежа, готовился полемизировать съ Пушкинымъ по поводу его *Бородинской годовщины* и *Къ клеветникамъ Россіи*. Вяземскій былъ до мозга костей русскій человѣкъ по складу ума, имѣлъ неуклюжую, нѣсколько грузную фигуру, типическое, но весьма некрасивое лицо, надъ безобразіемъ котораго онъ самъ трунилъ («Надо помянуть... и Петра Андреевича князя Вяземскаго курносова» (IV, 168), «хоть носъ мой, знаете вы сами, совсѣмъ бурбонскимъ не родня» (IV, 373). По характеру онъ былъ крайне добродушенъ, легко сживался съ чужестранцами, умѣлъ по своей гуманности симпатизировать полякамъ, понимая ихъ стремленія. Онъ обладалъ по тому времени всѣми качествами на то, чтобы быть хорошимъ международнымъ посредникомъ въ семейномъ спорѣ двухъ по крови близкихъ, но съ большимъ трудомъ примиряющихся народностей. Тяжба еще далеко не кончена, а такъ какъ по этому процессу князь Петръ Андреевичъ одинъ изъ капитальнѣйшихъ свидѣтелей, то его необходимо внимательно выслушать и разспросить, что я и намѣренъ сдѣлать. Прежде всего, надо прослѣдить всѣ точки его соприкосновенія съ польско-русскими отношеніями и личную его роль въ этихъ отношеніяхъ.

V.

Ополченецъ 1812 г., князь Вяземскій остался послѣ распущенія ополченія въ службѣ — не въ службѣ, въ отставкѣ—не въ отставкѣ, чиновникомъ, вновь причисленнымъ къ межевой канцеляріи или, лучше сказать, не отчисленнымъ отъ нея, и проживалъ съ 1817 г. въ Москвѣ, куда прибылъ на отдыхъ и близкій другъ его отца, генералъ М. М. Бороздинъ. Сей послѣдній сталъ журить Вяземскаго за тунеядство, за битье баклушъ, а такъ какъ онъ былъ друженъ съ пріѣхавшимъ въ Москву Н. Н. Новосильцевымъ, то познакомилъ съ нимъ Вяземскаго и сдалъ, такъ сказать, Вяземскаго на руки Новосильцеву, бывшему тогда императорскимъ коммиссаромъ при правительствѣ вновь учрежденнаго царства польскаго. Бывъ опредѣленъ въ канцелярію Новосильцева, Вяземскій сталъ сразу близкимъ къ нему и домашнимъ человѣкомъ (I, XXXIX). Опредѣленіе на службу состоялось въ весьма важный историческій моментъ, къ которому готовились и Александръ I, и польскій народъ—съ открытіемъ (15—17 марта 1818 г.) перваго конституціоннаго сейма въ Варшавѣ. Свита государя была многочисленна и блистательна, всѣ пріѣхавшіе были болѣе или менѣе доброжелательными и вѣжливыми гостьми, даже и не совершенно сочувствующіе возрожденію Польши. Они увлекались, говоритъ Вяземскій, новостью и блестящею обстановкой зрѣлища. Предъ ними, какъ и передъ всѣми, ставилась и разыгрывалась *новая драма* (I, XLI). Вяземскій, уже женатый, ѣхалъ въ Варшаву съ семьей; на пути онъ захворалъ. Уже въ предѣлахъ царства польскаго его обогналъ государь, узналъ и предупредилъ Новосильцева, что новый чиновникъ ѣдетъ къ нему больной. Въ Варшавѣ Вяземскій сталъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ по редакціонной русской части. Сеймовыя пренія происходили

на польскомъ языкѣ, правительственныя сообщенія дѣлались на французскомъ. . .

По французской части состоялъ при канцеляріи юристъ и публицистъ французъ Deschamps, которому Новосильцевъ передавалъ свои мысли, а онъ писалъ, что слѣдовало, прямо на-бѣло, переливка же этихъ работъ въ русскія формы возлагалась на Вяземскаго. Вскорѣ Вяземскому пришлось перевести на скорую руку самоважнѣйшій изъ документовъ, оглашенныхъ на сеймѣ, а именно тронную рѣчь государя, открывшую этотъ сеймъ. Рѣчь была написана государемъ и лишь въ незначительной степени смягчена по замѣчаніямъ далеко не раздѣлявшаго взглядовъ государя министра иностранныхъ дѣлъ графа Каподистрія. Именемъ Россіи государь заявлялъ объ искреннемъ забвеніи имъ прошлаго и объяснялъ возстановленіе національнаго существованія Польши дѣйствіемъ одной только личной своей воли и убѣжденія (j'ai obeï à une conviction intérieure puissamment secondée par les évenements, j'ai rempli un devoir préscrit par elle seule). Въ рѣчи не упоминалась Литва, но содержались слѣдующія предположенія, касающіяся имперіи и распространенія на нее уже дарованныхъ такъ называемому конгрессовому царству польскому либеральныхъ или, какъ они названы въ переводѣ, «законносвободныхъ» учрежденій (institutions libérales qui n'ont cessé de faire l'objet de ma sollicitude et dont j'espère avec i'aide de Dieu étendre l'influence salutaire sur toutes les contrées que la Providence a confié à mes soins. Vous m' aver ainsi offert les moyens de montrer à ma patrie ce que je prepare pour elle dès longtemps et ce qu'elle obtiendra lorsque les élements d'une oeuvre aussi importante auront atteint le devoloppement nécessaire). Содержаніе тронной рѣчи было встрѣчено въ Россіи вообще не сочувственно, но князь Вяземскій, рѣшительно отходя въ этомъ пунктѣ отъ Карамзина, былъ отъ нея въ упоеніи, въ восторгѣ. Онъ вполнѣ былъ убѣжденъ, согласно словамъ рѣчи, que les institutions libéraleѕ, dont

on pretend confondre les principes sacrés avec les doctrines à jamais subversives, qui ont menacé de nos jours le système social d'une catastrophe épouvantable ne sont point une prestige dangereux, mais que réalisées avec une bonne foi et dirigées surtout avec une pureté d'intention vers un but conservateur et utile à l'humanité elles s'allient parfaitement avec l'ordre et produisent d'un commun accord la prosperité véritable des nations. Вопреки Карамзину князь Вяземскій плавалъ, можно сказать, въ либерализмѣ, сочинялъ въ Варшавѣ свое гражданскимъ чувствомъ одушевленное *Негодованіе* и былъ вполнѣ сторонникомъ идеи уже совершившагося возстановленія. За свой переводъ тронной рѣчи Вяземскій удостоился августѣйшаго благоволенія, выраженнаго ему лично государемъ на обѣдѣ у намѣстника Заіончека. За нововведенія въ языкѣ перевода досталось ему порядкомъ отъ Карамзина, который въ письмѣ къ И. И. Дмитріеву совѣтовалъ выдрать Вяземскому уши за эти неологизмы, хотя не всѣ они проистекали отъ самого Вяземскаго, а главные изъ нихъ: constitution — «государственное уложеніе» и libèral—«законносвободный» принадлежали лично государю. «Варшава,—пишетъ Вяземскій (I, XXXVIII),—не только *мирная*, но и праздную щая перерожденіе свое, повѣяла на меня незнакомымъ новымъ воздухомъ. Я скоро и легко акклиматизировался». Вяземскій былъ доволенъ всѣми—и поляками, и русскими. «Въ Новосильцевѣ нашелъ я начальника, чуждаго всякаго начальствованія. Я былъ въ пріязненныхъ отношеніяхъ и съ либералами, и съ консерваторами, съ старыми поляками, не покидавшими кунтуша, и съ молодежью, подчиняющеюся модѣ и лозунгу изъ Парижа, и съ сановниками, и съ средними слоями ученыхъ, художниковъ и актеровъ». Въ числѣ ближайшихъ его знакомыхъ находились сподвижникъ Косцюшки и товарищъ его въ плѣну и въ заключеніи въ Петербургѣ, поэтъ Юліанъ Нѣмцевичъ («ничего озлобленнаго, непримиримаго, революціоннаго въ немъ не было»), и

отъявленный классикъ, профессоръ университета и директоръ театра Осинскій. Театръ и газеты быстро ознакомили Вяземскаго съ польскою литературой. «Мои литературныя наклонности встрѣчали въ русскомъ обществѣ—писалъ онъ,—менѣе дѣятельныхъ сочувствій, нежели въ польскомъ. Наши земляки, за весьма незначительными исключеніями, были вовсе не литературнаго и даже не грамотнаго настроенія. Я былъ изъ числа весьма не многихъ, съ которыми образованные поляки могли имѣть кое-какое сближеніе. Я всегда удивлялся равнодушію нашего правительства въ выборѣ людей на-показъ передъ чужими. Безъ сомнѣнія, надежнѣйшая порука наша есть дубинка Петра В., выглядывающая изъ-за головъ представителей нашихъ у европейской политики, но нравственное достоинство оскорбляется симъ отреченіемъ отъ народной гордости. Самая палица Алкида была принадлежность полубога».

Русская колонія въ Варшавѣ не соотвѣтствовала пословицѣ, что товаръ лицомъ продается. Въ числѣ чиновниковъ не было лицъ обольстительныхъ, а потому польское общество не могло обрусѣть. Частныя лица не соотвѣтствовали мѣрамъ правительства и общежитіе не довершало дѣла, начатаго политикой, что́ должно было имѣть пагубныя послѣдствія (II, 90). «Я былъ любимъ поляками, — сообщаетъ Вяземскій, — и принимаемъ въ ихъ дома на пріятельской ногѣ, но ласки отличнѣйшихъ изъ нихъ я покупалъ не потворствомъ, не присутствіемъ національной гордости. Напротивъ, въ вопросахъ, гдѣ отдѣлялась русская польза отъ польской, я всегда крѣпко стоялъ за первую и вынесъ не одинъ жаркій споръ по предмету возстановленія старой Польши и отсѣченія отъ Россіи областей, запечатлѣнныхъ кровью нашихъ отцовъ. Дѣло въ томъ, что, живя въ Польшѣ, я не ржавѣлъ въ запоздалыхъ воспоминаніяхъ о полякахъ въ Кремлѣ и русскихъ въ Прагѣ (уколъ по адресу Жуковскаго и Пушкина), а былъ среди соплеменныхъ современниковъ, съ умомъ и душою, открытыми впе-

чатлѣніями настоящей эпохи». Вяземскій объясняетъ, что́ его влекло къ знакомству съ поляками: «изящное салонное барство, основанное на наслѣдственной образованности, сохраняющіеся преданія, обычаи и повѣрья, а, пожалуй, и суевѣрія золотаго вѣка европейскаго общежитія». Въ медовые мѣсяцы брачнаго сожительства варшавской Польши и русскаго правительства сношенія завоеванныхъ съ завоевателями были не только миролюбивы, но и дружелюбны. Со стороны первыхъ, была сдержанность, была нѣкоторая терпимость и только потомъ обнаружилась *incompatibilité d'humeur*. Даже Новосильцевъ былъ нѣкоторое время, что называется, *l'homme de la situation*; онъ не поддавался полякамъ, но и не унижалъ, не дразнилъ ихъ (IX, 355).

Приведенныя выписки изъ записныхъ книжекъ князя Вяземскаго показываютъ въ немъ хорошаго, гуманнаго и доброжелательнаго человѣка, представляющаго съ честью свой народъ. Его симпатіи къ польскому салонному барству не мѣшаютъ ему отстаивать весьма неуступчиво права Россіи на Польшу съ русской точки зрѣнія и видѣть ясно больныя мѣста польскаго аристократическаго общественнаго строя. Въ своей поѣздкѣ въ Краковъ въ 1818 г. онъ отмѣчаетъ съ негодованіемъ, какъ на землѣ свободы онъ видѣлъ на жатвѣ жнецовъ, подгоняемыхъ къ работѣ плетью надзирающаго за ними смотрителя; какъ страждутъ въ Литвѣ крестьяне; какъ маршалъ Пусловскій и другіе «лимоножатели» кровью крестьянъ нажили милліоны; какъ сама предлагаемая панами свобода можетъ быть уловкою для еще бо́льшаго рабства (IX, 52—64). Но этотъ прямой и хитрить неумѣющій человѣкъ, глядѣвшій постоянно въ даль, не замѣчалъ того, что́ происходитъ, такъ сказать, подъ его носомъ, не предполагалъ зыбкости почвы, на которой стоялъ, пустоты програмныхъ фразъ, всей изнанки конституціонализма, шаткости и измѣнчивости людей, стоящихъ надъ ними, и ехидства людей, стоящихъ въ одномъ съ ними ряду; наконецъ, онъ не догадывался, что

онъ неподходящій къ этой компаніи человѣкъ, которому при первомъ случаѣ подставятъ ножку и котораго спихнутъ, чтобы онъ не мѣшалъ дружному хоровому пѣнію остальныхъ. Съ Вяземскимъ случилась катастрофа, онъ попалъ въ опалу, тщетно старался додуматься до причинъ этой опалы и, въ концѣ-концовъ, долженъ былъ признать, что почти собственными руками онъ выкопалъ себѣ ту яму, въ которой потомъ очутился. Поучительна исторія о томъ, какъ была на нѣкоторое время разбита его служебная карьера.

VI.

Вяземскій заимствуетъ изъ *Courrier Français* 1825 г. (IX, 79) слѣдующую характеристику Александра I: il a été entrainé d'enthousiasme en enthousiasme et de culte en culte (culte de Napoleon, culte des principes libéraux, culte du pouvoir et de la Sainte Alliance). Онъ имѣлъ при дѣлахъ приближенными людьми рѣзко выдающіяся національныя личности: Чарторыскаго и Каподистрію. Ни одинъ изъ нихъ не измѣнялъ Россіи. Чарторыскій не лукавилъ, но у него въ службѣ Россіи былъ умыселъ другой,—вездѣ онъ говорилъ, что имѣетъ въ виду Польшу. Къ этимъ двумъ личностямъ Вяземскій причисляетъ третью—не національную, а либеральную — Сперанскаго, указывая, что всѣ три были вывѣсками и что всѣхъ трехъ Александръ удалилъ отъ себя на полдорогѣ (X, 151). Въ промежуткѣ между польскими сеймами первымъ (1818 г.) и вторымъ (1820 г.) Александръ I былъ еще въ полномъ культѣ либеральныхъ принциповъ. Новосильцеву поручено было сочиненіе проекта конституціи для Россіи, примѣняясь къ обѣимъ хартіямъ польской 1815 г. и французской. Главнымъ сочинителемъ былъ тотъ же французъ Deschamps, переводчикомъ — князь Вяземскій (II, 87). Лѣтомъ 1819 г. Вяземскій отпросился въ Петербургъ и Москву, былъ принятъ го-

сударемъ въ его кабинетѣ во дворцѣ на Каменномъ Острову, былъ распрашиваемъ о своей поѣздкѣ въ Краковъ и о проектѣ редакціи русской конституціи. Въ словахъ государя о его неизмѣнившихся видахъ насчетъ Польши и ея національности сквозили, какъ казалось Вяземскому, маленькіе, но понятные намеки на противуположныя идея Карамзина: quelques uns pensent que les desordres, dont nous sommes parfois témoins, séraient comme inhérents aux idées libérales, tandis qu'ils ne sont que des abus de ces idées et de ces principes (I, XXXVI, и IX, 106). «Предоставляю судить, — присовокупляетъ Вяземскій,—какими сѣменами должны были подобныя слова оплодотворить сердце, уже раскрывшееся политическимъ надеждамъ, которыя освятились самою державною властью. Все вмѣстѣ дало живѣйшее направленіе моему образу мыслей, преданныхъ началамъ законной свободы и конституціоннаго монархическаго правленія, которое я всегда почиталъ надежнѣйшимъ залогомъ благоденствія общаго и частнаго, надежнѣйшимъ кормиломъ царей и народовъ».

Прибавимъ, что въ это же время (лѣтомъ 1819 г.) государю подана была записка за подписями Воронцова, Меншикова, Вяземскаго и другихъ объ освобожденіи русскихъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.

Между тѣмъ, въ колеблющейся, недовѣрчивой и никогда не предающейся всецѣло одному направленію душѣ Александра I уже совершалась въ этотъ моментъ незамѣтно перемѣна, ознаменовавшая конецъ его царствованія. Цѣлая масса причинъ располагала его къ этой перемѣнѣ: Меттерниховъ и его система, состоявшая въ застращиваніи европейскихъ государей всесвѣтною революціею, колеблющею всѣ алтари и престолы, неудовольствіе, вызываемое въ русскихъ людяхъ привилегированнымъ положеніемъ конституціонной Польши. Примѣръ Финляндіи показываетъ, что обѣ роли—«конституціоннаго монарха въ преддверіяхъ государства и самодержавнаго» у себя дома не безусловно несогласимы, но,

конечно, соединеніе обоихъ качествъ мыслимо только при предположеніи недоступности преддверія враждебнымъ извнѣ вліяніямъ. Между тѣмъ, уже по географическому положенію Польши, съ этими враждебными вліяніями приходилось считаться, противупоставляя имъ въ дѣлаемой автономною націи особую русскую партію, посредствомъ которой можно было бы управлять страною. Матеріалъ для такой партіи несомнѣнно существовалъ, чему доказательствами служатъ политика рода Чарторыскихъ, потомъ имена князя Любецкаго и маркиза Вѣлёпольскаго. Но послѣ вѣнскаго мира Адамъ Чарторыскій былъ уже для Александра I покончeнный человѣкъ, намѣстникомъ онъ не сдѣланъ, оставленъ только попечителемъ виленскаго учебнаго округа, пока его не смѣнитъ на этомъ посту бывшій нѣкогда близкій пріятель, но послѣ 1815 года смертельный врагъ—Новосильцевъ. Намѣстникомъ поставленъ никакимъ вліяніемъ не пользующійся генералъ Заіончекъ, нѣкогда якобинецъ, теперь считаемый сервилистомъ. Главнымъ довѣреннымъ лицомъ государя въ Варшавѣ былъ Новосильцевъ, никогда не любившій поляковъ, а теперь раздувающій неудовольствія, преувеличивающій опасенія и совѣтующій крутыя мѣры. Постоянное пребываніе въ Варшавѣ в. к. Цесаревича Константина Павловича обостряло отношенія. Хотя оффиціально онъ былъ только командующимъ войсками, но онъ вмѣшивался въ дѣла управленія и мало стѣснялся существующими законами. Открытый 1 (13) сентября 1820 г. второй сеймъ уже не былъ, по словамъ Вяземскаго, празднествомъ для Польши, ни торжествомъ для государя. Въ тронной рѣчи слышались предостереженія (c'est la vérité que je vous demande; vous la chercherez dans les choses et non dans les vaines abstractions... En excitant le besoin d'une servile imitation le génie du mal plane sur une partie de l' Europe, déjà il y accumule les forfaits et les catastrophes). Въ заключительной рѣчи «огласилась и разнеслась по Европѣ размолвка, которая всегда радуетъ иностранцевъ, какъ

завистливые мелкопомѣстные дворяне радуются разстройству въ хозяйствѣ богатаго и могучаго сосѣда» (interrogez votre conscience et vous saurez si dans le cours de vos discussions vous avez rendu à la Pologne tous les services qu'elle attendait de votre sagesse... si vous n' avez pas retardé dans ses progrès l'oeuvre de la restauration de votre patrie). Размолвка съ годами все больше и больше увеличивалась, такъ что передъ третьимъ и послѣднимъ сеймомъ, по указу 3 февраля 1825 года, закрыты были для публики всѣ дѣловыя съ преніями засѣданія сейма.

Изъ Варшавы государь отправился на Троппаускій конгрессъ (октябрь 1820 г.), откуда возвратился перемѣнившимся и отказавшимся отъ прежнихъ своихъ мыслей. По разнымъ признакамъ, Вяземскій, не удостоившійся получить въ Варшавѣ отъ государя ни одного милостиваго слова, чувствовалъ, «что собственная его судьба потускнѣла вмѣстѣ съ судьбою Польши», и, увидѣвъ, что «ни умъ его, ни совѣсть не могутъ подчиниться начальнику, имъ избранному (т.-е. Новосильцеву), напрашивался въ чиновники къ графу Каподистрія съ тѣмъ, чтобы поѣхать на конгрессъ, но начальство его туда не отпустило (II, 90). Вмѣсто поѣздки въ Троппау, онъ отпросился въ отпускъ въ Москву, не подозрѣвая, что надъ нимъ учреждается особый полицейскій надзоръ. Когда, собравшись ѣхать въ Варшаву къ женѣ и дѣтямъ, онъ прибылъ въ Петербургъ, то получилъ здѣсь собственноручное письмо отъ Новосильцева, сообщающее ему о гнѣвѣ на него государя вслѣдствіе устной на него жалобы вел. князя Цесаревича и о воспрещеніи ему возвращаться въ Варшаву. Въ минуту перваго волненія Вяземскій подалъ прошеніе объ увольненіи его отъ занятій камеръ-юнкера. Этотъ крутой разрывъ со службою запечатлѣлъ еще болѣе въ глазахъ многихъ лицъ его политическое своеволіе. За него вступился Карамзинъ и просилъ у государя помилованія и объясненія причинъ постигшей его непріятности. Государь разрѣшилъ Вяземскому вступить опять на службу въ любое

мѣсто, соотвѣтствующее чину, за исключеніемъ Варшавы, но Вяземскій упорствовалъ вопреки совѣтамъ Карамзина. «Симъ кончилось, — говоритъ онъ (II, 94),— мое служебное поприще и началось мое опальное. Изъ рядовъ правительства очутился я, не тронувшись съ мѣста, въ ряду противниковъ его: дѣло въ томъ, что правительство перешло на другую сторону, съ моей-же стороны обнаружился — признаю охотно — можетъ быть, излишній фанатизмъ страдальчества за гонимое исповѣданіе... Бѣда моя въ томъ, что у меня слишкомъ много ртути въ термометрѣ и что мой термометръ не привилегированный» (II, 107).

Вяземскій удаленъ былъ со службы подъ двумя предлогами: одинъ, чисто-этикетальный, заключался въ томъ, что, отправляясь изъ Варшавы въ отпускъ, онъ не раскланялся передъ великимъ княземъ. Онъ полагалъ, что ему и не слѣдовало раскланиваться, такъ какъ онъ состоялъ на службѣ не при особѣ великаго князя, а въ канцеляріи императорскаго коммиссара — Новосильцева. Другой предлогъ былъ посущественнѣе. На Вяземскаго донесли, что, служа въ Польшѣ, онъ восхвалялъ мнѣнія въ рѣчахъ въ парижской палатѣ депутатовъ оппозиціонныхъ членовъ палаты, генерала Фоа, Бенжамена Констана, Казиміра Пэрье, «мнѣнія-же чиновниковъ, употребляемыхъ правительствомъ, не должны быть въ противорѣчіи съ нимъ» (II, XVIII). Князь Вяземскій, ни тѣломъ, ни душой не виноватый, «одною гимнастикою языка, притомъ въ совершенно частныхъ разговорахъ», прослылъ за революціонера и карбонара. Такому обороту дѣла нехотя содѣйствовалъ закадычный другъ Вяземскаго, графъ Нессельроде, близкій родственникъ канцлера и адъютантъ великаго князя. Нессельроде былъ частью обрусѣвшій, а частью ополячившійся нѣмецъ, которому Вяземскій помогъ сблизиться съ хорошею пріятельницей Вяземскаго—полькою. Нессельроде на ней женился, но черезъ годъ супруги разъѣхались. Плодомъ ихъ кратковременнаго сожительства была дочь, столь

извѣстная въ варшавскомъ обществѣ временъ князя Паскевича подъ именемъ госпожи Калерджи (по второму браку Муханова), красавица, музыкантша, страстная, увлекательная женщина, освободившая своими вліяніями въ правительственныхъ сферахъ весьма многихъ лицъ, подвергавшихся преслѣдованіямъ политическимъ. Вяземскій полюбилъ Нессельроде за его прямой и рыцарскій характеръ; они жить одинъ безъ другаго не могли, но вѣчно спорили, распинаясь: Вяземскій — за либеральную оппозицію, а Нессельроде — за легитимистовъ. Однажды ночью Нессельроде ворвался къ спящему Вяземскому, чтобы поразить его извѣстіемъ, что австрійскія войска вошли въ Неаполь, возстановляя самодержавіе короля Фердинанда (24 марта 1820 года). «Наши поединки—пишетъ Вяземскій, — имѣли огласку въ городѣ и въ ушахъ бдительнаго начальства получали важность», то-есть раздражали начальство. Разумѣется, что всякую выходку и остроту подымали тотчасъ и распространяли раздуватели, изъ числа коихъ Вяземскій указываетъ (IX, 106) прямо на Байкова, старшаго чиновника при Новосильцевѣ, забавлявшаго и овладѣвшаго симъ послѣднимъ. Впрочемъ, не одинъ бритвенный языкъ Вяземскаго былъ его врагомъ; другой его врагъ было его же перо. Зная, что варшавскія письма подвергаются *перлюстраціи*, Вяземскій посылалъ, несмотря на то, съ курьеромъ въ Петербургъ письма, въ которыхъ рѣзко и откровенно передавалъ, что́ дѣлается въ оффиціальномъ мірѣ въ Варшавѣ. Конечно, эта оживленная переписка доказывала бы, что у Вяземскаго былъ неудержимый свербежъ руки, если бы онъ не признался самъ (II, 105) пренаивнѣйшимъ образомъ, что тутъ была и «умышленная» неосторожность. «Въ припадкахъ патріотической желчи, при мѣрахъ правительства, несогласныхъ ни съ государственною пользой, ни съ достоинствомъ русскаго народа, при назначеніи на важныя мѣста людей недостойныхъ, я часто съ намѣреніемъ передавалъ животрепещущее соболѣзнованіе моего сердца, писалъ въ на-

деждѣ, что правительство узнаетъ чрезъ перехваченныя письма, что среди глубокаго молчанія на равнинѣ нашего общежитія есть укорительный представитель мнѣнія общаго. Чѣмъ я виноватъ, что Богъ назначилъ меня быть грамотнымъ, что потребность сообщать, выдавать себя посредствомъ дара слова, или, правильнѣе, *дара письменнаго*, пала мнѣ на удѣлъ въ числѣ немногихъ изъ русскихъ? Меня должно держать какъ комнатный термометръ; онъ не можетъ нагрѣть, ни освѣтить покоя, но никто скорѣе и вѣрнѣе не почувствуетъ настоящей температуры».

Отставленный отъ службы, Вяземскій поселился въ Москвѣ и предался всецѣло литературѣ; у правительства онъ состоялъ на дурномъ счету и его положеніе стало еще тягостнѣе при послѣдующемъ царствованіи, потому что хотя слѣдствіе надъ декабристами не обнаружило ни малѣйшей его прикосновенности къ заговору, но солидаренъ онъ былъ съ декабристами во многомъ по образу мыслей и не скрывалъ ни своего къ нимъ сострадания, ни своего негодованія къ дѣятельности арзамасца Блудова, котораго, впрочемъ, никогда не любилъ. «Странная и незавидная,—пишетъ онъ (IX, 153),—участь Блудова: имѣя авторское дарованіе, онъ до сорока лѣтъ и болѣе не могъ рѣшиться ничего написать: тутъ вдругъ получилъ литературную извѣстность прологами своими къ дѣйствію палачей». Вяземскій объясняетъ, что онъ не попалъ въ тайное общество по двумъ причинамъ: потому, что, по его мнѣнію, принадлежность къ тайному обществу есть порабощеніе личной воли своей волею вожаковъ, и потому, что, какъ узналъ онъ впослѣдствіи, откомандированные въ Москву, чтобы его ощупать и испытать, Якубовичъ и Александръ Бестужевъ, нашли, что онъ недостаточно ненавидитъ нѣмцевъ. Разговоръ коснулся нѣмцевъ, и Вяземскій на-отрѣзъ сказалъ, что онъ не раздѣляетъ *lieux communs*, которые у насъ въ ходу (II, 107). Въ оффиціальной своей оправдательной запискѣ 1829 г., озаглавленной *Моя исповѣдь* (II), Вя-

земскій, касаясь этого предмета, говоритъ: «Имя мое, характеръ, способность могли придать нѣкоторую цѣну завербованію въ ряды недовольныхъ, а отсутствіе мое между ними не могло быть случайнымъ, но по странному противорѣчію преубѣжденіе противъ меня не ослабло и мнѣ извѣстно слѣдующее заключеніе обо мнѣ: отсутствіе имени его доказываетъ только, что онъ былъ умнѣе и осторожнѣе другихъ». Надзоръ за княземъ П. А. не ослабѣвалъ и послѣдствія его бывали порою весьма непріятны. Въ 1828 году, во время вспыхнувшей турецкой войны, и Пушкинъ, и Вяземскій просились опредѣлить ихъ въ дѣйствующую армію. Обоимъ было отказано по докладамъ Бенкендорфа: Вяземскому—спеціально потому, «что отнюдь всѣ мѣста въ арміи заняты» (IX, 98). Затѣмъ 3 іюня послѣдовало объявленное графомъ П. А. Толстымъ высочайшее воспрещеніе Вяземскому издавать *Утреннюю Газету*, якобы имъ подъ чужимъ именемъ затѣянную, потому что государю извѣстно бывшее его поведеніе и *развратная* жизнь его, недостойная образованнаго человѣка. Распоряженіе послѣдовало, очевидно, по доносу; доносъ могъ исходить отъ опасающихся конкурренціи журналистовъ, и Вяземскій заподозрилъ одного изъ трехъ: либо Булгарина, либо Греча, либо Воейкова. Самая идея издательства газеты существовала только въ досужемъ воображеніи доносчиковъ, — не только Вяземскій, но никто другой объ изданіи подобной газеты не хлопоталъ. По мнѣнію Пушкина, обвиненіе въ развратной жизни не иначе можно было вывести, какъ изъ вечеринки, продолжавшейся до утра въ С.-Петербургѣ въ какомъ-то захолустьѣ у Филимонова, на которой были Пушкинъ, Жуковскій, Вяземскій и другіе. Полиціи донесено было, вѣроятно, на основаніи невзрачной и подозрительной наружности дома, что Вяземскій провелъ ночь у дѣвокъ. Мѣра терпѣнія Вяземскаго переполнилась и полѣзъ онъ, такъ сказать, на стѣну. «Si je n'obtiens pas une justification honorable,—писалъ онъ князю В. Д. Голицыну,—

il ne me reste qu' à m'expatrier au risque du compromettre par cette demarche l'avenir de mes enfants». Энергическая записка Вяземскаго *(Моя исповѣдь)* дошла до государя и была имъ препровождена къ великому князю Цесаревичу. Убѣдившись, что Вяземскій не столь черенъ, какъ его представляютъ, великій князь пожелалъ имѣть отъ него просительное письмо, по полученіи котораго онъ самъ писалъ къ государю о возвращеніи Вяземскаго на службу. Вяземскій поступилъ къ Канкрину по министерству финансовъ, а 1 августа 1833 г. произведенъ въ статскіе совѣтники, причемъ дѣло о немъ по высочайшему повелѣнію сочтено конченнымъ. Таковъ былъ конецъ продолжительной опалы, увѣнчанный возвращеніемъ князя Вяземскаго, безъ малѣйшаго ущерба его достоинству и безъ перемѣны его убѣжденій, на государственную службу, которую онъ, по своимъ дворянскимъ преданіямъ, считалъ прямою своею обязанностью.

VI.

Остановимся нѣсколько подольше на этомъ опальномъ періодѣ, въ продолженіи котораго Вяземскій будировалъ и относился и къ службѣ, и къ государственнымъ дѣламъ до извѣстной степени сатирически, что и сказывается въ слѣдующемъ отрывкѣ письма его 1821 г. къ «милому Рейну», то-есть къ одному изъ благороднѣйшихъ арзамасцевъ, генералу Михаилу Орлову (II, 109): «Служба отечеству—священное дѣло, но не надо пускаться въ излишнія отвлеченности. Между нами и государствомъ есть *лица* — какъ между смертными и Богомъ папы и попы. Вѣруй въ Бога, служи ему какъ хочешь, но при людяхъ у однихъ цѣлуй туфлю, а у другихъ руки, которыя иногда и туфли грязнѣе». Къ этому-то періоду опальнаго времени относится одинъ эпизодъ изъ жизни Вяземскаго, сдѣлавшій его на нѣкоторое время звеномъ, соединившимъ двѣ литературы,

русскую и польскую, среди совпадавшаго по времени разцвѣта обѣихъ. Вяземскій заинтересовался отправленнымъ во внутреннюю Россію на службу Мицкевичемъ, приласкалъ его, перезнакомилъ съ московскими и петербургскими литераторами, перевелъ прозой сонеты Мицкевича (1827 г.) и выразилъ въ заключеніе этого перевода надежду, что Пушкинъ, Баратынскій и другіе первокласные поэты одѣнутъ волшебными красками голое его очертаніе и освятятъ своими именами желаемую дружбу между русскими и польскими музами (I, 348). Онъ былъ одинъ изъ немногихъ способныхъ оцѣнить прелесть стиховъ Мицкевича въ подлинникѣ. «Изящное произведеніе,—пишетъ онъ,—вышло въ Москвѣ, а въ Москвѣ можетъ быть нѣтъ и десяти читателей. Оно поступило въ продажу *incognito*, безъ почестей журнальныхъ. Москва для польскаго поэта почти то же, что необитаемый островъ, но онъ свой міръ носитъ съ собою и населилъ имъ пустыню». Не только словами, но и дѣломъ содѣйствовалъ Вяземскій благой цѣли и исполненію сознаваемой имъ обязанности изготовить предварительныя мѣры сближенія. «Есть высшіе умственные слои, — думалъ онъ (VII, 306),—куда не должны достигать неистовыя страсти семейныхъ междоусобій. Тутъ не существуютъ условныя перегородки *приходскихъ* національностей. Мы пользуемся повсемѣстными плодами земнаго шара, не справляясь, какою почвой они были возращены, дружескою или непріязненною. Политика есть сила разъединяющая, а поэзія должна быть всегда примиряющею и скрѣпляющею силой». Самъ собою Мицкевичъ былъ человѣкъ привлекательный, очаровательный не только какъ поэтъ. Умный, одушевительный, онъ держался просто, безъ признаковъ ни заносчивости, ни обрядной унизительности, которыя Вяземскій замѣтилъ у нѣкоторыхъ поляковъ. При оттѣнкѣ меланхолическаго выраженія въ лицѣ, онъ былъ веселаго склада, скоръ на мѣткія и удачныя слова; наконецъ, онъ вдохновенно импровизи-

ровалъ для своихъ земляковъ риѳмованною рѣчью, а для русскихъ по-французски прозою, но съ лицомъ, озареннымъ пламенемъ вдохновенія, въ которомъ было что-то тревожное и прорицательное. Жуковскій и Пушкинъ, глубоко потрясенные этимъ огнедышащимъ изверженіемъ поэзіи, были въ восторгѣ. Увлеченію Вяземскаго Мицкевичемъ не мѣшало то, что Вяземскій усматривалъ въ его поэзіи байроновскія черты. Оставаясь, въ сущности, классикомъ, Вяземскій вмѣстѣ съ своими современниками признавалъ фактъ непререкаемаго царенія Байрона въ тогдашней поэзіи романтической. Вяземскій усматривалъ въ поэзіи Мицкевича не подражаніе, а возвышенную *стачку* геніевъ, которые всѣ подвластны духу времени и движимы имъ въ силу какихъ-то мѣстныхъ и срочныхъ законовъ. Тогдашнее поколѣніе требовало байроновской поэзіи не по модѣ и прихоти, но по глубоко въ сердцѣ заронившимся потребностямъ вѣка, по *сострой̀ствѣ* въ запросахъ. Байронъ избранъ былъ только въ то время толмачомъ человѣка съ самимъ собою. Онъ переложилъ на музыку пѣсню поколѣнія, ввелъ новыя буквы, которыя напечатлѣли понятія и чувства, таящіяся подъ спудомъ за недостаткомъ знаковъ выразительныхъ (I, 331).

Лѣтъ за пять до смерти (1873 г.), возвращаясь въ своихъ воспоминаніяхъ къ давно умершему Мицкевичу, «блудному брату, но, все-таки, брату», Вяземскій опредѣляетъ такимъ образомъ существовавшія до 1830 г. междунаціональныя отношенія (VII, 306). Мицкевичъ оставался кровнымъ полякомъ, но озлобленія въ немъ не было. Только позднѣе и заднимъ числомъ заподозрѣна его поэма *Валленродъ*, но была ли она написана не подъ однимъ поэтическимъ, а и подъ макіавелическимъ вдохновеніемъ, каковой смыслъ придали ей послѣдующія событія, о томъ не берется судить Вяземскій. То время,—говоритъ онъ,—было не столько вопросительно, какъ наше, польскаго же вопроса еще не было. Польшу знали мало, что было нехорошо; теперь знаютъ не лучше,

но говорятъ о ней больше, что еще хуже. Государственные люди и нѣкоторые мыслители сѣтовали тогда о привилегированномъ положеніи возсозданнаго царства польскаго, но и тутъ была не племенная вражда, а одно политическое соображеніе съ государственно-русской точки зрѣнія, притомъ, это привилегированное положеніе было только временное въ виду общей системы государственнаго преобразованія, которое готовилъ государь (VII, 326). Мало ли кого ссылаетъ у насъ администрація? Въ Мицкевичѣ видѣли подпавшаго дѣйствію административной мѣры, но мало заботились о поводѣ, вызвавшемъ эту мѣру. Мицкевичъ часто гостилъ у Вяземскихъ въ Остафьевѣ, сочинялъ тамъ стихи, до конца жизни хранилъ, какъ одно изъ самыхъ дорогихъ воспоминаній, любезное письмо къ нему княгини Вѣры Вяземской (*P. Chmielowski:* «Mickiewicz», I, 383). «Потомъ, послѣ многолѣтняго перерыва письменныхъ сношеній, мы сошлись съ Мицкевичемъ въ Парижѣ,—пишетъ Вяземскій,—и сошлись, разумѣется, старыми пріятелями. Я не видалъ въ немъ поляка, онъ не видалъ во мнѣ москаля, а развѣ просто москвича. Онъ показался мнѣ много и преждевременно постарѣвшимъ. Волненія, скорбь вырѣзали слѣды свои на лицѣ, уже и прежде осѣненномъ меланхолическимъ выраженіемъ. Особенно при второй встрѣчѣ въ Парижѣ (1850 г.) замѣтны были еще болѣе на немъ признаки усталости и разочарованія. Если Мицкевичъ увлекся политическимъ движеніемъ и былъ политическимъ противникомъ Россіи, онъ не былъ революціонеромъ, онъ остался навсегда честнымъ и нравственнымъ человѣкомъ и сочувственною личностью» (VII, 332).

VII.

И такъ, личныя отношенія Вяземскаго и Мицкевича, установившіяся до возникновенія польскаго вопроса или, лучше сказать, до обостренія его въ 1831 г., не измѣнились послѣ этого событія. Спрашивается, измѣнили ли событія 1831 г. благожелательное расположеніе Вяземскаго къ самой польской націи, которую онъ зналъ, можетъ быть, лучше, нежели кто-либо другой изъ современныхъ русскихъ людей? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ можетъ служить любопытный документъ, занесенный въ записную книжку Вяземскаго, — набросокъ письма его къ Пушкину, не отправленнаго, но весьма характернаго, разборомъ котораго мы и заключаемъ нашъ этюдъ о Вяземскомъ. Громадное преимущество Вяземскаго по польско-русскому вопросу передъ современными ему публицистами и поэтами, такими, какъ Жуковскій и Пушкинъ, заключалось въ томъ, что онъ отлично зналъ этотъ вопросъ и съ его лицевой, и съ оборотной стороны. Никто не сознавалъ такъ хорошо, какъ онъ самъ, что на варшавскихъ сеймахъ становилась и разыгрывалась новая драма съ загадочною и, можетъ быть, не желаемою, но трагическою развязкой. Изумительное безпристрастіе и объективность его взгляда отразились всего вѣрнѣе въ краткой отмѣткѣ записной книжки отъ 4 августа 1819 г., въ строкахъ, подобныя которымъ едва ли бы написалъ кто-либо другой изъ русскихъ (IX, 28). «Я вчера ѣхалъ одинъ изъ Багатели, чрезъ сумрачную рощу Лазенки (дворецъ Станислава-Августа Понятовскаго). Сей одинокій, не освѣщенный замокъ, сіе опустѣніе въ рѣзкой картинѣ явили мнѣ судьбу сей разжалованной земли, сего разжалованнаго народа. Злополучія Польши всегда говорили уму моему языкомъ политической необходимости. Тутъ въ первый разъ Польша сказалась мнѣ голосомъ поэзіи. Я ужаснулся и готовъ былъ воскликнуть: «Государь.

возставь Польшу! ты поступишь въ смыслѣ голоса природы; но если слѣпое самолюбіе ставитъ тебя на степень возстановителя народа, оставь это дѣло. Человѣческое несовершенство проглянетъ въ семъ подвигѣ божественномъ и ты вынесешь негодованіе Россіи и открытый листъ на осужденіе потомства».

Когда Вяземскій писалъ эти строки, онъ уже зналъ о весьма малой пригодности лицъ, представляющихъ русскую политику въ Варшавѣ, къ исполненію задачъ, которыя ставились, и несоотвѣтствіе принимаемыхъ мѣръ къ цѣлямъ, которыя провозглашались. Вскорѣ затѣмъ онъ на себѣ самомъ испыталъ, какъ мало соотвѣтствовала дѣйствительность идеалу. Въ 1829 г. онъ не безъ основанія былъ встревоженъ положеніемъ Польши (IX, 116): «Одно коренное зло—излишнее число войскъ. Что такое польское войско? Польшѣ, отдѣльно взятой, войска не надобно. Войско—ограда независимости: польская независимость опирается на Россію... тѣло, однако, поражено недугомъ — искать язву внутри: гдѣ она кроется?»

4 декабря 1830 года записано въ дневныхъ отмѣткахъ, что Вяземскій (еще не поступившій на службу) получилъ извѣстіе о польскихъ событіяхъ (мятежъ $^{17}/_{29}$ ноября 1830 г.). Онъ ничего не понялъ: «Подпрапорщики не дѣлаютъ революціи, они только бунтуютъ. Зачѣмъ вѣрныя войска выступили изъ Варшавы? Добро еще русскія, во избѣжаніе поклеповъ, но зачѣмъ выступили польскія? На что держать вооруженную силу, если не на то, чтобы хранить порядокъ и усмирять буйство? Какъ бросить столицу на жертву нѣсколькимъ головорѣзамъ? Что вышло бы, если бы государь 14 декабря выступилъ изъ Петербурга съ вѣрными войсками? Я увѣренъ, что все это происшествіе — вспышка нѣсколькихъ головорѣзовъ, которую можно и должно было унять тотчасъ. Дѣло запуталось потому, что его запутали. Воры грабятъ домъ, а полиція, чѣмъ унимать, отходитъ прочь, чтобы не сказали, что грабежъ начатъ

ею. Варшавская передряга не будетъ шекспировской драмой, а классическою французскою трагедіей съ соблюденіемъ единства и времени, такъ чтобы въ два часа быть развязкѣ».

Вяземскій былъ совершенно правъ насчетъ полной неумѣлости мѣстныхъ органовъ правительства въ дѣлѣ подавленія мятежа, но онъ ошибся насчетъ скорости послѣдованія развязки. Великій князь сознательно бездѣйствовалъ, въ совѣтъ управленія проникли революціонные, усилившіе его элементы, собрался безъ законнаго созыва и сеймъ, въ распоряженіи революціи оказались и войска. Положеніе становилось серьезнымъ, въ русскомъ народѣ пробуждалось безпокойство, шевелилось національное чувство, которое нашло себѣ откликъ и выраженіе уже послѣ сдачи Варшавы (7 сентября 1831 г.), сначала въ журналахъ, а потомъ въ сборникѣ патріотическихъ стиховъ, изданныхъ сообща Жуковскимъ и Пушкинымъ, подъ заглавіемъ: *На взятіе Варшавы (Старая пѣсня на новый ладъ)* Жуковскаго, *Клеветникамъ Россіи* и *Бородинская годовщина* Пушкина. Капитальное возраженіе съ этической стороны, которое можно бы сдѣлать противъ этого сборника, заключалось въ несвоевременности его появленія, послѣ одержанной побѣды, вопреки правилу: лежачаго не бьютъ. Пушкинъ чувствовалъ эту неловкость, а потому онъ, главнымъ образомъ, нападалъ на западноевропейскихъ *Клеветниковъ Россіи*, отказывая имъ въ правѣ вступаться въ домашній споръ славянъ между собою, въ семейную вражду, на что находилъ прекрасный отвѣтъ у кн. Вяземскаго. «Пушкинъ кажетъ клеветникамъ Россіи шишъ изъ кармана; онъ знаетъ, что они не прочтутъ его стиховъ,—слѣдовательно, и отвѣчать не будутъ на вопросы, на которые отвѣчать не легко бы было и самому Пушкину».

До Вяземскаго въ Москвѣ дошли, прежде всего, стихи Жуковскаго 14 сентября 1831 г. Онъ написалъ сгоряча письмо къ Пушкину, котораго заразъ хотѣлъ

тоже «оцарапнуть», такъ какъ и о стихахъ Пушкина ходили уже слухи, но письма этого не отправилъ, «не отъ нравственной вѣжливости, но чтобы не сдѣлать хлопотъ, вслѣдствіе распечатаннаго письма на почтѣ» (IX, 156). Была тутъ, можетъ быть, и другая причина: стихи обоихъ поэтовъ понравились публикѣ, сдѣлались весьма популярны. Старикъ И. И. Дмитріевъ благодарилъ за нихъ Жуковскаго («Взыграй же духъ, Жуковскій, дай мнѣ руку, пускай съ пѣвцомъ воскликнетъ патріотъ...» Соч. Жуковскаго, 8 изд., III, 473). Въ Вяземскомъ съ каждымъ днемъ усиливалось то чувство, что «я болѣе и болѣе уединяюсь, обособляюсь въ своемъ образѣ мыслей». Онъ не захотѣлъ идти противъ теченія, но не могъ переварить этихъ поэтическихъ произведеній и только о нихъ и думалъ восемь дней (14, 15 до 22 сентября). Передаемъ сущность не лишенныхъ горечи замѣчаній, направленныхъ противъ каждаго изъ поэтовъ, участвовавшихъ въ сборникѣ.

Онъ наиболѣе недоволенъ Жуковскимъ и пишетъ: «Стихи Жуковскаго une question de vie et de mort между нами. Для меня они такая пакость, что я предпочелъ бы имъ смерть. Прислалъ бы Жуковскій какую-либо новую сказку. Охота ему было писать *шинельные* стихи (стихотворцы, ходящіе въ Москвѣ съ поздравительными одами). Не совѣстно ли сравнивать нынѣшнее событіе съ Бородинымъ? Тамъ мы бились 1 противъ 10, а здѣсь 10 противъ 1. Дѣло весьма важно въ государственномъ отношеніи, но тутъ поэзіи нѣтъ ни на грошъ. Какъ можно поэзію видѣть въ бомбахъ, въ палисадахъ? (у Жуковскаго написано: «Чу, какъ пламенные тромбы, Поднялися и летятъ Наши мстительныя бомбы На кипящій бунтомъ градъ!... Что намъ ваши палисады?» и т. д. Замѣтимъ, что Варшава не бомбардировалась, а сдана на капитуляцію генераломъ Круковецкимъ). Мало ли что политика можетъ и должна сдѣлать? Ей нужны палачи, но развѣ ихъ будете пѣть? Мы ужасные самохвалы и грусно, что въ нашемъ са-

мохвальствѣ есть какой-то холопскій *отсѣдъ*. Мы похожи на дворню, которая поздравляетъ барина съ именинами, съ пожалованіемъ чина и проч. Воспѣвайте (взятіе Варшавы), если у васъ колѣни чешутся и непремѣнно надобно вамъ ползать съ лирою въ рукахъ. Однѣ пѣсни 12-го года могли быть нѣсколько на другой ладъ и потому Жуковскому стыдно запѣть иначе».

Не менѣе Жуковскаго досталось и Пушкину за географическія фанфаронады: *отъ Перми до Тавриды* и проч. «Что же тутъ хорошаго, что мы такъ лежимъ въ растяжку, что у насъ отъ мысли до мысли 5,000 верстъ? Неужели Пушкинъ не понимаетъ, что намъ съ Европою воевать была бы смерть? Зачѣмъ взбивать слова, заметать глаза пѣною? Когда рѣшишься быть поэтомъ *событій*, а не соображеній, то нечего робѣть и жеманиться,—пой да и только. Смѣшно, когда Пушкинъ говоритъ, что мы не сожжемъ Варшавы ихъ. И вѣстимо, потому что потомъ намъ бы пришлось и застроить ее. Вы такъ сбились съ пахвей въ патріотическомъ восторгѣ, что не знаете на чемъ рѣшиться — то у васъ Варшава непріятельскій городъ, то нашъ посадъ».

VIII.

Конечно, Вяземскій хватилъ черезъ край, когда спрашивалъ, какая можетъ быть поэзія въ бомбахъ и палисадахъ? По этому вопросу не судья эстетика, его рѣшаютъ только совѣсть, благопристойность и этика. Самъ Вяземскій впослѣдствіи (1877 г.) признавалъ, что есть поэзія въ жаждѣ крови, съ которою относятся другъ къ другу сербы и турки (поэзія свирѣпая, но поэзія; есть что-то въ этомъ родѣ въ поэмѣ Мицкевича *Валленродъ*. X, 293). Самъ онъ воспѣвалъ въ крымскую войну русскій штыкъ и кровопролитіе всякаго рода стихами, безконечно уступающими по таланту стихамъ Пушкина; правда, что онъ слагалъ эти стихи не

послѣ окончательнаго одолѣнія противниковъ, а въ пылу боя и въ моментъ, который считалъ весьма похожимъ на 12-й годъ. Торжествовать побѣду надъ сраженнымъ и подавленнымъ непріятелемъ претило ему по его рыцарскому чувству: «курамъ на смѣхъ, быть внѣ себя отъ изумленія, что льву удалось, наконецъ, положить лапу на мышь». Но и среди тяжелой борьбы Россіи съ европейскою коалиціей въ боевыхъ пѣснопѣніяхъ Вяземскаго никогда не звучала струна племенная, не общечеловѣческая, но специфически-русская, т. е. собственно великороссійская и московская. Поразительно, какимъ антиславистомъ является онъ въ восточную войну. Увлеченіе въ пользу славянъ считалъ онъ, въ письмѣ къ графу Шереметеву 1876 года (гл. VII, 467), судорогами, пляскою св. Вита. Всѣ упиваются патріотическою сивухой на славянскомъ настоѣ и закусываютъ бѣленою. Вяземскій ненавидитъ генерала Черняева: «Этотъ Аннибалъ, этотъ Вашингтонъ христарадничаетъ у Россіи крови ея, денегъ, офицеровъ, сапоговъ и корпіи. Этотъ полководецъ не успѣлъ даже и корпіи заготовить...» Наша главная погрѣшность, если вѣрить Вяземскому, что мы считаемъ себя болѣе славянами, чѣмъ русскими; русская кровь на главномъ планѣ, а впереди славянолюбіе, междо тѣмъ какъ для насъ лучше имѣть съ боку слабую, дряхлую Турцію, нежели молодую, сильную, демократическую Славянію, которая опасаться насъ будетъ, но любить не будетъ. И когда намъ были въ пользу славяне? Россія для нихъ дойная корова, и только, а всѣ сочувствія ихъ уклоняютъ къ Западу. Сохраните письмо: хочу, чтобы потомство удостовѣрилось, что въ пьяной Россіи раздавались кое-какіе *трезвые* голоса!» Князь Вяземскій несомнѣнно патріотъ, и весьма горячій, но онъ не патріотъ-*націоналистъ*, а патріотъ-*государственникъ*, сродни тѣмъ Репнинымъ, Штакельбергамъ и другимъ, которые распоряжались судьбами падающей Польши при королѣ Понятовскомъ, весьма порою плохо владѣя русскимъ языкомъ, пред-

ставляя изъ себя свѣтскихъ европейцевъ и мирясь съ тѣмъ, что представляемое ими государство по наружности разношерстно, что оно похоже на пышный узорчатый восточный коверъ, а не окрашено въ однообразное, хотя бы и ярко-алое сукно. Вяземскій почти признаетъ за истину, не особенно возмущаясь, то шуточное опредѣленіе Россіи, которое онъ занесъ въ 1830 г. въ свою записную книжку (гл. IX, 153): «Россія—нѣкогда варяжская колонія, теперь нѣмецкая; главные города—Петербургъ и Сарепта; дѣла въ ней дѣлаются по-нѣмецки, въ высшихъ званіяхъ говорится по-французски, но деньги употребляются русскія, русскій же языкъ и русскія руки служатъ только для черныхъ работъ». Всегда спокойный и въ сужденіяхъ своихъ безстрастный, князь Вяземскій не видѣлъ большой бѣды въ *квасномъ* патріотизмѣ, но вездѣ преслѣдовалъ *сивушный*, помрачающій разсудокъ и ожесточающій сердце (VIII, 139). На нервы его дѣйствовали, раздражая ихъ, литературно-варварскія выраженія: «полякующій», «располяченіе». «Не щадите поляковъ, — писалъ онъ, — но пощадите, по крайней мѣрѣ, русскій языкъ; политическія страсти своими уклонительными или ругательными кличками никогда языка не обогащали, а только позорили его и опошляли» (VII, 239). Самъ онъ не могъ бы быть названъ полякующимъ, потому что даже когда записывалъ въ 1819 году приведенныя нами слова: «Государь, возставь Польшу!» — то и тогда имѣлъ онъ о Польшѣ весьма ограниченное и точно опредѣленное представленіе. Польша была для него одно конгрессовое царство польское, а не Волынь, не Литва и не наслѣдіе Богдана. Собственно для пользы Россіи, какъ государства, Вяземскій предпочиталъ бы это царство совсѣмъ «отсѣчь, бросить его (писалъ онъ еще въ 1831 году, VII, 156), какъ даемъ мы отпускную негодяю, котораго ни держать у себя не можемъ, ни отдать въ рекруты. Пускай Польша выбираетъ себѣ родъ жизни; до побѣды нельзя было такъ поступать, но по побѣдѣ очень

возможно. Какая выгода Россіи быть внутреннею стражей Польши? Гораздо легче при случаѣ имѣть ее явнымъ врагомъ, но такая мысль слишкомъ широка для головы какого-нибудь Нессельроде и она въ ней не умѣстится».

Разъ Россія не рѣшилась выдѣлить изъ себя Польшу, то тѣмъ самымъ польскій вопросъ сталъ вопросомъ внутреннимъ, и только внутреннимъ. Неизбѣжнымъ соціологически послѣдствіемъ такой его постановки являлась необходимость считаться съ польскимъ элементомъ въ государствѣ, какъ съ составною частью и членомъ своего собственнаго организма, такъ что его нельзя ни отрѣзать, ни выправить, ни атрофировать, а необходимо для пользы цѣлаго установить нормальное, правильное кровеобращеніе между этимъ членомъ и совокупностью всѣхъ другихъ. Этотъ взглядъ, правильный, трезвый и предвосхищенный у соціологіи, дошедшей до него лишь впослѣдствіи, Вяземскій проводитъ постоянно, и въ томъ его высокая заслуга. «Насъ выгнали изъ Варшавы за то, что мы не умѣли владѣть ею. Послѣ нѣсколько-мѣсячныхъ маршевъ и контръ-маршевъ, мы опять вступили въ этотъ городокъ. Грустны могли быть неудачи наши, но ничего нѣтъ возвышеннаго въ удачѣ, тѣмъ болѣе, что она никакъ нравственно не искупаетъ ихъ. Польское дѣло—болѣзнь, которая показала намъ порокъ нашего сложенія. Мы не умѣли заставить поляковъ полюбить нашу власть. Эта причина теперь еще сильнѣе и ядовитѣе. На время можно будетъ придавить ее, но развѣ правительства могутъ созидать на одинъ день, говорить: вѣкъ мой—день мой?.. При первой войнѣ, при первомъ движеніи въ Европѣ, Польша возстанетъ на насъ, или должно будетъ имѣть русскаго часоваго при каждомъ полякѣ. Можно ли управлять людьми, имѣющими нѣкоторую степень образованности, не заслуживъ довѣренности и любви ихъ? Многіе изъ насъ думаютъ, что достаточно матеріальной силы для преобладанія въ чужой сторонѣ. Оно не всегда такъ. Сила силою, и

пренебрегать ею нельзя, но не худо имѣть и нравственную указку для благонадежнаго и оканчательнаго преподаванія. Многіе изъ насъ того мнѣнія, что правительственныя лица въ области чужой должны, если они хорошіе патріоты, ненавидѣть людей, подчиненныхъ ихъ власти, и равномѣрно быть ими ненавидимы. Не дай, Боже, чтобы администраторъ полюбилъ находящихся въ управленіи его и они полюбили его: тутъ тотчасъ наши публицисты заподозрятъ измѣну». Вяземскій держится совсѣмъ противнаго и въ этомъ случаѣ, конечно, болѣе христіанскаго мнѣнія, что вражда одну вражду и родить способна (VIII, 357). Мягкость этихъ сужденій, запечатлѣнныхъ кротостью, терпимостью и гуманностью, была въ противорѣчіи съ суровыми началами политики Николая Павловича. Она находится въ еще бо́льшемъ противорѣчіи съ русско-польскими отношеніями, сильно обострившимися и получившими сильную примѣсь страстности послѣ несвоевременно сдѣланныхъ, запоздалыхъ уступокъ 1861 и 1862 гг., съ которыми связано имя маркиза Вѣлёпольскаго и послѣ роковаго для поляковъ 1863 года. Весьма ошибочно было бы приписывать мягкость въ сужденіяхъ Вяземскаго низкопоклонничеству передъ превосходствомъ польской культуры. Если бы мнѣнія Вяземскаго, разбросанныя во множествѣ по листамъ его записныхъ книжекъ, были имъ въ свое время при жизни оглашены въ печати, то отъ сатирическихъ выходокъ его и отъ ѣдкихъ опредѣленій свойствъ польскаго ума и характера пришли бы, вѣроятно, въ негодованіе многіе его знакомые и друзья-поляки и, можетъ быть, предпочли бы открытую, къ насилію клонящуюся вражду презрительно-снисходительному отношенію къ развѣнчанной націи, съ которымъ Вяземскій обращался съ нею какъ съ народомъ больныхъ, людей вѣтренныхъ, дѣтски-легкомысленныхъ, съ которыми что хочешь сдѣлаешь, только не острасткою, а тонкою лестью и умною лаской. Приведемъ нѣсколько обращиковъ отзывовъ Вяземскаго, въ которыхъ поляки нисколько не пощажены.

IX.

Г-жа Сталь сказала о полякахъ: «въ нихъ есть блескъ, но ничего нѣтъ основательнаго, я ихъ скоро доканчиваю; мнѣ ихъ нужно, по крайней мѣрѣ, двухъ или трехъ на недѣлю» (IX, 23). Г-жа Свѣчина, въ проѣздъ черезъ Варшаву, говорила, «что все здѣсь, и даже бытіе народа, кажется ей обманчивымъ, условленнымъ и театральнымъ» (VIII, 51). «Не благотворите имъ на дѣлѣ,—совѣтуетъ Вяземскій,—а говорите имъ о благодѣяніи. Они такъ дорожатъ слыть благородными и доблестными, что отъ словъ о благородствѣ и доблести полѣзутъ на стѣну. И добродѣтели ихъ всѣ театральныя, не твердыя правила, а только хорошее направленіе. Они всегда промѣняютъ солнце на фейерверкъ. Рѣчь государя на сеймѣ дороже имъ всѣхъ его благодѣяній. Бей ихъ дома, какъ хочешь, только при гостяхъ будь съ ними учтивъ. Они политическіе Донъ-Кихоты» (X, 18). «Съ поляками должно имѣть мягкость въ пріемахъ и твердость въ исполненіи. Подавайте руку поляку вѣжливо и ласково, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, прижмите ее такъ, чтобы онъ могъ догадываться о силѣ вашей. Имъ некогда быть благодарными, они легко падаютъ духомъ или увлекаются энтузіазмомъ. Главное дѣло—ихъ заговорить и охмѣлить. Такъ поступалъ съ ними и Наполеонъ. Онъ никогда не думалъ возвратить имъ независимость, но только обольщалъ ихъ, а они лѣзли за нимъ въ огонь и тысячами погибали» (VIII, 51). «Поляку сродно или бѣситься, или наслаждаться жизнью; унывать онъ неспособенъ. Польское общество имѣло большую жизненную силу. Оно падаетъ, разбивается въ кровь и опять возстаетъ, какъ будто бы ни въ чемъ не бывало. Этимъ свойствомъ оно сближается съ французскимъ, къ которому притягиваетъ его какая-то роковая и зловѣщая сила. Польскій народъ не имѣетъ сдержанности, необходимой для самосохраненія и здра-

ваго воззрѣнія на свое настоящее и будущее. Можно ли послѣ того сердиться и негодовать на поляковъ? Но скорѣе ли должно жалѣть о нихъ? Должно противодѣйствовать ихъ политическимъ мечтаніямъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣдуя здравой, а не страстной политикѣ, дѣлать имъ добро, даже противъ собственной ихъ воли» (VII, 240).

У Вяземскаго есть своя философія польской исторіи, очень похожая въ окончательныхъ выводахъ на ту, къ которой приходитъ нынѣ и новѣйшая польская исторіографія: «внѣшнія тяготѣнія ослабили и *ампутировали* Польшу; но Польша и сама собою дѣятельно работала въ смыслѣ окончательнаго разложенія своего; къ тому-же, и географическія ея условія отвратительныя. Паскевича спрашивали: «почему поляки всегда раболѣпствуютъ и бунтуютъ?» — «Такова уже у нихъ географія»,—отвѣчалъ намѣстникъ (VIII, 105). Если эти соображенія могли бы быть признаны разрѣшающими вопросъ о политической самобытности, то они нисколько не разрѣшаютъ вопроса о національной жизнеспособности, то-есть о возможности оздоровѣть, какъ нація, и приспособиться къ своему подвластному въ политическомъ отношеніи состоянію; но этотъ послѣдній вопросъ не обсуждается даже у Вяземскаго, хотя если бы онъ былъ поставленъ, то Вяземскій, вѣроятно, рѣшилъ бы его отрицательно, то-есть призналъ бы, что поляки нація милая, но не умная и неизлечимо больная. «Польская политика,—замѣчаетъ онъ,—всегда сбивается на фантазію. Романтической литературы еще и помину не было, а уже была, благодаря полякамъ, романтическая политика, пренебрегающая условіями времени, мѣста и дѣйствія. У нихъ нѣтъ *классическаго* воззрѣнія на вещи и событія. Ихъ не пугаетъ несообразность надеждъ, ихъ не пробуждаетъ отъ сновидѣнія вся историческая, политическая и русско-народная невозможность (желаемаго) событія. Они не признаютъ роковой силы слова: необходимость. Государственной политикѣ должно, при та-

кихъ періодическихъ увлеченіяхъ и припадкахъ, быть всегда насторожѣ» (VIII, 111).

Анализируя, съ юморомъ и сатирически, недостатки польской націи, Вяземскій начертилъ, въ видѣ бѣглыхъ набросковъ, въ своихъ записныхъ книжкахъ множество портретовъ своихъ польскихъ знакомыхъ. Эти портреты нарисованы зло, тонко и, вѣроятно, сходны съ оригиналами, какъ сходна всякая ловкая каррикатура, передающая съ преувеличиваніями основныя черты подлинника. Эти замѣтки—большой кладъ для будущихъ историковъ нравовъ. Тутъ есть и вельможи, и паразиты, и великосвѣтскія дамы, есть графъ Генрихъ Ржевускій, *щирый*, преданный *ойчизнѣ* душой, но съ ложными клерикальными и историческими предубѣжденіями, безъ всякихъ, притомъ, мечтательскихъ надеждъ, кончившій свое поприще въ роли чиновника при князѣ Паскевичѣ, держимаго затѣмъ, чтобы въ бесѣдахъ за столомъ, далеко за полночь, давать князю *реплику*, какъ говорится на театральномъ языкѣ. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ изображенъ и въ профиль, и en face другой, болѣе крупный по тому времени человѣкъ, генералъ Винцентъ Красинскій, солдатъ наполеоновскихъ войнъ, пожинавшій лавры въ Испаніи, потомъ приведшій остатки польско-французскихъ войскъ въ уже обрусѣвшую Варшаву, ласкаемый въ Петербургѣ за сильно уже померкшіе наполеоновскіе лучи. Красинскій дожилъ до того, что, по смерти Паскевича, ему, по старшинству чина, пришлось временно исправлять должность намѣстника. Въ польскомъ обществѣ онъ гораздо болѣе памятенъ, какъ отецъ одного изъ величайшихъ польскихъ поэтовъ, Сигизмунда Красинскаго (le poëte anonyme de la Pologne), одного изъ непримиримѣйшихъ. У Вяземскаго графъ Винцентъ Красинскій изображенъ какъ вдохновеннѣйшій враль, сродни легендарному Карлу Радзивилу (Panie kochanku) или нѣмецкому барону Мюнхгаузену. «Бываютъ лгуны добросовѣстные, они запинаются и краснѣютъ: эти никуда не годятся. Двѣ пріятельницы, — разсказываетъ графъ

Красинскій, — встрѣтились неожиданно на улицѣ; та и другая ѣхали въ каретахъ. Одна, не замѣтивъ, что стекло поднято, кинулась къ нему, пробила его головой, но такъ, что стекло перерѣзало ей горло и голова ея скатилась на мостовую передъ каретой ея пріятельницы». Красинскій разсказывалъ еще, какъ послѣ одного удачнаго нападенія его на непріятеля прискакалъ Наполеонъ и, со словами: «Vincent, je te dois la couronne», снялъ съ себя и надѣлъ на него звѣзду почетнаго легіона. «Какъ же вы никогда не носите этой звѣзды?» — «Я ее возвратилъ императору, потому что не признавалъ дѣйствія моего достойнымъ такой награды». Однажды, не зная, какъ выпутаться въ разсказѣ, графъ сослался на свидѣтельство своего адъютанта, но сей послѣдній нашелся и замѣтилъ: «Вы, графъ, вѣроятно, забыли, что я былъ убитъ при началѣ сраженія!» (VIII, 147, IX, 128; X, 57). «Пустъ онъ, но не пустотупъ, какъ наши, il a de la verve,—замѣчаетъ князь Вяземскій. — Въ немъ есть какая то смѣлость, разумѣется, нѣсколько пьяная. Его въ Польшѣ не уважаютъ, популярность его выдохлась въ Бельведерѣ (дворецъ великаго князя Цесаревича) и въ особенности въ сенатѣ, по послѣднимъ дѣламъ государственнаго суда. Впрочемъ, у насъ не знаешь, чѣмъ понравишься. Можетъ быть, въ немъ то и полюбили, что нація отворотилась отъ него».

Съ виду снисходительное, а, въ сущности, довольно высокомѣрное отношеніе Вяземскаго къ польской націи можетъ быть объяснено тѣмъ, что, чувствуя себя вполнѣ русскимъ человѣкомъ, онъ за русскимъ народомъ признавалъ призваніе государствовать, нѣчто вродѣ того, что у Виргилія выражено въ стихѣ: «Tu regere imperio populos Romane memento». Онъ писалъ (X, 20): «Русская тонкость, лукавство и смѣтливость сами собою изъ каждаго умнаго русскаго дѣлаютъ дипломата, а мы отказываемся отъ своей полуазіатской природы и дипломатизируемъ на французскій и англійскій ладъ». Властвовать, по его понятіямъ, не значитъ вытравлять и

уничтожать не вполнѣ русскіе элементы въ государствѣ, растирая силой на порошокъ цѣнныя зерна ихъ вѣками накопившихся культуръ, но, бережливо пользуясь этими зернами, употреблять ихъ для достиженія цѣлей высшихъ, нежели тѣ, которыя могутъ быть у отдѣльныхъ составныхъ частей цѣлаго, цѣлей обще-государственныхъ. Въ насиліи Вяземскій видѣлъ, прежде всего, зло, несправедливость, а потому онъ и былъ открытымъ врагомъ принудительной руссификаціи. «Руссификація, — писалъ онъ,—о которой говорятъ и витійствуютъ наши бумагопотребители, дѣло очень легкое, но едва ли благонадежное; я до нея не охотникъ. Вы мѣтите въ одну цѣль, а попадаете въ другую, ей совершенно противную. Того и гляди, вы будете ставить въ вину окраинамъ вашимъ, что у нихъ растутъ тополи и каштаны и для вящаго однообразія захотите приневолить ихъ разсаживать у себя побольше ельника и ветлы» (VIII, 319).

X.

Въ лицѣ князя Петра Андреевича Вяземскаго сошелъ со сцены весьма еще недавно и на нашихъ глазахъ послѣдній русскій *классикъ* и въ литературѣ, и въ политикѣ, чистый государственникъ, безъ малѣйшей примѣси романтическаго народническаго элемента, замѣтный въ средѣ значительно позднѣйшихъ поколѣній, между которыми онъ очутился подъ старость, и по своему сословно-дворянскому оттѣнку, и по своему европейскому лоску, и по своей французской манерѣ мыслить и разсуждать,—однимъ словомъ, по качествамъ, которыя были у него общія съ образованнѣйшими дѣятелями временъ Екатерины II и Александра I. По русско-польскому вопросу, къ которому онъ непосредственно прикасался какъ общественный дѣятель съ совершенно опредѣленнымъ образомъ мыслей, у насъ не имѣется теперь никакихъ уцѣлѣвшихъ традицій. Не только от-

ставлена и схоронена та политика, которую Вяземскій проповѣдывалъ, называя ее классическою, и которая предоставляла соединенной въ 1815 г. на Вислѣ расположенной Польшѣ, въ виду ея сплошь польскаго сверху до низу населенія, извѣстную обособленность и автономію, но теперь можно сказать, что сдана въ архивъ и забыта программа другой политики, уже вполнѣ романтической, то-есть на сильно-народнической подкладкѣ Николая Алексѣевича Милютина и его сподвижниковъ,—программа демократическая, пытавшаяся создать новую крестьянскую Польшу и противупоставить ее прежней клерикально-шляхетской, но, все-таки, Польшу не древне-историческую, а этнографическую. Въ настоящее время одержала верхъ и осуществляется система, на видъ несравненно болѣе простая, которую князь Вяземскій считалъ легкою, но не надежною, — система обрусѣнія. Она нынѣ господствуетъ и представляетъ изъ себя нѣкоторымъ образомъ Колумба, когда онъ, по преданію, сдѣлалъ то, что́ никому изъ собесѣдниковъ не удавалось, а именно поставилъ стоймя, разбивъ его, правда, яйцо.

Если мы вникнемъ въ совокупность тѣсно связующихся взглядовъ Вяземскаго на русско-польскій вопросъ, то мы должны будемъ признать въ этихъ взглядахъ и явные недостатки, и заблужденія. Вяземскій напрасно отрицаетъ и даже является врагомъ идеи славянскаго міра, единенія и братства народовъ славянскаго племени. Обозначившійся уже страшный перевѣсъ и напоръ на Востокъ германскаго племени не можетъ не вызвать дружнаго противодѣйствія со стороны славянства. Идею славянскаго міра не выдумали московскіе славянофилы, она родилась естественно изъ склада обстоятельствъ и ей принадлежитъ, вѣроятно, будущее. Донынѣ она находится въ зачаточномъ состояніи, ее эксплуатировали эгоистически тѣ или другіе славянскіе народы, либо для усиленія себя помощью извнѣ, либо для распространенія внѣ себя своего господства. Въ будущемъ она должна

для значительной части Европы, для ея Востока, сдѣлаться исходною точкой и путеводною звѣздой политическихъ соображеній, весьма далеко идущихъ. Во всякомъ же случаѣ, только она можетъ послужить ключомъ для открытія русско-польскаго вопроса, для уложенія вѣковаго раздора и установленія безобиднаго сожитія съ сильнѣйшими славянскими народностями слабѣйшихъ, не рѣшающихся отречься отъ своей вѣры и своего языка. То, что представлялось для Вяземскаго желательнымъ послѣ мятежа 1831 года, а именно отсѣченіе царства польскаго, съ предоставленіемъ его собственной судьбѣ, немыслимо теперь послѣ того, какъ царство польское подведено подъ одинъ знаменатель съ коренными частями имперіи и какъ небольшая Пруссія усилилась и стала во главѣ первенствующей по своей боевой готовности европейской державы. Размежеваться этнографически съ польскимъ и другими разноплеменными элементами, отъ которыхъ пестрѣютъ западныя окраины, стало труднѣе, чѣмъ когда-нибудь. Историческія судьбы такъ перемѣшали эти племена, столько здѣсь наслоеній и оазисовъ, что разводъ немыслимъ, а вѣроятны только два пути: либо установленіе на началахъ терпимости сожитія подъ общимъ закономъ и на началахъ равноправности, либо принудительное денаціонализированіе болѣе слабыхъ численно или культурно племенъ болѣе сильнымъ и господствующимъ при помощи государственныхъ средствъ, т.-е. при мѣрахъ и законахъ исключительныхъ. Послѣднее князь Вяземскій считалъ не только не легкимъ дѣломъ, но и прямо невозможнымъ; если и допустить, что оно возможно, то нельзя не признать, что оно дѣло страшно-продолжительное, портящее систему законодательства исключительными законами, мѣшающее нормальному отправленію правосудія, крайне вредное экономически вслѣдствіе задерживанія имъ развитія производительныхъ силъ страны и достигающее весьма нескоро довольно бѣдныхъ, не соотвѣтствующихъ потерямъ и затратамъ результатовъ.

Что касается перваго изъ указанныхъ выше способовъ, то трудно сказать, оправдался-ли бы на дѣлѣ методъ Вяземскаго, предлагавшаго управлять поляками, какъ дѣтьми, пользуясь ихъ вѣрностью и легкомыслiемъ и заигрывая на ихъ національномъ самолюбіи.

Допустимъ, что легкомыслiе и преувеличенное чувство національной чести были бросающимися въ глаза характерными чертами общества польскаго, которое онъ наблюдалъ, но онъ могъ проглядѣть, и, вѣроятно, проглядѣлъ, другія, болѣе солидныя качества. Притомъ, народный характеръ преображается постоянно, онъ теряетъ одни качества и пріобрѣтаетъ другія, иногда весьма противуположныя, такъ что изъ наблюденій въ одинъ историческій моментъ нельзя составить понятія, которое бы годилось для другихъ, слѣдующихъ за тѣмъ моментовъ. Польское общество за послѣднія сто лѣтъ представляетъ примѣръ такого чрезвычайно быстраго измѣненія основныхъ чертъ народнаго характера. Оно было въ конецъ развращенное и до-нельзя продажное въ половинѣ XVIII вѣка. Когда послѣ перваго раздѣла Польши въ 1772 году наступилъ сильный кризисъ, ознаменованный перерожденіемъ умственнымъ, а затѣмъ реформами, и заключенный именемъ Косцюшки, то кризисъ этотъ хотя государства не спасъ, но пробудилъ патріотическій духъ, не унывающій и питающійся надеждами политической реставраціи. Ея искали поляки, выслуживаясь и у Наполеона, и у Александра I, а затѣмъ принимали участіе во всѣхъ сумятицахъ и революціяхъ европейскихъ, чѣмъ и стяжали себѣ репутацію людей неисправимо-безпокойныхъ. «Фантомъ Польши», о которомъ не разъ говоритъ Вяземскій, дѣйствительно показывался и толкался въ двери европейскихъ кабинетовъ, но онъ безповоротно исчезъ въ 1863 году. Съ тѣхъ поръ прошло четверть столѣтія, нація не похожа ни на ту, какую зналъ Вяземскій, ни даже на ту, съ которою имѣлъ дѣло Милютинъ. Она, видимо, присмирѣла, отрѣшилась отъ притязаній на политическую само-

бытность, но продолжаетъ давать несомнѣнные признаки жизни, ведя борьбу за свое существованіе на почвѣ экономической и въ области умственнаго труда. Живучесть націи, которая удивляла князя Вяземскаго, есть извѣстная нравственная сила, не подчиняющаяся внѣшнимъ мѣрамъ чисто-механическимъ. Съ нею нельзя не считаться. Можно внѣшними мѣрами сжимать неудобный элементъ и уплотнить его, превративъ почти въ хрусталикъ; можно также отмѣною ограничительныхъ мѣръ содѣйствовать свободному его существованію и даже распространенію его по всему организму. Каждому вопросу политики соотвѣтствуетъ извѣстное, наиболѣе удобное для разрѣшенія его время, когда его легко рѣшить, не бывъ развлекаемымъ никакими посторонними помѣхами или осложненіями, но нельзя никакъ избавиться отъ разрѣшенія задачи закрытіемъ на нее глазъ и утвержденіемъ, что самъ вопросъ вовсе не существуетъ.

Князь Вяземскій всю свою жизнь твердилъ, что надобно взять польскій вопросъ въ свои руки и рѣшить его по возможности снисходительно и наиболѣе льготно для поляковъ. Его сочиненія даютъ несомнѣнное свидѣтельство того, что въ Россіи даже и въ самомъ разгарѣ до страсти возбужденнаго націонализма раздавались противные крайностямъ трезвые и разумные голоса.

(Русская Мысль 1890 г., январьская книжка).

Пушкинъ въ польской новѣйшей литературной критикѣ.

Пушкинъ въ польской новѣйшей литературной критикѣ.

I.

Въ мартѣ 1886 года имѣлъ я въ Краковѣ два публичныя чтенія о Мицкевичѣ и Пушкинѣ предъ памятникомъ Петра Великаго. Я зналъ, что я вспахалъ еще нетронутую новь, но я не предвидѣлъ, что съ моей легкой руки начнется разработка въ польской литературѣ характеристики русскаго поэта. Бывшій студентъ кіевскаго университета нынѣ доцентъ краковскаго *Іосифъ Третякъ* напечаталъ въ 8 томѣ записокъ краковской академіи наукъ въ 1889 г. трудъ свой, довольно объемистый: «Слѣды вліянія Мицкевича въ поэзіи Пушкина», удостоившійся преміи отъ академіи. Характеристика Пушкина въ сочиненіи Третяка мало отличается отъ моей. Я сравнивалъ Пушкина съ зыбкою волною морскою. Я признавалъ въ немъ не героическій темпераментъ, но человѣка неунывающаго и возстановляющаго средь треволненій бури ревниво оберегаемую имъ свою независимость, вслѣдствіе необычайной упругости своей живой и веселой натуры. Третякъ опредѣляетъ Пушкина такимъ образомъ: «мастеръ живого слова съ большимъ благородствомъ въ мысляхъ, но не вполнѣ отвѣчающій требованіямъ молодого русскаго общества, жаждущаго

свѣта и свободы. Въ немъ не было матеріала на великаго гражданина; въ его душевной организаціи не хватало цемента, сообщающаго гранитную прочность прочувствованнымъ идеаломъ, не поддающагося никакимъ искушеніямъ и неудачамъ и дѣлающаго то, что предъ нами становятся точно мраморныя статуи такіе поэты, какъ Дантъ, Мильтонъ или Мицкевичъ». Я вовсе не задавался мыслью отыскать всѣ черты сходства въ мысляхъ и произведеніяхъ обоихъ поэтовъ и исчерпающимъ образомъ представить ихъ взаимныя другъ на друга вліянія. Меня занимала разгадка одного только спеціальнаго вопроса. Оба поэта въ двухъ своихъ произведеніяхъ поэтизировали каждый по своему лицо Петра Великаго. Я хотѣлъ разрѣшить на сколько и Мицкевичъ и Пушкинъ проникались заимствованными другъ отъ друга идеями, воспроизвели взятыя другъ отъ друга мысли или на эти мысли отвѣчали? Признаюсь, что я былъ крайне остороженъ въ моихъ предположеніяхъ и предпочиталъ отвѣчать отрицательно, нежели выдавать за истину смѣлыя догадки, не поддерживаемыя солидными и убѣждающими доказательствами. Третякъ дѣйствовалъ смѣлѣе и рѣшительнѣе, зарубалъ поглубже, на нѣсколько вершковъ, гдѣ я позволилъ себѣ врубиться на одинъ. Онъ взялъ за исходную точку то положеніе, что поэзія Мицкевича оказала громадное и всестороннее вліяніе на Пушкина. Онъ старался опредѣлить это вліяніе, сопоставляя и сравнивая множество произведеній обоихъ поэтовъ, на которыя, по его мнѣнію, я не обратилъ вниманія. Г. Третякъ не могъ не затрудняться общею характеристикою поэзіи Пушкина, натуры неуловимой, котораго современники не даромъ называли Протеемъ, притомъ веселаго шутника, о которомъ часто нельзя быть увѣреннымъ, говоритъ ли онъ въ серьезъ или острить и насмѣхается. Опредѣленіе Третякомъ творчества Пушкина и исторія постепенныхъ превращеній этого творчества составляютъ самую существенную часть труда Третяка и требуютъ повѣрки. Есть въ этой

части замѣчанія проницательно мѣткія, есть и натяжки, которыя провалятся. Послѣ такой закладки фундамента въ видѣ исторіи развитія поэзіи Пушкина вообще, г. Третякъ проводитъ свой особенный взглядъ, совершенно противоположный моему на «Мѣднаго Всадника», пытается изгнать всякую загадочность изъ этого произведенія, сдѣлать его насквозь прозрачнымъ какъ стекло. Значительная разница въ истолкованіи двухъ произведеній. «*Pomnik Piotra Wielkiego*» Мицкевича и «Мѣднаго Всадника» сводится къ нижеслѣдующимъ тремъ пунктамъ.

1) По моему мнѣнію, вслѣдствіе національныхъ особенностей, вслѣдствіе «раздѣляющей на вѣкъ двѣ альпійскія вершины струи воды», оба наши поэта, даже и забывая про существованіе этой струи, не могли въ 1828 году сойтись предъ памятникомъ Петра Великаго въ тождественной оцѣнкѣ достоинства и значенія его реформъ. Я полагалъ, что, когда въ 1832 г., сочиняя въ Дрезденѣ «Памятникъ П. В.», Мицкевичъ передавалъ въ немъ свою бесѣду съ Пушкинымъ, дѣйствительно происходившую въ 1828 г., то онъ вложилъ въ уста Пушкина посредствомъ поэтической фикціи кой-какія личныя свои впечатлѣнія, напримѣръ образъ капитолійской статуи Марка Аврелія, которой Пушкинъ не видалъ никогда въ жизни и которую самъ Мицкевичъ созерцалъ только въ Римѣ въ 1830 году. Я полагалъ, что Мицкевичъ приписалъ также Пушкину кой-какіе личные свои польскіе, а не русскіе взгляды на *автократора* *). Г. Третякъ допускаетъ существованіе

*) Весь памятникъ Петра у Мицкевича состоитъ изъ 68 стиховъ, которые передаемъ дословно въ прозаическомъ переводѣ:

По вечеру подъ дождемъ стояли юноши двое
Подъ однимъ плащемъ взявшися за руки.
Одинъ былъ тотъ паломникъ—пришлецъ съ запада—
Другой былъ поэтъ русскаго народа,
Славный по пѣснямъ на цѣломъ сѣверѣ.
Они прожили вмѣстѣ не долго, но много,
И вотъ нѣсколько дней какъ они стали друзьями.

вымысла, но только въ мелочахъ, напримѣръ относительно статуи Марка Аврелія, но не допускаетъ возможности того, чтобы Мицкевичъ приписалъ Пушкину

Души ихъ, парящія надъ земными преградами,
Подобны двумъ родственнымъ альпійскимъ скаламъ,
Хотя ихъ на вѣки раздѣлила водяная струя,
Они еле слышатъ этотъ вражій шумъ
И клонятъ къ себѣ поднебесныя вершины.
Паломникъ задумался про колоссъ Петра,
А русскій поэтъ сказалъ ему тихо:
«Первому царю, создавшему сіи чудеса,
Другая царица ставила памятникъ.
Царь уже отлитъ во образѣ исполина
Сѣлъ на спину бронзоваго буцефала
И ждалъ мѣста, по которому бы ему проѣхать.
Но Петру не подобаетъ стоять на своей землѣ,
Въ отечествѣ ему нѣтъ надлежащаго простора,
За почвою для него послали за море,
Велѣли вырвать изъ финскихъ береговъ
Гранитный холмъ. По слову владычицы,
Холмъ по морю плыветъ и по сушѣ бѣжитъ
И падаетъ въ городѣ навзничь передъ царицею.
Готово все; скачетъ мѣдный царь,
Царь — кнутодержецъ по римски одѣтый въ тогу
Конь вспрыгнулъ на отвѣсный гранитъ,
На самый его край и становится дыбомъ.
«Нѣтъ, не таковъ въ престаромъ дальнемъ Римѣ
Любимецъ народовъ — Маркъ Аврелій,
Который тѣмъ впервые прославилъ себя,
Что прогналъ шпіоновъ и доносчиковъ,
А когда онъ укротилъ домашнихъ хищниковъ,
Когда на берегахъ Рейна и Пактоля
Онъ сокрушилъ орды варваровъ наѣздниковъ,
Онъ возвращается въ мирный Капитолій,
Лицо его прекрасно, благородно и кротко,
Въ лицѣ сіяетъ мысль о счастіи народовъ.
Руку онъ вознесъ торжественно, какъ будто бы хотѣлъ
Благословить кругомъ толпы своихъ подданныхъ,
Другою рукою онъ стягиваетъ вожжи,
Укрощаетъ пылъ своего коня.
Видно много людей стояло на пути
И кричали они: отецъ нашъ кесарь возвращается!
Кесарь тихо пробирается сквозь толпу,
Всѣхъ хочетъ одарить отцовскимъ взглядомъ,
Конь подымаетъ гриву, огнемъ изъ глазъ пышетъ,
Но вѣдаетъ, что везетъ милѣйшаго гостя,
Что везетъ отца милліонамъ дѣтей,
И самъ сдерживаетъ свой природный жаръ.
Дѣти могутъ подойти и соверцать отца,
Конь идетъ ровнымъ шагомъ по ровному пути,
И угадаешь что пройдетъ онъ и въ безсмертіе.

посредствомъ несвоевременной непрактичной и послѣ 1831 года уже неприличной фикціи того, чего онъ отъ Пушкина не слышалъ или что было бы прямо противоположно тому, что онъ отъ Пушкина слышалъ. Если бы нѣчто подобное случилось, Пушкинъ могъ бы обличить Мицкевича во лжи, чего однако онъ не сдѣлалъ; напротивъ того онъ опредѣлилъ Петра и его реформу чертами подобными тѣмъ, какими описалъ Петра самъ Мицкевичъ. По этимъ соображеніямъ г. Третякъ находилъ, что Мицкевичъ не присочинилъ ничего къ рѣчи Пушкина, помѣщенной въ его разсказѣ, что не могъ онъ также по непониманію или ошибкѣ дать совсѣмъ превратный смыслъ тому, что онъ отъ Пушкина слышалъ. Итакъ, по мнѣнію Третяка вотъ что произошло. Бесѣдуя съ Мицкевичемъ, Пушкинъ привелъ еще ходячій тогда довольно плоскій и льстиво рабскій стихъ Рубана (Нерукотворна здѣсь русская гора и т. д.). Стихъ этотъ подзадорилъ Пушкина, который хотѣлъ показать, какъ смотрѣлъ на тотъ же предметъ свободный русскій поэтъ. Со свойственною ему талантливостью и пластикою онъ сочинилъ либеральную эпиграмму, предвозвѣщающую паденіе колосса въ бездну. Эпиграмма врѣзалась въ память Мицкевича и онъ ее воспроизвелъ.

2) Извѣстно, что вслѣдствіе польскаго мятежа 1830 года братски подружившіеся поэты мысленно разошлись. Пушкинъ воспѣлъ взятіе Варшавы, а Мицкевичъ, не называя никого по имени, пустилъ ѣдкую и жгучую

«Царь Петръ вольно пускаетъ поводья,
Видно, что летѣлъ онъ, все попирая на пути,
Сразу вскочилъ на самый край скалы.
Уже бѣшеный конь поднялъ вверхъ копыта;
Царь не сдерживаетъ его конь скрежещетъ, закусывая удила,
Знаешь что онъ падетъ и разобьется въ дребезги.
Однако вѣка проходятъ, а онъ стоитъ, скачетъ но не падаетъ,
Какъ каскадъ, низвергающійся съ гранитнаго верха,
Когда замерзши онъ вдругъ надъ пропастью повиснетъ.
Но когда солнце свободы взойдетъ
И вѣтеръ съ запада согрѣетъ государства,
Что сдѣлается тогда съ каскадомъ тиранiи?

стрѣлу въ нѣкоторыхъ друзей москалей *(Do przyjaciół Moskali)*, посвящая имъ свое описаніе Петербурга. Я утверждалъ, что не доказано, чтобы Мицкевичъ мѣтилъ этимъ стихомъ спеціально въ Пушкина, потому что во всю свою жизнь Мицкевичъ избѣгалъ препирательства съ политикомъ Пушкинымъ и сужденій о немъ, какъ о политикѣ. Г. Третякъ того мнѣнія, что посвященіе «друзьямъ москалямъ» прямо направлено въ Пушкина и Жуковскаго.

3) Въ 1833 году Пушкинъ уже имѣлъ въ рукахъ третью часть «Дѣдовъ», съ прибавленнымъ къ ней эпизодомъ «Петербургъ» и съ посвященіемъ: «друзьямъ москалямъ» и воспользовался заимствованными оттуда замѣтками въ подстрочныхъ припискахъ къ «Мѣдному Всаднику». Я утверждалъ, что Пушкинъ не поднялъ брошенной Мицкевичемъ друзьямъ москалямъ перчатки и даже до конца жизни держалъ Мицкевича въ высокомъ почетѣ, но отмѣтилъ однако, что они другъ съ другомъ разошлись и что П. царапнулъ Мицкевича слегка и несправедливо въ одномъ изъ отрывковъ, по смерти Пушкина изданныхъ: «нашъ мирный гость сталъ намъ врагомъ... въ угоду черни буйной поетъ онъ ненависть». Я полагалъ, что этотъ отрывокъ былъ единственною отповѣдью Пушкина Мицкевичу за весь «Петербургъ» и за посвященіе друзьямъ москалямъ. Однако со временемъ Пушкинъ сильно измѣнился, прежній его либерализмъ улетучился, наступилъ поворотъ къ аристократизму, къ преслѣдуемому Петромъ боярству. Работы надъ исторіей Петра Великаго вызвали въ Пушкинѣ отвращеніе къ жестокости реформатора и заставили его потерять вѣру въ народнаго героя. Существеннымъ образомъ разойдясь съ Мицкевичемъ по коренному національному русско-польскому вопросу, Пушкинъ приблизился къ нему спеціально въ его взглядахъ на Петра Великаго. Онъ на Петра смотрѣлъ теперь почти такъ, какъ московскіе славянофилы, по инымъ только побужденіямъ, а именно по аристократическимъ, и готовъ

былъ злословить реформатору за его реформу. Это отрицаніе прежняго идола Пушкинъ намѣренно затушевалъ, прикрылъ, напустилъ туману, вслѣдствіе чего само произведеніе сдѣлалось загадочнымъ. Третякъ, напротивъ, не усматриваетъ въ поэмѣ никакой туманности. «Мѣдный Всадникъ» есть, по его мнѣнію, *во первыхъ*, по пунктамъ проведенная параллель эпизоду «Петербургъ», воспроизводящая всѣ мотивы творенія Мицкевича, и *во вторыхъ*, прямой отвѣтъ на посвященіе «Петербурга» друзьямъ москалямъ. Въ части этого эпизода, въ стихѣ *Pomnik Piotra Wielkiego,* Мицкевичъ вспомнилъ и воспроизвелъ ту минуту, когда Пушкинъ взиралъ на русское государство, какъ на «каскадъ тираніи», а въ посвященіи москалямъ онъ обвинялъ его коллективно съ другими (то есть, собственно его и Жуковскаго), что можетъ быть они «славятъ наемнымъ языкомъ царскія побѣды». Прочитавъ произведеніе Мицкевича, Пушкинъ уже не думаетъ ни о государствѣ, ни о его прочности, ни о Петрѣ и о нравственной оцѣнкѣ его реформъ. Онъ пишетъ «Мѣднаго Всадника» только съ цѣлью защитить себя отъ нареканій Мицкевича, защищаетъ же онъ себя способомъ, котораго цѣлесообразность въ глазахъ самого Третяка сомнительна, такъ какъ онъ, по словамъ Третяка, не покончилъ его счетовъ съ Мицкевичемъ. Содержаніе защиты передано Третякомъ слѣдующимъ образомъ: я проповѣдывалъ и проповѣдую свободу и всегда ненавидѣлъ тиранію, но я бы былъ сумасшедшій, если бы вступилъ съ тираніею въ открытую борьбу. Кто хочетъ жить въ Россіи, тотъ долженъ подчиняться всемогущей идеѣ государства, въ противномъ случаѣ она погонится за нимъ, какъ гнался, скача за Евгеніемъ, гигантъ на бронзовомъ конѣ. Вся поэма есть сплошное отреченіе поэта отъ активной борьбы, которая ему не по силамъ, передъ мощнымъ «каскадомъ тираніи». Это отреченіе и составляетъ личное оправданіе Пушкина, имъ самимъ приносимое.

II.

Таковы три статьи открытаго и нерѣшеннаго моего спора съ Третякомъ. Прежде чѣмъ я отвѣтилъ г. Третьяку, въ споръ вмѣшался г. *Маріанъ Здзѣховскій*, извѣстный и въ русской литературѣ подъ именемъ *Урсина*, со своею рецензіею труда Третяка, озаглавленною: *Nowe studyum o Puszkinie* (новый этюдъ о Пушкинѣ). Г. Здзѣховскій явился не въ качествѣ третчика и примирителя, ни одного изъ насъ двухъ спорщиковъ онъ не примирилъ, напротивъ того, его предположенія должны быть повидимому нами обоими отвергнуты, такъ что его вмѣшательство можетъ только содѣйствовать тому, чтобы въ нѣкоторыхъ пунктахъ мы съ Третякомъ дѣйствовали за одно и сдѣлались солидарны. Вопреки Третяку Здзѣховскій полагаетъ, что нѣтъ слѣдовъ сильнаго вліянія Мицкевича на Пушкина, то есть того, чтобы Пушкинъ заинтересовался и такъ сказать проникся поэзіей Мицкевича. Произведенія того времени польскаго поэта не могли заполонить Пушкина ни содержаніемъ своимъ, ни формою. Пушкинъ не могъ не видѣть въ нихъ отблесковъ подражаній нѣмецкимъ поэтамъ и Байрону, а тѣхъ поэтовъ и Байрона онъ изучилъ уже по подлиннымъ источникамъ. Отвергнувъ оптомъ самоважнѣйшую часть разбора Третяка, Здзѣховскій столь же рѣшительно и цѣликомъ становится на сторонѣ его въ выводахъ о «Мѣдномъ Всадникѣ». «Если можно сомнѣваться, говоритъ онъ, въ справедливости выводовъ критика о старѣйшихъ слѣдахъ вліянія Мицкевича на Пушкина, то сопоставленіе «Мѣднаго Всадника» съ «Памятникомъ Петра Великаго» не подлежитъ ни малѣйшему возраженію», то есть, что оно вѣрно вполнѣ, включительно до нравственнаго отреченія поэта отъ вольнолюбивыхъ мечтаній передъ каскадомъ тираніи. Посредствомъ престраннаго оборота мысли это признаніе отреченіе становятся ореоломъ, якобы озаряющимъ Пушкина

привлекательнѣйшимъ сіяніемъ. «Теперь-то, говоритъ г. Здзѣховскій, усугубляется наше сочувствіе къ Пушкину, потому что образъ его явился въ новомъ свѣтѣ съ неотразимымъ обаяніемъ страданія не героическаго, но какого то азіатски-фаталистическаго, возбуждающаго состраданіе по своей полной безпомощности». Оказывается, что по прочтеніи рецензіи г. Здзѣховскаго, мы очутились въ нездоровой атмосферѣ, мы дѣлаемся участниками невропатической чувствительности Достоевскаго, теоріи, проповѣдуемой маркизомъ Вогюэ въ его книгѣ о русскомъ романѣ, о страданіи, которое каково бы оно ни было и отчего бы ни происходило, освящаетъ всякую скверну; мы заражаемся безпредѣльнымъ соболѣзнованіемъ (pitié) всякому паденію, даже самому заслуженному. Въ словахъ г. Здзѣховскаго сквозитъ такое мягкое его отношеніе къ Пушкину, что въ сущности его мало интересуетъ реальный Пушкинъ; г. Здзѣховскій хлопочетъ только о томъ, какъ бы сохранить въ своемъ сознаніи Пушкина, какимъ онъ его себѣ представилъ, будучи очарованъ его стихами. Г. Здзѣховскій отвергаетъ мою характеристику Пушкина, какъ «лишающую образъ Пушкина того обаянія и той прелести, какую имѣютъ его пѣсни. Не хочется вѣрить, чтобы столь ясный и благородный пѣвецъ былъ въ сущности столь неимовѣрно легкомысленъ». Г. Здзѣховскій до того предрасположенъ въ пользу Пушкина, что онъ въ претензіи на Третяка за ироническій отзывъ сего послѣдняго о роли, которую взялъ на себя напрасно Пушкинъ,—быть поэтическимъ посредникомъ между царемъ и народомъ. Г. Здзѣховскій признаетъ, что роль истекала изъ благородныхъ побужденій. Поэтъ понялъ, что силъ его не хватитъ на то, чтобы разить самовластіе, онъ избралъ себѣ путь болѣе подходящій къ его силамъ, пытался мирить правительство съ общественными потребностями; когда-же увидѣлъ, что жестоко ошибся и недостигнулъ цѣли, тогда онъ проклялъ «Мѣднаго Всадника». «Не свидѣтельствуетъ ли такой поступокъ въ

пользу поэта, какъ доказательство благодарства его мыслей, въ то время когда онъ работалъ надъ примиреніемъ царя съ народомъ?»

Такъ поставленъ вопросъ г. Здзѣховскимъ. Разумѣется, что его можно разрѣшить только отрицательно и притомъ на основаніи соображеній самого-же автора рецензіи. Извѣстно всѣмъ спорное по своему содержанію стихотвореніе Пушкина: «Пророкъ». Я полагаю, что оно есть просто-на-просто изображеніе ветхозавѣтнаго библейскаго пророка. Мицкевичъ, Третякъ, Здзѣховскій и русскіе критики усматриваютъ въ немъ изображеніе поэта, какимъ онъ долженъ быть, когда исполняетъ приказаніе Бога: «глаголомъ жги сердца людей». По мнѣнію Третяка, «Пророкъ» представляетъ собою высочайшую вершину вдохновенія, на какую всходилъ когда-либо геній Пушкина. Въ этомъ стихѣ проявилась вдругъ душа Пушкина, какъ бѣлый цвѣтъ лиліи надъ тряскимъ болотомъ чувственности. Дѣло не стало однако въ уровень съ идеею. Поэтъ не послушался Бога, приказавшаго жечь глаголомъ сердца людей и отрекся отъ повелителя, то есть, поступилъ обратно тому, что предлагалъ Мицкевичъ въ одѣ на «Молодость» («соразмѣряй силы съ замысломъ, но не разсчитывай замысла по силамъ»). Оставивъ мысль о дѣятельной борьбѣ, отказавшись даже отъ тихой безмолвной оппозиціи, которая всегда возможна и не навлекаетъ на оппозиціонера особой опасности, Пушкинъ предложилъ свои услуги самодержавному правительству. На сторону правительства его могли склонять вѣскія побужденія и матеріальныя и сердечныя: чувство благодарности за дарованную ему свободу, государственная служба, денежныя средства, о которыхъ онъ долженъ былъ хлопотать передъ правительствомъ. Устранимъ всѣ эти низменные, мало достойные мотивы. Предположимъ какъ самое вѣроятное, что, поступая на службу правительственной политики, Пушкинъ руководствовался главнымъ образомъ мыслью, что лучше сдѣлать крошку добра, нежели гибнуть или

бездѣйствовать, то и въ такомъ случаѣ невозможно было оправдать подобный разсчетъ и подобный образъ дѣйствія ни результатами ихъ, хотя бы результаты были прекрасны, ни въ особенности свойствами самаго мотива. Вдаваясь въ активную политику, Пушкинъ совершилъ бы то, что онъ самъ воспретилъ дѣлать поэту въ стихотвореніи 1828 г. «Ямбъ» или «Чернь»: «Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ сметаютъ соръ — полезный трудъ! Но позабывъ свое служеніе, алтарь и жертвоприношенье, жрецы-ль у васъ метлу берутъ?». Вдаваясь въ политику по какому-бы то не было внутреннему общественному вопросу, поэтъ низводилъ съ высотъ вмѣстѣ съ собою и самую поэзію, ставилъ ее въ служебное положеніе, отчуждалъ ея независимость. Можетъ быть онъ и не торговалъ своею совѣстью, своимъ языкомъ, но по крайней мѣрѣ онъ льстилъ, кланялся и дипломатизировалъ, переставая быть, по выраженію Мицкевича, *le directeur des consciences* (правителемъ совѣстей) публики, постепенно къ нему вслѣдствіе того охладѣвающей. Потомъ онъ будто бы понялъ, что ошибся, что работалъ по пустому и не произвелъ ни малѣйшаго добра. Тогда онъ сталъ будто бы злословить владыкѣ, къ которому поступилъ на службу, вмѣсто того, чтобы винить самого себя за свой плохой разсчетъ. Ни въ этой приниженности, ни въ этомъ израсходованіи себя по мелочамъ, ни въ несправедливомъ упреканіи судьбы, когда приходилось упрекать самого себя, не усматриваю я ни малѣйшихъ основаній, которыя бы могли вызвать сочувствіе. Кончаю на этихъ общихъ замѣчаніяхъ мою полемику съ г. Здзѣховскимъ, чтобы затѣмъ состязаться съ однимъ лишь г. Третякомъ. Цѣль моя одна лишь правда; постараюсь освободиться отъ всякаго самолюбія и готовъ принять все то, въ чемъ г. Третякъ дѣйствительно меня исправилъ, дополнилъ или доказалъ, что я ошибся.

III.

Начну съ общей характеристики Пушкина въ этюдѣ г. Третяка. Африканская кровь, бѣшенство желаній, нѣжно любящее сердце, трезвый и почти по купечески разсчитывающій разсудокъ, отсутствіе равновѣсія въ характерѣ и выработанности его—таковы всѣмъ біографамъ Пушкина и г. Третяку извѣстныя психологическія черты Пушкина. Къ этимъ общеизвѣстнымъ чертамъ Третякъ отъ себя прибавилъ еще одну, объясняющую, почему Пушкинъ былъ въ высокой степени легкомысленный человѣкъ—недостатокъ религіозности, объясняемый вліяніемъ французской поэзіи XVIII вѣка, въ которой Пушкинъ былъ воспитанъ и которою онъ былъ насквозь пропитанъ. Г. Третякъ догматически религіозный человѣкъ. По его понятіямъ, религія приносится къ человѣку извнѣ, она выростаетъ изъ сѣмянъ, а такъ какъ Пушкинъ не получилъ ни дома, ни въ школѣ ни единаго такого сѣмечка, то для религіи сердце его было навсегда закрыто. По мнѣнію Третяка, сложите темпераментъ и воспитаніе — въ суммѣ получится характеръ человѣка. Если воспитаніе согрѣетъ человѣка религіознымъ огнемъ, тогда только онъ дѣлается способнымъ не только восходить къ высокимъ идеямъ, но и проникаться ими до мозга костей, подчиняясь имъ безусловно. Увѣривъ себя, что Пушкинъ лишенъ былъ всякой религіозности, а слѣдовательно и твердости характера, г. Третякъ лишилъ себя всякой возможности объяснить странный фактъ, что, вырвавшись на волю въ 1829 году и поскакавъ за Кавказъ, Пушкинъ мечтаетъ о миссіонерствѣ между черкесами (дневникъ путешествія въ Эрзерумъ) и что имъ тогда же начатъ изумляющій по красотѣ эпосъ *Галубъ*, изображающій христіанское апостольство черкеса Тазита между черкесами. Третякъ для объясненія этого факта, уничто-

жающаго его теорію, прибѣгаетъ къ предположенію, что Пушкинъ набрался религіозности у Мицкевича: въ этой поэмѣ, говоритъ онъ, чувствуешь вліяніе поэзіи Мицкевича, слышенъ отголосокъ идей Мицкевича о томъ будущемъ, когда «народы распри позабывъ, въ единую семью соединятся».

Всѣ эти умозаключенія чистѣйшій вздоръ. Характеръ не есть сумма темперамента и воспитанія, онъ есть продуктъ жизни, совокупность выработанныхъ за все прошлое время привычекъ воздѣйствовать почти автоматически на всякія приходящія извнѣ раздраженія и стимулы, на внѣшій міръ и окружающую среду. Религіозное тепло не есть единственный способъ укрѣпленія и закаленія характера. Даже атеистъ можетъ имѣть твердый и прекрасный характеръ. Третякъ смѣшалъ религіозное чувство, неискоренимое въ душѣ, составляющее ея потребность, вслѣдствіе которой совсѣмъ, повидимому, павшія религіи легко возрождаются и отрастаютъ, съ религіознымъ догматомъ, который сообщается только преданіемъ, то есть посредствомъ обсѣмененія, но сѣмянъ этихъ пропасть въ общественной атмосферѣ, они приносятся каждому съ вдыхаемымъ имъ воздухомъ. Всѣмъ извѣстно, въ какомъ упадкѣ была религіозность въ XVIII вѣкѣ; она какъ будто бы совсѣмъ изсякла. И Мицкевичъ и Пушкинъ питались въ юности чистѣйшимъ раціонализмомъ XVIII вѣка; оба они явились дѣйствовать въ моментъ всеобщаго, внезапнаго и неожиданнаго эстетическаго возрожденія религіозности въ романтизмѣ. Что касается Мицкевича, то нѣтъ данныхъ, которыя бы подтверждали, что онъ былъ когда либо невѣрующимъ человѣкомъ, хотя впослѣдствіи онъ бунтовалъ, доходя до самаго богохульства въ 3 части «Дѣдовъ»; однако слѣдуетъ полагать, что когда нибудь въ молодости, онъ хворалъ неизбѣжною корью безвѣрія. Въ эпоху своего общенія съ Пушкинымъ его религіозность была весьма недалека отъ байроновской, то есть она была весьма сильно философская, совсѣмъ не обрядовая.

Мы знаемъ положительно когда онъ сдѣлался настоящимъ римскимъ католикомъ и сталъ впервые послѣ долгихъ лѣтъ исповѣдываться. То было въ Римѣ въ концѣ 1830 г., когда онъ узналъ о вспыхнувшемъ польскомъ движеніи. Вопросъ о томъ, когда народы въ одну семью соединятся, могъ быть разбираемъ въ бесѣдахъ Мицкевича съ Пушкинымъ только на почвѣ единенія въ свободѣ, но никакъ не на почвѣ единенія въ религіи и притомъ онъ могъ быть обсуждаемъ Мицкевичемъ только въ свѣтѣ той главной идеи, которая въ эту эпоху поглощала все поэтическое творчество Мицкевича, то есть въ свѣтѣ идеи *валенродизма*. Примѣнять эту идею къ кавказскимъ отношеніяхъ взялся не Пушкинъ, а Лермонтовъ въ «*Измаилъ-Бей*», бѣгломъ русскомъ кадетѣ, вазмутителѣ черкесовъ, но тайномъ христіанинѣ. Валенродъ тоже христіанинъ и обратилъ въ христіанство жену свою, Альдону, но онъ не желаетъ и не можетъ апостольствовать между своими земляками-литовцами, потому что его стремленіе — отстоять свою родину, хотя и языческую, отнять же у древней Литвы ея языческую вѣру, значитъ посягнуть на ея жизнь и самобытность, вести ее къ самоубійству. И такъ Тазитъ въ Галубѣ не навѣянъ Мицкевичемъ, и не состоитъ съ произведеніями Мицкевича ни въ какой степени родства. Я думаю, что миссіонерскія затѣи внушилъ Пушкину духъ его племени, раса его не прочь отъ миссіонерства даже и оруженоснаго, она борется съ успѣхомъ и на религіозномъ поприщѣ съ послѣдователями корана въ средней Азіи. Въ отрывкахъ изъ путешествія въ Эрзерумъ Пушкинъ до того убѣжденный христіанинъ, что вѣритъ въ успѣшность апостольства одними словами убѣжденія. Эти отрывки должны были бы убѣдить Третяка, что Пушкинъ не остался на всю свою жизнь убѣжденнымъ «аѳеемъ». Всѣмъ извѣстно столько бѣдъ Пушкину причинило письмо его изъ Одессы (VIII, № 61 изд. Морозова), въ которомъ онъ сообщаетъ, что беретъ уроки чистаго аѳеизма, демонстрирующаго «qu'il ne peut exi-

ster d'être intelligent créateur et régulateur» *) и уничтожающаго слабыя доказательства безсмертія души — «система неутѣшительная, но больше всѣхъ правдоподобная». Это была проходящая вспышка, эпизодъ, проскользнувшій въ жизни Пушкина безъ слѣда. Послѣ того, разставшись съ «либеральными бреднями», Пушкинъ окунулся опять въ Михайловскомъ въ народническую среду, въ русскій духъ того времени, значитъ и въ религіозность. Я не думаю, чтобы панихида въ Михайловскомъ по усопшемъ боляринѣ (Байронѣ) была одно кощунство и глумленіе надъ религіей. Добавимъ, что даже въ Одессѣ и всю жизнь потомъ Пушкинъ зачитывался библіею, вдохновлялся ею, что послѣ одесской Гавріліады, онъ уже ни разу не кощунствовалъ и даже написалъ подъ конецъ жизни сатирическій по общему направленію, но исполненный глубокаго религіознаго чувства стихъ на «Распятіе—картину Брюллова» («Когда великое свершалось торжество»...).

Такой же недостатокъ точности и знанія замѣтенъ у Третяка въ его разсказѣ о самомъ началѣ литературной дѣятельности Пушкина и о вліяніи на него нѣкоторыхъ лицъ постарше его лѣтами, напримѣръ Чаадаева. Не подлежитъ сомнѣнію, что трудно писать статьи о Пушкинѣ въ Краковѣ, вдали отъ матеріаловъ и источниковъ. Главнымъ источникомъ служило Третяку изданіе Пушкина въ 7 томахъ подъ редакціею и съ примѣчаніями Морозова. Онъ изучилъ этотъ источникъ и сдѣлалъ изъ него выводы порою блистальные и остроумные. Однако самые коментаріи г. Морозова требуютъ критической повѣрки, Третякъ же не только слѣпо держался ихъ, но и самъ кое что отъ себя добавилъ, чего въ коментаріяхъ не было. По его статьѣ выходитъ, что и «Деревня» 1819 г. писана по вдохновенію отъ Чаадаева, что тотъ же Чаадаевъ поднесъ это стихотвореніе

*) Что не можетъ быть существа разумнаго, создателя и управителя.

императору Александру I; что затѣмъ стараніями и ходатайствомъ, между прочимъ, того же Чаадаева передъ государемъ, Пушкинъ освобожденъ отъ ссылки въ Соловецкій монастырь и поплатился только ссылкою на жительство въ Бессарабію за свою оду «Вольность», которую Третякъ сопоставляетъ съ «Одою на молодость» Мицкевича. Такой разсказъ даетъ читателямъ совсѣмъ невѣрное представленіе о Чаадаевѣ, какъ о какомъ-то знатномъ и могущественномъ придворномъ человѣкѣ, весьма приближенномъ къ престолу и вліятельномъ. Ничего подобнаго не было. Чаадаевъ подалъ въ 1820 г. въ отставку, будучи только въ чинѣ ротмистра, а состоялъ онъ до того адъютантомъ при командующимъ гвардіею князѣ Васильчиковѣ. Несомнѣнно, что Александръ I выразилъ желаніе познакомиться съ политическими стихотвореніями Пушкина, тогда Васильчиковъ досталъ ихъ при помощи своего адъютанта и представилъ государю. Въ числѣ ихъ была и «Деревня», относительно которой неизвѣстно, въ какой степени Чаадаевъ былъ ея иниціаторомъ. Когда нагрянула гроза и Пушкину предстояла ссылка въ Соловецкій монастырь, Чаадаевъ ворвался правда въ неурочный часъ въ кабинетъ Карамзина и горячимъ заступничествомъ за Пушкина заставилъ исторіографа бросить свои занятія и просить государя о помилованіи. Послѣ 14 декабря Чаадаевъ, бывшій въ то время заграницею, избѣгъ грозившаго ему несомнѣнно, преслѣдованія, затѣмъ онъ поселился въ Москвѣ частнымъ человѣкомъ недовольнымъ въ этомъ общемъ притонѣ недовольныхъ, систематическимъ, но молчаливымъ оппозиціонеромъ. Оба бывшіе друга очутились теперь на противоположныхъ полюсахъ: одинъ оппортунистъ, другой *intransigeant* (непримиримый). Оппозиція имѣла два теченія: одно славянофильское, величающее старину и предпочитающее Петру хотя бы Іоанна Грознаго, другое западническое, провозглашающее историческій нигилизмъ, ничтожество Россіи въ настоящемъ въ сравненіи съ цивилизованнымъ западомъ, съ Европою.

Чаадаевъ былъ европеецъ и русскій западникъ. Онъ проявилъ одинъ только разъ свою дѣятельность *философическимъ письмомъ* въ 1836 г., за которое журналъ Надеждина былъ закрытъ, а Чаадаевъ признанъ по Высочайшему повелѣнію помѣшаннымъ и подвергнутъ, на своей правда квартирѣ, леченію. Въ философическомъ письмѣ Чаадаевъ превозноситъ римскій католицизмъ съ его громаднымъ пріобрѣтеніемъ: независимостью церкви отъ государства. Чаадаевъ прислалъ Пушкину экземпляръ своей статьи и Пушкинъ отвѣтилъ интереснѣйшимъ критическимъ письмомъ, на которое вѣроятно не обратилъ вниманія г. Третякъ, письмомъ, опрокидывающимъ предположеніе Третяка о религіозномъ индиферентизмѣ Пушкина и о его омертвеніи для религіозныхъ идей. Пушкинъ сильно измѣнился съ 1826 г. по 1836 г. Въ 1826 году онъ писалъ князю Вяземскому (VII № 172): «я, конечно, презираю мое отечество съ головы до ногъ, но мнѣ досадно, что иностранцы раздѣляютъ со мною это чувство». Въ 1836 г., отвѣчая Чаадаеву, онъ уже сталъ на сторонѣ славянофильскаго теченія и защищалъ Россію противъ обвиняющихъ ее въ историческомъ ничтожествѣ слѣдующими характерными словами (VII № 471): «comme homme de lettres je suis aigri, comme homme à prejugés ju suis froissé, mais je Vous jure sur l'honneur, que pour rien au monde je n'aurais voulu changer de patrie, ni avoir d'autre histoire, que celle de nos ancêtres, telle que Dieu nous l'a donnée» [1]). Мало того, Пушкинъ вступался за православіе. «Что-жъ изъ того слѣдуетъ, что мы почерпнули нашу религію въ нечистомъ источникѣ презрѣнной Византіи? Nous avons pris des Grecs l'évangile et les traditions et non l'èsprit de puérilité et de controverse. Le conviens que notre clergé est en retard.

---

[1]) Какъ литераторъ я озлобленъ. Какъ человѣкъ съ предразсудками (т. е. какъ потомокъ бояръ) я непріятно задѣтъ, но клянусь вамъ честью, что ни за что въ мірѣ не желалъ бы я промѣнять мое отечество или имѣть иную исторію, не такую, какую далъ намъ Богъ.

En voulez vous savoir la raison? C'est qu'il est barbu, voila tout. Il n'est pas de bonne compagnie» [2]).

IV.

Слѣдуя шагъ за шагомъ за Третякомъ, я протестую противъ сравненія оды—«вольность» съ одою «на молодость» и противъ передаваемаго Третякомъ содержанія Онѣгина. Всѣ граждански-политическіе стихи Пушкина, написанные съ молоду, имѣютъ два недостатка: они суть подражаніе Андрею Шенье и притомъ они искусственны, напыщены, классически риторичны; однимъ словомъ они того рода поэзія, къ которому Пушкинъ уже не возвращался, когда возмужалъ и развернулъ свои крылья. Что касается до Онѣгина, то, по мнѣнію Третяка, байроновскій духъ сомнѣнія и презрѣнія пробѣгалъ по Пушкину не одною лишь легкою дрожью, но онъ вселился въ Пушкина, проникъ его насквозь и во многомъ видоизмѣнилъ его натуру навсегда. Практическій умъ Пушкина не допускалъ его вступать въ бой съ жизнью и ея условіями, но онъ и пріучилъ его за всѣ дары жизни отплачивать ей презрѣніемъ. Таковъ герой поэмы Онѣгинъ, въ котораго Пушкинъ вложилъ сознательно немалую часть своего я. Въ то же время Пушкинъ олицетворилъ въ товарищѣ Онѣгина, Ленскомъ, первый періодъ своей молодости, возрастъ, въ которомъ Пушкинъ поклонялся еще своимъ идеаламъ. Это изображеніе невѣрно отъ начала до конца. Пушкинъ не изобразилъ себя въ Ленскомъ, сантиментальномъ энтузіастѣ, довольно скучномъ и ходульномъ, въ этомъ нѣмцѣ по воспитанію, если не по рожденію. Моделью для Ленскаго служилъ, вѣроятно, лицейскій товарищъ Кюхельбекеръ, котораго Пуш-

[2]) Мы заимствовали отъ грековъ евангеліе и преданія, но не духъ мелочности и препирательства. Я согласенъ, что наше духовенство отстало. Хотите знать почему? Да потому только что оно бородатое. Оно не принадлежитъ къ порядочному обществу.

кинъ любилъ, но надъ которымъ и трунилъ иногда весьма жестоко. Что касается до Онѣгина, съ рѣзкими, нѣсколько разъ подчеркнутыми чертами въ его характерѣ, съ его охлажденнымъ, вслѣдствіе опыта, умомъ и резонированнымъ презрѣніемъ ко всему роду человѣческому, то надобно принять въ разсчетъ слѣдующее. Для того, чтобы презирать людей, мало одной рѣшимости въ видѣ постановленія: буду ихъ презирать; надобно еще прочувствовать это презрѣніе, какъ чувствовалъ его Байронъ, то есть иными словами, надобно быть ежеминутно проникнутымъ сознаніемъ своего личнаго, громаднаго превосходства передъ мизернымъ, среднимъ человѣкомъ и надобно быть ежеминутно готовымъ проявлять это превосходство тотчасъ же на самомъ дѣлѣ. Извѣстно, что Пушкинъ не обладалъ темпераментомъ бойца и боксера, что въ немъ не было ни крошки геройства, то есть охоты драться ради одной только драки. Трезвый его умъ впередъ взвѣшивалъ шансы неравной борьбы. Пушкинъ представлялъ собою типъ оппортуниста, приспособляющаго себя къ условіямъ жизни и среды. Отсюда слѣдуетъ, что байронизмъ, пессимизмъ и презрѣніе къ людямъ были въ Пушкинѣ лишь подражательныя черты. Онъ могъ играть жизнью, но не брезгалъ ею и ее не презиралъ. Можно также усомниться въ выводѣ Третяка о томъ, что судьба и казнь декабристовъ потрясли Пушкина до самаго его нутра, поразили его точно громомъ и произвели рѣшительный переворотъ въ его творчествѣ.

Въ черновыхъ тетрадяхъ Пушкина имѣется стихъ на смерть г-жи Ризничъ, помѣченный 29-го іюня 1826 г.; внизу приписка: услышалъ о смерти 25-го. Затѣмъ еще приписка: услышалъ о смерти Рылѣева, Пестеля и др. 24-го іюня. Итальянка Ризничъ была предметомъ страстной любви Пушкина въ Одессѣ; ей были посвящены многіе его стихи. Какой можно изъ этихъ данныхъ сдѣлать выводъ? Развѣ тотъ, что казнь декабристовъ не помѣшала Пушкину, когда онъ однимъ днемъ позже узналъ и о смерти г-жи Ризничъ, написать на эту

послѣднюю смерть трогательную элегію. Въ содержаніи этой въ сущности эротической элегіи г. Третякъ усматриваетъ отраженіе впечатлѣнія отъ извѣстія о казни пяти декабристовъ, изъ которыхъ онъ зналъ лично одного только Рылѣева, да и того не очень близко. Вторымъ отраженіемъ впечатлѣнія отъ того же событія долженъ, по мнѣнію Третяка, служить «Пророкъ» — образецъ поэта, какимъ онъ долженъ быть, когда, освободившись отъ земныхъ вожделѣній и тревогъ, онъ становится во главѣ народа, стремящагося завоевать себѣ свободу. Я уже прежде въ моемъ этюдѣ о Пушкинѣ высказалъ, что «Пророкъ» кажется мнѣ простымъ подражаніемъ библіи, такимъ же какъ и другія подражанія Пушкина корану, Байрону, Данту. Пророкъ отнесенъ по времени написанія къ 1826 г., но неизвѣстно, писалъ ли его Пушкинъ до или послѣ казни декабристовъ. Къ современной Россіи «Пророкъ» можетъ быть относимъ лишь весьма иносказательно и метафорически. Пророка понимали метафорически, не объясняя иносказаніе точнѣе, Мицкевичъ и Достоевскій, избиравшій часто этотъ именно стихъ для публичныхъ чтеній. Мицкевичъ утверждалъ, что правда, высказавшаяся въ этомъ стихѣ, осталась у Пушкина «одинокая, ни къ чему неприкрѣпленная и какъ будто бы заблудившаяся». Сдѣлаемъ предположеніе, что «Пророкъ» есть лишь библейская поэма, то есть, что онъ не поэтъ, а только ветхозавѣтный пророкъ, какихъ ужъ больше нѣтъ, то есть человѣкъ, имѣющій откровенія свыше и возвѣщающій волю Божію. Начиная съ конца своего пребыванія въ Одессѣ, Пушкинъ не могъ позировать пророкомъ послѣ того какъ онъ оставилъ «либеральныя бредни», почувствовалъ инстинктивно близкое паденіе друзей и написалъ въ стихѣ: «Изыде сѣятель» слова: къ чему стадамъ дары свободы—ихъ должно рѣзать или стричь. Для занятія труднаго поста вождя, руководящаго народомъ въ его поступательномъ движеніи необходимы слѣдующія личныя условія: 1) неодолимая ненависть къ произволу, 2) вѣра

въ народъ и 3) вѣра въ свободу, какъ осуществимый идеалъ. Въ 1826 году Пушкину не были свойственны два послѣднія условія (вѣра въ народъ и въ свободу, какъ идеалъ практическій). Онъ предусмотрѣлъ паденіе тогдашняго либерализма. Онъ былъ свидѣтелемъ-очевидцемъ того какъ со свойственной русской натурѣ въ XIX вѣкѣ измѣнчивостью всѣ отвернулись отъ энтузіастовъ и на нихъ, такъ сказать, плевали. Что касается до перваго условія, то есть до непримиримости съ порядкомъ вещей, установившимся въ царствованіе Императора Николая, то свое предположеніе объ этой непримиримости Третякъ основываетъ всецѣло на стихотвореніи Пушкина «Анчаръ», въ которомъ высказалась якобы эта ненависть во всей ея глубинѣ и въ которомъ отражается будто бы непосредственное вліяніе Мицкевича. Это предположеніе чистый призракъ, что постараюсь доказать. Третякъ предлагаетъ читателямъ свой собственный переводъ «Анчара» на польскій языкъ въ которомъ есть слѣдующія неточности и натяжки. Слова: «непобѣдимаго владыки» переведены такимъ образомъ: «strasznego władce *autokratę*», что даетъ владыкѣ уже совсѣмъ византійскую окраску. Слова: «къ сосѣдямъ въ чуждые предѣлы» превратились въ *obce ludy* — чужіе народы, что сильно модернизируетъ представленіе и даетъ образъ какого-то завоевательнаго всепоглощающаго государственнаго организма, то есть современной Россіи. Чтобы установить настоящій смыслъ «Анчара» необходимо вспомнить, при какихъ условіяхъ писалось это стихотвореніе; надо справиться съ біографическими данными. Лѣтомъ и раннею осенью 1828 г. въ жару непрерывающагося вдохновенія Пушкинъ сочинилъ «Полтаву», работая усидчиво и быстро. 19 октября 1828 г. онъ справлялъ съ товарищами лицейскую годовщину и того-же числа ночью на почтовыхъ отправился въ Тверскую губернію въ Малинники—вотчину г-жи Осиповой. Къ тому времени, вѣроятно, кончилось всякое непосредственно личное общеніе между поэтами. Пушкинъ вер-

нется въ С.-Петербургъ только въ январѣ 1829 г., и то, на короткое время, а въ мартѣ онъ уже отправится на Кавказъ, между тѣмъ, какъ Мицкевичъ уѣдетъ въ маѣ 1829 г. на пароходѣ изъ Кронштадта заграницу. Въ Малинники Пушкинъ пріѣхалъ 27 октября. Перечисляя все написанное въ Малинникахъ, въ томъ числѣ и «Анчара», П. В. Анненковъ свидѣтельствуетъ, что въ этихъ произведеніяхъ «нѣтъ ни тѣни душевнаго безпокойства и волненія, которыми отличаются произведенія той-же весны и лѣта 1828 г., до того они веселы и спокойны. Письма Пушкина изъ Малинниковъ переполнены забавнѣйшими шутками и паясничествомъ, напримѣръ, посланіе къ Соболевскому (VII, 205), помѣченное однимъ и тѣмъ-же числомъ, какъ и «Анчаръ» — 9 ноября 1828 г. (У Гальони иль Кальони закажи себѣ въ Твери съ пармезаномъ макароны, да яичницу свари). Къ Дельвигу (VII, 206) онъ тогда-же писалъ: «здѣсь мнѣ очень весело. Толстѣю и поправляю себя въ здоровьѣ. Поцѣлуй себя въ пупокъ, если можешь». Ни при жизни, ни по смерти Пушкина ни одинъ русскій критикъ, ни писатель не открылъ въ «Анчарѣ» ни малѣйшаго признака мысли революціонной, приписываемой Третякомъ Пушкину. Вотъ слова Анненкова (Воспоминанія и очерки III, 257): «пьеса (Анчаръ) не имѣла ничего преднамѣреннаго и цѣликомъ вылилась безъ всякой примѣси изъ поэтическаго созерцанія людей и природы». Анненковъ описываетъ, какъ упалъ духомъ Пушкинъ, соображая, чего можно ожидать въ будущемъ для затѣваемой имъ газеты отъ подозрительности третьеотдѣленскаго надзора, придиравшагося къ содержанію «Анчара». Замѣтимъ притомъ, что предположеніе Третяка совсѣмъ несогласимо съ достовѣрно извѣстнымъ настроеніемъ Пушкина и Мицкевича въ историческій моментъ возникновенія Анчара, то есть въ концѣ 1828 года.

Въ этотъ моментъ новое царствованіе еще окончательно не опредѣлилось тѣми чертами, которыми отмѣчено въ исторіи. Новый государь импонировалъ Пуш-

кину, за сердце его взялъ своимъ личнымъ съ нимъ обращеніемъ, поселилъ въ немъ надежду лучшаго грядущаго. По природѣ своей оптимистъ Пушкинъ неосновательно, но твердо надѣялся, что декабристовъ возвратятъ изъ Сибири, что... «свобода... васъ приметъ радостно у входа, и братья мечъ вамъ отдадутъ». Не только Пушкинъ, самъ Мицкевичъ былъ еще не тотъ; когда его озлобятъ, когда его задѣнутъ въ его патріотическомъ чувствѣ, тогда онъ сдѣлается терпкимъ и горечи преисполненнымъ сатирикомъ, и напишетъ третью часть Дѣдовъ и Памятникъ Петра Великаго. Въ 1828 г. императоръ Николай былъ для него королемъ конституціоннымъ. Въ 1829 г. онъ писалъ къ земляку Ѳаддѣю Булгарину 12 іюня изъ Берлина слѣдующія слова: «я получилъ изъ Варшавы извѣстіе о коронаціи. Я тамъ не былъ! я только издали раздѣляю радость моихъ соотчичей. Теперь государь въ Берлинѣ, его принимаютъ съ восторгомъ и, какъ слышно, онъ радъ своему посѣщенію Варшавы». Третякъ переноситъ чувства озлобленія и горечи, испытанныя Мицкевичемъ въ 1831 г. послѣ подавленія польскаго мятежа, на Мицкевича во время его общенія въ 1828 г. съ Пушкинымъ, затѣмъ заимствуя эти ѣдкія чувства отъ Мицкевича, онъ прививаетъ ихъ Пушкину, объясняетъ посредствомъ ихъ происхожденіе Анчара, и содержаніемъ Анчара доказываетъ зарожденіе въ головѣ Пушкина представленія о «каскадѣ тираніи». Тутъ я дотронулся до самой сути спора моего съ г. Третякомъ. Постараюсь объяснить, что наши поэты Мицкевичъ и Пушкинъ не могли въ 1828 г. согласоваться въ своихъ взглядахъ на Петра В., что взгляды эти у каждаго изъ нихъ были не тождественные, а особенные, что каскадъ тираніи, то есть государство россійское, не могло представляться Пушкину, какъ нѣчто, долженствующее разлетѣться въ дребезги подъ вліяніемъ съ запада европейской цивилизаціи.

V.

Стоя на томъ, что Пушкинъ былъ творцомъ либеральной эпиграммы Третякъ признаетъ, что это положеніе не согласуется съ фактомъ восторженнаго поклоненія Пушкина Петру, которое выразилось въ написанной во время общенія съ Мицкевичемъ «Полтавѣ», поклоненія, которому Пушкинъ всю свою жизнь остался вѣренъ, за исключеніемъ момента, когда онъ писалъ «Мѣднаго Всадника». Для того, чтобы одолѣть это препятствіе Третякъ прибѣгаетъ къ логическому *distinguo*. Полтавскій побѣдитель совсѣмъ не то, что Петръ реформаторъ. Полтавскій Петръ былъ побѣдитель внѣшнихъ наѣздниковъ, человѣкъ, украшенный въ глазахъ всего народа тѣмъ ореоломъ славы, которымъ онъ сіялъ въ глазахъ своихъ солдатъ и сподвижниковъ. Въ поэмѣ «Полтава» не было подходящаго мѣста для изображенія реформатора и истребителя всякой самосознающейся личности. Этотъ хитро придуманный доводъ не можетъ остаться въ силѣ въ виду несомнѣнныхъ фактовъ, свидѣтельствующихъ о противномъ, то есть въ виду того, что Пушкинъ въ Петрѣ прославлялъ постоянно реформатора. Въ «стансахъ» 1826 г. Пушкинъ воспѣваетъ того, кто «Правдой привлекалъ сердца, И нравы укрощалъ наукой, И былъ отъ буйнаго стрѣльца Предъ нимъ отличенъ Долгорукій... Онъ смѣло сѣялъ просвѣщенье... То академикъ, то герой, то мореплаватель, то плотникъ, Онъ всеобъемлющей душой, на тронѣ вѣчный былъ работникъ». Въ 1835 г. Пушкинъ пишетъ «Пиръ Петра Великаго» (Свѣтелъ сердцемъ и лицомъ... и прощенье торжествуетъ, какъ побѣду надъ врагомъ), а въ 1836 г. онъ пишетъ въ отвѣтъ Чаадаеву: «et Pierre le Grand qui à lui seul est une histoire universelle» [1]). Сообразимъ притомъ, что какъ либералъ и передовой человѣкъ Пуш-

[1]) А Петръ Великій самъ по себѣ есть цѣлая всеобщая исторія.

кинъ не могъ злословить Петру В., какъ передовому также человѣку. И либерализмъ и ретроградство не новѣйшія изобрѣтенія, они гораздо старѣе и эпохи Александра I, и эпохи Петра. Петръ, конечно, отличился тѣмъ, что онъ силою европеизировалъ Россію, прибѣгая къ самымъ жестокимъ средствамъ. Я допускаю, что на эту европеизацію люди XIX вѣка—Мицкевичъ и Пушкинъ должны были смотрѣть насмѣшливо и даже немного сатирически, но русскому человѣку, какимъ былъ до мозга костей Пушкинъ, не могло не быть, какъ день яснымъ то, что средство: «въ Европу прорубить окно» было единственнымъ возможнымъ способомъ быстро прогрессировать, было прямымъ путемъ къ гражданственности и свободѣ. Непримиримые славянофилы мечтали, конечно, о томъ, какъ-бы вернуться домой въ древнюю Москву. Это направленіе можетъ въ нѣкоторой степени одержать верхъ въ настоящемъ, въ моментъ царящаго національнаго шовинизма. Все-таки однако пока существуетъ малѣйшій остатокъ, если не либеральной партіи, то либеральнаго направленія, этотъ остатокъ будетъ по необходимости возобновлять и воскрешать преданія реформатора, то есть будетъ всасывать въ себя уже не внѣшнія формы, а самый духъ и само содержаніе европеизма. И такъ доводъ, почерпаемый изъ поэмы «Полтава» о невозможности происхожденія изъ головы и устъ Пушкина словъ: «каскадъ тираніи» остается въ полной силѣ. Развиваемое мною положеніе о томъ, что Мицкевичъ приписалъ Пушкину слова и мысли не пушкинскія, а свои собственныя, не можетъ быть опровергнуто и объясненіемъ краковскаго профессора графа Станислава Тарновскаго (Kwartalnik historyczny 1888 г.), которое приводитъ г. Третякъ и которое заключается въ томъ, что въ словахъ, приписываемыхъ Мицкевичемъ Пушкину, имѣется въ виду не Россія, какъ народность, но только политическая форма государства, созданнаго Петромъ, и предсказывается, что эта форма должна видоизмѣниться и сокрушиться, что нисколько не про-

тивно якобы предположенію, что чувства Пушкина были самыя патріотическія. Мнѣ кажется, что самъ вопросъ поставленъ не надлежащимъ образомъ и превратно. Поэты толковали не о политической формѣ государства, рѣчь заходила о самомъ государствѣ и о его существованіи, что признаетъ самъ Третякъ («Пушкинъ смотрѣлъ на государство, какъ на каскадъ тираніи»). Могъ ли въ 1828 году Пушкинъ, не переставая быть русскимъ человѣкомъ, вѣрить въ крушеніе и разложеніе на составныя части громаднаго государственнаго организма, въ которомъ оба и Мицкевичъ и Пушкинъ очутились непроизвольно, въ которомъ они случайно встрѣтились и сошлись?

Отнесемся къ этому вопросу трезво и безстрастно, не модернизируя помышленій людей до 1830 г. Послѣ ряда неуспѣшныхъ мятежей и въ особенности послѣ ужасающей катастрофы 1863 г. поляки пріучились раздѣлять аналитически въ умѣ народность и государство. Нынѣ они склоняются часто къ тому, что и ихъ предки— люди двухъ первыхъ четвертей XIX в. разсуждали точно также, что и они умствовали и думали скромно, низменно и прозаически. На дѣлѣ было совсѣмъ не такъ. Предшествовавшія поколѣнія польскаго народа грубо ошибались, сильно провинились и накликали тѣмъ на народъ жестокія бѣдствія, но ихъ озарялъ и въ невыразимой степени украшалъ блескъ высокой поэзіи, который и придавалъ всѣмъ движеніямъ выходцевъ 1830 г. престижъ геройства, значеніе всеобще-европейское. Въ глазахъ поляка Мицкевича, что выражала борьба съ каскадомъ тираніи? Прежде всего отпаденіе отъ великой державы, сверженіе ига, возсозданіе своего собственнаго государства въ непререкаемыхъ и дѣйствію давности не подлежащихъ границахъ историческихъ. Какой могла имѣть смыслъ для русскаго человѣка такая отстройка вновь польскаго государства съ соотвѣтствующимъ сокращеніемъ россійскаго, съ отстраненіемъ его на сѣверъ къ чухонцамъ и на востокъ къ татарамъ? Подобное сокра-

щеніе было бы равносильно матеріальному сокращенію самой народности русской, отсѣченію у этой народности безчисленныхъ корней, уже запущенныхъ въ нѣдра земель, бывшихъ еще недавно польскими, уничтоженію за однимъ махомъ всей исторической работы народа, заключавшейся, если не исключительно, то главнымъ образомъ въ выработкѣ съ непомѣрными пожертвованіями и усиліями одной великой громадины, одного государства внутри неустроеннаго, но крѣпкаго, внушающаго уваженіе и имѣющаго великую и совсѣмъ еще неопредѣлимую будущность. Разбейся это государство— русскій народъ потерялъ-бы свое первоклассное по матеріальной силѣ положеніе, всѣ свои историческія пріобрѣтенія и даже тотъ путь, по которому онъ шелъ въ послѣдніе вѣка. Народъ русскій снизошелъ бы до значенія чьего-то спутника въ имѣющей еще образоваться новой планетной системѣ государствъ. Никакой русскій человѣкъ не принялъ бы на такихъ условіяхъ предлагаемаго братства, если бы пошло на полную откровенность. Еще въ 1824 г., въ неконченныхъ стихахъ къ графу О., отчасти вошедшихъ потомъ въ стихотвореніе: «Клеветникамъ Россіи», Пушкинъ энергически выражалъ свои антипольскія чувства, изображалъ какъ мы «о камень падшихъ стѣнъ младенцевъ нашихъ разбивали... и топтали красу Косцюшковскихъ знаменъ», слѣдовательно, еслибы дошло до совершенно откровеннаго разговора съ Мицкевичемъ по польскому вопросу, то неизбѣжно Пушкинъ выразилъ бы то, что составляетъ основу «Бородинской годовщины» и «Клеветникамъ Россіи»: «Куда отдвинемъ строй твердынь? За Бугъ? до Ворсклы? до Лимана? За кѣмъ останется Волынь? За кѣмъ наслѣдіе Богдана?» Иными словами: вы прокутили ваше государство, а мы имѣемъ свое заработанное. Польши нѣтъ и ея не будетъ, слѣдовательно задача представляется иная; ее и формулируетъ Пушкинъ въ русскомъ духѣ, причемъ онъ является панславистомъ: «Славянскіе-ль ручьи сольются въ русскомъ морѣ, оно-ль изсякнетъ?—

вотъ вопросъ». Вѣроятно Пушкинъ склонялся къ наиболѣе мирному и крѣпкому общенію обѣихъ народностей въ предѣлахъ Россіи, какъ государства, но ему чужда была всякая мысль разбитія государства въ щепки, что неминуемо бы случилось при возстановленіи независимой цѣльной Польши въ ея историческихъ предѣлахъ. Не могъ онъ такъ думать по той патріотической логикѣ, которая ему внушила слова письма къ Чаадаеву: «клянусь вамъ, что ни за что въ мірѣ не желалъ бы я промѣнять отечество или имѣть иную исторію, не ту, какую имѣли наши предки, не такую, какую далъ намъ Богъ».

Если таково было постоянное настроеніе Пушкина, прямо противное національнымъ идеаламъ и стремленіямъ Мицкевича, то слѣдуетъ заключить, что наши поэты не дошли до щекотливыхъ мѣстъ и до болячекъ въ международномъ вопросѣ, что они не раскрылись другъ передъ другомъ на распашку, не выложили другъ передъ другомъ своихъ тайнъ, что и понятно. Люди ищутъ пріятныхъ впечатлѣній и избѣгаютъ непріятныхъ. Люди, влекомые другъ къ другу сочувствіемъ, не будутъ бесѣдовать о предметахъ, могущихъ ихъ поссорить и противныхъ обоюдному сближенію. Если бы они подвергали другъ друга допросамъ: какъ-бы ты поступилъ въ данномъ возможномъ, но сомнительномъ и спорномъ случаѣ? они походили бы на неимѣющихъ еще дѣтей супруговъ, которые поссорились по вопросу о томъ, какъ они будутъ воспитывать будущихъ своихъ дѣтей и вслѣдствіе этой ссоры развелись. Вопросъ о будущей организаціи Польши, а слѣдовательно и о распаденіи Россіи не стоялъ въ 1828 г. на очереди; онъ былъ бы преждевременный. Не было никакихъ признаковъ близкой катастрофы или даже видоизмѣненія отношеній Россіи къ конгрессовому царству польскому, возстановленному по волѣ Русскаго Монарха. Альпійскія вершины могли клониться одна къ другой, не слыша журчанія раздѣляющей ихъ водяной струи и даже позабывъ о ея существованіи. Сошедшись

ближе съ Пушкинымъ въ 1828 г., Мицкевичъ сохранилъ его на всегда въ своей памяти такимъ, какимъ онъ его тогда зналъ, слѣдовательно, съ предполагаемымъ вполнѣ сочувственнымъ расположеніемъ къ полякамъ, доходящимъ до мысли о возможности распаденія государства въ дребезги. Я полагаю, что на оптимизмъ Мицкевича въ этомъ отношеніи сильно повліялъ и громадный успѣхъ въ средѣ русской публики его Валенрода, съ лежащею на днѣ этой поэмы жгучею мыслью революціонно-политическою. Быстрое распространеніе поэмы внушило поэту слѣдующія слова посвященія друзьямъ-москалямъ: «вамъ я открылъ тайны, заключенныя въ чувствахъ, для васъ я всегда хранилъ голубиную простоту». Мицкевичъ ошибался, самообольщаясь: его произведеніе не было понято русскими со стороны задней мысли, таящейся въ его глубинѣ. Возбуждается однако вопросъ: могъ-ли Мицкевичъ приписать въ 1832 г. извѣстныя слова Пушкину, когда онъ уже положительно зналъ, что Пушкинъ совсѣмъ иначе настроенъ и что онъ можетъ прямо отвергнуть, какъ ложь, приписываемыя ему слова? Постараемся дать на это затрудненіе отвѣтъ.

VI.

Въ кого мѣтилъ Мицкевичъ, когда писалъ посвященіе «Петербургъ» друзьямъ-москалямъ? По этому предмету я дѣлаю уступку г. Третяку и признаю, что онъ правъ въ своемъ предположеніи. Мицкевичъ узналъ еще въ Дрезденѣ въ 1832 г., или, можетъ быть, даже въ Парижѣ, что есть русскіе поэты, которые воспѣваютъ побѣду царскихъ войскъ надъ поляками. На нихъ онъ пролилъ въ гнѣвѣ свою ѣдкую и горькую чашу въ посвященіи. Единственные поэты, воспѣвавшіе взятіе Варшавы, были Пушкинъ и Жуковскій. Прямой и всегда откровенный человѣкъ Мицкевичъ взялъ ихъ прямо на прицѣлъ. Онъ мѣтилъ въ нихъ лично, хотя и не назвалъ

ихъ по имени; онъ зналъ, что и безъ того его гнѣвъ и скорбь дойдутъ по адресу и уязвятъ. Третякъ открылъ и отмѣтилъ, что извѣстіе, о книжкѣ Жуковскаго и Пушкина «На взятіе Варшавы» дошло до Мицкевича, когда весь отрывокъ «Петербургъ» былъ не только написанъ, но даже и отпечатанъ, такъ что пришлось помѣстить посвященіе не въ началѣ поэмы, но въ самомъ ея концѣ (что и сдѣлано въ editio princeps). Мицкевичу предстояло рѣшиться на одно изъ трехъ: либо оставить «Памятникъ» какъ онъ былъ написанъ, либо видоизмѣнить его, либо совсѣмъ выкинуть. Мицкевичъ рѣшился на первое по слѣдующимъ соображеніямъ. Пушкинъ не поименованъ въ «Памятникѣ», приписываемыя ему Мицкевичемъ мысли и чувства соотвѣтствовали тѣмъ, какія Мицкевичъ предполагалъ присущими своимъ друзьямъ-москалямъ. Характеристику кнутодержца въ смыслѣ дерзновенной силы и страшнаго могущества Мицкевичъ могъ приписать Пушкину съ нѣкоторымъ правдоподобіемъ. Случилось же потомъ, что Пушкинъ воспроизвелъ почти ту же характеристику, лишь въ измѣненныхъ выраженіяхъ. Свои мысли о Петрѣ Мицкевичъ вложилъ въ уста Пушкину для усиленія впечатлѣнія, какъ разсужденія вольнолюбиваго русскаго прогрессиста, сдѣлавшагося вполнѣ европейцемъ по образованію. Ни прибавить, ни урѣзывать не приходилось. Обвиняя Пушкина въ посвященіи за перемѣнчивость его убѣжденій, Мицкевичъ ставилъ ему на видъ образъ его прежнихъ недавнихъ еще убѣжденій въ томъ видѣ, въ какомъ эти прежнія убѣжденія представлялись самому Мицкевичу. Страстный и сильно до несправедливости иногда увлекающійся въ своихъ влеченіяхъ и враждахъ партіонныхъ и національныхъ, Мицкевичъ бросилъ въ глаза измѣнившимся на его взглядъ бывшимъ друзьямъ жестокое обвиненіе. Третякъ принимаетъ безъ повѣрки это обвиненіе за настоящую истину, клеймитъ Пушкина и утверждаетъ, что самъ Пушкинъ предложилъ правительству свои услуги писательскія и публицистическія, что онъ нашелъ

въ Жуковскомъ покровителя, который, будучи самъ придворнымъ, втянулъ и Пушкина въ ту же сферу. По мнѣнію Третяка, чертя шовинистическіе стихи, Пушкинъ вступилъ на царскую службу; бывшій пѣвецъ свободы пересталъ обращать вниманіе на то, въ правомъ ли дѣлѣ торжествуетъ русское оружіе. Сдѣлавшись царскимъ угодникомъ въ ожиданіи милости для себя и либеральныхъ облегченій для народа, онъ превозносилъ русскій штыкъ. Послѣ этихъ стиховъ, оффиціально патріотическихъ, Пушкинъ, по словамъ Третяка, писалъ уже весьма мало и талантъ его изсякъ. Если бы все то, въ чемъ винитъ Третьякъ Пушкина—было истина, надлежало бы сильно понизить сдѣланную имъ-же этическую оцѣнку Пушкина. Мнѣ кажется, что Третякъ сильно увлекся и напрасно оклеветалъ русскаго поэта, къ которому ему слѣдовало отнестись безпристрастнѣе и справедливѣе.

Пушкина снѣдала жажда писать и дѣйствовать. Мучимый ею онъ ходатайствовалъ о разрѣшеніи ему издавать газету. Но свободныя разрѣшенія даются только лицамъ благонамѣреннымъ и пользующимся довѣріемъ правительства. Ходатайства, сопровождаемыя рекомендаціями со стороны лица, добивающагося разрѣшенія, не доказываютъ нисколько, что будущее изданіе будетъ оффиціознымъ органомъ, получающимъ отъ правительства спеціальныя пособія или указанія, или инструкціи. Нѣтъ никакихъ данныхъ, указывающихъ на то, чтобы Жуковскій писалъ свои стихи «На взятіе Варшавы» по внушенію правительства или, чтобы онъ сводилъ Пушкина съ дворомъ и правительствомъ. Естественнѣе было-бы предположить, что Пушкинъ пытался возстановить въ публикѣ свою популярность, пошатнувшуюся отъ перехода поэта на сторону правительства по части внутренней политики. Нѣтъ ни одного стихотворенія Пушкина, о которомъ можно-бы сказать, что оно писано наемнымъ перомъ. Соловей сѣвера чувствовалъ, что онъ страдалъ отъ недостатка свободы («какъ литераторъ я озлобленъ»),

принаравливался къ своему положенію, дипломатизировалъ и обольщалъ себя воображая, что онъ вліяетъ на правительство, но онъ не запрягался въ правительственную колесницу и не былъ способенъ писать безъ вдохновенія, то есть совсѣмъ не годился въ казенные поэты. Если сообразить эти условія положенія, отсутствіе данныхъ, обнаруживающихъ ближайшіе мотивы дѣйствія и весьма суровое отношеніе къ притязаніямъ поляковъ не задолго до знакомства съ Мицкевичемъ, то слѣдуетъ прійти къ предположенію, что къ написанію патріотическихъ стиховъ на взятіе Варшавы побуждали Пушкина не внѣшнія давленія, не сознаніе того, что эти стихи не повредятъ ему въ глазахъ правительства, что они понравятся публикѣ, но что его склонялъ къ тому просто на просто настоящій русскій патріотизмъ. Такъ какъ борьба уже кончилась осенью 1831 г., со взятіемъ Варшавы, такъ какъ имѣлись въ виду только требующія устраненія попытки вмѣшательства за побѣжденныхъ поляковъ иностранныхъ правительствъ, кабинетовъ и публицистовъ западно-европейскихъ, то стихи Пушкина направлены, главнымъ образомъ, въ этихъ вступщиковъ-иностранцевъ, поддерживающихъ этотъ «семейный споръ славянъ между собою». Пушкинъ видимо щадитъ поляковъ («Въ бореньѣ павшій невредимъ... И не услышатъ пѣснь обиды отъ лиры русскаго пѣвца»). Въ этихъ стихахъ сказывается недопускаемое Третякомъ коренное различіе между штыкомъ и штыкомъ, между польскимъ вопросомъ, какъ семейнымъ споромъ внутреннимъ, который надо кончить полюбовно, и между внѣшнею опасностью, требующею отраженія съ оружіемъ въ рукахъ; между предпочтеніемъ хотя-бы и деспотизма, но своего домашняго, и всѣми свободами и правами, которыя былибы пожалованы иностранцами послѣ крушенія каскада тираніи, то есть, послѣ потери политическаго отечества. Съ чужестранной точки зрѣнія можно и не раздѣлять этихъ чувствъ, но нельзя не признать ихъ существованія и ихъ общечеловѣческаго характера, свойствен-

наго всѣмъ вѣкамъ и народамъ и въ прошедшемъ и даже въ будущемъ, когда народы «въ единую семью соединятся».

VII.

Спрашивается, отвѣчалъ-ли Пушкинъ Мицкевичу и если отвѣчалъ, то какимъ образомъ, на вызовъ, брошенный ему въ посвященіи друзьямъ-москалямъ? Во всякой борьбѣ между людьми, слѣдовательно и въ литературной полемикѣ люди дѣйствуютъ обдуманно и цѣлесообразно. При существованіи сомнѣнія въ томъ, было-ли извѣстное писаніе полемическимъ отвѣтомъ на нѣчто другое, необходимо прежде всего сообразить, каково было содержаніе того перваго и соотвѣтствуетъ-ли отвѣтъ нападенію, какъ по своему содержанію, такъ и по калиберу, есть-ли онъ оружіе, подходящее для борьбы. Дуэль имѣетъ свои непремѣнные законы. Кто, отправляясь изъ дому, запасся только иголкою, ножикомъ или зонтикомъ, того не станутъ подозрѣвать, что онъ отправляется съ тѣмъ, чтобы драться на дуэли. За что озлобился Мицкевичъ на своихъ друзей-москалей? за ихъ пассивность-ли? за то, что 14 декабря они не вышли на площадь поддерживать заговорщиковъ! Или что они не стали подъ польскія знамена? или что не заявили себя открыто моральными противниками борьбы Россіи съ возставшею Польшею?—Нисколько. Мицкевичъ обвиняетъ ихъ въ активныхъ, нехорошихъ на его взглядъ дѣйствіяхъ, въ томъ, что отрекаясь отъ свободы они славили побѣды царскихъ войскъ наемными языками. Могъ-ли «Мѣдный Всадникъ», даже понимаемый такъ, какъ его понималъ Третякъ, служить отвѣтомъ на упреки Мицкевича?—Я полагаю, что нѣтъ. Отвѣтъ Пушкина есть якобы его повинная въ одной пассивности, въ недостаткѣ мужества, въ чемъ Мицкевичъ никого изъ русскихъ не обвинялъ. Представимъ, что на меня напалъ безъ причины

нѣкто, котораго я спрашиваю: зачѣмъ ты меня обижаешь? а онъ отвѣтилъ: я бѣжалъ потому, что струсилъ. Ясно, что мы другъ друга не понимаемъ и говоримъ о разныхъ вещахъ. Qui pro quo будетъ еще сильнѣе, если отвѣчающій не признается напрямикъ въ томъ, что онъ струсилъ, но будетъ извиняться съ прибаутками, со сказочками, съ ссылками на то, что трусили и великіе люди: Наполеонъ или Цезарь. Наконецъ, сумбуръ вышелъ бы непомѣрный, если бы оправдывающійся великій поэтъ вмѣсто простого отвѣта сочинилъ эпосъ изъ прошедшихъ временъ, предоставивъ потомкамъ ломать себѣ голову надъ разгадкою смысла поэмы. Вышло-бы то, что бывало въ Египтѣ. Стоятъ надъ Ниломъ пирамиды, а въ нихъ мумія какого нибудь фараона или только вола или ибиса, такъ что мы современные люди становимся втупикъ отъ несоразмѣрности по нашимъ понятіямъ страшныхъ затратъ на постройки и маленькихъ цѣлей, достигаемыхъ этими постройками. Имѣется громадный эпосъ, въ этомъ эпосѣ подъ ключами спрятана крошечная адвокатская защита, притомъ не коллективная защита цѣлаго поколѣнія, къ которому принадлежалъ поэтъ, или цѣлой Россіи въ томъ, что она орудіе ею-же созданнаго завоевательнаго деспотическаго государства, но единственно только защита своего я, маленькаго и непригляднаго по самому способу этой защиты. Подобная защита равняется тому, какъ-бы кто сталъ отмахиваться зонтикомъ отъ пистолетной пули или шпаги. Если «Мѣдный Всадникъ» считать отвѣтомъ, то надо прежде всего указать, кому отвѣчаютъ и на кого желаетъ отвѣчающій произвести впечатлѣніе, покрывающее и уничтожающее нападки. Пушкинъ не могъ оправдываться въ этомъ якобы отвѣтѣ передъ самимъ собою, не оправдывался онъ передъ Мицкевичемъ, которому не возражалъ ни на одно изъ прямыхъ его обвиненій, не оправдывался онъ передъ поляками, такъ какъ онъ не имѣлъ польскихъ связей и знакомствъ и ими не дорожилъ; неоправдывался онъ передъ своимъ народомъ и своею публикою,

такъ какъ ихъ то онъ удовлетворилъ вполнѣ и одушевилъ стихами «Бородинской годовщины» и «Клеветникамъ Россіи». Нашлись немногіе болѣе взыскательные судьи, каковъ былъ, напримѣръ, князь П. А. Вяземскій, которые находили, что въ стихѣ «Клеветникамъ Россіи» поэтъ двигался ползкомъ съ лирою въ рукахъ, но такихъ людей было весьма мало, можетъ быть одинъ одинешенекъ князь Вяземскій, да и тотъ, во-первыхъ, не уважалъ поляковъ и считалъ ихъ легкомысленнѣйшими въ мірѣ существами, во-вторыхъ, самъ въ севастопольскую войну 1856 г. пошелъ слѣдами Пушкина и сталъ сочинять самые плохіе шовинистическіе вирши, гораздо менѣе талантливо написанныя нежели пушкинскіе стихи. Наконецъ отмѣтимъ еще одно логическое неправдоподобіе въ предположеніи Третяка. Отвѣтъ исходитъ отъ человѣка щепетильнѣйшаго въ дѣлахъ чести, который ни одного изъ мельчайшихъ оскорбленій или неучтивостей не пропускалъ, но возражалъ на нихъ и даже вызывалъ на дуэль, тутъ-же въ этомъ отвѣтѣ вмѣсто возраженія дѣлается якобы признаніе въ полнѣйшемъ своемъ безсиліи передъ могуществомъ каскада. Третякъ толкуетъ такимъ образомъ смыслъ этого признанія: слѣдовало-бы бороться съ тираніею, но я бы былъ сумашедшій, если бы, живя въ Россіи, полѣзъ съ нею бороться, если-бы я не подчинился всеподавляющей идеѣ государства. Если-бы Пушкинъ и сознавалъ когда-либо въ себѣ недостатокъ гражданскаго мужества и боязнь передъ всепожирающимъ дракономъ государства, снѣдающимъ отдѣльныя личности, то ни за что и никогда онъ бы не признался въ этой боязни ни предъ избранными имъ же судьями, ни передъ ближайшими своими друзьями вслѣдствіе свойственнаго ему тончайшаго и болѣзненно раздражающагося чувства *point d'honneur* и вслѣдствіе высокаго мнѣнія о своемъ личномъ достоинствѣ. Пушкинъ не дорожилъ жизнью, ставилъ ее поминутно на карту, обладалъ въ высокой степени физическою отвагою. Онъ обладалъ и гражданскимъ мужествомъ, что доказываютъ

его непрерываемыя и не скрываемыя личныя сношенія съ друзьями, ссыльными декабристами. Если Пушкинъ склонялся на сторону правительства больше чѣмъ-бы того желали его поклонники, то отъ сего не уменьшалась его геніальность, а могла страдать только слава его, какъ гражданина, но поступалъ онъ такимъ образомъ не изъ боязни и не ради чаемыхъ милостей, а вслѣдствіе практичности своего весьма разсчетливаго ума, который ему указывалъ на непробиваемыя головою стѣны и вслѣдствіе оптимизма, который заставлялъ его всегда надѣяться, даже и тогда, когда надежды были несвоевременны и неумѣстны, наконецъ, вслѣдствіе того, что императоръ Николай дѣйствительно его поразилъ и морально себѣ подчинилъ («Лицейская годовщина 1836 г. «И новый царь суровый и могучій на рубежѣ Европы твердо сталъ»). Чувствуя необходимость подкрѣпить чѣмъ нибудь свой выводъ о боязни и признаніи въ ней Пушкина, г. Третякъ отыскалъ и представилъ въ видѣ рѣшающаго споръ довода отрывокъ: «Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума», который онъ толкуетъ такимъ-же образомъ, какъ толковалъ Анчара, то есть, въ томъ смыслѣ, что воспѣвать свободу въ Россіи, значитъ сойти съ ума, запрутъ тебя въ домъ сумасшедшихъ и станутъ обращаться съ тобою, какъ съ звѣрькомъ. Не знаю, куда можно зайти съ такимъ методомъ, громоздя одни предположенія на другія; такія постройки все-таки не болѣе, какъ карточные домики,—одинъ этажъ провалился и цѣлое зданіе рухнуло. Беру описаніе рукописей Пушкина Якушкинымъ въ «Русской Старинѣ», 1884 г. Отрывокъ: «Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума» посмертный, неизвѣстнаго времени, издателемъ угодно было безъ указанія основаній отнести его къ 1833 г., а можетъ быть онъ относится къ 1836 г., то есть, можетъ быть онъ написанъ, когда поэтъ узналъ о судьбѣ Чаадаева... Я ничего не утверждаю, я ставлю только одну догадку, чѣмъ-же она хуже догадокъ г. Третяка? Глубокій, сокровенный ея смыслъ пока сомнительный,

а прямой — это та боязнь сойти съ ума, которая преслѣдовала и Байрона, но извѣстно, что и Байронъ и Пушкинъ весьма мало были расположены къ сумасшествію. Гораздо склоннѣе къ нему былъ Мицкевичъ, который подвергся въ концѣ концовъ нѣкоторому умственному разстройству, вслѣдствіе прирожденной склонности къ мистическому, каковой совсѣмъ не было ни у Байрона, ни у Пушкина. Наконецъ, есть еще одно обстоятельство, указывающее на совершенную невозможность того, чтобы выходка Пушкина противъ Петра Великаго въ «Мѣдномъ Всадникѣ» могла родиться въ Пушкинѣ отъ свойственнаго обоимъ поэтамъ западно-европейскаго направленія. Ссылаемся на свидѣтельство Петра Петровича Вяземскаго, который удостовѣряетъ, что монологъ Евгенія въ «Мѣдномъ Всадникѣ» былъ первоначально гораздо длиннѣе (стиховъ на 40). Вяземскій его слышалъ и помнитъ, что въ немъ первоначально гораздо энергичнѣе звучала ненависть къ европейской цивилизаціи. Значитъ, когда Пушкинъ писалъ этотъ монологъ, онъ уже иначе былъ настроенъ, нежели въ 1828 году; онъ уже совсѣмъ отступилъ отъ западно-европейскаго либерализма не по демократическимъ мотивамъ, какъ-то сдѣлали многіе московскіе славянофилы, но по чисто аристократическимъ. Каковы-бы впрочемъ не были эти мотивы, не по нимъ, а по результату ихъ, по отрицанію пользы дѣятельности Петра, Пушкинъ весьма сильно сблизился съ Мицкевичемъ и его Памятникомъ Петра Великаго. Это ретроградство, это возвращеніе домой въ древнюю Москву вслѣдствіе развитія въ Пушкинѣ того, что онъ самъ называлъ *préjugés aristocratiques*, не только не поражаетъ ни Третяка, ни графа Тарновскаго, но оно кажется имъ чѣмъ-то совсѣмъ естественнымъ и даже похвальнымъ. Съ ихъ національно-польской точки зрѣнія недостатокъ Россіи заключается въ томъ, что въ ней не было здороваго и крѣпкаго боярства, могущаго служить противовѣсомъ все нивеллирующему деспотизму. По ихъ понятіямъ либеральныя стремленія и скорбь объ

атрофіи аристократизма вполнѣ совмѣстимы. Необходимо положить конецъ всѣмъ подобнымъ недоразумѣніямъ. Аристократическій элементъ весьма важенъ въ обществѣ и въ исторіи; онъ сослужилъ великую службу. Гдѣ его не было или лучше сказать, гдѣ онъ былъ атрофированъ, тамъ о томъ можно искренно сожалѣть, но подобное сожалѣніе похоже на то, когда бы сталъ сѣтовать человѣкъ, что у него крыльевъ нѣтъ и что поэтому онъ не можетъ летать. Отъ сѣтованія крылья не выростутъ. Если въ общественномъ организмѣ не достаетъ какого-нибудь органа для извѣстныхъ функцій, то искусственно выростить этотъ органъ невозможно. Нельзя создать аристократію гдѣ ея нѣтъ, какими бы прерогативами ни надѣлялъ ее законодатель, но недостатокъ ея могутъ восполнить другіе органы, между которыми могутъ быть распредѣлены функціи аристократіи. Можно возложить эти функціи отчасти на крупное землевладѣніе отчасти на среднее состояніе, которое тѣмъ особенно и хорошо, что воспринимаетъ охотно и, такъ сказать, всасываетъ въ себя и остаточные осадки древняго дворянства, неспособные держатся на подмытой и шатающейся дѣйствіемъ времени почвѣ привилегіи, монополіи, особенныхъ правъ и преимуществъ. Искуственно насаждаемая аристократія всегда жаждетъ привилегій, стремится къ власти, дорожитъ гражданскимъ неравенствомъ классовъ, но нельзя изъ нея извлечь ни малѣйшей искорки самопожертвованія на общее дѣло, нельзя ее пріохотить къ упорному даровому труду на пользу общества. Она страдаетъ всѣми недостатками привилегированной касты и не имѣетъ никакихъ доблестей, свойственныхъ имѣющему великое историческое прошлое дворянству. Если бы Пушкина волновала одна только скорбь о стертомъ и уничтоженномъ аристократизмѣ, то къ нему не слѣдовало бы конечно имѣть ни малѣйшей претензіи, но дѣло въ томъ, что послѣ того, какъ въ душѣ его произошло крушеніе идеаловъ либерализма, на этомъ запущенномъ полѣ подъ паромъ разрослись разныя вредныя растенія—бурь-

янъ, ковыль, дикая ромашка, всѣ барскія привычки и такіе же вкусы. Вслѣдствіе своихъ préjugés онъ заискивалъ у знати, проникалъ въ великосвѣтскія и придворныя сферы, удалялся отъ настоящаго интеллигентнаго слоя общества, проживался, должалъ и измѣнился до того, что сдѣлался противникомъ идей Радищева объ освобожденіи крестьянъ.

VIII.

И такъ г. Третякъ утверждаетъ, что «Мѣдный Всадникъ» былъ отчасти похожимъ на эхо откликомъ на отрывокъ «Петербургъ», и на посвященіе его друзьямъ-москалямъ, отчасти возраженіемъ и личною защитою Пушкина противъ Мицкевича. Есть личныя нападки, на которыя не возражаешь, чтобы не показать, что принимаешь ихъ на свой личный счетъ. Борьба для Пушкина была совсѣмъ неравная съ выходцемъ, на сторонѣ котораго были и европейскія симпатіи, и европейская печать. Пушкина могли бы заподозрить въ томъ, что онъ поднялъ брошенную перчатку не для того, чтобы защищаться, а для того, чтобы выслужиться передъ правительствомъ. Получивъ очень скоро послѣ напечатанія третью часть «Дѣдовъ» съ отрывкомъ: «Петербургъ» и съ посвященіемъ друзьямъ москалямъ, Пушкинъ пустилъ мимо глазъ и ушей «посвященіе» какъ къ нему не относящееся, но онъ не могъ не быть польщенъ своимъ собственнымъ изображеніемъ въ Памятникѣ. Изучивъ въ малѣйшихъ подробностяхъ отрывокъ «Петербургъ», Пушкинъ проникнулся этимъ произведеніемъ до глубины художнической души; оно ему понравилось. Возня съ архивными матеріалами къ исторіи Петра Великаго расположила его вообще противъ Петра; на этомъ солнцѣ онъ замѣчалъ уже многочисленныя и большія пятна. Подъ вліяніемъ идей Мицкевича, изученія архивныхъ источниковъ и усиливающихся постепенно аристократическихъ «предразсужденій», онъ взглянулъ

нѣсколько иначе, нежели въ былые годы на цивилизатора и его просвѣтительное дѣло. Современная Россія временъ императора Николая съ ея матеріальнымъ блескомъ, вооруженнымъ могуществомъ и европейскимъ лоскомъ показалась ему пустою, безжизненною, похожею на ту булыжникомъ мощенную площадь надъ Невою, по которой проскакалъ на бронзовомъ конѣ всадникъ, вскочившій потомъ на утесъ. Стоили-ли такого результата усилія, лишенія и жертвы? Когда подъ вліяніемъ стиховъ Мицкевича Пушкинъ сталъ созидать свой гораздо болѣе обширный эпосъ, то безсознательно и безъ участія воли его складывался образъ чертами, соотвѣтствующими тѣмъ, какими выразилъ мысль свою Мицкевичъ. Аналогія между обоими произведеніями въ самомъ дѣлѣ изумительная. Третякъ изобразилъ это сходство мастерски и весьма талантливо въ малѣйшихъ подробностяхъ. Относясь съ полнымъ уваженіемъ къ его труду, я бы только предложилъ ему провѣрить свои выводы по моимъ возраженіямъ вполнѣ критически и объективно. Тогда намъ бы вдвоемъ удалось можетъ быть выяснить интересные и исполненные значенія факты въ самомъ пунктѣ скрещенія двухъ родственныхъ литературъ, которыя въ извѣстный моментъ XIX в. весьма сблизились, но потомъ на неизмѣримое разстояніе разошлись.

(«Сѣверный Вѣстникъ», Октябрь 1891 г.).

Конрадъ Валенродъ.

(Публичное чтеніе въ Львовѣ 10-го сентября 1889 г.).

Конрадъ Валенродъ.

(Публичное чтеніе въ Львовѣ 10-го сентября 1889 г.)

I.

Въ прологѣ 3-ей части «Дѣдовъ» Мицкевича содержится слѣдующая надпись, начертанная рукою узника на стѣнѣ его тюрьмы: D. O. M. *Gustavus obiit MDCCCXXIII calendis novembris. Hic natus est Conradus.* Для драматическаго дѣйствія въ 3-й части «Дѣдовъ» эта надпись — вещь совсѣмъ лишняя и посторонняя; она интересна только какъ автобіографическая замѣтка. Скончавшійся Густавъ былъ человѣкъ мягкій, нѣжный, влюбчивый. То пламя отъ искры, которую высѣкаютъ изъ молодаго человѣка на всю его жизнь событія, зажегъ въ немъ взоръ любимой женщины, пламя горѣло какъ лампада въ гробницѣ, безъ всякой цѣли и пользы. Въ Густавѣ замерли Готфридъ Булвонскій и Янъ Собѣскій. Съ тѣхъ поръ питаемыя имъ желанія и чувства «пошли дорогою одною — отъ ней и къ ней, черезъ нее» [1]). Въ сердцѣ находившагося въ тюрьмѣ Конрада нѣтъ мѣста для половой любви, потому что всѣ его чувства ушли въ одну страсть, поглощены любовью, которая имѣетъ предметомъ не одного лица, не одну семью, не одинъ вѣкъ. Кто этотъ Конрадъ? — безспорно, что это Конрадъ Валенродъ, великій магистръ ордена

[1]) Переводъ Минаева.

крестовыхъ рыцарей. Собственно говоря день 1 ноября 1823 г., проведенный въ заключеніи въ монастырѣ василіянъ въ Вильнѣ, есть число соотвѣтствующее не возникновенію поэмы, имѣющей героемъ своимъ Конрада Валенрода, такъ какъ достовѣрно извѣстно, что Мицкевичъ сталъ писать эту поэму въ Одессѣ, кончилъ же ее въ Москвѣ, но написанію поэмы предшествовали этюды, приготовленія, выписки изъ древнихъ лѣтописей, изъ Дюисбурга (Переводъ М. I,22), изъ Коцебу «Preussens ältere Geschichte. Riga. 1808», сочиненіе, которое какъ доказалъ профессоръ Нэрингъ («Studya literackie», 1884) послужило главнымъ историческимъ источникомъ для Валенрода. Можетъ быть Валенродомъ занимался Мицкевичъ, когда онъ копался въ древнѣйшихъ печатныхъ изданіяхъ въ Ковнѣ, Вильнѣ или въ Щёрсахъ, въ библіотекѣ Хрептовичей 1821—1822. (Хмѣлевскій, «Адамъ Мицкевичъ», I,227). Изъ этихъ выписокъ сложилась уже поэма «Гражина»; безъ нея не могъ бы Мицкевичъ написать потомъ, безъ всякихъ источниковъ, прямо изъ своей головы, Валенрода. Но прежде чѣмъ народился Валенродъ, уже въ сердцѣ поэта побывало *валенродство,* жгучее чувство мести, преслѣдующее безсильнаго паломника, когда онъ видѣлъ какъ у его товарищей опускаются руки среди исполинскаго каменнаго города, при одной мысли, что человѣкъ его разрушить не въ силахъ. Одинъ онъ изъ всѣхъ одиннадцати спутниковъ «злобно засмѣялся, поднялъ руку, сжалъ ее и ударилъ въ камень, какъ бы угрожая этому каменному граду, потомъ вонзилъ два взора, точно два ножа въ великолѣпный дворецъ». Не подлежитъ сомнѣнію, что передъ нами позируетъ одно и то же лицо, являющееся либо крови жаждущимъ узникомъ, взывающимъ: «месть врагамъ съ Богомъ или хотя бы и помимо Бога», либо гордымъ юношею, котораго везутъ куда то въ даль въ кибиткѣ, либо пилигримомъ въ свои думы погруженнымъ и бѣгущимъ отъ мистика Олешкевича, хотя сей послѣдній привѣтствовалъ его символическими знаками «креста и

погони». Совершилось нѣчто въ родѣ индѣйскаго переселенія душъ. Духъ, одушевлявшій одно тѣло, являвшееся то въ образѣ узника и ссыльнаго, то въ образѣ паломника, покинулъ это тѣло и перевоплотился въ другое, сталъ великимъ магистромъ Валенродомъ. Это до очевидности ясно; оба воплощенія связаны идеальнымъ обручемъ: уподобленіемъ ихъ обоихъ родственному съ ними третьему лицу, а именно библейскому Самсону. Паломникъ въ «Петербургѣ» сравненъ поэтомъ съ Самсономъ, когда онъ, измѣнически захваченный и скованный, думалъ тяжелую думу въ храмѣ у филистимлянъ, пока не дождался благопріятнаго момента.—А въ послѣднемъ дѣйствіи Валенрода, составляющемъ развязку поэмы, Валенродъ восклицаетъ: «Все это сдѣлалъ я! Какъ я гордъ и великъ, такъ много снесъ я головъ у гидры однимъ взмахомъ, Я потрясъ какъ Самсонъ столпъ храма у враговъ, Разрушилъ зданіе и палъ надъ этою грудою!» Крестины не всегда слѣдуютъ тотчасъ за рожденіемъ, иногда проходятъ между этими моментами многіе года. Мы знаемъ исторію происхожденія и зарожденія перваго изъ тѣхъ шальныхъ страдальцевъ XIX вѣка, которыхъ по всему свѣту гнало ихъ внутреннее безпокойство, которыхъ мучили «ржавчина жизни» и «демонъ—мысль» (демонъ thought). Хотѣлъ Байронъ прозвать его *Child Burun*, потомъ онъ его назвалъ Чайльдъ Гарольдомъ. Такимъ онъ и остался навсегда, лицомъ типическимъ, живымъ, всякому совершенно извѣстнымъ. Тоже случилось съ Конрадомъ. Крестины справляемы были весною, въ 1832 г., въ Дрезденѣ, когда Мицкевичъ сочинялъ 3-ю часть «Дѣдовъ». Валенродъ былъ крестнымъ отцомъ, давшимъ свое имя герою поэтической автобіографіи, воспроизводящей поэтически страданіе юноши въ Вильнѣ; автобіографіи, въ которой правда и вымыселъ сплавились въ одно столь дивное произведеніе, что никому не придетъ уже въ голову интересоваться какимъ образомъ въ дѣйствительности шло слѣдствіе въ Вильнѣ, у Новосильцева.

Когда нѣжный Густавъ преображался въ питающаго черные замыслы революціонера Конрада, это перерожденіе было конечно подготовлено сильнымъ нравственнымъ потрясеніемъ душевнаго организма отъ внѣшнихъ причинъ. Внѣшнія причины дѣйствуютъ на людей весьма неодинаково. Въ 1848 г. при Императорѣ Николаѣ I сосланы были въ Сибирь весьма неопасные въ сущности утописты, мечтавшіе о заведеніи фаланстеровъ по теоріи Фурье, въ томъ числѣ и Ѳедоръ Достоевскій, приговоренный къ смертной казни и помилованный съ замѣною смерти въ ссылку въ каторжныя работы. Онъ вернулся изъ Сибири въ слѣдующее царствованіе, но вернулся уже православнымъ человѣкомъ, весьма религіознымъ, сектаторски одностороннимъ и притомъ абсолютнымъ монархистомъ. Въ душѣ Мицкевича угнетенію противодѣйствовали извѣстные интеллектуальные элементы, присущіе его душѣ, затѣмъ пошло исполненное горечи раздраженіе, которое кончилось непримиримою ненавистью къ властвующей силѣ, которую онъ считалъ зломъ и отъ которой онъ страдалъ не какъ недѣлимое, а какъ собирательное лицо. Въ числѣ этихъ элементовъ броженія, въ умѣ его происходящаго былъ и общераспространенный во всей Европѣ байронизмъ, озаренный особеннымъ сіяніемъ отъ славной кончины англійскаго поэта въ войнѣ за свободу грековъ въ 1824 г., то-есть въ то время когда Мицкевичъ сидѣлъ узникомъ въ монастырѣ у василіянъ. Вліяніе Байрона на Мицкевича было громадное, всякому замѣтное и такъ сказать осязаемое. Оно въ особенности сказалось въ Валенродѣ, угрюмомъ мрачномъ человѣкѣ, похожемъ на Корсара или Лару, изображая коихъ, Байронъ самъ съ себя писалъ портреты. Нэрингъ пишетъ (Studya 261): «характеръ Валенрода байроновскій, въ чемъ никто не сомнѣвается; человѣкъ онъ насильственный, страстный, нарушитель законовъ божескихъ и человѣческихъ, поклонникъ силы разрушающей, въ одномъ онъ только мягокъ, въ любви къ женщинѣ». «Въ этомъ характерѣ (стр. 296) сплетаются

презрѣніе къ тому что въ жизни человѣческой бываетъ его вѣнцомъ и любовь къ избранному имъ существу, что и производитъ ту двойственность которая лежитъ въ основѣ характера Байрона: смѣсь дикости съ нѣжностью». — Байронизмъ въ Валенродѣ до того поражалъ друзей Мицкевича «москалей», что при вручении поэту поминальной чаши на обѣдѣ устроенномъ имъ для Мицкевича въ Москвѣ, Баратынскій упрекая его за его колѣнопреклоненіе у байроновскихъ ногъ, взывалъ къ нему: возстань, вѣдь самъ ты богъ! — Мицкевичъ не скрывалъ вовсе того, что его сочуствіе къ Пушкину основывалось между прочимъ на томъ, что оба они были байронисты. Весьма великіе мастера готовы преклоняться и выражать признательность тѣмъ великимъ людямъ, которыхъ считаютъ своими наставниками или предшественниками. Такой гордецъ и самоувѣренный въ своей силѣ человѣкъ, какъ Байронъ не колебался, посвящая Гёте своего Сарданапала когда написать, что это даръ *of a literary vassal to his liege lord the first of the existing writers*. Мицкевичъ никогда ни передъ кѣмъ не признавался, что онъ такой вассалъ, но имѣется множество данныхъ, изъ которыхъ слѣдуетъ заключить, что Мицкевичъ считалъ Байрона своимъ любимымъ учителемъ и однимъ изъ величайшихъ поэтовъ въ мірѣ («Шекспиръ открылъ наиболѣе правды, въ сердцахъ людей и въ исторіи; Байронъ тоже правдивъ, но по искренности своихъ собственныхъ чувствъ» — Odyniec, listy 1, 139 изъ Веймара 1829). Мицкевичъ уважалъ Байрона и какъ человѣка. Высшимъ его идеаломъ былъ Наполеонъ, вторымъ затѣмъ былъ Байронъ, въ которомъ онъ усматривалъ отраженіе наполеоновскаго духа, отраженіе поэта дѣла, въ душѣ поэта слова.—Въ неконченной статьѣ М. писанной вѣроятно въ Москвѣ: «Гёте и Байронъ», имѣется курьезное, но далеко неубѣдительное объясненіе сродства этихъ людей считавшихся героями: «въ частной жизни страсти европейца бываютъ сильныя и бурныя.—Страсть не теряя своей силы, но наталкиваясь

на болѣе и болѣе многочисленныя препятствія, зависящія отъ законовъ, отъ расчетовъ и отъ приличій и воздерживаясь отъ дикой мести, получила характеръ пасмурной и въ самой себѣ замкнутой печали, чѣмъ она и разнится отъ благочестиваго подчиненія себя волѣ божьей любовниковъ средневѣковыхъ и отъ словообильной сентиментальности романовъ французскихъ и нѣмецкихъ. Таковъ характеръ любви у Байрона. Что приковывало къ себѣ вниманіе Европы на болѣе высокомъ политическомъ поприщѣ дѣятельности? общая продолжительная война, низпровергнутыя у великаго народа общія вѣрованія и убѣжденія, одинъ человѣкъ возвышающійся собственною силою и порабощающій многіе народы. Это зрѣлище внушило многимъ писателямъ печальныя мысли о родѣ человѣческомъ и его могуществѣ, о господствѣ надъ нимъ одного смѣлаго и геніальнаго человѣка: такова главная идея поэтическихъ произведеній Байрона». Къ этимъ мелкимъ уже давно извѣстнымъ замѣчаніямъ присоединилось еще одно небольшое, но характерное,— принадлежащее къ концу жизни поэта, къ эпохѣ когда умъ его помутился, когда онъ впалъ въ мистицизмъ. Поэтъ уже не различалъ понятій: хотѣть и мочь, не отдѣлялъ поэзіи отъ поэтическаго дѣйствія. Въ 1842 году онъ писалъ къ Александру Ходзькѣ (Кюзу 1887, № 1159): «къ чему поэзія? должна ли эта поэзія оставаться только въ книгахъ, а въ насъ самихъ становиться прозой? Должны ли мы, какъ статуя Мемнона, издавать звуки при восхожденіи солнца, не вѣдая почему мы издаемъ эти звуки? изображать жизнь въ твореніяхъ исполненныхъ красоты, а сами быть поваленными гробницами, которыя наполнены истлѣвшими костями? Пора, мой братъ, дѣлать поэзію. Думаешь ли ты, что бѣдный Байронъ написалъ бы столько великихъ строфъ, еслибы онъ не былъ готовъ покинуть санъ лорда и Лондонъ и пойти помогать грекамъ? Въ этой готовности его души и была вся тайна его писательской силы, которую другіе писатели хотѣли бы извлечь не

изъ его души, а изъ его писаній. Предъ нами, мой Олесь, (Саша) бо́льшій подвигъ, чѣмъ война за грековъ и міръ побольше байроновскаго, вотъ почему намъ и труднѣе почерпнуть достаточную силу, а почерпнуть ее мы можемъ только изъ себя самихъ».

И такъ Мицкевичъ былъ вполнѣ байронистъ въ моментъ перевоплощенія Густава въ Конрада. Байронизмъ въ извѣстной степени содѣйствовалъ такому перевоплощенію. По мнѣнію всѣхъ критиковъ и историковъ литературы Валенродъ исполненъ байроновскаго духа.— Что за причина, однако, что это произведеніе занимаетъ въ литературѣ мѣсто не отводимое подражаніямъ, не отводимое также и произведеніямъ, которыя заимствовали отъ чужаго источника свою форму, ни тѣмъ, которыя были зачаты отъ чужаго духа, какъ то случается иногда съ мелкими писателями? Написавъ Валенрода Мицкевичъ сдѣлался народнымъ поэтомъ, притомъ столь великимъ, что никто изъ позднѣйшихъ не могъ потомъ съ нимъ помѣряться ростомъ. Поэма затронула глубочайшіе нравственные вопросы, имѣла она и свою выдающуюся политическую сторону, совсѣмъ несхожую съ разнузданною и анархическою политикою Байрона. Творчество поэта сосредоточивается обыкновенно въ весьма немногихъ его шедѣврахъ, которые одни его переживутъ и перейдутъ къ потомству. У Мицкевича есть три такіе шедѣвра: «Валенродъ», импровизація въ 3-й части «Дѣдовъ» и «Панъ Тадеушъ». Теперешнее поколѣніе ставитъ «Пана Тадеуша» выше двухъ другихъ, но изъ этихъ двухъ другихъ трудно сказать которое произведеніе выше. Въ «Валенродѣ» поэтъ не падаетъ стремглавъ послѣ бѣшенаго полета къ звѣздамъ, Конрадъ осуществляетъ свое намѣреніе, притомъ замыселъ поэта столь неизмѣримо глубокъ, что и современники его не сразу раскусили, что и у послѣдующихъ поколѣній онъ не объясненъ еще вполнѣ. Мы убѣждены, что и послѣ тысячи новыхъ критическихъ этюдовъ будущимъ поколѣніямъ при объясненіи «Валенрода» придется многое еще досказывать.

Предваряю, что приступая къ разбору «Валенрода» я не буду строго держаться рамокъ поэмы, что я хотѣлъ коснуться зачатковъ поэтической дѣятельности Мицкевича изучить его байронизмъ и затронуть нѣкоторыя подробности, касающіяся виленскаго слѣдствія и пребыванія затѣмъ Мицкевича внутри Россіи. Начну съ этой предварительной работы.

II.

Первымъ произведеніемъ Мицкевича, носящимъ печать геніальности была его «ода къ Молодости» неизвѣстнаго числа, но во всякомъ случаѣ болѣе ранняя, нежели 4-я часть «Дѣдовъ» съ отшельникомъ Густавомъ, такъ какъ сія послѣдняя содержитъ въ себѣ уже отрывки изъ «оды къ молодости». Ода обращалась долгое время только въ рукописи; она, вѣроятно, написана до замужества Марыли (2 февр. 1821 г.), предмета первой страсти Мицкевича. Въ этомъ могучемъ восторженномъ изліяніи высокихъ чувствъ поэта проявляются и духъ XVIII в. (Льды неподвижные сойдутъ—И предубѣжденія тмящіе свѣтъ) и дерзновенные порывы новой эпохи, пытающейся совершать невозможныя предпріятія (умны когда мы бѣшены—ломай чего разсудку не сломать!), и небесное веселіе лицъ, связанныхъ золотою нитью дружбы или любви, молодыхъ титановъ, объединенныхъ идеею счастія всего человѣчества и мало заботящихся о своемъ собственномъ. (Счастливъ кто тѣломъ легъ своимъ, Воздвигъ ступень ко граду славы Великодушно онъ другимъ). Эта пѣснь, увлекающая людей къ орлиному паренію на высотахъ свидѣтельствуетъ о весьма высокомъ нравственномъ и умственномъ настроеніи кружка филаретовъ, котораго идеалами добра, просвѣщенія и красоты Мицкевичъ былъ насквозь проникнутъ. Такой восторгъ бываетъ свойственъ только юношамъ еще не сомнѣвавшимся, не страдавшимъ, не испытавшимъ зла,

не боровшимся съ практическими затрудненіями, а потому они и готовы разсѣкать гордіевы узлы, жертвуя своимъ счастіемъ, своею жизнью, лишь бы восторжествовала идея—всемогущее божество, пожирающее отдѣльныхъ людей. Сравнимъ это удальство, потому только могучее, что оно неопытно, съ другимъ болѣе человѣчнымъ и болѣе зрѣлымъ произведеніемъ: «пѣснь о Радости» Шиллера (An die Freude, 1785 г.). Сильно страдающій за свое писательское ухарство, 26-лѣтній Шиллеръ нашелъ матеріальную помощь и пріютъ у своего друга Кёрнера въ Лейпцигѣ, на груди котораго онъ излилъ свои слезы. Онъ и увѣковѣчилъ минуту успокоенія, которую ему доставила святая дружба, въ пѣснѣ столь же прелестной, какъ радуга на небѣ послѣ дождя. Паллеске (Schiller's Leben und Werke) весьма справедливо выражается, что несмотря на свою туманную мистичность она потрясла позвоночный мозгъ своего вѣка *(markerschütternd durch die Gebeine der Zeitfuhr)*. Она нашла потомъ себѣ другое еще выраженіе въ иномъ шедеврѣ, въ 9-й симфоніи Бетховена. Отъ Бога царящаго надъ звѣзднымъ-шатромъ, нисходитъ непрерывною сѣтью на землю союзъ людей, сочувствующихъ другъ другу и веселыхъ (*Wem der grosse Wurf gelungen eines Freundes Freund zu sein)*, союзъ любви и всепрошенія *(Seid umschlungen Millionen, Diesen Kuss den ganzen Welt... Groll und Rache sei vergessen... Unserm Todfeind sei verziehn)*. Святая дружба честныхъ людей основывается не на одной только плѣнительной привычкѣ дружески бесѣдовать съ музами, чему посвящена прелестная лицейская годовщина Пушкина 1825, но на болѣе прочномъ основаніи, на обожаніи добродѣтели (*Festen Muth im schwerem Leiden, Hülfe wo die Unschuld weint, Ewigkeit geschwornen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind... Männerstolz vor Königstronen*). Дерзновенная самоувѣренность «оды къ молодости» прилична только юному возрасту и притомъ только первой юности и должна была уступить

мѣсто компромисамъ съ реальными условіями жизни, когда 17-го апрѣля 1821 г. сочиненъ былъ совсѣмъ уже въ иномъ тонѣ «Пловецъ» (Żeglarz). Поэтъ сильно проболѣлъ въ Вильнѣ осенью 1820 г., потерялъ мать, получилъ незаслуженное и суровое замѣчаніе отъ университетскаго начальства, наконецъ онъ узналъ о совершившемся бракосочетаніи Марыли съ Путкамеромъ. Въ написанномъ подъ этими удручающими впечатлѣніями «Пловцѣ» напрасно усматриваетъ Третякъ парафразу гамлетовскаго монолога *to bè or not to be*. Это предположеніе опровергается формою начальныхъ положеній не глубокихъ, разсудочныхъ, начертанныхъ неопытною еще рукою. (Все живущее умираетъ—кричатъ люди. Крикъ этотъ вѣры моей не остудитъ). Число, которымъ помѣченъ «Пловецъ», предшествуетъ ближайшему знакомству автора съ англичанами. Въ эту эпоху Мицкевичъ возился главнымъ образомъ только съ Шиллеромъ. Мысль о самоубійствѣ блеснула въ его сознаніи, но затѣмъ брошена (И разомъ я-бы могъ кончить.). Весь огонь сосредоточенъ въ послѣднихъ стихахъ пѣсни; здѣсь проявляется удивительная самоувѣренность великой души, которая можетъ быть и погибнетъ, а можетъ быть и справится со своею судьбою, но заранѣе отклоняетъ уже всякіе пересуды людскіе о ея поступкахъ. «Вотъ — скажутъ — безумецъ» и «вотъ благодарность». (Вамъ тучи что крютъ мнѣ всю лучезарность Небесную, менѣе страшны, друзья; Вамъ вихри чуть слышны, что рвутъ мнѣ канаты; Громъ бьетъ здѣсь, а къ вамъ лишъ доходятъ раскаты. Переводъ Бенедиктова). («Судья долженъ быть не со мной, а во мнѣ. Пути наши розны: подите вы къ дому—Я-жъ дальше навстрѣчу и вихрямъ и грому»).

Страданія поэта истекали изъ общаго и ему и Байрону источника, изъ страшной памяти сердца, изъ способности воспроизводить въ умѣ не одни факты и не одни общіе отвлеченные результаты пережитаго (что бываетъ у ученыхъ и у людей-практиковъ), но самыя чувства, рождавшіяся отъ впечатлѣній въ ихъ перво-

начальной свѣжести и силѣ. Страданіе отъ пережитыхъ чувствительныхъ и непріятныхъ впечатлѣній не только не успокоивается, но въ теченіи долгаго времени усиливается и растетъ, потому что всю душу наполняютъ и еще сильнѣе мучатъ эти впечатлѣнія обособленныя, ничѣмъ не прерываемыя. Они походятъ на звуки индѣйскаго металлическаго барабана *гонга*, который послѣ удара звучитъ слабо, а потомъ все сильнѣе и сильнѣе вибрируетъ съ гораздо большею полнотою звука.—Точно такимъ же образомъ вибрировала въ душѣ Мицкевича съ 1821 по начало 1823 г., сплошь въ теченіи двухъ лѣтъ, болѣзнь любовныхъ страданій. По словамъ Зана она была похожа на опустошительный пожаръ лѣсной. Онъ освободился отъ этой болѣзни, какъ освобождаются артисты и поэты, то есть посредствомъ поэтическихъ родовъ; онъ поздоровѣлъ написавъ 4-ю часть «Дѣдовъ». Извѣстно поразительное сходство Вертера съ Густавомъ, но это сходство не было вовсе послѣдствіемъ подражанія. И Мицкевичъ и Гёте описали свои собственные, реальные пережитые ими припадки отчаянія.—Лотта съ Кестнеромъ и Марыля съ Путкамеромъ были ни въ чемъ неповинны передъ страдающими и имъ нельзя сдѣлать ни малѣйшаго упрека. Страдающіе могли только себя винить, свою влюбчивость, свою книжками вызванную экзальтированность, любви своей небеса и пытки, которыя крылья думъ его такъ къ верху заломили, что онъ уже не могъ спускаться до земли. Въ цѣлой поэмѣ едвали найдется хотя-бы одна байроновская черта; отъ начала и до конца поэма выдержана въ тонѣ введенной Руссо словообильной чувствительности безъ всякаго заклаа безъ всякой желчи, тающей отъ восторга и погружающейся въ отчаяніе отъ малѣйшей бездѣлицы, которая бы никогда не могла взволновать или разжалобить обыкновеннаго человѣка.

III.

Въ этомъ періодѣ разстройства всей нервной системы и болѣзненнаго раздраженія, Мицкевичъ получилъ временный отпускъ отъ своихъ учительскихъ занятій и впалъ въ британоманію послѣ германоманіи, что и отмѣтилъ въ своихъ письмахъ къ друзьямъ. «Я протискивался сквозь Шекспира съ словаремъ въ рукахъ» пишетъ онъ (Переп. I, 7). Потомъ въ Ковнѣ въ октябрѣ 1822 имъ же овладѣлъ Байронъ, вполнѣ его себѣ подчинившій (I, 5): «я одного Байрона читаю, всякую въ иномъ духѣ писанную книжку бросаю, потому что ненавижу ложь». — Послѣдующія слова письма объясняютъ почему Мицкевичъ въ эту пору жизни такъ смаковалъ Байрона, такъ проникнулся имъ и по байроновскому камертону настраивалъ свой собственный темпераментъ. — Мицкевичъ чувствовалъ въ себѣ нравственное истощеніе и упадокъ силъ, но такъ какъ онъ былъ весьма крѣпко сложенъ, то онъ обрѣлъ въ Байронѣ противоядіе, въ которомъ иногда нуждался. Онъ лечился всасывая въ себя всѣми порами сарказмъ, цинизмъ, безвѣріе и презрѣніе ко всему, съ тѣмъ чтобы загрубѣть, но и окрѣпнуть, чтобы анестезировать свой умственный организмъ, перестать ныть и укротить свои страданія.—«Когда нахожу гдѣ либо описаніе семейнаго счастія, то невольно возмущаюсь. Равнымъ образомъ мнѣ противенъ видъ браковъ, дѣтей: это единственная моя антипатія. Я описалъ себя во весь ростъ съ головы до пятокъ». Прививая себѣ духъ байроновскій, духъ мятежный, демоническій, отрицательный, вслѣдствіе котораго не во всей литературѣ, но въ нѣкоторыхъ ея партіяхъ и направленіяхъ считали Байрона главою такъ называемой «сатанинской» школы, Мицкевичъ значительно себя закалялъ и много выигрывалъ по части характера и выдержки. Воздѣйствіе Байроновской поэзіи на Мицкевича опредѣлится всего явственнѣе когда мы сличимъ текстъ пьесъ Байрона переведенныхъ Мицкевичемъ съ этими его

переводами; тогда различіе темпераментовъ будетъ вполнѣ очевидное. Трудно себѣ объяснить тотъ припадокъ волненія отъ котораго Мицкевичъ впалъ въ обморокъ когда прочелъ Одынцу въ Ковнѣ 1 мая 1823 г. девятую строфу Чайльдъ Гарольдова «Прощанія», до того блѣдна эта строфа въ его же переводѣ (*And now I am in the world alone upon the wide, wide sea*). Это чувство ужасающаго одиночества въ безмѣрномъ пространствѣ передано довольно слабо: «теперъ блуждаю по міру широкому— и веду странническую жизнь». — Въ своей *Euthanasia* Байронъ злонамѣренно насмѣхается надъ всякою женскою слезою, роняемую по произволу, обманывающую при жизни, дѣлающую мущину женоподобнымъ при смерти *(Woman's tears produced at will Deceive in life unman in death)*. Вся горечь этого сарказма улетучилась въ нѣжномъ обращеніи къ Марыли: «Прольешъ ты слезки, ради этой слезки, какъ при жизни слабѣлъ я, такъ и умру слабымъ».—Еще поразительнѣе то что геройское чувство великаго пессимиста: «хочу быть одинокимъ въ послѣдній часъ, умру не жалѣя и не издавая стона» *(Then lonely be my latest hour Without regret without a groan)* сдѣлалось неузнаваемо у Мицкевича, потому что передано словами мягкими, лишенными всякаго упрямаго отчужденія ото всѣхъ: «и такъ безъ сожалѣнія и безъ благочестивой просьбы (т. е. вѣроятно молитвы) я буду одинокъ въ моемъ часу послѣднемъ».—Добавить еще одно и послѣднее сопоставленіе.—«Сонъ» Байрона (The Dream) передаетъ печальный конецъ его романа съ Мэри Чаворть. Прощаніе было горькое, на видъ только холодное и совсѣмъ не похожее на прощаніе Мицкевича съ Марылею. Переводя «Сонъ» и описывая какъ любовникъ «непростился съ дѣвою, ушелъ отъ нея съ усмѣшкою» Мицкевичъ исказилъ сцену одною прибавкою, которой нѣтъ въ подлинникѣ. — Дѣва у Байрона знала, что на сердце у юноши лежитъ ея тѣнь, она видѣла что онъ страдалъ, но не увидѣла всего (то есть того что онъ сильно страдаетъ). — У Мицкевича дѣва видитъ, что тѣнь ея

ложится саваномъ на его душу, она угадала что онъ страдать будетъ пытку долгую и страшную», затѣмъ слѣдуетъ добавка, которой по гордости своей Байронъ никакъ не допустилъ-бы; онъ бы не могъ сдѣлать подобнаго признанія: «неугадала что будетъ страдать вѣчно». Эти слова не вяжутся съ концомъ поэмы, въ которомъ авторъ «Сна» пересталъ кого бы то небыло любить, питался ядомъ подобно Митридану, человѣчество ему опротивѣло, онъ бесѣдуетъ только съ геніемъ міра, съ безплотными духами. И такъ даже дословно переводя Байрона Мицкевичъ безъ своего о томъ вѣдома и желанія вводилъ въ произведеніе своего учителя свою собственную чувствительность не менѣе сильную чѣмъ Байроновская, но отъ его чувствительности отличную.

Въ этихъ двухъ разныхъ чувствительностяхъ отражались различія двухъ племенныхъ породъ. Съ одной стороны авантюризмъ потомка скандинавскихъ «царей морскихъ» (sea kings), врожденная наклонность къ рукопашному бою, къ боксу; натура вспыльчивая и расположенная къ гнѣву, съ другой стороны качества свойственныя племени о которыхъ пословица говоритъ: «сердеченъ какъ Литвинъ»; она прибавляетъ еще: «завзятъ какъ Литвинъ» Мицкевичъ проявилъ много разъ это послѣднее качество, онъ бывалъ иногда сильно и несправедливо предубѣжденъ, хотя и не по личнымъ мотивамъ, противъ людей инаго направленія въ литературѣ или иной партіи въ политикѣ (Снядецкіе, докторъ Бэкю, Ю. Словацкій). Самъ Мицкевичъ сдѣлалъ относительно своей чувствительности слѣдующія два признанія: 1) въ стихѣ къ Д. Д. 1825 г. «Ты незнаешь меня хотя страсть помрачаетъ мой ликъ, но загляни въ мою душу тамъ найдешь ты сокровища чувствительности, самопожертвованія, мягкой доброты и воображенія; которое позлащаетъ судьбу человѣческую». 2) Въ вечерней молитвѣ 1830 г. (Переводъ Бенедиктова) «Когда спокойнымъ я земной толпѣ кажусь, Съ душевной бурею я предъ людьми таюсь; Подъ мглою гордости, чтобъ неразить ихъ очи я прячу пламя стрѣлъ,

рождаемыхъ грозой». Чувствительность Мицкевича была глубже байроновской, но она дѣйствовала медленнѣе и требовала болѣе времени на то чтобы разшевелиться и превратиться въ страсть. Кромѣ того она была и шире и мужественнѣе, нежели байроновская. Байронъ любилъ какъ женщина блестки и побрякушки. Онъ самъ того несознавая позировалъ.—Постоянное клеветаніе имъ на самаго себя и бравированіе толпы обличало въ немъ человѣка больше чѣмъ слѣдовало озабоченнаго людскими мнѣніями. Въ этомъ отношеніи онъ нимало непоходитъ на Мицкевича, который дѣлалъ такое признаніе Одынцу въ Дрезденѣ въ 1833 г. (L. Siemieński Religijności Mistyka 1871 str 143): «еслибы я сознавалъ что долженъ это дѣлать я бы лежалъ крестомъ простертый ницъ въ срединѣ церкви, хотя бы всѣ проходящіе меня топтали».—Искренніе люди всегда довѣрчивы и всѣхъ другихъ мѣрятъ своимъ собственнымъ аршиномъ. Проникнувшись Байрономъ Мицкевичъ уже не усматривалъ въ учителѣ никакихъ всякому нынѣ вѣдомыхъ несовершенствъ и былъ убѣжденъ что этотъ скептикъ обратился бы къ Богу, еслибъ онъ преждевременно не умеръ; наконецъ онъ вѣрилъ что въ чувствахъ Байрона все было правдиво. — На эти байроновскія чувства онъ и самъ себя настраивалъ, присваивая себѣ насмѣшливость, иронію, напускное человѣконенавистничество и пессимизмъ который убивалъ всякую нѣжность въ чувствахъ и замораживалъ всякую экзальтацію. Таково было вліяніе Байрона на волю и характеръ Мицкевича. Есть слѣды Байрона и въ поэтическихъ произведеніяхъ Мицкевича. По вѣрному опредѣленію формулированному французскими натуралистами поэзія есть часть міра, созерцаемая сквозь призму темперамента художника.—Мопассанъ (Pierre et Jean) говоритъ: *chacun de nous seffait une illusion du monde suivant sa nature, les grands artistes imposent à l'humanitè leur illusionparticulière.* Иными словами великіе поэты сообщаютъ роду человѣческому свои личныя чувства и заставляютъ всѣхъ смотрѣть на свѣтъ сквозь ихъ очки,

заставляютъ другихъ лицъ воспроизводить свои душевныя состоянія.—Такихъ возпроизведеній идей Байрона много у Мицкевича въ «Матросѣ», «Пилигримѣ», въ «Петербургѣ», въ сонетахъ: «Стрѣлокъ» и «Буря на морѣ». Даже и политическая сторона поэзіи Байрона воздѣйствовала на Мицкевича, напримѣръ любовь свободы, горячія обращенія къ теперешнимъ грекамъ, чтобы они вспомнили о славѣ древнихъ грековъ.—Если мы сопоставили пѣснь вайделота въ «Валенродѣ» съ нѣкоторыми мѣстами Гяура Байрона, то мы увидимъ что въ первой изъ этихъ поэмъ звучитъ явственное эхо великой боевой симфоніи, сочиненной и розыгранной Байрономъ.

IV.

Мы довели Мицкевича до дверей его тюрьмы. Она не была такая страшная, какъ ее описалъ поэтъ въ 3-ей части «Дѣдовъ». Заключеніе М. продолжалось только 6 мѣсяцевъ (съ 23 октября 1823 по 21 апрѣля 1824). Уединеніе днемъ вознаграждалось сходками арестантовъ тайкомъ по ночамъ въ кельѣ котораго нибудь изъ нихъ. Пытка употребляема не была. Пострадали только немногіе, взявшіе на себя при отсутствіи настоящей вины отвѣтственность за образованіе товарищества, въ которомъ усмотрѣнъ зародышъ политическаго заговора. Гораздо больнѣе нежели лишеніе свободы и ссылка на службу въ отдаленныя мѣста и гораздо унизительнѣе были другія подробности обращенія съ арестантами. Отобраны были отъ арестантовъ, а въ томъ числѣ и отъ Мицкевича оффиціальныя подписки, что они раскаиваются въ томъ, что безъ всякой нужды, принявъ участіе въ бесѣдахъ общества филаретовъ навлекли на себя замѣчаніе правительства. Отъ Мицкевича при освобожденіи его 21 апрѣля 1824 г. взято было еще слѣдующее обязательство: «не только самъ я не буду принадлежать къ какому бы то не было обществу, образо-

ванному безъ разрѣшенія правительства, но и сообщатѣ буду, кому слѣдуетъ, согласно присягѣ вѣрноподданнаго, лишь только узнаю о существованіи такового общества (Ѳ. Вержбовскій, Адамъ М. въ Вильнѣ и Ковнѣ—Вѣстникъ Европы. 1888 № 9). Никто никогда не довѣрялъ такимъ признаніямъ или обязательствамъ, ни дающіе ихъ, ни отбирающіе. Напрасныя преслѣдованія законно поступающихъ людей влекутъ за собою неизбѣжно то послѣдствіе, что превращаютъ ихъ въ людей дѣйствующихъ нелегально, устраивающихъ тайное дѣло, причемъ въ нихъ вселяется сознаніе, что мелкія силы дѣйствующія въ складчину могутъ многое совершить, когда будутъ умѣло приспособлены къ дѣйствію. Наконецъ эти преслѣдованія вселяли убѣжденіе что, не къ чему не поведетъ долгое и терпѣливое ожиданіе, что не осуществятся внушенныя обѣщаніями Александра I надежды, что образованіе конгрессоваго царства польскаго будетъ только задаткомъ еще болѣе блистательной будущности. «Рожденный въ цѣпяхъ, взращенный въ неволѣ» (XI пѣсня Пана Тадеуша), убаюкиваемый въ колыбели пѣсенками польскихъ легіонистовъ Мицкевичъ вмѣстѣ со всѣмъ современнымъ польскимъ обществомъ вѣровалъ въ возстановленіе обвалившагося недавно строенія, причемъ единственно возможною мысленно формою этого возстановленія представлялась ему политическая реставрація. Весь вопросъ заключался пока только въ томъ, какъ держать себя пока не настанутъ лучшія времена, слѣдовательно никто почти не обращалъ вниманія на мелкія неудобства, на то что разрушались и отваливались кусокъ за кускомъ частицы древней Польши, что въ край родной вводились новые порядки, противные историческимъ преданіямъ, что устанавливалось постоянное и ассимилирующее вліяніе совсѣмъ чужого и діаметрально противоположнаго организма, составляющаго новую среду для покоренныхъ. Теперь наступилъ рѣшительный переворотъ въ взглядахъ на національный вопросъ. Горячая кровь подсказывала что есть *periculum*

in mora. «Ты видишь, душистыя травы Силятся смертный покровъ пробуравить Головками стебля? ахъ все напрасно! Уже новая гидра съ пескомъ нанесется, Бѣлые плёсы разширитъ, живой материкъ уничтожитъ, Дикое царство пустыни все дальше кругомъ развивая»... (Валенродъ переводъ Семенова). Въ умственномъ настроеніи поколѣнія къ которому принадлежалъ Мицкевичъ наступилъ критическій и рѣшающій моментъ, котораго пуще всего боялись какъ предугадывающіе его Снядецкіе такъ и всѣ вообще виленскіе классики, упорно сражающіеся съ романтизмомъ въ искуствѣ, потому, что за нимъ они чуяли романтическую тактику и политику, то есть великую опасность для народности. Пассивное отношеніе къ совершающемуся въ настоящемъ перешло въ стремленіе бороться дѣятельнымъ образомъ съ гидрою морскаго песку, съ врагомъ имѣющимъ всѣ качества не какого нибудь извѣстнаго лица, по цѣлой стихіи. Мицкевичъ не помышлялъ о заговорѣ, онъ не предвидѣлъ даже, и вовсе не желалъ повстанскаго движенія 1830 года. Онъ сдѣлался солидаренъ мятежу лишь послѣ его подавленія. Въ тюремной кельѣ въ 1823 году въ умѣ его блеснула новая идея, которая охватила его цѣликомъ и воцарилась въ немъ на нѣкоторое время полновластно. Онъ задался вопросомъ: что можетъ учинить единица при состязаніи ея съ гигантомъ! Единица должна изучить гиганта въ собственномъ его домѣ, въ собственной его стихіѣ, узнать въ чемъ тайна его силы, гдѣ источникъ его могущества; затѣмъ она должна нанести ударъ въ слабую его сторону, хотя бы ей пришлось и самой погибнуть вслѣдствіе такого удара («*Фарисъ*» переводъ Бенедиктова: Когда пчела свое лишь жало углубляетъ, То вмѣстѣ съ жаломъ тутъ и сердце оставляетъ). Возможность перваго условія осуществлялась сама собою. Поэтъ предвидѣлъ, что онъ будетъ высланъ изъ роднаго края въ далекія невѣдомыя страны, его подстрекало любопытство, онъ былъ въ нѣкоторой степени радъ перемѣнѣ положенія. Вотъ слова которыя

онъ писалъ къ Зану и Чечоту изъ Москвы въ началѣ 1828 г. (Переп. I, 19): «если бы я вернулся въ Литву, то можетъ быть я бы уподобился спущенной и освободившейся пружинѣ; когда никто бы меня извнѣ не нажималъ, я бы изобрѣлъ для себя какую нибудь бѣду, и печалился бы и самъ-бы себя грызъ»...—Было еще и другое условіе болѣе трудное, но неизбѣжное. Надо было скрывать мысли, притворяться со своими чувствами, вкрадываться въ довѣріе и измѣнять. Мысленно поэтъ вкушалъ и этотъ ядъ, подчиняясь ученію вайделота: «одно у рабовъ есть оружіе: измѣна».—Революціонеръ вообще признаетъ что всѣ средства годятся для борьбы, иначе онъ и не рѣшался бы покушаться на всякія дѣла при совсѣмъ недостаточныхъ средствахъ.—Идея Мицкевича могла казаться и ему и его современникамъ менѣе дерзновенною, нежели она таковою была въ самомъ дѣлѣ, потому что они считали аксіомами, нѣкоторыя предположенія, оказавшіяся потомъ безусловно несостоятельными. Мицкевичъ ошибался когда полагалъ, что онъ долженъ считаться только съ государствомъ и правительствомъ, а не съ самимъ народомъ. Народъ русскій создалъ это государство, онъ не могъ его незащищать, его не могли увлечь никакія слова, никакіе девизы въ родѣ: за нашу и вашу свободу.—Мицкевичъ ошибался полагая, что ему будетъ сочувствовать все что есть лучшаго и благороднѣйшаго въ обществѣ русскомъ.—Цѣлое молодое поколѣніе прекрасныхъ и либеральныхъ людей было точно снято и пропало: то были такъ называемые декабристы. Мицкевичъ ошибался, недопуская даже и возможности спора съ русскими изъ за предѣловъ государства. Эту полную увѣренность разсѣялъ другъ его Пушкинъ въ «Бородинской Годовщинѣ 1831 г.», оспоривъ у Поляковъ и Волынь, и Русь, и даже Литву. Идея, которую изъ души Мицкевича высѣкали его страданія, его гнѣвъ и ненависть имѣла свой источникъ въ благороднѣйшемъ чувствѣ любви къ отечеству. Новѣйшая психологія не разграничиваетъ вполнѣ чувство и

волю, идею и дѣло: это послѣдовательно чередующіяся фазы одной и той же эволюціи, но безконечно разнообразны разные виды дѣла и степени осуществленія идеи въ практикѣ. Если бы нашелся государственный человѣкъ проникнутый идеею, которую я назвалъ *валенродствомъ*, то онъ бы пробовалъ ее осуществить добиваясь во вражескомъ обществѣ вліятельнаго положенія, достигая полноты власти и дѣйствуя всѣми средствами науки и культуры, могущество которыхъ было Мицкевичу вполнѣ извѣстно, когда онъ писалъ въ 3 части «Дѣдовъ»: «Кто зарылся въ книги, въ металлъ, въ число, въ трупное тѣло, Тому только дано усвоить себѣ частицу твоей о Боже, власти. Онъ найдетъ селитру, порохъ, пары, онъ изобрѣтетъ блескъ, дымъ и громъ; онъ откроетъ законность и недобросовѣстность для мудрецовъ и для неучей».... Но Мицкевичъ не былъ государственнымъ человѣкомъ, онъ былъ только поэтъ и не болѣе того. Онъ былъ еще далекъ отъ того умственнаго помраченія, до котораго онъ дошелъ въ періодъ увлеченія религіознымъ ученіемъ Товянскаго, когда писалъ что надо дѣлать поэзію, а не сочинять только поэтическія произведенія. Это постоянное вращеніе въ головѣ мыслей пропитанныхъ нѣкоторымъ ядомъ, эта буря чувствъ противныхъ, а потому и сталкивающихся, произвели то, что всѣ эти элементы сплавились и отлились въ поэму, которая является изображеніемъ и завершеніемъ цѣлой эволюціи идей въ умѣ Мицкевича. Поэзія бываетъ весьма суггестивна, она поддаетъ публикѣ сильно прочувствованныя поэтомъ мысли. Поэтъ все съ своей стороны сдѣлалъ, когда издалъ произведеніе, иные люди потомъ займутся тѣмъ, что мысль его подымутъ, усвоятъ себѣ и станутъ ее осуществлять въ то время, когда она для него самаго будетъ уже давно покинутою точкою зрѣнія и когда практическіе плоды этой мысли покажутся ему можетъ быть и не желательными и никакъ имъ непредусмотрѣнными.—Поэма слагалась медленно въ теченіи двухъ лѣтъ послѣ виленскихъ событій. Пока мы приступимъ къ обозрѣнію ея

источниковъ и построенія, бросимъ взглядъ на промежуточный періодъ въ жизни поэта, отъ освобожденія его изъ тюрьмы до изданія Валенрода.

V.

Новое направленіе мыслей Мицкевича имѣло то послѣдствіе, что въ его памяти образъ Марыли стушевался. По словамъ Зана и Чечота, начиная съ начала 1827 г. въ сердцѣ его господствовала иная любовница, имѣющая горячихъ и вѣрныхъ ей поклонниковъ, любовница притомъ ревнивая настолько, что горе тому, кого бы заподозрили въ невѣрности ей, но едвали кого-нибудь и заподозрятъ (Переп. I, 15). Бывшій до того времени печальнымъ и раздражительнымъ Мицкевичъ сталъ весельчакомъ, видѣлъ великую цѣль впереди, весь міръ казался ему открытымъ настежъ, его увлекали любопытство, любознательность, страсть къ опытамъ.—Онъ принаравливался къ обществу, въ которое входилъ, бывалъ въ великосвѣтскихъ гостиныхъ, начиная съ русскихъ. — Застѣнчивый провинціалъ преобразился въ великосвѣтскаго самоувѣреннаго кавалера, острящаго въ бесѣдахъ съ дамами, имѣющаго успѣхъ, сыплющаго сотни стиховъ, записывающаго ихъ въ альбомы и даже импровизирующаго въ большихъ компаніяхъ. Въ Одессѣ онъ до того предался удовольствіямъ, чувственнымъ наслажденіямъ, ухаживаніямъ за женщинами безъ настоящей любви, что въ минуту раскаянія написалъ (въ день отъѣзда 1825 года пер. Бенедиктова): «Лети! остатокъ крылъ спасенъ для поворота. Лети! но съ этихъ поръ не понижай полета!» На видъ казалось какъ будто бы поэтъ подающій блистательныя надежды становится эпикурейцемъ, какъ будто бы онъ растрачиваетъ свой талантъ издерживая его на мелочи, которыя однако высоко цѣнились и прославляли его имя въ Россіи, будучи воспроизводимы въ многочисленныхъ переводахъ и подражаніяхъ. Въ ряду

этихъ произведеній первое мѣсто занимаютъ «Крымскіе сонеты», блестящія списанныя съ натуры картинки. Поэтъ долго вдумывался въ востокъ, изучая восточные языки и даже собирался сдѣлать путешествіе на востокъ. Здѣсь онъ увидѣлъ впервые горы и море и по крошечному Крыму сдѣлалъ себѣ представленіе о востокѣ, который и изобразилъ съ необычайною яркостью его красокъ, но съ несомнѣнною напыщенностью и утрировкою. Несомнѣнно что весьма живописна гора—Шатеръ или Чатырдагъ, но тому кто видалъ его покажутся забавными сравненія въ родѣ слѣдующихъ: «о мачта крымскаго корабля» или «ты свѣта минаретъ, утесовъ падишахъ, царящій тамъ, гдѣ и орлы невѣдаютъ пути». Въ Крыму нѣтъ бездонныхъ пропастей, нѣтъ тѣхъ «щелей» міра, куда не смѣй заглядывать, ни даже мысль твою запускать (Чуфутъ-Кале). Довольно мизерное и неопрятное гнѣздо Ногаевъ, Бахчисарай прославленъ словами, которыя шли бы развѣ только къ одной игрушкѣ мавританскаго стиля, къ гренадской Альгамбрѣ. Проводникъ изъ крымскихъ мурзаковъ (князьковъ) философствуетъ подобно имаму и носитъ на шапкѣ длинное перо, точно шотландскій танъ (гора Кикинейсъ: мелькнетъ-ли тамъ перо—то будетъ верхъ шапки моей). О своемъ пребываніи въ Одессѣ Мицкевичъ выразился такъ (Переп. III, 281. 1827 г.): «въ Одессѣ велъ я жизнь восточную, праздную. Я видѣлъ востокъ въ миніатюрѣ». Есть въ этомъ письмѣ указаніе заставляющее догадываться, что писаніе Валенрода началось въ Одессѣ. Что касается до Москвы въ которой Мицкевичъ поселился съ декабря 1825 г., то онъ велъ сначала жизнь весьма уединенную. Въ письмѣ 5 января 1827 г. онъ объясняетъ Зану и Чечоту, чѣмъ занимается, сообщаетъ имъ, что читаетъ Фіеско Шиллера и исторію Макіавелли—вѣроятно не исторію Флоренціи, а «трактатъ о государѣ» *il principe*, извѣстную теорію политическаго пройдошества—главное произведеніе великаго итальянскаго политика. Близкая и тѣсная связь обоихъ этихъ сочиненій съ Вален-

родомъ несомнѣнна. Вскорѣ потомъ изъ письма къ Пясецкому въ С.-Петербургъ мы узнаемъ (I,44), что новая поэма поступила къ цензору Анастасевичу. Авторъ боится за свое произведеніе, не соглашается ни на какія урѣзки, проситъ Пясецкаго не читать и не показывать поэмы никому кромѣ Александра Ходзьки и то при томъ, подъ условіемъ, что онъ не покажетъ ее никому и не будетъ дѣлать выписокъ. Добавлено: «эти предосторожности необходимы». Не только эти средства были пущены въ ходъ, но поставлены еще ширмочки для отвода глазъ подозрительнымъ людямъ и для маскированія основной идеи, то есть того факта, что поэтическая повѣсть изображаетъ только дѣла давно минувшихъ дней, а не энергическія чувства современниковъ. Вступленіе вѣщаетъ: «что золотая цѣпь сочувственной природы связала, Разорвутъ враждой своей народы. Народы разорвутъ но любящихъ сердца Вновь сочетаемъ пѣснь народнаго пѣвца». Однако Альфъ и Альдона не иноплеменники, оба эти лица—литовцы. Въ прозаическомъ предисловіи сверхъ классическаго отрывка изъ Шиллера: «*Was unsterblich im Gesang soll leben Muss im Leben untergehn*» имѣется еще предвареніе, что совсѣмъ уже ушедшая въ прошлое Литва представляетъ столь счастливый для поэзіи просторъ, что поэтъ долженъ заниматься однимъ историческимъ предметомъ: изслѣдованіемъ событій и художественнымъ ихъ воспроизведеніемъ, не подчиняясь ни расчету, ни страсти, ни модѣ читателей. Въ первомъ изданіи предисловіе заканчивалось лестнымъ указаніемъ на то, что Императоръ Николай, держава коего объемлетъ наибольшее число племенъ и языковъ, оставляя каждаго изъ подданныхъ пользоваться его вѣрою, обычаемъ и языкомъ, заботиться о сохраненіи и объ отыскиваніи остатковъ отъ прошлыхъ вѣковъ, составляющихъ цѣнное достояніе будущихъ поколѣній. Въ этомъ нарочно опущенномъ на лицо забралѣ есть маленькая щель, сквозь которую видать до извѣстной степени заднюю мысль автора. Такимъ отверстіемъ считаю я

девизъ на мало употребляемомъ италіанскомъ языкѣ, заимствованный у Макіавелли (Il principe): *dovete dunque sapere come sono due generationi di combattere— bisogna essere volpe e leone.* Въ 1888 г. въ журналѣ *Przegląd Lwowski* великій почитатель Мицкевича Генрихъ Богускій обратилъ вниманіе на то, что въ девизѣ Мицкевичъ передѣлалъ Макіавелля, что онъ взялъ изъ разныхъ мѣстъ два отрывка, которые потомъ склеилъ такимъ образомъ что девизъ въ переводѣ имѣетъ уже иной смыслъ, нежели въ подлинникѣ: Въ 18 главѣ il principe носящемъ заглавіе *In che modi i principi dobbiano osservare la fede*, итальянскій политикъ конечно признаетъ, что есть два способа сражаться, одинъ посредствомъ учрежденій *(con le leggi*— легальная борьба) и другой посредствомъ силы *(con le forze)*; первый подобаетъ людямъ, второй животнымъ, но такъ какъ первый недостаточенъ, то надо прибѣгать и къ другому, другой же заключается въ томъ, чтобы подражать либо льву, либо лисицѣ: льву чтобы отгонять волковъ, лисицѣ чтобы избѣгнуть сѣтей. — Макіавелли не скрываетъ своего предпочтенія для лисьихъ пріемовъ, потому что *sono tanto semplici li uomini e tanto obediscono alla necessita presenti, che colui che inganna trovera sempre chi di lasciarono ingannare* (Люди до того бываютъ просты и до того подчиняются настоящей необходимости, что тотъ кто обманываетъ, найдетъ всегда людей дающихъ себя обманывать). Флорентинецъ подносилъ этотъ клинокъ не остріемъ а рукояткою идеальному монарху. Мицкевичъ передаетъ это орудіе въ руки противниковъ громады-государства, притомъ онъ совсѣмъ замалчиваетъ о легальной борьбѣ, то есть онъ недопускаетъ въ данномъ случаѣ даже и возможности этой борьбы. Онъ имѣетъ въ виду одну только борьбу нелегальную, революціонную и въ этой борьбѣ онъ кладетъ еще большій нежели Макіавелли натискъ на борьбу не львиными а лисьими способами, то есть на хитрости а не на физическое

превосходство силы, невозможное со стороны недѣлимаго, порывающагося на государство, и притомъ на современное государство обширное и громадное.

По роду своему Валенродъ поэма историческая. Въ двухъ письмахъ къ Одынцу писанныхъ изъ Петербурга уже послѣ изданія Валенрода (апрѣль и май 1828 г.), Мицкевичъ оцѣнивая критически «Изору» драму Одынца излагаетъ свои эстетическія воззрѣнія на роды и условія искуства и готовъ повторять тысячу разъ, что вѣкъ нашъ особенно нуждается въ историческихъ драмахъ, и что отъ исторической драмы онъ, Мицкевичъ, прежде всего требуетъ исторической правды. — «Чувствую страшное отвращеніе, пишетъ онъ (Переп. IV. 100 и 103) ко всѣмъ странамъ и островамъ которыхъ нѣтъ на картахъ и ко всѣмъ царямъ, которыхъ не бывало въ исторіи. Всѣ интриги, основанныя на переодѣваніяхъ, сюрпризахъ, оракулахъ, невыносимы для меня». — Намъ слѣдуетъ теперь изучить на сколько этимъ строгимъ правиламъ слѣдовалъ самъ Мицкевичъ; насколько они соблюдены въ Валенродѣ.

VI.

Можемъ воспользоваться готовымъ результатомъ изслѣдованій проф. Нэринга. Еще работая надъ «Графиною» М. дѣлалъ выписки изъ лѣтописей и извлекъ все что могъ изъ сочиненія Коцебу. Всѣ дѣйствующія въ Валенродѣ лица суть лица историческія. Вальтеръ Стадіонъ, плѣнникъ Кейстута, тевтонскій рыцарь женился на дочери Кейстута, которую потомъ отъ отца ея увезъ. Въ лѣтописяхъ упоминается и заключенная въ башнѣ съ наглухо задѣланнымъ входомъ отшельница Дорофея изъ Монтовы, не въ Маріенбургѣ правда, но въ Квидзынѣ. Ее легко было обратить въ Кейстутовну. Конрадъ Валенродъ былъ великій магистръ ордена, плохой политикъ всѣмъ ненавистный человѣкъ, осаж-

давшій дважды Вильно съ великими издержками, затратами силъ и потерями, но безуспѣшно. Его упрекали въ недостаткѣ рѣшимости и медлительности. Хотя и монахъ, Валенродъ прежде всего былъ воинъ, не любилъ духовенства и слылъ безбожникомъ. Преданіе дѣлаетъ неотступнымъ его товарищемъ ученаго монаха и еретика Леандра Альбануса. Взявъ изъ лѣтописей живьемъ эти лица Мицкевичъ могъ конечно изъ соединенныхъ Стадіона и Валенрода создать одно лицо. Смѣлѣе и неправдоподобнѣе бѣло предположеніе, что подъ этими именами Вальтера и Конрада кроется еще третье дѣйствующее лицо, а именно литовецъ Альфъ, плѣненный нѣмцами когда онъ былъ ребенкомъ и ими же воспитанный, который вернулся на родину, женился на Кейстутовнѣ Альдонѣ, а потомъ покинулъ и ее и родину, чтобы сдѣлаться крестовымъ рыцаремъ, а затѣмъ великимъ магистромъ ордена и измѣнически подорвать могущество ордена. Скрытнолитовецъ Валенродъ едвали можетъ быть предложенъ въ видѣ исторической ипотезы главнымъ образомъ потому, что и сама эпоха его дѣятельности опредѣлена невѣрно, фантастически. Въ поэмѣ та война въ которой Валенродъ старается извести войска ордена въ лѣсахъ и снѣгахъ Литвы ведется противъ Литвы еще не крещеной, языческой, два же дѣйствительные похода Валенрода на Литву совершены въ 1390 и 1392 г. и направлены были противъ Ягеллы уже женившагося въ 1386 на Ядвигѣ и противъ уже окрещенной Литвы. Орденъ только затѣмъ и учрежденъ былъ, чтобы обращать язычниковъ въ христіанство. Съ момента когда Литва воспріяла отъ Польши крещеніе и крестясь ополячилась, орденъ обреченъ былъ на паденіе. Спасеніе Литвы пока она была языческая не зависѣло изъ истощенія силъ и средствъ ордена—средства эти были неистощимы, пока орденъ черпалъ ихъ со всей Европы посредствомъ крестовыхъ походовъ. Это спасеніе стало несомнѣннымъ фактомъ въ будущемъ, съ тѣхъ поръ какъ Литва обратилась въ христіанскую

вѣру и приняла культуру, но только не нѣмецкую, а польскую, однимъ словомъ, съ тѣхъ поръ какъ она поступила какъ Альфъ, который былъ крещенъ и воспитанъ нѣмцами и вернувшись на родину не только не пересталъ быть христіаниномъ, но обратилъ въ христіанство и свою жену. При такой постановкѣ задачи нельзя было и думать о перенесеніи дѣйствія поэмы въ дохристіанскую древнюю Литву. Польша выдвинулась бы на первый планъ, геройскій подвигъ Валенрода становился бы безцѣльнымъ и неимѣющимъ смысла. Наконецъ, такая перемѣна дѣйствія повела бы къ совершенному устраненію изъ поэмы одной изъ главныхъ дѣйствующихъ особъ, а именно вайделота Гальбана, лица, которое и безъ таковой перемѣны весьма загадочно и мало правдоподобно. Этотъ языческій жрецъ заполоненный нѣмцами возбуждалъ месть въ Альфѣ, бѣжалъ вмѣстѣ съ нимъ къ Кейстуту, былъ сообщникомъ въ адскомъ замыслѣ направленномъ противъ ордена, наконецъ явился монахомъ, вліятельнымъ въ орденѣ лицомъ и исповѣдникомъ великаго магистра. Гальбанъ представляетъ собою олицетворенное преданіе древней Литвы онъ есть хранитель вѣры предковъ.

Изображая Литву какъ нѣчто цѣльное, какъ нѣчто не дѣлимое, Мицкевичъ оставилъ насъ въ неизвѣстности о томт кто былъ Гальбанъ, былъ-ли онъ тайный жрецъ бога Перкунаса подъ фальшивымъ капишономъ монаха или человѣкомъ обращеннымъ въ христіанство, значитъ сообщникомъ Валенрода даже въ вѣрѣ христіанской, да и въ послѣднемъ ихъ далеко не христіанскомъ предпріятіи. Еслибы авторъ хотѣлъ изобразить настоящую Литву въ ея историческомъ развитіи, съ отдѣляющимися отъ древне-литовской подкладки прогрессивными ея элементами, уже пропитанными высшею культурою, Гальбанъ не могъ бы и дѣйствовать въ поэмѣ, онъ былъ бы анахронизмомъ, онъ бы изображалъ среди движенія окаменѣлое преданіе давно отжившей старины. Итакъ мы должны заключить, что историческая правда не стѣсняла

поэта, что она не обрѣзывала крыльевъ у его фантазіи, что поэтъ обращался насильственно съ извлеченнымъ изъ источниковъ дѣйствительнымъ историческимъ событіемъ. Теперь мы постараемся доказать, что Мицкевичъ умѣлъ, когда то понадобилось, измышлять страны которыхъ нѣтъ на картѣ и царей небывалыхъ въ исторіи. Доказательствомъ тому послужитъ пропѣтая Валенродомъ на орденскомъ пиру «баллада Алпухара».

Извѣстно что содержаніе поэмы «Валенродъ» составляетъ месть угнетеннаго народа подъ его завоевателями: «хотите знать какъ мстить Литовцу суждено?» Для одуренія нѣмцевъ могущихъ чуять что то недоброе Валенродъ приводитъ другой примѣръ мести, но гораздо болѣе первобытной и облеченной въ грубую, дикую форму: «Арабы нѣкогда отомщали такъ сурово». Этотъ примѣръ основанный на началѣ: я и самъ погибну, но тебя изведу, былъ уже невозможенъ въ XIV столѣтіи по причинѣ бо́льшей обширности государствъ и болѣе усложнившихся условій быта. По взятіи крѣпости Алпухара испанцами, маврскій владѣтель этой крѣпости ускакалъ въ Гренаду, заразился съ умысломъ свирѣпствовавшею тамъ чумою вернулся въ Алпухару, притворился обращающимся въ христіанство и заразилъ своихъ враговъ: «я васъ обманулъ я изъ Гренады пріѣхалъ—я вамъ заразу принесъ. Пролили въ душу мои вамъ лобзанія. Ядъ что васъ долженъ пожрать; Вы на мои наглядитесь терзанія, Такъ вѣдь и вамъ умирать!» Вышла картинка дивная, великолѣпная, романтическая; прибавлю еще: картинка вполнѣ Байроновская мести *non plus ultra*, озаренной сліяніемъ пожертвованія собою за свое племя и вѣру, но если бы это дѣйствіе было возможно, оно должно бы было случиться только въ сто лѣтъ послѣ Валенрода въ концѣ XV столѣтія, во времена не далеко отстоящія отъ окончательнаго паденія Гренады. Не существовала никогда башня или твердыня Алпухары. Слова «Алпухарасъ» обозначаетъ горный хребетъ, отрогъ Сіерры Невадва направляющійся къ морю. Въ драмѣ Кальдерона

Amor despues de la morte этотъ хребетъ изображенъ, какъ масса сѣрыхъ скалъ, между которыми въ разсѣлинахъ есть и зеленыя цвѣтистыя населенныя впадины, плодоносные куски обработанные руками трудолюбивыхъ мавровъ. Не было также и царя или короля мусульманскаго Алманзора, Эль-Мансуръ на арабскомъ языкѣ тоже что «побѣдоносный». Это горделивое прозвище присвоилъ себѣ умершій въ 1002 году Ибнъ-Абу-Эмиръ, визирь неспособнаго Кордовскаго Калифа Гишама II. Великій мавръ о которомъ мы говоримъ довелъ до апогея могущество мавританское на Иберійскомъ полуостровѣ, завоевалъ въ 997 г. Компостелу и колоколами церкви Св. Якова въ этомъ городѣ украсилъ Кордовскую мечеть. Послѣ него знатное государство распалось, раздробилось на куски, обособились отдѣльные города и эмирства. Съ тѣхъ поръ берутъ верхъ христіане, имъ достаются Толедо въ 1085 г., Кордова въ 1236, Севилья въ 1251. Мелкія мавританскія владѣнія держались подольше на югѣ, они были вассальныя зависимыя, отъ исполинскихъ королей. Имъ приходилось дипломатизировать, они получали иногда помощь и поддержку отъ наплыва волнъ ислама изъ Африки (берберы); они вели такую шахматную игру въ политикѣ и изумляли своихъ грубыхъ противниковъ готскаго происхожденія чудесами своей изысканной культуры. Добавимъ что уничтоженные эпигоны маврской цивилизаціи были весьма толерантны въ религіи. Замѣтимъ также что исламъ не допускаетъ локализированной любви къ отечеству, привязанной къ землѣ, къ гробницамъ предковъ. Это религія кочующаго племени, приливающаго и отливающаго подобно морской волнѣ. Притомъ это религія фаталистическая, свойственная людямъ безропотно подчиняющимся совершившемуся факту, точно велѣнію Аллы. Типическимъ выраженіемъ такого подчиненія себя судьбѣ представляется по преданію *sospiro del Moro*—плачь послѣдняго гренадскаго царька *el Rey Chico* то есть Абу-Абдаллы-Магомета, называамаго по сокращенію Боабдиломъ (онъ умеръ 2 ян-

варя 1492 г.) въ моментъ когда послѣ сдачи Гренады онъ уѣзжалъ въ горы Алпухарасъ и бросалъ послѣдній взглядъ на утраченную столицу. — Баллада Алпухара столь же не исторична какъ польскій король Василій и Московскій князь Астольфъ въ драмѣ Кальдерона «Жизнь—сонъ» (La vida es sueno). Странно что Мицкевичъ, изображая бѣшеную месть, избралъ для иллюстраціи мавровъ вовсе для этой роли негодящихся, а обошелъ гораздо болѣе близкихъ къ намъ и болѣе къ тому подходящихъ сихъ противниковъ испанцевъ. Послѣ гадкой комедіи съигранной Наполеономъ съ бурбонами въ Байоннѣ въ 1807 году, и повлекшей за собою отреченіе бурбоновъ отъ престола, началась изумившая Европу война на смерть испанцевъ съ французами, о которой поляки знали не только изъ газетъ, но и изъ устныхъ разсказовъ легіонистовъ. Изъ этихъ разсказовъ заимствовалъ М. повѣствованіе капрала въ 3-ей части «Дѣдовъ».—Можно предположить что въ то время было въ ходу безчисленное множество разсказовъ, подобныхъ тому, который помѣщенъ въ книжкѣ *Polacy w Hiszpanii* написанный З. С. Сулимою (Варшава 1888 г.). «Шелъ полкъ польскій уланскій причисленный къ гвардіи изъ Ируна на Толозу въ Витторію. Здѣсь ходилъ ужасающій слухъ о какомъ то испанскомъ грандѣ, который пригласилъ къ себѣ обѣдать нѣсколькихъ французскихъ офицеровъ, а при обѣдѣ отравилъ ихъ и себя, жену свою и дѣтей. Этотъ фактъ обнаруживающій страшную ненависть къ наѣзднікамъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ неслыханный стоицизмъ, сильно поразилъ поляковъ»! Допустимъ, что тотъ или подобный случай, заслышанный въ дѣтствѣ вспомнился Мицкевичу и можетъ быть содѣйствовалъ выработкѣ идеи валенродства, но пріурочить его никакъ нельзя было къ поэмѣ дѣйствіе которой происходило въ XIV столѣтіи. При содѣйствіи воображенія поэтъ воспользовался почти современною дѣйствительностью на почвѣ того же края, но отодвинулъ событіе въ средніе вѣка и переодѣлъ испанцевъ маврами.

VII.

Эпизодъ «баллада Алпухара» весьма красивъ и потрясающій независимо отъ того правдивъ-ли онъ или не правдивъ. Не будемъ оспаривать у фантазіи поэта ея правъ на летаніе куда она захочетъ и какъ она захочетъ, права на созиданіе прекраснаго изъ чего бы то не было: изъ песку, изъ воздуха, изъ вымышленныхъ матеріаловъ, но и по устраненіи вопроса объ исторической вѣскости и цѣнности матеріаловъ, мы вправѣ требовать строгой послѣдовательности, симметріи и логики въ постройкѣ поэмы.—Но вотъ оказывается, что почти немедленно по окончаніи поэмы, Мицкевичъ самъ былъ не радъ своему произведенію по отношенію къ формѣ и расположенію частей.—«Я не очень радъ Валенроду, писалъ онъ (Переп. II, 145), есть красивыя мѣста, но не все соотвѣтствуетъ моему вкусу».—«Моя ошибка вытекаетъ изъ плана, который потомъ измѣнился, что испортило постройку (Пер. IV, 102)». Каковы были первоначальные планъ и постройка, то очень удобопонятно изъ писемъ къ Одынцу, изъ которыхъ я дѣлалъ извлеченія. Что касается до расположенія частей, то о немъ дѣлаетъ намъ столь мѣткое сужденіе Третякъ (Idea Wallenroda въ I т. записокъ имени А. М. 1887 г.), такъ что я могу ограничиться повтореніемъ сказаннаго имъ. Предполагаемы были двѣ отдѣльныя повѣсти: одна о Стадіонѣ, другая о Валенродѣ. Имъ бы предпослана была великолѣпная увертюра, гимнъ въ честь народной были, то есть народной поэзіи, иными словами романтической поэзіи. Авторъ намѣревался произнести его отъ своего имени, потомъ изъ него вышла «пѣснь вайделота». Передѣлка не обошлась безъ грубыхъ противорѣчій, потому что этотъ вайделотъ, начавъ съ прославленія великихъ, но бездѣтныхъ отцовъ и съ оплакиванія ихъ выродившагося потомства, потомъ вспомнилъ о великомъ и недальнемъ, родномъ человѣкѣ и заключилъ что «Пѣ-

вецъ не обвиняетъ дѣяній современныхъ». — Поэтъ не могъ произносить отъ себя и въ настоящемъ моментѣ сѣтованій на упадокъ и распространяться о жалобливыхъ стонахъ своихъ земляковъ, потому что онъ не только нашелъ бы себѣ непреодолимое препятствіе въ цензурѣ, но навлекъ бы на себя большое подозрѣніе и могъ подвергнуться значительнымъ непріятностямъ.—Мы принимаемъ выводъ Третяка, но кромѣ этой главной причины перемѣны усматриваемъ еще и другія, иного рода. Первоначально повѣствованіе должно было развертываться прямолинейно и хронологически. Первую часть, а именно разсказъ о Вальтерѣ мы и теперь имѣемъ въ полновѣсной, медленной, гекзаметрами написанной повѣсти вайделота о томъ какъ Вальтеръ воспитывался у нѣмцевъ, какъ въ немъ воскресло племенное чувство, какъ онъ вернулся къ своимъ землякамъ и какъ онъ опять исчезъ въ таинственности патріотическаго замысла. Вторая часть поэмы была исключительно посвящена великому подвигу Конрада.—Какъ-бы ни утаивалъ себя Вальтеръ-Конрадъ передъ нѣмцами, въ глазахъ читателя онъ былъ бы лицо насквозь просвѣчивающее. Когда извѣстная страсть завладѣваетъ душою человѣка, она до того ее переполняетъ, что она дѣлаетъ человѣка равнодушнымъ ко всему, что не имѣетъ прямой связи съ этою страстью. Предположимъ, что человѣкъ преисполненъ мести, притомъ не личной, а народной, имѣющей въ глазахъ порабощеннаго ею лица всѣ признаки святого долга. Эта месть неизбѣжно усыпитъ и сдѣлаетъ безчувственною самую совѣсть.—Есть одно дивное мѣсто въ поэмѣ: «Души великія ульямъ просторнымъ подобны, Альдона; Медъ ихъ не можетъ наполнить, гнѣздомъ они ящерицъ станутъ». Это сѣтованіе о великомъ сердцѣ есть только иронія въ рѣчи Конрада, оно похоже на ту насмѣшку, съ которою онъ относится къ самой поэзіи: «Закравшись въ колыбель такая пѣснь лукаво Еще ребенка грудь змѣею обовьетъ И яды въ духъ его жестокіе вольетъ Любви къ отечеству и глупой

жажды славы!»... Если Альфъ всѣмъ пожертвовалъ страсти и предался ей цѣлою душой, то улей переполненъ уже весь, медомъ-ли или не медомъ—это другой вопросъ; онъ переполненъ по самые края. Пустаго мѣста въ немъ никакого нѣтъ. Умъ заполоненный одною только идеею и устремленный въ одну только точку становится могучею силою, способною произвести страшнѣйшія опустошенія.—Плоды его дѣятельности годны какъ матеріалъ для поэзіи, но сама личность дѣйствующаго героя нисколько еще вслѣдствіе страсти не становится поэтичной. — Нѣтъ ничего въ свѣтѣ отвратительнѣе и жесточаѣ фанатизма, будь онъ фанатизмъ національный или какой бы то не было другой. Любовь къ Альдонѣ противодѣйствовала-бы такому перерожденію Конрада и и превращенію его въ фанатика, онъ бы эту любовь подавилъ, изъ сердца своего исторгнулъ и не любезничалъ бы съ Альдоною. Онъ и не нуждался бы въ постоянныхъ толчкахъ извнѣ, двигающихъ его на дѣло и олицетворяемыхъ Гальбаномъ.—Состоя въ непрерывномъ общеніи съ совершенно удовлетворяющимъ его замысломъ, онъ бы ни въ чемъ не нуждался, онъ и въ самую минуту своей кончины никакъ не собрался бы сказать: «И въ небѣ и подъ нимъ какой я одинокій! Кому-же, гдѣ и что предъ смертью въ часъ жестокій Васъ исключая двухъ я могъ бы передать»? Усматривая съ одной стороны всесильную страсть, толкающую Конрада къ одной великой цѣли, а съ другой порывъ чувства, ночныя бесѣды великаго магистра съ Альдоной страданія его передъ совершеніемъ великаго намѣренія, его колебанія и безпрестанныя отсрочки въ исполненіи подвига всѣ критики, начиная съ Мохнацкаго, послѣ большихъ недоумѣній рѣшили, что Мицкевичъ согрѣшилъ недостаткомъ послѣдовательности, что ему не удалось создать ничего цѣльнаго, что героической поэмѣ дѣлаетъ ущербъ часть ея романическая, любовь сѣдого Альфа къ увядшей Альдонѣ, любовь которая едва-ли бы годна для изображенія отношеній Пустава и Марыли. — Съ

лёгкой руки Мохнацкаго это избитое общее мѣсто повторяется вплоть до Петра Хмѣлёвскаго (А. М. 1885 г. I, 412). Критики утверждаютъ, что противоположность съ одной стороны эпической идеи, а съ другой желаніе изобразить потрясающій душу романъ, воспрепятствовали поэту провести чрезъ всю поэму до конца великолѣпно задуманный характеръ; что взятая какъ цѣлое поэма Валенрода имѣетъ весьма крупные недостатки, но что въ подробностяхъ своихъ она неподражаема и восхитительна. Съ этимъ выводомъ никакъ бы Мицкевичъ не согласился; хотя и онъ допускалъ ошибки въ планировкѣ, что явствуетъ изъ письма его къ Одынцу (IV, 102): стихъ—«Я близко не хочу тебя увидѣть, милый», буду я отстаивать и защищать противъ возраженій. — То мнѣніе повторяемое въ теченіи болѣе полувѣка, якобы Валенродъ красивъ только мѣстами и восхитителенъ лишь въ подробностяхъ, кореннымъ образомъ ошибочно, съ психологической точки зрѣнія потому, что только знатоки и такъ сказать литературные гастрономы способны восхищаться красотой деталей и любоваться ими, но публика судитъ всегда только по общему впечатлѣнію, а такъ какъ Валенродъ произвелъ сразу громадное впечатлѣніе даже на предубѣжденныхъ противниковъ романтизма, на классиковъ, каковъ напримѣръ Моравскій, то надобно скорѣе прійти къ совсѣмъ противоположному заключенію, то есть что поэма прекрасна въ своей цѣльности, хотя она можетъ быть имѣетъ многіе частные недостатки и изъяны. Третякъ (Pamiętnik Tow. A. M. 1887 г.) повелъ иную противоположную систему защиты цѣльности поэмы, весьма своеобразную, но не выдерживающую критики. Пораженный нерѣшительностью Конрада въ горячій моментъ уже совсѣмъ подготовленнаго и вполнѣ возможнаго дѣйствія, Третякъ полагаетъ, что въ построеніи поэмы при ея написаніи произошла та перемѣна, что главнымъ героемъ пересталъ быть впечатлительный и нервный Конрадъ, а таковымъ сдѣлался пестунъ и руководитель его

Гальбанъ, какъ олицетворенніе народной поэзіи. Она родительница великихъ подвиговъ, она возвышаетъ, превозноситъ и позлащаетъ эти подвиги, вслѣдствіе чего образуется нѣчто похожее на образъ змѣи на постройкахъ египетскій, змѣи кусающей свой хвостъ, представляющей неразрывный кругъ, представляющей непрестанный переливъ жизни въ поэзію и поэзіи въ жизнь.— Это предположеніе грѣшитъ тѣмъ, что превращаетъ поэму въ аллегорію, аллегоріями же забавляются только люди и народы, когда они состарились, когда они отцвѣли и творчество въ нихъ погасаетъ, вслѣдствіе чего убыль вдохновенія возмѣщается богатствомъ и утонченностью рефлексіи. Дряхлѣющее вдохновеніе замѣтно во второй части «Фауста», но его не видать въ первомъ разцвѣтѣ дарованія Мицкевича, въ Валенродѣ. Быстрая струя вдохновенія увлекаетъ читателя, потрясаетъ его точно электрическій ударъ. Глубь основной идеи столь велика, въ чемъ убѣждаетъ самъ этюдъ г. Третяка, что никто ее не изслѣдовалъ до дна, никто не освѣтилъ вполнѣ удовлетворительными предположеніями ея темноту. — Одни съ берлинскимъ профессоромъ Цыбульскимъ во главѣ, порицали въ замыслѣ измѣну какъ чувство не христіанское и безнравственное; другіе, въ томъ числѣ Бэлциковскій усматривали въ ней отраженіе пережитой эпохи тайныхъ обществъ и заговоровъ. Нѣкоторые и между ними Третякъ убѣждены, что измѣна въ поэмѣ предметъ второстепенный, что она не болѣе какъ одно только средство для выраженія глубины патріотизма, чувства столь безпредѣльно увлекательнаго, что сочувствіе наше Валенроду не прекратилось даже въ виду ужаснаго средства, къ которому Валенродъ прибѣгъ.— Бездонная глубь основнаго замысла имѣетъ то послѣдствіе, что мы можемъ признать за Валенродомъ всѣ пороки и изъяны открываемые въ немъ критикою и что несмотря на то можемъ совсѣмъ о нихъ не заботиться считая ихъ просто мелочами. — Есть въ поэмѣ пятна, есть погрѣшности слога, отрывки эпохи клас-

сицизма («Какъ войны наши въ бояхъ безмятежны, Въ любви какъ пастухъ нашъ съ пастушкою нѣжны» или «Вилія въ прекрасной ковенской долинѣ Межъ тюльпановъ, нарцизовъ бѣжитъ по равнинѣ»). Есть куски переутонченной юношеской чувствительности, напоминающія первый стиль и первую манеру Мицкевича («Изъ башни на меня ты только поглядѣла И все въ кругу земли какъ будто потемнѣло, И съ той поры стоятъ въ глазахъ моихъ одно, Прибрежіе озера и башня и окно»... «Когда-жъ отчаяніе и долгъ и воля Божія Зовутъ на брань, и что же?—не смѣю оторвать Я головы сѣдой отъ этихъ стѣнъ подножья Чтобъ только мнѣ бесѣдъ съ тобой не прерывать...»). Есть поразительные промахи въ интригѣ, въ фабулѣ поэмы, очевидно проистекающіе отъ перемѣнъ, испортившихъ первоначальную планировку. Забавно и курьезно смотрѣть какъ перенаряжается Гальбанъ въ литовскаго нищаго, чтобы съиграть съ Конрадомъ опасную комедію, которая открыла бы глаза на странное поведеніе обоихъ измѣнниковъ даже и не у такихъ хитрыхъ и подозрительныхъ людей, какими были орденскіе братья. Самъ Мицкевичъ признавалъ, что пиръ слишкомъ растянутъ, что эпизодъ этотъ по своей длинотѣ составляетъ добрую половину поэмы, между тѣмъ какъ подвигъ Конрада переданъ весьма кратко и чуть-чуть начерченъ. Расположеніе поэмы весьма не симметрично, начатая медленнымъ гекзаметромъ она потомъ ускоряетъ свой ритмъ причемъ дѣйствіе течетъ въ видѣ бурнаго разливающагося потока риѳмованными стихами въ 11 слоговъ, прекрасно передающими внезапныя перемѣны въ безпокойной душѣ героя.—Не только пульсъ движенія ускоренъ, но и самъ интересъ дѣйствія переносится съ внѣшнихъ событій на личность и на состоянія души героя.—Рѣшающій походъ на Литву происходитъ за нашими глазами. Правду сказать для людей живо еще помнящихъ 1872 годъ и Наполеоново нашествіе на Москву никакія описанія не могли сравниться съ картинами, которыя они

во очью созерцали. Намъ кажется, что Мицкевичъ списалъ просто съ натуры, что онъ позаимствовалъ изъ своихъ личныхъ дѣтскихъ воспоминаній слѣдующую ужасающую картину: «Въ сугробахъ тащатся нестройною гурьбой; Тѣснятся, падаютъ, какъ насѣкомыхъ рой, Что гибнутъ въ тѣснотѣ безвыходной сосуда. По трупамъ вверхъ ползутъ, доколѣ снова груда Валясь не увлечетъ на дно ихъ за собой. Одни еще влачатъ хладѣющія ноги, другіе на ходу застыли у дороги И мертвецы съ рукой приподнятой стоятъ, Какъ тѣ столпы, что путь указываютъ въ градъ». — Вотъ и все описаніе цѣликомъ—больше ничего нѣтъ, тутъ изображена вся кампанія, остальное допишетъ, доскажетъ, воображеніе читателя. Увлеченіе наше авторомъ столь велико, что вмѣстѣ съ нимъ мы забываемъ о нѣмцахъ и съ біеніемъ сердца слѣдимъ за дальнѣйшими роковыми судьбами героя, котораго авторъ съумѣлъ сдѣлать вполнѣ достойнымъ нашего сочувствія. Герой этотъ выкроетъ шекспировскимъ манеромъ, онъ высѣченъ изъ одного куска гранита, что бываетъ возможно при одномъ только предположеніи, что онъ не былъ перекраиваемъ, что его не лѣпили кусочками, что онъ таковъ, какимъ появился сразу и на первыхъ порахъ въ головѣ у Мицкевича. Если характеръ Валенрода не подвергся никакимъ измѣненіямъ, въ чемъ же заключалось измѣненіе плана, испортившее постройку?—Я полагаю, что есть указанія на то, какъ эта перемѣна произошла, указанія, не обратившія на себя достаточнаго вниманія. Въ письмахъ къ Одынцу (Переп. IV, 101) Мицкевичъ сознаетъ (28 апрѣля 1823), что онъ теперь «отчаянный шекспиристъ», онъ преподаетъ цѣлую теорію разныхъ родовъ поэзіи, эпоса и драмы, теорію, которая очевидно позднѣе повѣсти вайделота писанной гекзаметрами и бывшей уже готовою до измѣненія плана.—Мицкевичъ утверждалъ въ письмѣ что XIX вѣкъ нуждался болѣе всего въ исторической драмѣ, но таковой не имѣетъ, потому что при всей своей геніальности Шиллеръ былъ относительно рода

и формы драмы только подражателемъ Шекспира, Гёте же только въ Гёцѣ до нѣкоторой степени угадалъ стремленіе эпохи къ историческому роду, въ другихъ-же драмахъ онъ остался поэтомъ прошлаго, то-есть удачно воспроизводилъ и примѣнялъ старинныя формы. Байронъ, по мнѣнію М., чувствовалъ духъ новой поэзіи и изобрѣлъ для нея эпическія формы, но драматическихъ формъ пока еще нѣтъ, такъ какъ онѣ создаются всего позднѣе.—Условіямъ этой теоріи соотвѣтствуетъ та часть поэмы, которая посвящена второй повѣсти «о Конрадѣ», часть писанная ускореннымъ ритмомъ, имѣющая движеніе подходящее къ постоянной нервной раздражительности темперамента героя, часть сочиненная байроновскимъ манеромъ, съ перенесеніемъ дѣйствія въ самую глубь души героя, котораго душевныя состоянія интересуютъ насъ уже исключительно и до того, что насъ болѣе не занимаютъ нѣмцы, что мы равнодушны къ тому сколько ихъ погибло, и къ тому будутъ-ли или не будутъ отрастать усѣченныя головы у гидры. Мы едва успѣваемъ слѣдить за судьбою героя быстро несущагося къ роковой развязкѣ. Первая часть поэмы «о Вальтерѣ» вполнѣ соотвѣтствующая правиламъ эпической формы, была собственно только прологомъ, но какъ только авторъ коснулся Конрада, то инстинктивно онъ почуялъ, что у него въ рукахъ драма съ сильными страстями, что онъ обладаетъ всѣми матеріалами для трагедіи, что ему приходится идти по стопамъ Шекспира (Переп. IV, 101 «дѣлай только одно: обдумай каждую пьесу Шекспира»). У Мицкевича не хватило рѣшимости на то, что бы спаять обѣ части поэмы и перестроить ихъ въ одну цѣльную трагедію «о Вальтерѣ Конрадѣ» («я уже бросилъ въ огонь нѣсколько такихъ цѣльныхъ драмъ и нѣсколько другихъ только начатыхъ, но не могу еще собраться съ силами и написать трагедію, а уже сѣдѣю и теряю зубы. Однако не теряю еще надежды»). — И такъ онъ остановился на формѣ такой-сякой, смѣшанной, усвоилъ себѣ эпическіе пріемы Байрона, какъ болѣе

соотвѣтствующіе духу новой поэзіи, его повѣствованіе насыщено ежеминутно вспыхивающимъ лиризмомъ и перемежается съ драматическими сценами.—Выборъ этого рода поэзіи во многихъ отношеніяхъ имѣлъ свои удобства. Можно было воспользоваться изготовленною уже повѣстью «о Вальтерѣ» и воззваніемъ къ «были народной» долженствовавшимъ по прежнему плану сослужить роль пролога къ эпосу. При томъ искусное сплетеніе въ интригѣ Вальтера съ Конрадомъ подстрекало своею таинственностью любопытство читателя, прятало такъ сказать, подъ занавѣсь основную политическую мысль произведенія и способствовало пропуску поэмы цензурою. Спрашивается въ чемъ же заключается трагизмъ положенія Конрада и какими путями могъ достигнуть Мицкевичъ того, что характеръ Валенрода увлекаетъ насъ и интересуетъ гораздо больше нежели его дѣла и подвиги?

VIII.

На первый взглядъ Конрадъ долженъ быть отнесенъ къ породѣ насильниковъ и страстныхъ людей, но вовсе не къ породѣ добродѣтельныхъ людей, однимъ словомъ онъ одинъ изъ тѣхъ героевъ, которые сдѣлались модными послѣ того какъ надоѣли герои чувствительные родившіеся отъ Руссо и распространившіеся сильно въ XVIII вѣкѣ. Онъ вполнѣ герой байроновскій, напоминающій Короара или Лару. Подъ ложнымъ именемъ Валенрода и въ лживомъ народѣ орденскаго брата онъ собственно весьма подозрительный авантюристъ. Человѣкъ онъ нервный, крайне неровный, въ сердцѣ его есть, такъ сказать, трещина или отъ превратностей судьбы или отъ страстей: «Хоть молодъ заклейменъ онъ старостью страданій Морщинами чела и ранней сѣдиной»... По временамъ онъ готовъ покутить съ молодежью; «Учтивой лестью онъ тѣшилъ дамъ свободно, Какъ лакомствомъ

дѣтей, съ улыбкою холодной»..; но вдругъ потомъ малѣйшій пустякъ неимѣющій для другихъ людей никакого значенія способенъ былъ взволновать его, отвлечь и погрузить въ таинственныя думы.—Есть у него и скверные пороки, онъ любитъ напиваться и притомъ не на пиру а одиноко въ кельѣ. «Тогда въ его лицѣ и блѣдномъ и суровомъ Пятномъ болѣзненный румянецъ выступалъ, И взоръ что грузъ годовъ гасилъ и притуплялъ, Изъ синихъ нѣкогда очей въ блистаніи новомъ Огня давнишняго вкругъ молніи металъ»... Онъ тогда и пѣть любилъ но пѣсни были невеселыя, выражающія все что угодно, кромѣ одного только чувства—надежды.—Видно было что онъ гоняется мыслью «Въ волнахъ минувшаго за днями упованій»...—А гдѣ душа его?—въ краю воспоминаній».—Даже въ торжественную минуту когда на него возложены были знаки великаго магистра по устамъ его скользнула только «Улыбка слабая, пропавшая мгновенно, Какъ блескъ что на зарѣ мракъ тучи бы разсѣкъ И солнечный восходъ и громы бы прорекъ».—За то послѣ измѣнническаго похода на Литву стрѣлы яркія взоръ его искоса металъ; «Сливая бѣшенство съ какимъ то упоеніемъ, Весь сатанинскимъ онъ свѣтился выраженіемъ».

Разительное сходство Конрада съ типическими героями Байрона составляло-бы скорѣе отрицательное нежели положительное качество въ произведеніи Мицкевича, еслибы оно небыло вполнѣ поверхностное, еслибы оно шло дальше одной наружности подобной цвѣту лица или волосъ, еслибы оно доходило до самаго строенія организма. Байронъ не изобрѣлъ бы такого характера и никогда бы не поставилъ такимъ образомъ коренной вопросъ.—Байронъ былъ человѣкъ неукротимаго характера и неизлѣчимый пессимистъ, одинъ изъ тѣхъ которые не созданы для счастія, потому что ихъ желанія безпредѣльны и что они сами сознаютъ что эти желанія не осуществимы, однако всю жизнь свою они только то и дѣлаютъ что пробиваютъ эту стѣну своею головою.

(Lara: *His madness was Not of the head but heavth.*— Его безуміе было не головное, а сердечное). Притомъ Байронъ былъ космополитъ, сынъ гордаго, вольнаго обезпеченнаго, славнаго и торжествующаго народа, который посредствомъ коалиціи съ материковыми народами ниспровергъ Наполеона. Байронъ любилъ конечно свое отечество, но онъ любилъ его странною любовью, онъ ему злословилъ за то, что англійское общество небыло такимъ какимъ онъ бы имѣть его желалъ, онъ ему злословилъ за *cant*, за чопорность и притворство, за эгоизмъ и возстановленіе порядковъ разрушенныхъ революціею, которой онъ былъ во всю свою жизнь бойцомъ, хотя гонялся только за призраками какой то невозможной и никогда недостижимой свободы. Вслѣдствіе презрѣнія и отвращенія къ тому что условлено было считать порядочнымъ и честнымъ, Байронъ клеветалъ самъ на себя умышленно и выдавалъ себя за человѣка стократъ хуже того какимъ онъ въ самомъ дѣлѣ былъ.

Сопоставимъ Байрона съ Мицкевичемъ. Трудно пріискать двѣ натуры болѣе рѣзко одна другой противоположныя.—Мицкевичъ былъ сынъ народа, которой по собственной ли винѣ, какъ думаютъ новѣйшіе польскіе историки или по стеченію неблагопріятныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, какъ думали современники Мицкевича, былъ очень несчастливъ и поставленъ въ необходимость вести съ совсѣмъ несоразмѣрными силами борьбу за существованіе, причемъ изъ подъ ногъ его уходила постепенно и сама почва. По природѣ своей при всей своей весьма значительной энергіи нашъ поэтъ былъ существо нравственно здоровое, ко всѣмъ благорасположенное, веселое, малымъ довольствующееся и готовое приспособляться ко средѣ и къ обстановкѣ. Однимъ словомъ это былъ человѣкъ созданный для счастія. На первыхъ же шагахъ въ жизни это весьма достижимое счастіе отравлено было вслѣдствіе людскихъ условностей и расчетовъ. Дѣвицу которая его любила и которую онъ страстно любилъ выдали за иного жениха. Потомъ его

постигло другое испытаніе: тюрьма и ссылка за тѣ умственныя наслажденія, за ту чистѣйшую и невиннѣйшую радость, какую онъ испыталъ въ кружкѣ школьныхъ товарищей, проникнутыхъ любовью къ общему благу и къ отечеству.—Тогда по словамъ вайделота о Вальтерѣ «Счастья онъ въ домѣ не встрѣтилъ—его не нашлося въ отчизнѣ». Тогда то и утвердилась въ душѣ поэта крѣпкая рѣшимость, отразившаяся въ его настроеніи по видимому спокойномъ, по наружности даже и веселомъ, въ намѣреніи отречься онъ личнаго счастія и даже совсѣмъ его не искать, жить только для другихъ, стремясь къ ихъ коллективному счастію, борясь за него до послѣдняго издыханія всевозможными средствами, принести въ жертву отечеству не только жизнь, но нѣчто еще цѣннѣе жизни, а именно чистую совѣсть. «Конрадъ Валенродъ» есть первое воплощеніе этой рѣшимости. Его бы всею душою одобрилъ древній римлянинъ по своему правилу: *in hostem omnia licita.* Его намѣренія вполнѣ бы раздѣлялъ даже и итальянецъ XIX вѣка, не перестающій идти по стопамъ Макіавелли (*facci il principe il conto di mantenere lo stato: i mezzi saranno sempre giudicati onovevoli da ciascuno laudati*). Но въ душѣ Конрада были еще и иные задатки, была откровенность, и искренность, нравственное чутье, не совратимое никакими софизмами, наконецъ непобѣдимое отвращеніе къ звѣрскимъ способамъ воеванія, въ особенности къ лисьей хитрости и злоупотребленію довѣріемъ. Этихъ особенностей своей природы не могъ Мицкевичъ одолѣть и превозмочь. Онъ чувствовалъ, что отравляетъ себя рѣшаясь на дѣятельную месть для спасенія отечества честными и даже нечестными средствами. Душа Конрада обременена не какимъ-нибудь таинственнымъ замалчиваемымъ преступленіемъ въ родѣ тѣхъ, которыя мучатъ Ларуили Манфреда. Его болѣзнь есть тотъ нравственный разрывъ сердца, тотъ разладъ между намѣреніемъ и совѣстью, вслѣдствіе котораго герой его увялъ и посѣдѣлъ, напивался и хулилъ само

чувство патріотизма. — Конрадъ вполнѣ сознаетъ, что онъ совершаетъ зло, что для него не будетъ отпущенія ни прощенія, ни въ земной жизни, ни въ грядущей («хочу заранѣе знать, что ждетъ меня въ аду»). Онъ самъ признаетъ, что онъ роковое и проклинаемое лицо, приносящее гибель и смерть («Чудовище змѣя попала въ садъ украдкой, Гдѣ грудью скользкою она лишь проползетъ, Засохнутъ травы тамъ, цвѣтъ розы опадетъ И пожелтѣетъ все, какъ грудь эхидны гадкой»). Конрадъ признаетъ съ отвращеніемъ, что плакалъ онъ затѣмъ только, чтобы убивать. Насилуя себя, онъ поселился въ этой странѣ «лжи и грабежей»... Онъ подошелъ уже къ самой цѣли, но цѣль которой онъ въ жертву принесъ и жизнь и душу свою, настолько противна его природѣ, что онъ выдумываетъ отсрочки, откладываетъ дѣло, кляня свою душу за то, что въ ней есть еще остатки чувствованій. Къ башнѣ отшельницы онъ какъ будто-бы прикованъ, такъ что Гальбану приходится подталкивать его ежеминутно къ дѣйствію и раздувать въ немъ пламень мести. По возвращеніи съ рокового похода, Конрадъ тѣшится, точно ребенокъ, не изъ за того, что насытилъ свою месть, но изъ-за того, что онъ уже можетъ перестать мстить: «Не выдумаетъ адъ ужаснѣйшаго мщенія... Но человѣкъ я — мнѣ довольно этихъ бѣдъ! Средь лицемѣрія я росъ почти съ рожденія... Измѣна мнѣ тошна; негоденъ я въ бояхъ; Довольно мщенія, вѣдь нѣмцы люди то-жъ!»

По существу а не по формѣ эпосъ превратился въ потрясающую трагедію. Герой страдаетъ по своей собственной винѣ. Мы знаемъ, что онъ падетъ, что мы будемъ оплакивать его паденіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ мы понимаемъ и роковую неизбѣжность этого паденія. Мы тронуты до глубины души когда уже принявъ отраву Конрадъ съ безподобною гордостью топчетъ ногами знаки великаго магистра восклицая: «Вотъ жизни всей моей предъ вами прегрѣшенія!.. Готовъ я умереть, чего же больше вамъ?» Конрадъ могъ только обольщать себя

напрасною надеждою, что онъ уйдетъ съ Альдоною въ литовскіе лѣса. «Забудемъ, что есть свѣтъ какой-то, что кишитъ народовъ тьма на немъ, жить для себя намъ надо». Конрадъ измельчалъ-бы, если-бы онъ вышелъ цѣлъ и невредимъ, если-бы онъ трагически не искупилъ свой великій подвигъ, онъ нигдѣ не нашелъ-бы ни мѣста для себя, ни отпущенія, но даже въ самой своей смерти онъ остается великъ, человѣченъ, своею смертью онъ опровергаетъ сравненія и предсказанія вайделота: «Мщеніе пламя, которому пищу давалъ въ молчаніи Видъ пораженій и зла, наконецъ охватило и сердце; Всякое чувство въ немъ выжгло, и даже сильнѣйшее чувство Даже чувство любви, услажденіе дотоль его жизни. Убѣловежскаго дуба такъ точно, когда звѣроловы Тайный огонь разведутъ, сердцевину глубоко въ немъ выжгутъ: Скоро царь лѣса утратитъ листья разносимыя вѣтромъ; Съ вѣтромъ слетятъ его вѣтки, и даже послѣдняя зелень Дубъ украшавшая прежде засохнетъ корона омѣлы». Огонь не пожралъ всей сердцевины, хотя и опустошилъ нутро. Осталось еще столько зелени и здоровыхъ частей, что произведеніе Мицкевича великолѣпно и безсмертно не въ отдѣльныхъ его подробностяхъ, но въ цѣломъ. Это произведеніе служитъ выраженіемъ страстной любви къ отечеству, доведенной до высочайшей степени, до полнаго самоотреченія и самопожертвованія. Спрашивается: не содержитъ-ли этотъ пышный цвѣтъ каплю затаеннаго и утонченнѣйшаго яду? Не есть-ли Валенродъ апоѳеозъ чувства мести? не подстрекаетъ-ли онъ къ звѣрской по ученію Макіавелли политикѣ, къ львинымъ, а въ особенности къ лисьимъ пріемамъ воеванія? Таковы послѣдніе вопросы подлежащіе нашему разсмотрѣнію.

IX.

Весь нашъ эпизодъ есть опроверженіе такого совсѣмъ ошибочнаго предположенія. Поэзія этого вѣка, поэзія великая, поэзія романтическая была ничто иное какъ проявленіе полнаго національнаго возрожденія нравственнаго, религіознаго и эстетическаго. Прежде всего она была началомъ и отправною точкою преобразованія общественнаго. Ея характерными чертами были необъятная смѣлость небывалыхъ никогда еще летаній и вѣра струящаяся непосредственно изъ сердца, интуативная, озаряющая весь свѣтъ золотыми лучами. При этихъ двухъ условіяхъ сильно благопріятствующихъ поэтическому творчеству эта поэзія не могла содержать въ себѣ ничего ядовитаго. Въ 3-й части «Дѣдовъ» Конрадъ въ своемъ озлобленіи доходилъ до богохульства, но прежде чѣмъ онъ его произнесъ, онъ впадаетъ въ обморокъ и успокоеніе нисходитъ на него и на читателей въ мистическихъ видѣніяхъ ксендза Петра. Валенродъ поклялся, что онъ будетъ убивать и изводить людей изъ за мести столь ужасной, что не придумалъ бы ее самъ адъ, но онъ не преодолѣлъ самого себя, не могъ совлечь съ себя свою человѣческую природу и претерпѣваетъ въ душѣ наказаніе отъ котораго радъ избавиться посредствомъ смерти. Если-бы Конрадъ Валенродъ былъ ничто въ родѣ книги *Il principe* Макіавелли, то есть если-бы онъ былъ системою и теоріею политики, то онъ бы принесъ какіе либо хотя и жалкіе плоды, имѣлъ-бы какое либо потомство въ жизни и практикѣ, какіе либо опыты или начатки примѣненія. Между тѣмъ оказывается, что весь народъ вмѣсто того чтобы валепродизировать въ Петербургѣ, Берлинѣ или Вѣнѣ, прямо пошелъ къ открытому неровными силами возстанію и нѣсколько разъ подъ рядъ требовалъ возставать чѣмъ и стяжалъ себѣ у противниковъ репутацію народа неисправимо бѣшенаго и безмозглаго. Если бы Конрадъ Валенродъ со-

держалъ въ себѣ хотя бы капельку того яду, которую въ немъ предполагаютъ новѣйшіе русскіе публицисты, то есть не тѣ литераторы между которыми вращался и съ которыми сообщался Мицкевичъ, которые притомъ десятки разъ перелагали его поэму на русскій языкъ, то не могли бы они не открыть этотъ ядъ, не узнать его по своему патріотическому чутью, они которые до 1863 года вкушали этотъ ядъ и наслаждались имъ. — Пушкинъ перевелъ Вступленіе къ Валенроду, Лермонтовъ подражалъ Валенроду въ своемъ «Измаилъ Бей», поэмѣ въ которой воспитанный въ Петербургскомъ кадетскомъ корпусѣ и возвращающійся въ родныя горы черкесъ ведетъ войну съ русскими, а когда онъ погибъ то на груди его нашли крестъ, то есть узнали что онъ отступникъ отъ вѣры отцовъ, но не отступникъ отъ ненависти къ поработителямъ свободныхъ и независимыхъ горцевъ. Мы вполнѣ согласны съ тѣмъ что достигшій столь широкой извѣстности въ русской печати и въ русскомъ обществѣ Валенродъ былъ конечно Валенродъ обезнаціонализированный; что русскіе смотрѣли на него какъ на курьезный и интересный сюжетъ, но только поэтическій, безъ всякаго соотношенія къ чувствамъ ближайшихъ къ намъ поколѣній и безъ примѣненія къ русско-польскому спору и конфликту. Никто изъ русскихъ не доискивался въ поэмѣ измѣны, которой въ ней и не было, но равнымъ образомъ никто и не подозрѣвалъ, что пѣснь вайделота или баллада Алпухара суть мощные призывы къ возстанію 1830 года.—Мицкевичъ выше цѣнилъ и больше надѣялся на своихъ друзей Москалей. Онъ полагалъ что поэма его будетъ имѣть не одни только чисто эстетическія послѣдствія. Онъ полагалъ что его друзья въ С.-Петербургѣ и Москвѣ глубже войдутъ въ нутро его замысла, что поэма поведетъ ихъ на другіе пути, что она расположитъ ихъ къ большей справедливости по отношенію къ полякамъ.—Что подобное предположеніе не лишено основанія, то доказываетъ «Вечерняя Молитва» Мицкевича помѣченная 1830 годомъ, въ которой

мелькаетъ какъ будто-бы тѣнь отъ Валенрода. Выписываю это мѣсто прозою; оно совсѣмъ непонятно переведшимъ его Бенедиктовымъ:

Когда средь ближнихъ извлекъ я изъ души
Гласъ ужасающій сильнѣе вопля страданія,
Гласъ вѣчно раздающійся въ адскихъ мукахъ,
Но на землѣ чуть слышный—гласъ злой совѣсти,
Ты грозный судья раздувалъ огонь подъ злою
совѣстью,
Но меня ты выслушалъ. *).

Этотъ отрывокъ обличаетъ въ Мицкевичѣ великаго идеалиста. Видно что онъ вѣрилъ что пѣснь поэта можетъ мирить враждующіе народы и раздувать огонь подъ злою совѣстью, стоящею на ложномъ пути. Въ дѣйствительности бываетъ наоборотъ.—Народная совѣсть во многихъ отношеніяхъ тверже стали; по ней какъ по крѣпкому панцырю скользятъ всѣ стрѣлы бросаемыя въ нею изъ антинаціональнаго стана чужими людьми, непринадлежащими къ одной и той же народности. Мицкевичъ преувеличивалъ вліяніе своей поэзіи на русскихъ людей, но вліяніе его поэмы на насъ поляковъ велико до настоящаго дня. Эта поэзія не призываетъ къ мести и измѣнѣ, она возвышаетъ, согрѣваетъ и одушевляетъ почти столь сильно, какъ и въ минуту когда она была написана. Это произведеніе геніальнѣе 3-й части «Дѣдовъ» и я бы призадумался можно-ли его поставить ниже «Пана Тадеуша».

---

*) Gdym w obec bliźnich dobył zgłębi duszy
Głos przeraźliwszy niźli jęk cierpienia,
Głos wiecznie grzmiący w piekielnej katuszy
Cichy na ziemi głos złego sumienia:
Sędzio straszliwy! tyś ognie rozdmuchał
Sumieniu złemu—a tyś mnie wysłuchał.

Лермонтовъ въ книгѣ Н. Котляревскаго.

Лермонтовъ въ книгѣ Н. Котляревскаго.

— М. Ю. Лермонтовъ, Личность поэта и его произведенія. Опытъ историческо-литературной оцѣнки. Спб. 1891.

I.

Посвященный памяти Лермонтова трудъ г. Котляревскаго занимаетъ первое мѣсто въ средѣ тѣхъ изданій, жизнеописаній и всякаго рода статей, которыя появились въ памятный годъ исполнившагося пятидесятилѣтія съ момента кончины поэта. Этюдъ г. Котляревскаго, почти на трехстахъ страницахъ, занятъ возстановленіемъ одного только нравственнаго облика поэта. Сочиненіе хорошо написано; оно поражаетъ послѣдовательностью и цѣльностью, — какъ будто бы оно было написано въ одинъ присѣстъ; конецъ его вполнѣ соотвѣтствуетъ началу; характерныя черты подлинника слагаются въ одну могучую индивидуальность. Лицо превосходно согласовано съ фономъ, съ средою и моментомъ, съ умственною европейскою и русскою атмосферою тридцатыхъ годовъ XIX столѣтія. Книга содержитъ только литературный портретъ лица въ его житейской обстановкѣ — и больше ничего. Жизнеописанія вовсе нѣтъ, — изъ него заимствовано лишь дѣленіе творчества на періоды по главнымъ, рѣшавшимъ судьбу

поэта, событіямъ. Техника художника намѣренно обойдена. Если критикъ останавливается порою на томъ или другомъ произведеніи Лермонтова, то только затѣмъ, чтобы показать, какъ этотъ субъективнѣйшій изъ писателей самъ себя понималъ, какъ ставилъ онъ въ различныя эпохи жизни единственную психологическую задачу, съ которою онъ провозился всю жизнь — и такъ и умеръ, не разрѣшивъ ея. Отсутствіе художественнаго анализа техники поражаетъ, какъ нѣчто странное въ «*опытѣ историко-литературной оцѣнки*», и является большимъ пробѣломъ въ книгѣ г. Котляревскаго, потому что поэтъ дѣйствуетъ прежде всего на чувственность своего вѣка звуками, красками, образами,—ими-то главнымъ образомъ онъ и обворожаетъ своихъ современниковъ и потомство. Если отложить въ сторону технику, то останутся отъ произведенія только идеи и чувства, которыя критикъ оцѣниваетъ, конечно, и взвѣшиваетъ, соображая, насколько въ нихъ просвѣчиваетъ большее или меньшее сознаніе поэтомъ «*общественности* и *чувства* этой *общественности*». Только по этой мѣркѣ критикъ оцѣниваетъ Лермонтова, но онъ приложилъ бы этотъ самый аршинъ ко всякому иному поэту, такъ какъ отъ каждаго изъ нихъ «общество можетъ потребовать на законномъ основаніи отчета въ его дѣятельности». Г. Котляревскій ставитъ вопросъ рѣшительно и храбро на той же почвѣ, на которой вопросъ стоялъ полвѣка тому назадъ при Бѣлинскомъ. Онъ признаетъ, что вопросъ этотъ осложнился, запутался, принялъ политическій оттѣнокъ, породилъ задорные и праздные споры о чистомъ искуствѣ и о тенденціи въ искуствѣ. Еще недавно въ этомъ же смыслѣ высказывался другой литературный критикъ, г. Скабичевскій, объясняя, какъ ему противно свирѣпствующее нынѣ отчужденіе отъ общественности, которое заставляетъ людей либо сводить все къ личному самоусовершенствованію, либо замыкаться въ раковины исключительно однихъ ученыхъ или художественныхъ интересовъ. Эту ненависть писателя шести-

десятыхъ годовъ ко всякимъ «Fleurs du Mal» въ родѣ произведеній Боделэра, ко всякому эпикурейскому смакованію поэзіи ради раздраженія нервовъ, выражаетъ съ такою же, если не съ большею силою, г. Котляревскій, человѣкъ семидесятыхъ годовъ. Онъ тоже убѣжденъ, что эститическое проявленіе человѣческаго духа находится въ тѣснѣйшей связи съ другими его проявленіями: эстетика съ этикой, красота съ добромъ. Эту мысль высказывалъ еще Платонъ; ее проводилъ Шиллеръ въ письмахъ объ эстетическомъ воспитаніи человѣчества; за нее стоялъ въ недавнее время Гюйо. У г. Котляревскаго эта мысль только первая ступень, а затѣмъ есть и болѣе опредѣленная — вторая. Онъ ставитъ задачу философски-литературной критики такимъ образомъ: «осмыслить область художественнаго творчества съ точки зрѣнія ея гуманитарнаго и прогрессивнаго движенія». Такая постановка задачи видоизмѣняетъ ее существенно; она ее, съ одной стороны, съуживаетъ, а съ другой — безмѣрно обобщаетъ.

Прогрессъ всегда дополняется своимъ противоположнымъ — ретроградствомъ; оба образуютъ въ жизни одну неразлучную пару. Судить поэзію по тому — ускоряла-ли она, или задерживала движеніе — значитъ выталкивать ее на площадь, путать ее во всѣ дрязги житейскія, дѣлать слугою страстей, возлагать на нее отвѣтственность за то, что враждующія партіи одна другую побѣждали, причемъ не всегда побѣда доставалась правой сторонѣ. Въ дѣйствительности бываетъ точно то же, что и въ художественной драмѣ: обѣ стороны оказываются въ концѣ концовъ неправыми; приходится сожалѣть объ ослѣпленіи обѣихъ и скорбѣть о жертвахъ, постигая post factum роковую неизбѣжность ихъ упадка. Самъ критикъ говоритъ въ своемъ предисловіи, что писатель, воспріявъ сложившіеся въ его эпоху вкусы и стремленія, перерабатываетъ по-своему данный ему запасъ чувствъ и мыслей, послѣ чего онъ ихъ передаетъ своимъ современникамъ и потомству такъ, что общество продолжаетъ

двигаться въ силу этого рода толчковъ. Вліяніе этихъ толчковъ должно быть прослѣжено; оно длится одинъ моментъ или нѣсколько десятилѣтій, или цѣлые вѣка и тысячелѣтія; само въ себѣ это вліяніе видоизмѣняется и становится элементомъ либо ускоряющимъ, либо тормозящимъ дальнѣйшее движеніе. Самъ г. Котляревскій признаетъ, что и нынѣ продолжающееся вліяніе поэзіи Лермонтова ослабѣваетъ — какъ только устанавливается у насъ какой-нибудь опредѣленный идеалъ, но что люди съ ревностью приводятъ его въ жизнь, и оно опять возрождается, когда является несоотвѣтствіе идеаловъ новымъ потребностямъ общества, вслѣдствіе чего умы принимаются за пересмотръ старыхъ вопросовъ съ новыхъ точекъ зрѣнія. Историко-литературная критика должна прежде всего разобрать, изъ какихъ стихій выработалъ поэтъ свою поэзію своеобразно, какого рода толчекъ сообщенъ ихъ умамъ, какимъ отмѣченъ онъ чеканомъ на этихъ умахъ. Задача историко-литературной критики, какъ науки, исчерпывается этого рода работою, имѣющею качества точнаго опредѣленія и описанія. Всѣ затѣмъ другіе вопросы о томъ: къ добру ли, ко злу ли, или къ обоимъ клонилось это вліяніе? слѣдуетъ ли за это вліяніе хвалить поэта или осуждать? либо входятъ въ область исторіи вообще (die Weltgeschichte ist das Weltgericht), или составляютъ прикладную часть литературной критики, весьма измѣнчивую и крайне относительную. Судите сколько угодно поэта какъ прогрессивнаго человѣка или ретрограда, — это сужденіе будетъ всегда партійное, тенденціозное; его будутъ всегда заглушать протесты сторонниковъ чистаго искуства, которые никогда не переведутся. Нѣтъ поэта безъ тенденціи; если таковая въ немъ совсѣмъ отсутствуетъ, то онъ не настоящій поэтъ, несмотря на свою прекраснѣйшую технику. Не судите его по тенденціямъ, а по его поэзіи, насколько въ ней сказалась его душа, — объ остальномъ предоставьте всякому свое сужденіе имѣть. Тенденціи перемѣнчивы: прогрессивное сегодня можетъ ока-

заться ретроградным завтра — и наоборотъ. Всякая органическая жизнь продолжается только на счетъ того, что́ она для своего поддержанія безповоротно уничтожаетъ и съѣдаетъ. Излюбленными для поэзіи предметами бывали всегда эти жертвы, съѣдаемыя цивилизаціею; съ всемірно исторической точки зрѣнія онѣ бывали существами ретроградн ѣйшаго направленія. Таковы основанія, по которымъ я полагалъ бы возможнымъ признать г. Котляревскаго, какъ соціолога, превысившимъ свою власть или по крайней мѣрѣ вышедшимъ, въ качествѣ литературнаго критика, каковымъ онъ себя признаетъ, за предѣлы своей компетенціи.

II.

Я уже замѣтилъ, что, оцѣнивая поэзію Лермонтова соціологически, критикъ, съ одной стороны, съузилъ, съ другой — непомѣрно расширилъ свою задачу. Повидимому, въ теоріи г. Котляревскаго происходитъ нѣкоторымъ образомъ игра понятіемъ *общественности*. Прежде всего общественность есть конкретное понятіе, обозначающее отношеніе недѣлимаго лица, какъ живой клѣточки, къ цѣльному объединенному составу изъ такихъ клѣточекъ: національности, государству, религіозному вѣроученію, философской школѣ, по какой бы идеѣ ни возникло это цѣлое. Чувство единства клѣточки и организма, ради котораго она живетъ и которымъ она поглощена, есть могучій стимулъ и родникъ поэзіи, неистощимый ея источникъ. Есть всякіе народные поэты, которые, хотя и не имѣли высшаго образованія, чрезвычайно любимы, но только одними своими земляками, и почти непереводимы на другіе языки (Брёнсъ, Шевченко, отчасти Кондратовичъ). У нѣкоторыхъ поэтовъ политическая окраска весьма сильна, потому что ихъ національный или государственный патріотизмъ составляетъ преобладающій мотивъ ихъ вдохновенія (въ Венг-

ріи Петёфи, въ Италіи Альфіери, нынѣ Кардуччи). Этого рода поэзія хотя и не отрицается совсѣмъ г. Котляревскимъ, но она, такъ сказать, поэзія низшаго сорта и разряда, свойственная людямъ, еще не отрѣшившимся отъ предразсудковъ соціальныхъ, національныхъ, религіозныхъ и эстетическихъ «во имя великой идеи равноправности всѣхъ людей въ пользованіи благами цивилизаціи». Общественность, какъ ее понимаетъ критикъ, есть не идейная связь клѣточки съ своимъ конкретнымъ цѣлымъ, а чувство любви, расширенное поверхъ всѣхъ конкретныхъ коллективизмовъ на весь родъ человѣческій и — что́ самое главное — распространенное «безкорыстно во имя врожденной всѣмъ людямъ симпатіи къ ближнему, а не ради требованій какой-нибудь философской, національной или иной догматической программы». Мы узнаемъ притомъ, что это чувство человѣчности, которое мы считали заслугою, завѣтомъ и мозгомъ костей христіанства, водворилось сравнительно недавно, что общественный вопросъ есть «вѣковая заслуга» только XIX вѣка. Зачатки этого вопроса, правда, восходятъ ко временамъ реформаціи и гуманизма, но свою формулировку онъ получилъ только въ XVIII столѣтіи, въ трудахъ просвѣтительной литературы Франціи, Германіи и Англіи. Весь XIX вѣкъ, «кромѣ послѣднихъ десятилѣтій», представляетъ якобы рядъ побѣдъ, одержанныхъ чувствомъ общественности надъ людскими умами и поведеніемъ. Во имя общей гуманной любви поэзія низведена была на землю, люди стали интересоваться современнымъ и сдѣлали искуство художественнымъ отраженіемъ дѣйствительности. Всѣ вопросы: національный, религіозный, философскій, нравственный — сошлись будто бы въ XIX вѣкѣ въ одномъ единственномъ вопросѣ — *общественномъ*.

Хотѣлось бы вѣрить въ то высокое значеніе, которое приписывается XIX вѣку, но не вѣрится. Выкинемъ изъ него послѣдній, недожитый еще нами, десятокъ лѣтъ, занятый грозными вооруженіями на случай

всеобщей войны. Два предъидущіе десятка лѣтъ посвящены были политикѣ «крови и желѣза»; полтора десятка въ началѣ вѣка прошли въ убійственныхъ наполеоновскихъ войнахъ, а слѣдующіе затѣмъ полтора употреблены на давящую духъ реакцію съ попытками вернуться въ средневѣковую старину. На красивую идиллію г. Котляревскаго выпадутъ три или четыре десятка лѣтъ послѣ 1830 г., то-есть періодъ такъ-называемаго либеральнаго режима съ революціоннымъ антрактомъ 1848 г. Ни одинъ вѣкъ не проливалъ столь много человѣческой крови въ самыхъ безпощаднѣйшихъ войнахъ, расовыхъ и національныхъ, и не имѣлъ такого багроваго и зловѣщаго заката. Подъ конецъ его, передовые умы проповѣдовали не гуманизмъ — они были сторонниками права сильнѣйшаго, послѣдователями въ политикѣ Дарвиновской теоріи борьбы за существованіе. Не подлежитъ сомнѣнію, что въ теченіе XIX вѣка особенно развилась и имѣла успѣхъ новая весьма полезная наука *соціологія*, выработавшая свой методъ и объясняющая законы роста и умиранія государствъ и народовъ, ихъ гигіену и патологію и неизбѣжную взаимную зависимость лица и общества,—ихъ, такъ сказать, полярность, вслѣдствіе которой я, какъ единица, и я, какъ гражданинъ, являемся полюсами одной и той же оси, вокругъ которой вращаются міровыя событія. Эта соціологія обязана своими успѣхами практическимъ вопросамъ XIX вѣка: рабочему, аграрному, тому крупному движенію, которое пугало людей, какъ нѣчто ненормальное и незаконное подъ именемъ *соціализма*, пока не потеряло свой острый характеръ, когда само вошло въ задачи политики и сдѣлалось государственнымъ соціализмомъ, подлежащимъ удовлетворенію законодательнымъ порядкомъ. Въ глубочайшей основѣ соціалистическаго движенія, на днѣ его, кроется, несомнѣнно, чувство почти тождественное и съ гуманизмомъ, и съ чистѣйшими основами христіанства — съ его если не догмою, то практикою. Чѣмъ болѣе крови и насилій отъ зло-

употребленій государственностью и національнымъ, тѣмъ больше становятся стремленія къ иному, еще небывалому единенію людей безъ тѣсныхъ предѣловъ отечественныхъ, — единенію всенаціональному, всегосударственному, съ охраною для слабыхъ, съ равноправностью для всѣхъ, а главное, безъ войны, безъ ея ужасовъ и жертвъ. Эти смутныя надежды относятся нами въ будущіе вѣка; онѣ и станутъ источниками вдохновенія, но не теперь, а въ свое время, когда искуство, всегда запаздывающее въ дѣйствительности и апотеозирующее совершившіяся событія заднимъ числомъ, приступитъ къ изображенію движенія послѣ его пробѣга. Нельзя писать исторію литературы за прошедшее время по этимъ этическимъ аспираціямъ къ отдаленному будущему. Въ исторіи литературы гуманизмъ имѣлъ свое весьма опредѣленное значеніе; онъ не былъ изобрѣтенъ XIX вѣкомъ. Если искать, кому изъ геніевъ поэзіи подобаетъ въ наивысшей степени званіе гуманиста, то таковымъ окажется несомнѣнно Шекспиръ, «величайшій создатель человѣческихъ душъ», какъ его назвалъ французскій критикъ Тэнъ, а затѣмъ по росту къ Шекспиру въ XIX вѣкѣ подходитъ только одинъ человѣкъ — Гёте — «великій язычникъ». Геніальный поэтъ не можетъ не быть гуманистомъ; онъ долженъ имѣть образованный умъ, привыкшій витать на однѣхъ вершинахъ человѣчества, пребывая на которыхъ уже не усматриваешь мелкихъ различій національныхъ, сектантскихъ и школьныхъ, а созерцаешь только человѣка вообще въ чистѣйшемъ его существѣ. Поэтическій геній долженъ имѣть также и сочувствующее всему происходящему въ мірѣ сердце, долженъ имѣть избытокъ жизни, бьющей ключемъ, переливающейся чрезъ край на родъ человѣческій и даже больше—на всю природу, на всѣ даже безсловесныя существа, способныя страдать, а слѣдовательно, имѣющія и душу. Называйте какъ хотите это качество симпатизированія, присущее поэтическому генію,—*анимизмомъ*, *витализмомъ* или иначе, но оно-то одно и

вноситъ поэзію въ дѣйствительную жизнь, въ настоящее, въ прошедшее и въ природу. Итакъ, опредѣленіе г. Котляревскимъ общественности, какъ мѣрила достоинства поэтическихъ произведеній, подлежитъ весьма многимъ ограниченіямъ и оговоркамъ.

III.

Кромѣ того, сужденія г. Котляревскаго въ его книгѣ страдаютъ еще тѣмъ, что его теорія прилагается имъ къ писателю, наименѣе подходящему къ типу гуманиста. Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ былъ всю свою жизнь нелюдимъ, — это человѣкъ гордый, неуживчивый, вызывающій, колкій, задорный, который, повидимому, и не привязывался ни къ кому особенно крѣпко, даже къ женщинамъ. Нѣтъ счета тѣмъ, въ которыхъ онъ влюблялся «всѣмъ напряженіемъ душевныхъ силъ», но ни одной не прикрѣпилъ онъ къ себѣ на продолжительное время, такъ что его собственная особа въ жизнеописаніи его окружена большимъ сонмомъ однѣхъ только блѣдныхъ и безличныхъ тѣней. Г. Котляревскій соглашается съ тѣмъ, что можно удивляться Лермонтову, но любить его невозможно. Такое впечатлѣніе произвелъ онъ сразу и на Боденштедта при первомъ свиданіи («въ этотъ вечеръ у меня пропала всякая охота поближе сойтись съ нимъ, весь разговоръ звенѣлъ у меня въ ушахъ, какъ будто бы кто-нибудь скребъ по стеклу»); такое же произвелъ онъ и на И. С. Тургенева («въ наружности Лермонтова было что-то зловѣщее и трагическое; какой-то сумрачной, недоброй силой, задумчивой презрительностью вѣяло отъ его смуглаго лица, Вся его фигура возбуждала ощущеніе непріятное, но присущую мощь тотчасъ же сознавалъ всякій»).

Этотъ гордецъ, назойливый насмѣшникъ и глубокій эгоистъ былъ въ то же время великій и геніальный

художникъ. Г. Котляревскій не довольствуется простымъ признаніемъ этого величія и этой геніальности, потому что самъ онъ отвергъ эстетическій масштабъ и орудуетъ только этическимъ, и потому онъ берется исправлять функцію не описательную, а судейскую. Ему нужно во что бы ни стало ввести своего Фауста въ рай, уготованный для однихъ добрыхъ и любящихъ. На нашихъ глазахъ происходитъ превращеніе мизантропа въ гуманиста и совершается оно слѣдующимъ образомъ и порядкомъ.

Никогда дѣйствительность не удовлетворитъ всѣхъ пожеланій человѣка единичнаго или коллективнаго. Недовольство жизнью можетъ сопровождаться либо яснымъ сознаніемъ лучшаго, которое недовольный старается тотчасъ же воплотить и осуществить, или глухимъ озлобленіемъ противъ существующаго, безъ какихъ бы то ни было опредѣленныхъ идеаловъ,—иными словами, *пессимизмомъ*, свирѣпствующимъ всегда въ переходныя эпохи, когда прежніе идеалы разшатаны, а новые не высказались, и господствуетъ мучительная общественная *вялость*. Есть порывы неизвѣстно къ какому дѣлу, сопровождаемые чувствомъ безсилія что-нибудь сдѣлать—за невозможностью разрѣшить въ умѣ неотвязные вопросы жизни и бытія. Лермонтову пришлось на долю переживать одну изъ такихъ переходныхъ эпохъ. Онъ тѣмъ разнится отъ другихъ поэтовъ, что ихъ безпокойные, мятежные порывы кончались тѣмъ, что такъ или иначе они пріютились въ какихъ-нибудь отысканныхъ ими спокойныхъ пристаняхъ, между тѣмъ какъ Лермонтовъ вѣчно ходилъ вскругъ и около этихъ вопросовъ, не находилъ ключа для выхода изъ своей желѣзной клѣтки, тысячу разъ ломалъ, но безуспѣшно, ея стѣнки, томимый неутолимою жаждою истины, но не обрѣтая никакихъ рѣшающихъ убѣжденій. Онъ такъ и умеръ въ тревогѣ, потугахъ и мукахъ. Самъ критикъ замѣчаетъ, что единственный выходъ изъ душевнаго разлада возможенъ лишь, когда страдающему придетъ въ

помощь то «сознаніе общественности, которое одно можетъ умиротворить душу и скучающаго имъ озлобленнаго мечтателя обратить въ живого члена одной семьи» — всечеловѣчества; а такъ какъ Лермонтовъ умеръ въ разладѣ, разочарованіи и душевныхъ мукахъ, то, повидимому, подлежало бы придти къ заключенію, что у Лермонтова отсутствовали сознаніе и чувство общественности; что хотя онъ мучился, но едва ли кого-либо, кромѣ себя любилъ, какъ то и продокументировалъ онъ въ «Маскарадѣ», «Героѣ нашего времени» и множествѣ другихъ произведеній,—однимъ словомъ, Лермонтовъ не былъ собственно ни гуманнымъ человѣкомъ, ни гуманистомъ. Но у г. Котляревскаго дѣлается выводъ совсѣмъ обратный, напоминающій классическую шутливую этимологію: lucus—a non lucendo. Лермонтовъ, по мнѣнію г. Котляревскаго, страдалъ отъ *безпринципности* своего пессимизма. «Да, это правда,—разсуждаетъ авторъ,—но Лермонтовъ не могъ однако остановиться на этомъ скептицизмѣ; его постоянное возвращеніе къ тѣмъ же вопросамъ жизни доказываетъ, что онъ вѣрилъ по крайней мѣрѣ въ необходимость найти исходъ изъ этихъ противорѣчій». Эту муку отъ невозможности разрѣшить сфинксовую загадку авторъ отождествляетъ съ совѣстливостью души, съ грознымъ голосомъ недремлющей совѣсти, осуждающей его за бездѣйствіе; эта же совѣсть, въ концѣ концовъ, оказывается у г. Котляревскаго ничѣмъ другимъ, какъ любовью къ людямъ и чувствомъ справедливости. Лермонтовъ потому мучился, что былъ безпощадно строгъ къ себѣ, вслѣдствіе того, что никакъ не могъ найти подходящаго положенія, въ какое онъ могъ бы стать къ людямъ. Изъ этого слѣдуетъ, что у Лермонтова была несомнѣнно любовь къ людямъ, но инстинктивная и, такъ сказать, скрытная, не успѣвшая выказаться наружу по невозможности оформить ее и философски обосновать. Будучи образцомъ совѣстливаго и строгаго надзора человѣка надъ самимъ собою, Лермонтовъ только

по любви къ людямъ такъ безпощадно казнилъ своё собственное сердце. На страницѣ 260-й книги г. Котляревскаго мы встрѣчаемся съ такими синонимами: чувство гуманной любви къ ближнему, альтруизмъ, проснувшійся и требовательный голосъ совѣсти, чувство справедливости, жертвующее счастіемъ своей жизни для блага другихъ, и т. д.

Намъ кажется, что въ совокупности этихъ выдержекъ, которыхъ мы могли бы привести гораздо бо́льшее число, пестрѣютъ противорѣчія и видимо перепутываются и смѣшиваются понятія. Умственное страданіе отъ неразрѣшенія загадки, отъ которой зависѣли выработка идеала, опредѣленіе по этому идеалу своихъ отношеній къ людямъ и направленіе въ надлежащую сторону своей воли—отождествляются съ совѣстью, то-есть съ неодобреніемъ своихъ дѣйствій за несоотвѣтствіе ихъ носимому уже въ душѣ идеалу. По выраженію г. Котляревскаго, вражда съ жизнью, а слѣдовательно и недовольство — были у Лермонтова, безпринципныя, слѣдовательно, не дающія матеріала для суда и осужденія. Онъ былъ необычайно тонкій и острый самонаблюдатель описывающій и разбирающій психологическія явленія вѣрно и точно; но изъ сего не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ образцомъ строгаго самонадзора, самонаблюдателемъ и самосудьею. Здѣсь опять смѣшаны двѣ мѣрки: умозрительная и этическая. Скрытная любовь къ людямъ, не проявляющаяся до разрѣшенія умственной, жизненной загадки, никогда не наступившаго, есть бездоказательное предположеніе, какъ совершенно произвольно и другое—что если бы Лермонтовъ дольше пожилъ, то онъ бы разрѣшилъ загадку, доработался бы до ясныхъ идеаловъ, преисполнился бы любви къ людямъ, его поэзія не осталась бы недосказанною рѣчью, недопѣтою пѣснью, неразрѣшеннымъ душевнымъ диссонансомъ.

IV.

Чтобы совсѣмъ покончить съ теоріею, по которой г. Котляревскій судитъ и оцѣниваетъ Лермонтова, я долженъ сдѣлать еще одну оговорку, относящуюся не къ содержанію, а къ способу формулировки авторомъ великой задачи:—какъ жить? Жизнь, по словамъ автора, требуетъ отъ человѣка примиренія съ ея обманами и несовершенствами. Самый прочный и обыкновенный способъ примиренія есть пассивное состояніе духа, ни о чемъ не думающаго, ничѣмъ не тревожащагося,—жизнь, какою живутъ животныя, жизнь безъ развитого чувства общественности, совсѣмъ безплодная для прогресса человѣчества. Такое примиреніе недостойно идеальнаго человѣка, какимъ онъ долженъ быть. Есть другого рода примиреніе, болѣе плодотворное, которое подраздѣляется на два вида, смотря по темпераментамъ человѣка—умозрительному или практическому, свойственнымъ либо спокойному мудрецу, либо ретивому бойцу. На первомъ видѣ я долго останавливался въ первомъ моемъ этюдѣ о Лермонтовѣ *) и теперь позволю себѣ заимствовать изъ него слѣдующія слова: созерцаніе міровой громады въ ея красѣ и порядкѣ доставляетъ такое великое наслажденіе мыслителю, что онъ отъучается искать смысла жизни съ личной точки зрѣнія, и прежде всего и больше всего его интересуетъ сама вселенная. Сама по себѣ эта философія, если она только ограничивается тѣмъ, что тревожившійся мудрецъ успокоится и опочіетъ, можетъ быть столь же безплодна для прогресса человѣчества, какъ и пассивное примиреніе съ жизнью. Она можетъ быть равносильна въ нѣкоторыхъ случаяхъ пріему морфія, успокаивающему всѣ боли, отнимающему всю волю жить и заставляющему человѣка мысленно смаковать съ наслажденіемъ нирвану. Вспомнимъ, въ

*) «Вѣстн. Европы», 1888, мартъ, 50 стр., апр., 500 стр.

какой художественной чашѣ подносится подобный напитокъ Леконтъ-де-Лилемъ. — Г. Котляревскій подмѣтилъ эту опасность философіи; онъ выражается осторожно говоря, что въ бо́льшей части случаевъ философія вселяетъ бодрость, такъ какъ обыкновенно въ окончательномъ выводѣ она бываетъ оптимистична, но иногда она можетъ вести и къ квіетизму, то-есть къ оправдыванію дѣйствительности и наименѣе желательныхъ ея сторонъ. Итакъ, изъ двухъ способовъ достойнаго рѣшенія задачи: какъ жить, — я полагаю, что г. Котляревскій—настоящій и безусловный сторонникъ только второго, то-есть способа активной борьбы съ міромъ; первый способъ онъ одобряетъ только при условіи, что въ него войдетъ и порядочная доза перваго, а именно, что мудрецъ не сдѣлался при всей своей философіи отшельникомъ, сладострастно и эгоистически погружающимся мысленно въ прелести небытія. Но и второй способъ немыслимъ, въ сущности, безъ сильной примѣси перваго. Г. Котляревскій говоритъ, опредѣляя этотъ второй способъ, что человѣкъ, не довольствуясь примиреніемъ въ идеалѣ, хочетъ видѣть хотя бы намеки на него въ настоящемъ и ставитъ себѣ въ обязанность активно содѣйствовать его осуществленію. Онъ подвергаетъ себя ежедневно мелкимъ ударамъ; его жизнь — борьба; она пріучаетъ его не ставить современности слишкомъ большихъ требованій, не допускаетъ его однако и до крайняго унынія и озлобленія, но заставляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ отказаться и отъ весьма многихъ иллюзій. Какъ чистому мудрецу грозитъ опасность квіетизма, такъ борцу грозитъ противоположная опасность пессимизма, съ тою подчеркиваемою авторомъ разницею между обоими, что кто погрузился въ квіетизмъ, тотъ, можно сказать, конченный человѣкъ, между тѣмъ какъ идеализму борца предстоитъ реакція, которая только «на время можетъ его сдѣлать даже пессимистомъ». И съ этимъ мнѣніемъ нельзя согласиться. Есть цѣльныя пессимистическія міросозерцанія (Шопенгауеръ, Эдуардъ Гарт-

манъ), которыя окончательно ведутъ къ тому же результату, къ которому приводитъ и квіетизмъ—къ безволію, такъ что вполнѣ оправдывается французская пословица: les extrêmes se touchent (можно бы еще прибавить: ils se valent). Въ г. Котляревскомъ есть особаго рода глубокое и нѣжное предрасположеніе къ пессимизму. Лермонтова онъ цѣнитъ за его «безпокойную, безсмертную душу — главный рычагъ человѣческой дѣятельности, первое побужденіе къ движенію впередъ», причемъ онъ увѣренъ, что въ умномъ человѣкѣ неопредѣленное и мучительное настроеніе духа «предшествуетъ *всегда* примиренію съ жизнью». Это *всегда* несогласно съ истиною, потому что человѣкъ можетъ застыть неподвижно въ озлобленіи противъ своего бытія и его условій. Независимо отъ того, само примиреніе можетъ имѣть весьма двусмысленное значеніе. Если оно пассивное, то по выводу самаго автора оно никакой пользы не приноситъ. Слѣдовательно, не въ примиреніи дѣло, а еще въ чемъ-то другомъ сверхъ примиренія, что́ его возноситъ, освящаетъ и ставитъ ореолъ надъ головами людей, извѣстнымъ, надлежащимъ образомъ примирившихся съ жизнью. Постараемся указать, въ чемъ заключается суть этого надлежащаго, хорошаго и достойнаго примиренія съ жизнью.

V.

Говоря простымъ языкомъ, человѣкъ по природѣ своей ищетъ не примиренія съ жизнью, а того, что́ условлено называть счастіемъ, иными словами — возможнаго удовлетворенія своихъ пожеланій. Всякому извѣстно, что эти желанія бываютъ безграничны, и что страсти человѣка часто необузданны. Бываютъ люди— и ихъ особенно много въ некультурныхъ обществахъ,— которые, не ссорясь съ жизнью, слѣдуютъ только своему нраву и дѣйствуютъ какъ рабы своихъ пожеланій

и страстей. Культура, подвергая людей продолжительной дрессировкѣ, пріучаетъ ихъ обуздывать себя и сдерживать, подчиняться многому непріятному, злословя и проклиная эти тяжелыя условія жизни. Вмѣсто порывовъ похоти, въ культурномъ обществѣ главнымъ руководителемъ является разсудочный разсчетъ. Большинство тяжелыхъ условій жизни, между которыми мечется разбивающаяся о нихъ человѣческая личность, имѣетъ свойство непреложныхъ, неодолимыхъ и роковыхъ законовъ природы, и только мéньшая ихъ часть, завися отъ общественнаго склада и устройства и отъ морали, можетъ быть облегчена и видоизмѣнена къ лучшему неимовѣрными общими усиліями членовъ даннаго общества. Между наиболѣе удручающими видами горя первое мѣсто занимаетъ страшная и неотвязчивая мысль о старости и смерти.

Исповѣдь графа Льва Толстого передаетъ извѣстное сказаніе объ индійскомъ царевичѣ, который сдѣлался потомъ Буддою, и о томъ, какъ онъ увидавъ дряхлаго человѣка, потомъ больного, наконецъ мертваго, рѣшилъ, что жизнь есть величайшее зло, и что отъ нея надобно освобождать себя и другихъ такъ, чтобы по смерти она не возобновлялась. Гр. Льва Толстого едва не довела до самоубійства мысль о томъ: «есть ли смыслъ въ моей жизни, который бы не былъ уничтоженъ неизбѣжной предстоящей мнѣ смертью?» Лермонтовъ, еще будучи 18-лѣтнимъ юношей, писалъ къ кузинѣ въ 1832 г.: Dieu sait si après la vie le moi existera. C'est terrible quand on pense qu'il peut arriver un jour où je ne pourrai pas dire: moi! A cette idée l'univers n'est qu'un monceau de boue *). Всѣхъ людей рефлектирующихъ, то-есть живущихъ не въ одной только внѣшности, смущалъ этотъ вопросъ, отравляя имъ существова-

*) Богъ вѣсть, будетъ ли *я* существовать послѣ жизни? Ужасно подумать, что можетъ наступить день, когда нельзя будетъ сказать: *я*! При этой мысли вселенная превращается въ комъ грязи.

ніе; но для громаднаго большинства онъ былъ мучителенъ только въ извѣстномъ возрастѣ, въ извѣстную эпоху, послѣ чего человѣкъ свыкался съ неизбѣжнымъ и *покорялся* ему, найдя какую-нибудь уютную пристань либо въ меланхолическомъ сентиментализмѣ, либо въ религіи съ ея представленіями о бытіѣ загробномъ, либо въ поглощающей всѣ другія помышленія погонѣ за такою славою, которая бы весь міръ повергла къ стопамъ честолюбца (Лермонтовъ въ томъ же письмѣ: «cette drole de passion de laisser toujours des traces de mon passage»). Всѣ эти виды—не примиренія, а покорности, какъ чисто личные отвѣты на таковые же личные вопросы, безплодны для человѣчества, по словамъ г. Котляревскаго, и съ его точки зрѣнія должны быть снесены со счетовъ. Отвѣтъ,—которому, какъ общечеловѣчески полезному, придаетъ критикъ значеніе,—обусловливается мысленнымъ переходомъ на безличную точку зрѣнія, чувствомъ общественности, любовью къ людямъ, либо конкретнымъ либо отвлеченнымъ, къ человѣческимъ коллективизмамъ, какъ бы они ни назывались—любовью къ своему народу, любовью ко всечеловѣчеству. Слово *примиреніе* для обозначенія этого перехода чрезъ Рубиконъ своего личнаго единичнаго существованія—неподходящее, недостаточное; оно обозначаетъ одну только логическую сторону событія; но есть еще и другая сторона—эмоціональная. Недостаточно того, что называется resignatio, то-есть отказа отъ личнаго счастія, сопровождаемаго мысленнымъ смиреніемъ передъ неизбѣжнымъ рокомъ; необходимо еще воспріять эту жизнь радостно и охотно, возлюбить ее со всѣми ея страданіями и даже, ради этихъ страданій, окончательно побѣдить тѣмъ страданія и смерть, идя съ наслажденіемъ на подвигъ, на эти муки, на эту смерть. Есть нѣсколько великолѣпныхъ страницъ у *Поля Буржэ* (Sensations d'Italie, 1891, p. 142) по поводу жизнерадостнѣйшаго изъ такихъ добровольныхъ страдальцевъ, человѣколюбца и природолюбца, причисленнаго рим-

скимъ католицизмомъ къ лику святыхъ, Франциска Ассизскаго. «Независимо отъ всѣхъ чудесъ своего житія,—говоритъ Буржэ,—ассизскій святой ознаменовался тѣмъ, что онъ проявилъ въ наивысшей степени два начала, составляющія душу всякаго религіознаго чувства: акцептованіе жизни и отреченіе отъ ея благъ. Акцептовать значитъ возлюбить неизбѣжное, питать чувство, а не одно простое понятіе того, что этотъ мрачный міръ имѣетъ таинственное и благотворное значеніе. Ухищряйтесь сколько вамъ угодно въ доказываніи, что настоящее назначеніе человѣка есть хладнокровная его покорность слѣпой и глухой природѣ (какъ то дѣлалъ Тургеневъ въ своихъ «Стихотвореніяхъ въ прозѣ»), осмѣивайте сколько вамъ угодно съ грубымъ или тонкимъ юморомъ притязанія нашей бѣдной особы по отношенію къ необъятному космосу — такое настроеніе одно лишь позированіе. Откровенно говоря, душа протестуетъ въ насъ противъ этого высокомѣрнаго и искуственнаго напряженія нашей воли. Въ глубинахъ нашего чувства существуетъ неискоренимая потребность того, чтобы міръ удовлетворилъ наше сердце, такъ какъ само это сердце отъ сего же міра. Люди безусловно невиновные и чистые, подобно омбрійскому бѣдняжкѣ (poverello), вѣрившіе въ эту благотворность міра столь естественно, какъ жили и дышали они, то-есть всѣмъ нутромъ своего нутра, являются намъ въ качествѣ непреодолимаго протеста противъ давящаго насъ нигилизма. Насъ не занимаютъ ни вѣроученія этихъ вѣрныхъ, ни ихъ предразсудки. Насъ интересуетъ только ихъ *я*, подобное нашему въ своихъ задушевнѣйшихъ стремленіяхъ, обладавшее тѣмъ, чего мы наиболѣе желаемъ. Это ихъ *я*, героическое и горячее, согрѣваетъ насъ, дѣйствуя на насъ изъ той непроходимой бездны, въ которую оно ушло». Люди съ такимъ преизбыткомъ дѣятельной любви, проникающіеся этою любовью и увлекающіе другихъ, для которыхъ они служатъ неистощимымъ источникомъ блаженства, весьма исключительны

и рѣдки. Не всѣ великіе поэты способны быть такими апостолами и героями добра, чѣмъ однако нисколько не умаляется ихъ художественная геніальность. Недостатокъ чувства не можетъ даже быть поставленъ имъ въ вину, такъ какъ онъ не зависитъ иногда отъ ихъ воли; за этотъ недостатокъ они не могутъ быть даже и судимы, какъ художники. Родился человѣкъ эгоистомъ— онъ такъ и созданъ, что чувствомъ и любовью онъ не переступаетъ никогда за рамки своего собственнаго *я*. Своимъ проницательнымъ умомъ онъ постигъ, что любить людей слѣдуетъ; онъ и будетъ исполнять этотъ признанный имъ долгъ совѣстливо, будетъ дѣйствовать, какъ бы дѣйствовалъ любящій, а все-таки это будетъ любовь не настоящая, не сердечная, а разсудочная, головная, сопровождаемая мучительнымъ сознаніемъ, что во всѣхъ этихъ по внѣшности добрыхъ дѣлахъ и даже въ самыхъ мукахъ на крестѣ настоящій дѣятель— только личное самолюбіе, усовершенствованное и утонченное. Самолюбецъ будетъ всегда томиться омерзеніемъ къ этому самолюбію и другимъ чувствамъ вѣчнаго одиночества *). Положимъ, что поэтъ выразилъ ярко и мощно эту муку одиночества въ своемъ произведеніи; оно стало любопытнымъ документомъ извѣстнаго мгновенія въ исторіи, закрѣпленнымъ впервые чувствомъ извѣстнаго настроенія больной души, страдающей болѣзнью, свирѣпствовавшею въ этомъ вѣкѣ, а можетъ быть и въ другихъ ближайшихъ поколѣніяхъ. Еслибы это чувство было преходящее, еслибы оно не коренилось въ самой организаціи души поэта, то оно не было бы ни столь острое, ни столь глубокое. Въ моемъ опредѣленіи этого чувства я настаиваю въ особенности на признакѣ,

---

*) Никогда нельзя слиться съ чужою душою, ибо крѣпче, чѣмъ узникъ къ своей тачкѣ, каждый изъ насъ прикованъ къ своему самолюбію и чужое бытіе остается для насъ далекимъ и неяснымъ, какъ тотъ клочокъ земли, какъ тотъ клочокъ неба, которые узникъ видитъ сквозь тусклое стекло каземата (Минскій, «При свѣтѣ совѣсти». 1891, стр. 26).

впервые сказавшемся, впервые закрѣпленномъ. Г. Котляревскій налегаетъ особенно на то, что родникомъ поэзіи можетъ быть одна только современность, и что генія поэта очень рѣдко хватаетъ на два поколѣнія сряду—современное ему и грядущее. Характеристикою всякаго геніальнаго произведенія служитъ въ самомъ дѣлѣ то, что оно самобытно, то-есть что оно не съ чужого голоса высказываетъ то, что́ смутно чувствовали современники, и даже забѣгаетъ впередъ и изображаетъ мысли и чувства, которыя проявятся у отдаленныхъ потомковъ. Когда нынѣ разбираются съ точки зрѣнія современности или, какъ французы говорятъ, со стороны ихъ modernité, произведенія Петрарки, Шэлли или Стендаля-Бэйля, то подъ этимъ словомъ понимается не то, что они отрицали свой вѣкъ, но что они предвосхитили идеи и чувства наши, идеи и чувства отдаленнаго своего потомства.

Этимъ мы заканчиваемъ наши возраженія противъ теоретической части книги г. Котляревскаго, ставя которыя, мы должны были сражаться съ нѣсколько рискованными, а иногда и односторонними его взглядами. Намъ предстоитъ теперь работа гораздо болѣе благодарная—фактическое опредѣленіе по его книгѣ личности, достоинства и развитія творчества у Лермонтова. Изъ всѣхъ этюдовъ о Лермонтовѣ его работа—трудъ самый глубокій и солидный. Результаты изысканій и соображеній г. Котляревскаго сводятся въ главныхъ чертахъ къ нижеслѣдующему.

VI.

Скороспѣлка, парниковое растеніе, не имѣвшій молодости художникъ, уже вполнѣ созрѣвшій, когда ему было 15 лѣтъ, и мало измѣнившійся затѣмъ до своей кончины, постигшей его, когда ему было 27 лѣтъ, — Лермонтовъ не былъ никогда ни гонимъ, ни преслѣдуемъ, ни оскорбляемъ, и отъ пеленокъ всѣ его баловали. Главная причина его скорбнаго и мрачнаго настроенія — сама природа: онъ уже отродясь былъ меланхоликъ и фантазёръ. Онъ всегда предпочиталъ грустные мотивы веселымъ. Во время своего замкнутаго отрочества онъ воспринималъ изъ книгъ все печальное и кровавое и только такими книгами зачитывался, такъ что, вступая въ дѣйствительную жизнь, онъ отнесся къ ней не съ недовѣрчивостью, а уже съ извѣстнымъ скептицизмомъ, предвосхищавшимъ безотрадныя стороны жизни.

Притомъ у него была фантазія необузданная и кипучая. Его энергическая натура, ощущая въ жизня тѣсноту, вознаграждала себя мечтаніями. Эти мечтанія находили себѣ обильную пищу въ книгахъ у поэтовъ, родственныхъ съ нимъ по духу, чувства которыхъ онъ жадно ассимилировалъ. Самую обильную для себя пищу онъ нашелъ у Байрона. Къ этимъ двумъ кореннымъ чертамъ темперамента: расположенію къ печальному и кипучему фантазированію, т.-е. сочетанію изъ испытаннаго или вычитаннаго образовъ во сто разъ ярче и краше дѣйствительности, — присоединился еще третій даръ природы, самый характерный и по отношенію къ Лермонтову можно сказать *роковой*, заключавшійся въ безпримѣрно остромъ аналитическомъ умѣ, какъ бы анатомическимъ ножемъ разсѣкающемъ всѣ мечты воображенія одновременно съ тѣмъ, какъ они возникали и появлялись. Представимъ себѣ существо впечатлительное и нервное, въ которомъ внѣшнія впечатлѣнія претворяются тотчасъ въ красивые образы. Оно цѣнитъ только эти

образы, а не дѣйствительность; между тѣмъ оно отлично знаетъ, что эти образы только мечта и обманъ. Для этого существа главная его способность, составляющая и его геніальность, становится вмѣстѣ съ тѣмъ его отравою. Такова была психологія этого страннаго ребенка, которую онъ самъ изобразилъ въ полуисповѣди, полу-автобіографіи, въ стихотвореніи, озаглавленномъ: «31-го іюля 1831», изъ котораго мы позволимъ себѣ сдѣлать нѣсколько выписокъ для подтвержденія нашей характеристики.

«Моя душа *чудеснаго* искала... Я любилъ всѣ *обольщенія* свѣта, но *не свѣтъ*, въ которомъ я минутами лишь жилъ. И тѣ минуты были мукъ полны. И населялъ таинственные сны я этими мгновеньями... Всѣ образы не походили на существъ земныхъ, все было адъ иль небо въ нихъ»... Сопоставимъ съ этими отрывками извѣстную «Чашу жизни», кончающуюся стихомъ: «И что она *не наша*», допускающимъ двойное толкованіе, смотря по тому, отнесемъ ли мы мѣстоименіе *наша* къ существительному *мечта* въ предпослѣднемъ стихѣ («Что въ ней напитокъ былъ мечта») или къ существительному *чаша* въ двухъ предъидущихъ стихахъ («Тогда мы видимъ, что пуста была златая чаша»). Если мы отнесемъ слово *не наша* къ мечтѣ, то цѣлое получитъ смыслъ вполнѣ пантеистическій, отрицающій личность и ея бытіе. Но Лермонтовъ никогда не былъ пантеистомъ, онъ—субъективнѣйшій изъ поэтовъ; значитъ, слово «не наша» относится къ чашѣ, и все стихотвореніе имѣетъ слѣдующій смыслъ: мы пьемъ изъ чаши бытія, смачивая края ея слезами; передъ смертью убѣждаемся, что чаша была пуста и не наша, и что самъ напитокъ въ ней была только наша же мечта. Это сознаніе пустоты желаемаго, но несбыточнаго, обрѣзываетъ сразу крылья у души, для которой «жизнь скучна, когда боренья нѣтъ», которой нужно дѣйствовать, которая не знаетъ, что́ значитъ отдыхать, потому что «всегда кипитъ и зрѣетъ что-нибудь въ моемъ умѣ»,

и «жажда быть сильнѣй страданій роковыхъ». — Душа чувствуетъ «пылъ страстей возвышенныхъ». Я въ этотъ мигъ «готовъ пожертвовать собой, чтобъ хоть тѣнь ихъ перелить въ чужую грудь». «Хочу любить, и небо я молю о новыхъ мукахъ... и отъучить меня не могъ обманъ—Пустое сердце ныло безъ страстей».—Но и въ эти минуты поэту неотступно присуща мысль, что любимое имъ—мечта, что реаленъ только онъ самъ—мечтающій, что онъ любитъ только себя и только ради себя. Г. Котляревскій прекрасно объяснилъ то чувство одиночества и отчужденности, которое преслѣдовало Лермонтова всю жизнь по самой природѣ его, безъ всякихъ иныхъ достаточныхъ причинъ, но которое слагалось изъ бездоказательной увѣренности въ своемъ великомъ призваніи къ неизвѣстнымъ какимъ-то геройскимъ подвигамъ, и изъ таковой же увѣренности въ своемъ безсиліи совладать съ задачею, рѣшить которую онъ призванъ. Вслѣдствіе полнаго отсутствія опредѣленной цѣли въ жизни она проходитъ въ «бореньи думъ» безъ дѣйствія, слѣдствіемъ чего поэтъ одержимъ извѣстною степенью маніи величія и, ничего еще не сдѣлавъ, становится въ позу Прометея. «И самъ себѣ я въ тягость и другимъ,—Я холоденъ и гордъ и даже злымъ—Толпѣ кажусь»... правда, что и я «презираю жизнь другихъ». На порогѣ жизни, еще сильныхъ страстей не испытавъ, Лермонтовъ изображаетъ свои чувства въ видѣ березки, выростающей изъ трещины развалинъ, потому что «лишь въ разбитомъ сердцѣ можетъ страсть имѣть неограниченную власть». Тогда же онъ себя изображаетъ въ видѣ тучи, таящей въ себѣ потенціальный громъ: «Темна проходитъ туча въ небесахъ—И въ ней таится пламень роковой».—Изъ этого все-таки небезплоднаго «боренья думъ» въ душѣ необыкновенной, въ которой много героическаго, но мало гуманнаго и общественнаго, получается слѣдующій твердый осадокъ: «Подъ ношей бытія—Не устаетъ и не хладѣетъ гордая душа... мщеніемъ дыша противъ непобѣдимой (судьбы), много зла

она свершить готова, хоть могла составить счастье тысячи людей: съ такой душой ты — богъ или злодѣй!»

Органическіе недостатки души Лермонтова были: безвѣріе въ реальность мечтаній, отсутствіе иллюзій, а вмѣстѣ съ тѣмъ и идеаловъ, пустота сердца; все это отразилось и въ той страсти, которая заняла почти исключительно всю его жизнь, и которую онъ изображаетъ слѣдующимъ образомъ: «въ женскомъ сердце я хотѣлъ сыскать отраду бытія» и «видѣлъ тѣнь блаженства» (1831). Справедливо замѣчаетъ Котляревскій, что Лермонтовъ былъ съ малолѣтства просто влюбчивъ, но какъ Донъ Жуанъ онъ любилъ самую любовь больше нежели женщинъ; въ особенности же его прельщало зарождающееся чувство любви, неопредѣленное и пріятное, не ослабленное привычкой и дающее полный просторъ фантазіи. Съ нимъ произошло то, что́ обыкновенно случается съ мечтателями: онъ перенесъ свои земныя чувства на невидимый и неземной предметъ, на образъ, въ которомъ напрасно искалъ сходства съ живымъ лицомъ. Изъ всѣхъ скоропреходящихъ любовныхъ привязанностей выработался символъ, который и былъ потомъ воплощенъ въ Тамару. Такимъ образомъ, всѣ зародыши поэтической дѣятельности Лермонтова сведены у Котляревскаго къ слѣдующимъ элементамъ: героическій паѳосъ, меланхолическая любовь, пессимистическое сомнѣніе во всемъ, чувство нравственнаго и умственнаго одиночества и преждевременной старости.

Что́ дали среда общественная и чтеніе поэту, снабженному такими качествами и предрасположеніями? Чѣмъ и какимъ образомъ онъ воспользовался воспринимаемымъ?

VII.

Тридцатые годы нашего вѣка давали мало пищи уму и сердцу энергическихъ людей. То было время полной общественной вялости. Старшіе по возрасту люди Пушкинскаго кружка сживались съ этою вялостью, уединяясь въ поэзію и сочиняя спокойные, звучные, оптимистическіе, сентиментальные стихи. По отношенію къ нимъ Лермонтомъ былъ вполнѣ новый человѣкъ (moderne), поэтъ не по стихамъ, а по жизни, которую онъ устраивалъ поэтически по своимъ мечтаніямъ, типъ небывалый въ Россіи, родственный Байрону,—вотъ почему не по подражательности, а по свойству натуръ онъ былъ байронистъ, и таковымъ себя признавалъ. Онъ притомъ сдѣлался хотя нѣсколько запоздалымъ; но самымъ полнымъ и цѣльнымъ въ Россіи воплощеніемъ западно-европейскаго романтизма, съ его тревожнымъ безпокойствомъ, эксцентричностью, стремленіемъ къ чему-то неизвѣданному и необычайному и героическимъ подъемомъ духа. Справедливо замѣчаетъ критикъ, что необходимо было нарушить спокойствіе поэзіи Пушкинской школы, воскресить въ ней лихорадочную, нервную дѣятельность, пересадить ее изъ кабинета на площадь и избавить ее отъ надзора слишкомъ требовательной художественности. Къ вопросу о вліяніи Байрона на Лермонтова прибавлено въ книгѣ г. Котляревскаго мало новаго. Оба въ поэзіи изображали только себя, но Лермонтовъ не позаимствовалъ у Байрона его гуманности, его любви къ слабому, его ненависти къ угнетающему; онъ набросился только на отрицательную сторону поэзіи Байрона, которая принесла ему ту пользу, что избавила его отъ измельчанія, сообщила ему вѣру въ силу своей личности и презрѣніе къ разнузданности, которой онъ самъ порою предавался. Относительно другихъ поэтовъ, критикъ того мнѣнія, что Лермонтовъ чуждался Гёте, потому что старикъ Гёте былъ человѣкъ уже съ жизнью

примирившійся и прямо противный людямъ романтическаго направленія. О Пушкинѣ приговоръ критика весьма рѣзокъ. Какъ и въ Гёте, въ Пушкинѣ было для Лермонтова нѣчто «непонятное и отталкивающее»,—выводъ, основанный только на заявленіи Лермонтова, что въ русской литературѣ ему было нечѣмъ позаимствоваться. Шиллеръ пришелся больше по сердцу Лермонтову, но отъ него отталкивала Лермонтова классическая гармонія идей и формы. Критикъ не рѣшаетъ вопроса о близкомъ знакомствѣ Лермонтова съ Гейне и обходитъ полнымъ молчаніемъ Мицкевича, котораго переводилъ однако Лермонтовъ, и на заимствованія изъ котораго я указывалъ подробно въ моемъ прежнемъ этюдѣ о Лермонтовѣ. Вопросъ, однако, довольно крупный и, какъ мнѣ кажется, заслуживающій разбора. Онъ касается главнымъ образомъ «Измаилъ-Бея»—этого черкесскаго Валенрода. Фабула въ обѣихъ поэмахъ въ сущности одна и та же: герой дикарь-волченокъ, пойманный, такъ сказать, въ лѣсу, у Мицкевича — Альфъ древне-литовецъ, язычникъ. у Лермонтова—черкесъ-исламитъ. Оба взяты въ плѣнъ дѣтьми, оба воспитаны въ христіанской вѣрѣ: Альфъ — въ столицѣ тевтонскаго ордена Маріенбургѣ, Измаилъ — въ кадетскомъ корпусѣ въ С.-Петербургѣ, оба волченка, выросши, норовятъ опять бѣжать въ лѣсъ, оба ноютъ отъ тоски по родинѣ, оба бѣгутъ—по крови дикарями, по идеямъ и религіознымъ чувствамъ уже убѣжденными христіанами. Бѣгутъ они на родину съ тѣмъ, чтобы защищать ее отъ прибоя грозящей потопить ее и подходящей громадною морскою волною цивилизаціи. Разница между героями та, что Валенродъ совершитъ съ нѣкоторымъ успѣхомъ свой романтическій подвигъ, проникнетъ среди нѣмцевъ, достигнетъ верховной власти и подточитъ измѣннически силы ордена въ самомъ ихъ корню. Измаилъ ни о чемъ подобномъ и думать не можетъ; онъ предлагаетъ только себя землякамъ своимъ, какъ опытнаго и знакомаго со всѣми пріемами европейскаго военнаго искуства бойца. И Альфъ,

и Измаилъ, гибнутъ трагически, но первый—совершивъ свой подвигъ въ половину, а другой — совсѣмъ безплодно, причемъ Лермонтовъ, вооруженный острымъ ножемъ безпощаднаго анализа, обличаетъ неизбѣжные недостатки всякаго партизанскаго дѣйствія безъ организаціи и въ разсыпную, будь оно польское и черкесское: мелкія честолюбія и зависти, интриги, копаніе ямъ другъ подъ другомъ. Мнѣ совсѣмъ непонятенъ выводъ г. Котляревскаго, по моему крайне неосновательный: «Измаилъ-Бей—жрецъ умирающей религіи, вполнѣ сознающій умомъ, помимо сердечныхъ симпатій къ свободѣ, необходимость *законнаго* порядка». Въ томъ-то и бѣда, что ни Альфъ, ни Измаилъ, вовсе не жрецы умирающей религіи. Притомъ же Измаилъ въ поэмѣ Лермонтова не сознаетъ необходимости смерти своей родины и водворенія новаго—съ его точки зрѣнія вполнѣ беззаконнаго—порядка, а эту необходимость выказываетъ только самъ поэтъ, по натурѣ своей отрицатель и скептикъ. Вслѣдствіе неоригинальности типа въ Измаилъ-Беѣ, какъ героѣ поэмы, я не могу, какъ то дѣлаетъ критикъ, ставить Лермонтову въ заслугу, что онъ задумалъ этотъ типъ вслѣдствіе желанія подойти къ великому вопросу о борьбѣ первобытной свободы съ цивилизаціею, что онъ употребилъ въ поэзіи патріотизмъ, какъ движущую силу, и совладалъ съ однимъ изъ самыхъ важныхъ соціальныхъ явленій. Критикъ, повидимому, ошибочно изобразилъ Измаилъ-Бея, причемъ сдѣлалъ двѣ ошибки: одну частную, заключающуюся въ томъ, что онъ не справился съ источниками «Измаилъ-Бея», съ Мицкевичемъ и «Валенродомъ», вторую болѣе общую: оставаясь вѣренъ своей задачѣ изобразить Лермонтова не какъ художника, а какъ прямого дѣятеля въ общемъ прогрессивномъ движеніи русской жизни, онъ прежде всего ловилъ тенденцію поэта, даже тамъ, гдѣ ея не было, и поймавъ ее хотя бы въ самомъ неумѣломъ и грубомъ дѣтскомъ опытѣ, тотчасъ накалывалъ ее на булавку и выдвигалъ само произведеніе, какъ самосто-

ятельный шагъ впередъ въ творчествѣ. Такая несообразность допущена г. Котляревскимъ, при разборѣ неоконченной «Исторической Повѣсти» (1831 и 1832 г. университетскіе годы Л.), съ героемъ Вадимомъ Горбачемъ на почвѣ пугачевщины и крѣпостного права. Лермонтовъ тѣмъ особенно и замѣчателенъ, что тенденціями и соціальными мотивами (ненависть къ крѣпостничеству и тому подобное) пестрѣютъ только дѣтскіе его опыты, но по мѣрѣ того, какъ онъ зрѣетъ, онъ отъ нихъ отрѣшается, уходя въ одну только нѣжную страсть, безъ всякихъ уже тенденцій въ основѣ произведеній.

Критикъ избѣгъ съ замѣчательнымъ тактомъ грубой ошибки біографа Лермонтова, профессора Висковатаго, который живьемъ переносилъ въ жизнеописаніе Лермонтова цѣлыя страницы и сцены изъ юношескихъ драмъ Лермонтова со всею ихъ фактическою обстановкою. «Безспорно,—говоритъ г. Котляревскій,—и семейные раздоры бабушки съ отцомъ, и легкія неудачи дѣтскихъ привязанностей, и крѣпостничество, имѣли вліяніе на завязку драматическихъ опытовъ Лермонтова; но мы глубоко ошибемся, если пожелаемъ видѣть бабушку или отца въ противныхъ лицахъ, которыя выводятся на сцену. Частичка житейской правды въ этихъ опытахъ есть, но письма и стихи Лермонтова указываютъ, что эта частичка весьма незначительна, и онъ не переставалъ любить и быть привязаннымъ къ лицамъ, съ которыхъ онъ якобы писалъ портреты. Однимъ словомъ, относясь къ пережитому какъ къ живой натурѣ, Лермонтовъ видоизмѣнялъ ее свободно и до неузнаваемости, не заботясь о томъ, чтобы въ изображаемомъ была какая-нибудь настоящая правда.

Прежде чѣмъ перейти къ произведеніямъ Лермонтова, нужнымъ считаю для обозначенія моментовъ или этаповъ развитія его творчества, указать еще по книгѣ г. Котляревскаго на внѣшнія вліянія и свойства той среды, въ которой пришлось поэту вращаться.

Дѣтство и отрочество поэта до 13 лѣтъ прошли въ

одиночествѣ, вдали отъ отца, безъ матери. Дичившимся нелюдимомъ прошелъ онъ чрезъ московскій университетъ и ничѣмъ повидимому не позаимствовался ни отъ университета, ни отъ студенческаго товарищества. Этотъ періодъ, бѣдный впечатлѣніями, восполненъ былъ усиленнымъ анализомъ своего собственнаго сердца. Тогда-то написаны или начаты всѣ капитальныя произведенія поэта. Въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ Лермонтовъ попалъ почти случайно, изъ-за простого желанія кончить скорѣе воспитаніе въ два года, а не въ четыре, какъ предлагали ему въ университетѣ, заставляя его поступить на 1-й курсъ, а не на 3-й. Въ умственномъ отношеніи школа подпрапорщиковъ была для Лермонтова, конечно безплодна; съ одной стороны, она продержала юношу два года въ тискахъ столь безпощадной военной дисциплины, что объ этихъ двухъ годахъ онъ вспоминалъ потомъ съ ужасомъ, но, съ другой, она пріучила его къ такимъ кутежамъ и излишествамъ тайкомъ и въ компаніи, въ которой каждый старался быть побойчѣе, о какихъ онъ и понятія не имѣлъ дома и въ университетѣ, подъ наблюденіемъ своихъ гувернеровъ. Сама муза его пошла по порнографическому направленію. До извѣстной степени это новое житье-бытье пошло въ прокъ Лермонтову, такъ какъ оно возстановило нѣкоторымъ образомъ равновѣсіе въ этой весьма чувственной натурѣ, работавшей до того времени только однимъ мозгомъ. Въ этой грязи Лермонтовъ не потонулъ; онъ вышелъ изъ нея цѣлъ и невредимъ, какъ выходятъ люди въ самомъ дѣлѣ даровитые. Гораздо вреднѣе юнкерства оказались на первыхъ порахъ офицерство и то великосвѣтское общество, куда Лермонтовъ вступилъ по своимъ аристократическимъ связямъ и по богатству бабушки, не жалѣвшей для него денегъ. Общество было весьма пустое, притомъ фальшивое и лицемѣрное. Пребывая въ немъ, Лермонтовъ былъ, такъ сказать, въ умственномъ плѣну, мысль его не выходила за предѣлы этой мертвящей среды,

онъ былъ изолированъ отъ всего живого, движущагося впередъ, демократическаго и либеральнаго.

VIII.

Приступимъ теперь къ обрисовкѣ по книгѣ г. Котляревскаго главныхъ моментовъ творчества Лермонтова.

Первое по времени крупное созданіе—поэма «*Демонъ*», надъ которою Лермонтовъ работалъ съ 15 до 26 лѣтъ, то-есть почти до смерти. Детали мѣнялись безпрестанно, но основной типъ остался неподвижнымъ. Критикъ относится сурово къ поэмѣ. «Демонъ» восхищалъ людей обоего пола въ тридцатыхъ годахъ, потомъ онъ прискучилъ, зачисленъ въ разрядъ дѣтскихъ книгъ и сталъ героемъ отроческихъ и въ особенности дѣвическихъ мечтаній. Сюжетъ былъ вполнѣ романтическій и даже порядочно избитый въ западно-европейской литературѣ. Съ Испаніи, въ которой поэтъ помѣстилъ его сначала, онъ перенесъ его на Кавказъ, одушевилъ его пламенною риторикою выраженія страсти и удивилъ до излишества доведеннымъ богатствомъ образовъ. Въ сущности жертва съ ангельскою душою, Тамара—существо довольно блѣдное и слабое; могучъ только искуситель, въ которомъ поэтъ изобразилъ самого себя въ эпоху отрочества и юности, символическій и туманный образъ, увлекающій не столько своимъ очертаніемъ, сколько своимъ настроеніемъ, которое можно было, не понимая его, прочувствовать. Демонъ—не сатана, онъ существо подначальное, не иронизирующее, не насмѣхающееся надъ всѣмъ; собственно, онъ—нашъ братъ, человѣкъ, служащій сатанѣ, но не отвыкшій отъ старыхъ человѣческихъ привычекъ. Онъ дѣлалъ зло безъ наслажденія, наконецъ и это зло ему наскучило, люди ему опротивѣли, опротивѣла и сама природа, пока онъ вдругъ не переродился, полюбивъ Тамару. Тогда онъ внезапно и сразу постигъ святыню любви, добра и красоты.

тогда онъ нашелъ и цѣль жизни. По необходимости онъ долженъ былъ столкнуться въ кельѣ Тамары съ ангеломъ; онъ раздраженъ сопротивленіемъ ангела и одержалъ надъ нимъ побѣду, но потерялъ спокойствіе и найденную цѣль жизни. Конецъ шаблонно легендарный разъигрывается въ небесахъ—для Тамары, въ безднѣ паденія—для вновь окончательно озлобившагося Демона. Таковъ былъ первый шагъ Лермонтова на поэтическомъ поприщѣ.

Второй затѣмъ—составляютъ *юношескія драмы.* У Лермонтова не было настоящаго драматизма, потому что онъ не умѣлъ изображать развитіе характеровъ. Какимъ является впервые на сценѣ его герой совсѣмъ готовый, такимъ онъ и погибаетъ; у него нѣтъ, по выраженію г. Котляревскаго, пьедестала. Этотъ герой есть прежде всего честный, довѣрчивый и любящій, безъ вины страдающій и пропадающій,—опять крупная погрѣшность противъ коренныхъ условій драмы. Фактическимъ матеріаломъ для драмъ отчасти служили положенія, въ которыхъ побывалъ Лермонтовъ въ года дѣтства и отрочества. Онъ болѣе не символизировалъ этихъ состояній, а пытался ихъ осмыслить. Всѣ три драмы («Menschen und Leidenschaften», 1830, «Странный человѣкъ», 1831, и «Два брата») *) представляютъ постепенное угасаніе идеалистическихъ порывовъ въ сердцѣ юности, послѣ чего поэтъ превращается въ систематически послѣдовательнаго пессимиста.

Окончательнымъ результатомъ этихъ послѣднихъ опытовъ, которые и не предназначались Лермонтовымъ къ выходу въ свѣтъ, явилась написанная для сцены въ 1835 году драма «Маскарадъ», но не пропущенная цензурою по причинѣ изображенныхъ въ ней слишкомъ рѣзкихъ страстей и характеровъ, а также и потому, что добродѣтель въ ней недостаточно вознаграждена.

*) П. А. Ефремовъ относилъ «Двухъ Братьевъ» къ 1831 г.; г. Висковатовъ помѣщаетъ ихъ подъ 1836, въ промежуткѣ между двумя редакціями «Маскарада».

Авторъ передѣлалъ драму въ 1836 г., но не достигнулѣ однако одобренія ея для сцены. По мнѣнію критика, обѣ редакціи одинаково хороши, обѣ—продуктъ разсудочнаго творчества.

Что такое Арбенинъ, герой драмы? Это — ярый и озлобленный пессимистъ, тотъ же «демонъ», но перелицованный, облеченный во фракъ и перенесенный съ заоблачныхъ высей въ игорный домъ и на балъ. У него нѣтъ никакихъ гуманныхъ чувствъ, никакого доброжелательства. Этотъ человѣкъ съ бурными страстями, ищущими исхода, скучаетъ; развлеченіе, освобождающее его отъ этой скуки, онъ находитъ только въ игрѣ, въ рискѣ, раздражающемъ его нервы. Подъ старость испыталъ онъ еще и любовь. Онъ полюбилъ свою жену со всею страстью дикаря, но дикаря цивилизованнаго, способнаго на всѣ гадости, прикрытыя свѣтскими формами. Эта эгоистическая любовь—счастіе Арбенина, который черезъ нее «воскресъ для жизни и добра». По своей привычкѣ отнимать постепенно у своихъ героевъ всѣ добрыя чувства, за которыя цѣпляется душа въ своей борьбѣ съ жизнью, Лермонтовъ лишилъ Арбенина и этой любви. Въ результатѣ герой выходитъ не живымъ человѣкомъ, а какимъ-то звѣремъ, опять какимъ-то полусимволическимъ, неподвижно кристаллизующимся выраженіемъ олицетвореннаго эгоизма.

Послѣ кризиса въ драмѣ, Лермонтовъ не зналъ даже, куда дѣвать Арбенина; въ первой редакціи онъ сводитъ Арбенина съ ума, а въ передѣлкѣ заставляетъ его бросить свою жену, не отравленную, а только напуганную, и неизвѣстно куда удалиться.

IX.

Прежде чѣмъ произведенъ былъ Лермонтовымъ опытъ послѣдняго изображенія себя, болѣе правдиваго и реальнаго, нежели въ истуканахъ-символахъ: Демонѣ и Арбенинѣ,—случилось вторженіе въ жизнь его внѣшнихъ событій. Смерть Пушкина вызвала извѣстные стихи Лермонтова, имѣвшіе послѣдствіемъ ссылку его на Кавказъ. Смертью Пушкина навѣяны были также на Лермонтова новыя своеобразныя думы о цѣли и назначеніи поэта, которыя, по мнѣнію г. Котляревскаго, должны были содѣйствовать обращенію его на путь гуманизма, любви къ людямъ и сознанія необходимости сожитія съ ними и содѣйствія. Г. Котляревскій полагаетъ, что хотя Лермонтовъ не особенно любилъ Пушкина, но когда Пушкинъ былъ убитъ на дуэли, то сила, съ которою Лермонтовъ откликнулся на это событіе, изумила самыхъ близкихъ къ нему людей; отъ нервнаго раздраженія онъ заболѣлъ и слегъ въ постель. Несомнѣнно, что въ Лермонтовѣ заговорилъ національный патріотизмъ: русскій поэтъ погибъ отъ руки иностранца; были также и иныя, менѣе высокія чувства, которыя зашевелились въ душѣ его, но не сразу. Послѣдніе 16 стиховъ въ стихотвореніи на смерть Пушкина («А вы, надменные потомки — Извѣстной подлостью прославленныхъ отцовъ») были вызваны сходствомъ соціальнаго положенія обоихъ поэтовъ, сословною жилкою въ обоихъ и ходившими слухами, превратившимися потомъ въ легенду, что аристократическое общество вырыло могилу Пушкину своими коварными сплетнями. Пора бы отрѣшиться отъ этой легенды, которой однако вѣритъ г. Котляревскій *). Не подлежитъ сомнѣнію, что съ того времени начинается рядъ думъ Лермонтова о его отношеніи къ

*) «Поэтъ умеръ жертвой великосвѣтскихъ интригъ и обиженнаго самолюбія, то-есть того свѣта, который такъ привлекалъ и сердилъ Лермонтова».

обществу какъ поэта, и что эти думы — въ связи съ думами о томъ же предметѣ самого Пушкина. Извѣстно, какъ разрѣшалъ трудную задачу Пушкинъ въ послѣдніе годы своей жизни; съ лѣтами онъ дѣлался въ области художества жрецомъ чистаго искуства, созданнымъ для звуковъ сладкихъ и молитвъ, презирающимъ толпу и твердящимъ, что не дѣло жрецовъ сметать соръ съ улицъ. Чѣмъ больше онъ удалялся отъ жизни въ область эстетики, тѣмъ больше охладѣвала къ нему публика; но и самъ Пушкинъ чаще и чаще слагалъ съ себя ризы жреца, разоблачался, бралъ какъ бы метлу въ руки и занимался тѣмъ, что въ собственныхъ глазахъ его было метеніемъ сора, превращался въ публициста, въ журналиста, полемизировалъ и опускался внизъ въ своихъ писаніяхъ послѣдней эпохи. Лермонтовъ былъ цѣльнѣе; никогда въ литературѣ не считалъ онъ себя просто работникомъ по ремеслу. Онъ съ жаромъ взялся за ту же задачу, которая занимала Пушкина, и первымъ плодомъ его размышленій была знаменитая и печальная «Дума» 1838 года («Печально я гляжу на наше поколѣнье... Въ бездѣйствіи состарится оно... Толпой угрюмою и скоро позабытой—Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда, — Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,—Ни геніемъ начатаго труда»). Съ одной стороны, толпа осуждается поэтомъ повально, безъ разбора, безъ объясненія причинъ и голословно, съ другой—безсильный поэтъ, ничего для этой толпы сдѣлать не могущій, разражается противъ нея обвинительнымъ актомъ. Но во всякомъ процессѣ, а слѣдовательно и въ процессѣ поэта съ обществомъ, можетъ случиться перемѣна въ роляхъ и предъявленіе обвиняемымъ встрѣчнаго обвиненія противъ обвинителя. Лермонтовъ — въ стихотвореніи 1839: «Не вѣрь себѣ» — становится на точку зрѣнія толпы, небезосновательно претендующей на поэта за то, что его вдохновеніе есть, можетъ быть, «плѣнной мысли раздраженье». Идетъ толпа спокойная, на видъ самодовольная, а между тѣмъ едва ли есть въ

ней хотя одинъ человѣкъ, который бы не былъ тяжелой пыткой не измятъ. Для нихъ смѣшонъ, о, поэтъ, твой плачъ и твой укоръ,—ты брось свои затѣи и запрягись въ обыденныя заботы. Твое вдохновеніе — то кровь кипитъ, то силъ избытокъ—Скорѣе жизнь въ заботахъ истощи—Разлей отравленный напитокъ!..

Мало того: въ разговорѣ 1840 г. между журналистомъ, читателемъ и писателемъ ставится ребромъ у Лермонтова новый вопросъ: насколько обществу полезенъ или вреденъ поэтъ, разоблачающій раны, язвы и недостатки общества. Къ чему писать: «Чтобъ тайный ядъ страницы знойной—Смутилъ ребенка сонъ спокойный— И сердце слабое завлекъ — Въ свой необузданный потокъ... Такой тяжелою цѣною я вашей славы не куплю». А все-таки поэтъ и толпа другъ другу не чужіе; между ними постоянно пробѣгаетъ электрическій токъ; и былъ поэтъ полезенъ, двигалъ людей и управлялъ ими, если не въ послѣднее время, то по крайней мѣрѣ въ давнопрошедшемъ. Такова мысль стихотворенія 1839 г., въ которомъ «Поэтъ» обвиняется въ томъ, что онъ на злато промѣнялъ ту власть, которой свѣтъ внималъ въ нѣмомъ благоговѣньѣ... «Проснешься ли опять, осмѣянный пророкъ,—Иль никогда на голосъ мщенья (?)—Изъ золотыхъ ноженъ не вынешь свой клинокъ,—Покрытый ржавчиной презрѣнья?» Не разрѣшивъ вопроса, какъ сдѣлать, чтобы возвратить поэзіи ея прежнее обаяніе и вліяніе на общество, Лермонтовъ возвращается назадъ, на давно оставленную исходную точку своихъ размышленій, попираетъ пятою презрѣнную толпу и превращается въ злобнаго, ненавидимаго «Пророка» (1841 г.), которому во слѣдъ кричитъ толпа: «Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами... Смотрите, какъ онъ худъ и блѣденъ,— Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ,—Какъ призираютъ всѣ его!»

Наконецъ, пророкъ-поэтъ становится самозванцемъ-мученикомъ, неизвѣстно кѣмъ и за что распинаемымъ; стихотвореніе 1841 г.: «Не смѣйся надъ моей проро-

ческой тоской», кончается словами: «Пускай толпа растопчетъ мой вѣнецъ, вѣнецъ пѣвца — вѣнецъ *терновый* (?),—Пускай, *я имъ не дорожилъ!*» Послѣднія слова запечатлѣны неискренностью и декламаторствомъ: именно этимъ-то вѣнцомъ и дорожилъ Лермонтовъ всю свою жизнь и ставилъ его выше всего въ мірѣ.

X.

Знаменитый романъ: «Герой нашего времени», представляетъ новую, послѣднюю и наилучшую попытку изобразить самого себя не символически, а наипростѣйшимъ образомъ, со всѣми противорѣчіями своей сложной натуры. Въ этомъ психологическомъ этюдѣ поэтъ пытается осмыслить свою душу. Пессимистъ состарѣлся, свыкся съ обманами жизни, сдѣлался резонеромъ-эгоистомъ, уже не враждебно относящимся къ людямъ, какъ Арбенинъ, а совершенно индифферентно, не дѣйствуя и не думая о будущемъ, хотя такая бездѣятельность — плодъ жизни и опыта—не соотвѣтствуетъ, повидимому, его темпераменту, порывистому и страстному. Лѣта оказываютъ свое дѣйствіе на всякого субъекта; съ теченіемъ ихъ художественность поэта возросла, но пылъ умѣрился; эпическая сторона таланта усилилась, картины природы выходятъ менѣе яркія, но съ болѣе нѣжными красками; поэтъ, бывшій мрачнымъ, становится только грустнымъ. Изъ этихъ вѣрно подмѣченныхъ перемѣнъ г. Котляревскій выводитъ неожиданное и слишкомъ поспѣшное заключеніе, будто въ концѣ жизни поэтъ уже направлялся къ примиренію съ жизнью; вслѣдствіе усталости онъ былъ мирнѣе и задумчивѣе настроенъ и болѣе религіозенъ; титаническіе его порывы, которые выразились несомнѣнно между прочимъ въ поэмѣ «Мцыри», чередовались въ немъ чаще и чаще съ христіанскимъ смиреніемъ, которое начинало брать верхъ надъ ними, такъ что собственно почти уже осу-

ществлялось столь желаемое критикомъ превращеніе Лермонтова въ гуманнаго человѣка и прогрессиста.

Противъ такой попытки критика считаемъ необходимымъ заявить самый рѣшительный протестъ; подборъ доказательствъ, на которыхъ г. Котляревскій основываетъ свой выводъ, неправиленъ,—въ немъ есть своего рода подстановка данныхъ; многія данныя должны быть исключены изъ списка. Козырною картою въ этомъ спискѣ критика является «Пѣсня про царя, опричника и купца Калашникова», которую Лермонтовъ сочинилъ въ 1836 г., начитавшись Кирши Данилова. Въ 1835 г., занятый ею, онъ устраивалъ у себя въ Тарханахъ кулачные бои между крестьянами. По времени эта пѣсня какъ разъ совпадаетъ съ «Маскарадомъ», что само по себѣ исключаетъ возможность предположенія о смиренномъ настроенія души. При томъ возникаетъ вопросъ, гдѣ въ этой пѣснѣ сказывается усматриваемое критикомъ «смиреніе передъ судомъ Божіимъ и царевымъ»? Настоящій герой пѣсни не опричникъ и не купецъ, а самъ Іоаннъ Грозный. Лермонтову прирожденъ былъ глубокій національный культъ матеріальной силы, который ему внушилъ и «Послѣднее Новоселье», и извѣстный стихъ въ «Измаилъ-Беѣ»: «пускай я рабъ — но рабъ царя вселенной». Весь смыслъ поэмы, весь центръ тяжести ея замысла заключается въ словахъ царя: «Я топоръ велю наточить-навострить, палача велю одѣть-нарядить, въ большой колоколъ прикажу звонить, чтобы знали всѣ люди московскіе, что и ты не оставленъ моей милостью!» Спрашивается: въ какихъ же другихъ стихахъ послѣдняго времени, приводимыхъ г. Котляревскимъ, сказывался человѣкъ, примиряющійся съ людьми и Богомъ? Молитва ли: «Съ души какъ бремя скатится... и такъ легко, легко»?.. но она—1837 года. Прекраснъ стихъ: «Когда волнуется желтѣющая нива... И въ небесахъ я вижу Бога»... но и это написано въ 1837 г. Напротивъ того, сколько же накопилось въ эти два послѣднія года порывовъ титанически-мятежныхъ

и стиховъ не медево-сахарныхъ, а ѣдкихъ и злобныхъ: «И скучно, и грустно, и некому руку подать»—1840 г.; или «Благодарность», обращенная къ Богу—1840 г.: «Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отнынѣ недолго я еще благодарилъ»... Титанъ, такъ и остался до конца титаномъ, не мирящимся съ жизьню ни въ грустно-смиренномъ или такъ-называемомъ у г. Котляревскаго слегка религіозномъ, ни въ вызывающе-боевомъ настроеніи, а эти направленія у него всю жизнь чередовались. Одно изъ коренныхъ положеній г. Котляревскаго, которое вполнѣ справедливо, есть то, что Лермонтовъ никогда не былъ религіознымъ человѣкомъ, но не былъ также и отрицателемъ: религія была для него только поэтическимъ настроеніемъ, но не убѣжденіемъ съ вѣрой. Эта черта сближаетъ Лермонтова съ нашимъ временемъ. То настроеніе, которе у критика названо слегка религіознымъ, я бы назвалъ агностицизмомъ, метафизическимъ мышленіемъ. Скептицизмъ опровергаетъ всякую опредѣленную форму божества, всякое реальное его бытіе, но метафизичность не допускаетъ, съ другой стороны ни на минуту отрѣшиться отъ идеи о существованіи чего-то невѣдомаго и непознаваемаго, въ которомъ только одномъ и есть счастіе, и покой, но которое недосягаемо; неудовлетворенное стремленіе къ нему мучило Лермонтова во всю жизнь.

IX.

Въ одной изъ главъ своей книги,—можетъ быть самой интересной,—г. Котляревскій сопоставилъ Лермонтова со всѣми его современниками. Существовали въ тридцатыхъ годахъ четыре главныя литературныя направленія или школы: 1) старая школа съ корифеями Жуковскимъ и Пушкинымъ; 2) романтическая съ Н. Полевымъ и Марлинскимъ; 3) Гоголь и его послѣдова-

тели–натуралисты, и 4) философы, отъ которыхъ отдѣляются славянофилы.

Люди старой школы бѣжали отъ дѣйствительности въ свои покойныя гнѣзда, гдѣ ихъ не тревожило ничто. У Жуковскаго такимъ гнѣздомъ былъ религіозный квіетизмъ, и онъ открещивался отъ оргіи самолюбія и духовнаго опьяненія, но зато его мало и читали. Пушкинъ—старый парнасскій богъ,—чувствовалъ также свое одиночество; ему казалось, что молодежь повторяетъ зады и по-пустому байронизируетъ, то-есть обрѣтается на точкѣ зрѣнія давно имъ пережитой. Въ поэзіи онъ сторонится отъ современности, но на дѣлѣ пытается руководить ею какъ журналистъ и публицистъ, и руководитъ иногда невпопадъ, пятясь назадъ къ московской старинѣ. Очевидно, что поэзія Лермонтова была ключемъ живой воды вмѣсто мертвой, которую предлагала старая школа. «Пусть эта поэзія была,—говоритъ критикъ,—повтореніемъ многаго уже сказаннаго Пушкинымъ во время увлеченія его Байрономъ, менѣе пластична, менѣе объективна, менѣе нравственна, нежели поэзія Жуковскаго, менѣе глубока по мысли, чѣмъ поэзія Боратынскаго, менѣе жизнерадостна, чѣмъ муза Языкова, пусть она была туманна, безпринципна, безъ причины задорна... но она была живая сила, а не книжное наставленіе».

Лермонтовъ былъ несомнѣнно одного поля ягода съ романтиками, Марлинскимъ и Полевымъ, съ тою однако разницею, что они были ремесленники, а онъ геніаленъ; они были вычурны и портили вкусъ публики, а онъ этого не дѣлалъ и тѣмъ неизмѣримо превосходилъ ихъ.

Будучи до мозга костей романтикомъ, Лермонтовъ не имѣлъ ничего общаго съ Гоголемъ и его послѣдователями. Онъ могъ относиться къ нимъ только отрицательно. Гоголь былъ гораздо самобытнѣе Лермонтова; потому-то его и не скоро поняли. Онъ былъ и плодотворнѣе. Чутьемъ художника онъ почти безсознательно нашелъ поэзію въ будничной жизни и предста-

вилъ русскаго человѣка во всей его наготѣ. Потомъ онъ пытался осмыслить самому себѣ свою дѣятельность, какъ старался осмыслить ее и Лермонтовъ; но умъ Гоголя былъ мало развитъ и критицизма у него не было никогда, почему онъ и свихнулся, сдѣлался мистикомъ и отрицателемъ активнаго вмѣшательства въ вопросы жизни и такимъ же отрицателемъ прежней своей литературной дѣятельности, какими были Жуковскій и Пушкинъ на исходѣ дней своихъ; такимъ является и гр. Левъ Толстой въ наше время. Не подлежитъ сомнѣнію, что душевная смута Лермонтова была несравненно лучше плохой философіи застоя въ послѣдніе дни жизни Гоголя.

Что касается до философско-умозрительнаго направленія того времени, то оно особенно сильно было въ кружкахъ московской молодежи; въ этихъ кружкахъ выдѣлялись тогда, какъ умственные руководители, Станкевичъ, Герценъ и въ особенности Бѣлинскій, по его живой, чуткой и прогрессивной натурѣ. Эти кружки искали выхода изъ пошлостей настоящаго въ самомъ широкомъ міровомъ гуманизмѣ, выходящемъ за предѣлы государственнаго и національнаго, и усвоивали себѣ произведенія трансцендентальнаго идеализма Гегеля или соціалистическія утопіи французскія. Сопоставляя Бѣлинскаго съ Лермонтовымъ, г. Котляревскій признаетъ за первымъ изъ нихъ громадное преимущество въ его измѣнчивой, иногда мѣняющейся, но всегда искренней убѣжденности, которую если бы онъ привилъ къ Лермонтову, то обратилъ бы его на путь гуманизма, общественности и активнаго добра. У нихъ бывали моменты личнаго соприкосновенія въ жизни, въ редакціи «Отечественныхъ Записокъ», и даже они вели разъ продолжительный четырехчасовой разговоръ въ ордонансгаузѣ, гдѣ содержался Лермонтовъ въ 1830 г. за свою дуэль съ Барантомъ; къ несчастію, въ этотъ разъ оба собесѣдника занялись главнымъ образомъ только Вальтеръ-Скоттомъ и Куперомъ и почти не коснулись другихъ предметовъ.

Мы уже высказались относительно неосновательной увѣренности критика въ неминуемое, для поэта, если бы онъ дольше пожилъ, обращеніе закоренѣлаго пессимиста въ прогрессиста и дѣятельнаго бойца. Лермонтовъ не нуждается въ подобномъ способѣ оправданія. Пессимизмъ можетъ быть самъ по себѣ полезенъ, пригоденъ, какъ одинъ изъ факторовъ въ развитіи человѣчества. Неопредѣленно и неясно шевелятся въ душахъ людей смутныя желанія перемѣнъ, смутные порывы къ лучшему. Эти стремленія, накопившись, прорываются потомъ бурнымъ потокомъ отрицанія. Бываютъ люди, которые недовольны только въ молодости, пока не улягутся страсти; бываютъ и другіе, у которыхъ отрицаніе длится всю жизнь и составляетъ ихъ вторую природу. Съ нихъ и этого отрицанія довольно; водóы ихъ бурнаго потока утилизированы будутъ другими, болѣе мелкими людьми, какъ утилизируются, въ видѣ дарового двигателя для машинъ на заводахъ, быстрыя теченія рѣкъ и водопады. Пользованіе такими пессимистами возростаетъ въ эпохи застоя и упадка духа—и понижается въ эпохи усиленнаго дѣйствія. Значеніе Лермонтова и вліяніе его поэзіи еще не дошли до своего апогея; они усиливаются, ростутъ, и на нашихъ глазахъ этотъ могучій и непокорный титанъ сталъ заслонять собою Пушкина, котораго онъ, быть можетъ, выше по росту, хотя къ нему-то именно и не идетъ тó, чтó Пушкинъ ставитъ себѣ въ заслугу въ «Памятникѣ»,—что онъ «чувства добрыя» въ народѣ пробуждалъ. По даннымъ жизни и по поэзіи Лермонтова, воображеніе наше не можетъ его представить себѣ инымъ, какъ только непреклонно гордымъ, вѣчно мятежнымъ, презирающимъ людей и злословящимъ судьбу.

1-го ноября, 1891 г.

Джонъ Говардъ

(1726—1790).

(Рѣчь В. Д. Спасовича, произнесенная 3-го іюня 1890 года, въ 9 ч. вечера, въ залѣ дворянскаго собранія на IV международномъ пенитенціарномъ конгрессѣ).

Джонъ Говардъ

(1726—1790).

(Рѣчь В. Д. Спасовича, произнесенная 3-го іюня 1890 г., въ 9 ч. вечера, въ залѣ дворянскаго собранія на IV международномъ пенитенціарномъ конгрессѣ).

Четыре съ половиною мѣсяца тому назадъ городская дума въ Херсонѣ, при участіи государственныхъ властей, гражданскихъ и военныхъ, чествовала богослуженіемъ 20-го января сего года (1-го февраля по грегоріанскому календарю) столѣтнюю годовщину смерти иностранца, посвятившаго свою жизнь исправленію и оздоровленію тюремъ и изученію способовъ противодѣйствія эпидемическимъ болѣзнямъ и чумѣ. Можно, конечно, оспаривать послѣднюю часть опредѣленія, даннаго умершему его соотечественникомъ Іереміею Бэнтамомъ: he lived an apostle and died a martyr (онъ жилъ апостоломъ и умеръ мученикомъ), но во всякомъ случаѣ, можно-бы сказать: he died a hèro. Героемъ онъ былъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Его память сохранилась на мѣстѣ его кончины. На одной изъ площадей города Херсона воздвигнутъ въ честь его обелискъ съ его бронзовымъ медаліономъ. Въ двухъ верстахъ отъ

города Херсона, въ открытомъ полѣ, имѣется тщательно охраняемая могила умершаго, устроенная не въ томъ видѣ, въ какомъ онъ желалъ ее имѣть, то есть въ видѣ солнечныхъ часовъ, но покрытая плитою, на которой вырѣзана слѣдующая трогательная надпись: ad sepulchrum stas, quisquis es, amici (кто-бы ты ни былъ— ты у могилы твоего друга).

Вслѣдствіе совпаденія чиселъ (1790 и 1890) столѣтія истекшаго отъ кончины Джона Говарда (точнѣе: Хоуарда) и срока засѣданій IV пенитенціарнаго конгресса, этотъ конгрессъ начинается, подобно античной эпопеѣ, чѣмъ-то вродѣ торжественнаго обращенія къ извѣстному лицу или воззванія. Пенитенціарная коммиссія имѣла, какъ мнѣ кажется, счастливую мысль, открывая конгрессъ принесеніемъ дани уваженія памяти основателя пенитенціарной политики, мастеру въ устроеніи нынѣ существующихъ тюремъ, горячему и неутомимому апостолу великой реформы. Отъ мутной и волнующейся поверхности второй половины XVIII в. отдѣляются, въ видѣ свѣтлыхъ видѣній, два лица, два современника, которые не соединялись никогда другъ съ другомъ и никогда даже не встрѣчались, весьма различные по темпераменту, энергіи и даже по доблестямъ, которые, однако, вслѣдствіе одинаковыхъ и почти одновременныхъ стремленій своихъ къ одной и той-же идеальной цѣли, нераздѣлимы и, какъ будто, прикрѣплены другъ къ другу въ исторіи великой уголовной реформы XVIII вѣка, продолжаемой нынѣ нами по мѣрѣ нашего знанія и нашихъ средствъ: Бэккаріа и Говардъ, теоретикъ и практическій дѣятель. Никогда еще не было, можетъ быть, двухъ болѣе рѣзкихъ контрастовъ, двухъ людей болѣе несходныхъ, одаренныхъ болѣе противоположными качествами.

Вѣкъ, въ которомъ они родились, былъ вѣкъ критическій, расположенный къ страшному политическому и соціальному перевороту. Весь порядокъ вещей проваливался и уступалъ мѣсто другому, совсѣмъ еще не-

извѣстному. По своимъ понятіямъ и чувствамъ, по своимъ нравамъ значительно смягчившимся, люди удалились на неизмѣримое разстояніе отъ среднихъ вѣковъ, но средневѣковые законы и учрежденія держались въ полной силѣ, приходилось ежеминутно, наталкиваясь на нихъ, расшибаться или быть ими раздавленнымъ. Трудно было жить подъ ихъ грузною массою. Эти отжившія и ненавидимыя учрежденія до того были еще связаны одинъ съ другимъ, что могли безконечно продолжать свое существованіе. На европейскомъ материкѣ и, въ особенности, въ главной мастерской новаго прогрессивнаго философическаго движенія, то-есть во Франціи, преобладало расположеніе къ тому, чтобы не входить ни въ какія сдѣлки съ прошлымъ, чтобы его разрушить и снести цѣликомъ. Въ этомъ громадномъ теченіи радикальнѣйшихъ идей очутился увлекаемый имъ молодой миланецъ, слѣдовательно австрійскій подданный, дворянинъ, человѣкъ 26 лѣтъ, маркизъ Цезаръ Беккаріа Бонезана, который пустилъ въ свѣтъ, послѣ разныхъ колебаній, маленькій памфлетъ въ двѣсти страничекъ, сочиненный имъ въ теченіи времени не болѣе года (1763—1764): «Dei delitti et delle pene». Беккаріа былъ, прежде всего, боязливый человѣкъ, опасавшійся, чтобы его не постигла участь Макіавелли или Галилея. Онъ сознается, что онъ «бѣжалъ отъ лязга цѣпей, потрясаемыхъ суевѣріемъ, и отъ криковъ фанатизма, заглушающихъ стенанія истины». «Я хотѣлъ,—пишетъ онъ,—защищать истину, но не становясь мученикомъ за нее». Въ своей книгѣ онъ превозноситъ «кротость и просвѣщеніе правительства, подъ которымъ имѣетъ счастіе жить», однако, онъ печатаетъ свою книжонку тайкомъ въ Ливорно въ Тосканѣ. Онъ и не помышляетъ вовсе о томъ, чтобы законодательствовать или судействовать, онъ обладаетъ только смѣлостью философа, который «изнутри своего темнаго и презираемаго жилища дерзаетъ бросать въ толпу первыя и не скоро оказывающіяся плодотворными сѣмена полезныхъ

истинъ». Эта благородная смѣлость присуща ему была только одинъ разъ въ жизни, когда онъ сочинялъ свою книгу, написанную, такъ сказать, всю заразъ и заключающую въ себѣ все цѣнное, что только онъ во всю свою жизнь произвелъ. Затѣмъ его одолѣла лѣнь, свойственная ему по натурѣ, и когда онъ скончался, въ 1794 г., никто этой смерти не замѣтилъ «Appena l'Europa s'accorse qu'era un grand uomo egli si tacque», говоритъ о немъ его біографъ Ц. Кантю*).

Въ чемъ заключается чарующая сила этого произведенія, которое тотчасъ-же по появленіи сдѣлалось всемірно извѣстнымъ? Главное его достоинство заключалось, прежде всего, въ неподражаемомъ искуствѣ композиціи, въ полной гармоніи его коренныхъ идей, присущихъ вѣмъ просвѣщеннымъ современникамъ автора, и дивно красивой, прозрачной, законченной формѣ, вслѣдствіе которой пущенныя въ ходъ идеи эти достались въ распоряженіе каждаго изъ публики. Чувство отвращенія съ существующему порядку вещей было столь всеобщее, что въ этомъ отношеніи книга Бэккаріи есть произведеніе почти-что безличное. Что прочувствовалъ онъ, то было имъ взято изъ сердца каждаго изъ современниковъ и только имъ возвышено и украшено. Онъ вѣрнѣе чувствуетъ, нежели разсуждаетъ, но онъ разсуждаетъ только такимъ образомъ, что беретъ за исходныя точки умствованій только одни общія мѣста, аксіомы, или даже лже-аксіомы, имѣвшія обязательный, по тому времени, курсъ въ современной философіи. Онъ прямо говоритъ, что раздѣляетъ идеи Гельвеціуса (de l'Esprit), Монтескьё. Онъ, не колеблясь, строитъ право казнить на сказкѣ общественнаго договора. Фикція общественнаго договора доставляетъ ему ту выгоду, что онъ превращаетъ все уголовное публичное право въ договорное (le convenzioni fattizie

*) «Едва Европа провозгласила, что онъ великій человѣкъ, какъ онъ и замолчалъ».

della società), вслѣдствіе чего выходитъ, что человѣческое правосудіе совсѣмъ отдѣлено отъ божескаго. Бэккаріа предоставляетъ богословамъ разграничивать правое отъ неправаго по злонамѣренности или внутренней добротѣ ихъ виновника. Конечная цѣль человѣческаго правосудія — это лишь la massima felicità divisa sul maggior numero (наибольшее счастіе, распредѣляемое между наибольшимъ числомъ). Авторъ стоитъ за наказанія утилитарныя и умѣренныя: «цѣль наказанія не въ томъ, чтобы мучить и подвергать страданіямъ существа чувствительныя и не въ томъ, чтобы уничтожать уже содѣянныя преступленія». «...Наказанія, превышающія необходимость охраны залога общественнаго спасенія, не справедливы по своему существу». Изъ этихъ посылокъ, выдаваемыхъ за непререкаемыя очевидности, выведены, съ помощью строгой діалектики, походящей на математическій методъ, заключенія, столь убѣдительныя и столь сильно согрѣтыя проникающимъ ихъ прекраснымъ чувствомъ гуманности, что защищаемое авторомъ дѣло одерживало побѣду въ сознаніи читавшихъ книгу отъ самого процесса чтенія. Въ этомъ обществѣ, страстно любившемъ риторику и резонерство, книга Бэккаріи отличалась отъ другихъ даже по своей трезвости изложенія. Она, какъ замѣчаетъ Кантю, написана coll'arte di dir poco et di far pensare assai (съ умѣніемъ сказать малое, заставить многое продумать). Маленькій камень, брошенный изъ пращи ловкою рукою этого молодого Давида, поразилъ въ самое чело и ниспровергъ гиганта средневѣковой юриспруденціи. Павшій гигантъ уже и не поднялся болѣе. Пытка и теорія законныхъ доказательствъ, коварные допросы и присяги на невиновность отъ обвиняемыхъ, приговоры, основанные на обвиненіяхъ отъ не объявляемыхъ лицъ, были сразу и окончательно осуждены, смертная казнь обречена на постепенное, хотя и медленное упраздненіе. Можетъ быть, что лукъ былъ слишкомъ туго натянутъ реформаторомъ до того, что немного подался; можетъ

быть, что есть злоупотребленія, въ предположеніяхъ толкуемыхъ всегда въ пользу однихъ только обвиняемыхъ, что юстиція стала слишкомъ уже добродушна и не ограждаетъ достаточно общества отъ преступниковъ по привычкѣ; можетъ быть, что мы напрасно ограничиваемъ правосудіе по отношенію къ его объекту, заставляя его судить одно только отвлекаемое дѣяніе и почти терять изъ виду самую личность виновника дѣянія; можетъ быть, есть доля истины во всѣхъ этихъ возраженіяхъ новѣйшей школы антропологической, которой начало положилъ Бэккаріа, и тѣмъ не менѣе, я утверждаю, что намъ, русскимъ юристамъ, меньше всего подобаетъ отрицать или даже умалять громадныя заслуги Бэккаріи и важность достигнутыхъ его починомъ результатовъ. Сто лѣтъ ушло на то, чтобы доставить идеямъ Бэккаріи ихъ окончательную побѣду въ Россіи. Въ 1764 г. вышла въ свѣтъ его книга. Лишь въ 1864 г. 20 ноября отмѣнена была, судебными уставами Императора Александра II, теорія законныхъ доказательствъ и судьи стали судить преступленія, устно, гласно, по внутреннему убѣжденію, а не на основаніи однихъ письменныхъ производствъ.

Совсѣмъ иная была общественная среда, въ которой родился 2-го сентября 1726 г. Джонъ Говардъ, и въ которой получилъ онъ образованіе. Революціонный духъ чуждъ былъ Англіи, гордящейся своимъ парламентомъ, своимъ судомъ присяжныхъ и своимъ самоуправленіемъ — учрежденіями, которыя удивляли народы европейскаго материка, списывавшихъ эти учрежденія, не постигая даже ихъ существа. Эти свободы, эта громадная автономія личности обусловливались строгостью и требовательностью общественной морали и сильною религіозностью, истощающеюся порою въ препирательствахъ между сектами, но недопускающею безвѣрія. Вольномыслящихъ людей Англія имѣла всегда, но ихъ было очень мало. Джонъ Говардъ былъ чистѣйшимъ произведеніемъ пуританскаго сѣмени, съ самой юности

разсудительный, всегда серьезный, никогда неувлекающійся. Онъ былъ дѣятельнымъ членомъ небольшой особой секты индепендентовъ, убѣжденныхъ въ грѣховности всего рода человѣческаго, въ страшной отвѣтственности каждой души передъ Богомъ и въ чрезвычайной трудности избѣжать вѣчнаго осужденія. Говардъ превосходно изобразилъ основаніе своей личной морали въ послѣднихъ словахъ своего послѣдняго труда: «An account on the principal lazarettos» 1789 г. «Напрасно старались-бы объяснить мое поведеніе поспѣшностью (rashness) или энтузіазмомъ; оно проистекаетъ отъ серьезнаго и обдуманнаго убѣжденія въ томъ, что я слѣдую по пути долга и отъ искренняго желанія быть для моихъ ближнихъ болѣе полезнымъ орудіемъ, нежели можно было-бы ожидать, если-бы я дѣйствовалъ въ болѣе низменномъ кругу уединенной жизни». Замѣчательна точность въ главныхъ чертахъ этого психологическаго портрета: сознательная благодѣтельность, бѣгущая отъ всякаго увлеченія, какъ отъ западни, воля, добровольно подчиняющаяся игу нравственнаго долга съ цѣлью сдѣлаться въ рукахъ Провидѣнія болѣе благотворительнымъ орудіемъ при условіяхъ дѣятельной жизни, нежели какимъ оно было-бы при условіяхъ жизни созерцательной. Чрезмѣрная строгость чисто религіозной морали обыкновенно сопряжена съ тѣмъ недостаткомъ, что слишкомъ ограничена и запечатлѣна извѣстною исключительностью, которой не чуждъ былъ и самъ Говардъ. Онъ не жалуетъ «грязнаго» (dirty) Парижа. Въ Женевѣ въ 1770 г. онъ оплакиваетъ паденіе этого города, лишеннаго чистоты и сіянія вслѣдствіе бытности по близости его «подлѣйшаго изъ людей (Вольтера) и всѣхъ его французскихъ развращеній» (James Brown. «Memoirs of the public and private life of John Howard», London 1818). Онъ съ отвращеніемъ вспоминаетъ объ осквернении религіи въ Италіи внѣшнею обстановкою и обрядами. Съ трудомъ соглашается онъ преклонить только голову при полученіи благословенія отъ папы,

но не сгибая колѣнъ, до того тверда въ немъ рѣшимость не поклоняться никакому созданію, ни учрежденію человѣческому. Ежеминутно хвалится онъ тѣмъ, что онъ кальвинистъ, что онъ почерпаетъ истину безъ суевѣрія, въ ея подлинномъ источникѣ, то-есть въ Библіи. Но эта догматическая строгость совпадала въ личности Говарда съ настроеніемъ столь человѣколюбивымъ, общительнымъ и снисходительнымъ, что благотворительность была для него какъ-бы велѣніе самой природы и что онъ вполнѣ заслужилъ имя съ которымъ онъ перешелъ въ отечествѣ своемъ потомству: Howard the philantropist. Онъ — живое воспроизведеніе евангельскаго добраго Самарянина. Какъ только приходилось нести пособіе страждущему человѣчеству, онъ его несъ съ самоотверженіемъ, не отличая племени, цвѣта кожи, вѣрованій страдающаго и даже не останавливаясь передъ покрывающими его пятнами преступленія и грѣха. Его спрашивали сестры милосердія въ Гентѣ: вы, сударь, католикъ? — «J love good in all religions» (я люблю добро во всѣхъ религіяхъ) — отвѣчалъ онъ, и старался оправдать это положеніе въ теченіи всей своей жизни.

Говардъ былъ мѣщанскаго происхожденія, сынъ честной купеческой семьи. Осиротѣвши въ 16 лѣтъ и располагая доставшимся ему по наслѣдству состояніемъ въ 30,000 фунтовъ стерлинговъ, далеко превосходящимъ его потребности, онъ развивался весьма медленно и созрѣлъ поздно. Двѣнадцалью годами моложе Бэкаріи, онъ сдѣлался извѣстенъ только въ 1773 г., то-есть въ 9 лѣтъ послѣ выхода въ свѣтъ книжки Бэккаріи. Въ сорокъ лѣтъ призваніе его еще не опредѣлилось, когда, овдовѣвъ вторично и будучи страшно опечаленъ этою жестокою потерею, онъ предпринялъ, для развлеченія, заграничное путешествіе и отправился въ Италію. Здѣсь ему опротивѣла жизнь, которую онъ велъ и которая показалась ему пустою и праздною. Вспомнивъ примѣры многихъ своихъ знаменитыхъ предшественниковъ «круг-

лыхъ головъ» XVII в., товарищей и солдатъ Кромвеля, онъ составилъ и подписалъ въ Неаполѣ, 27 мая 1770 г. свой covenant, т. е. торжественное условіе своего подчиненія Богу. Онъ возобновилъ это обязательство въ Москвѣ, 27-го сентября 1789 г., за 4 мѣсяца до смерти. Онъ предавалъ по этому акту неизмѣримому божескому милосердію свое состояніе, свою жизнь, свою душу. Это обязательство было въ своемъ началѣ безъ всякой опредѣленной цѣли. Только въ 1773 г. Говардъ нашелъ подходящее занятіе для своей жажды дѣятельности нравственной, когда его назначили шерифомъ въ Бэдфордѣ и ввѣряли по этой должности завѣдываніе и надзоръ за мѣстами заключенія въ графствѣ. Онъ уже испыталъ до того времени тяжелыя условія темничной жизни въ 1775 г., когда корабль, на которомъ онъ ѣхалъ въ Португалію посѣтить Лиссабонъ, разрушенный землетрясеніемъ, былъ взятъ въ плѣнъ французскимъ каперомъ и отведенъ въ Брестъ, гдѣ весь экипажъ былъ подвергнутъ жесточайшему аресту. Сдѣлавшись шерифомъ, Говардъ приступилъ къ преобразованію тюремъ со всѣмъ усердіемъ лица, на котораго по закону возложена обязанность изучать зло въ самыхъ его корняхъ и искать мѣръ для его излеченія.

Говардъ приступалъ къ трудному дѣлу при малой подготовкѣ. Онъ не былъ ни лѣкарь, ни законовѣдъ, ни философъ. Никогда не ставилъ онъ себѣ головоломнаго вопроса о логическомъ основаніи права наказывать. Въ его глазахъ наказаніе не нуждалось въ доказательствахъ— оно входитъ какъ составная часть въ предустановленный Богомъ порядокъ. Такъ какъ онъ не принадлежалъ къ числу особенно чувствительныхъ и слабонервныхъ, то эта особенность доставила ему возможность присутствовать при многихъ казняхъ, дѣлая, хладнокровно и аккуратно, самыя точныя наблюденія. Онъ вникалъ въ подробности самыя противныя. Дѣйствуя съ удивительною сметливостью и здравымъ смысломъ, онъ ограничилъ свои взысканія только устройствомъ тюремъ, ко-

торое едва было затронуто Бэккаріею, но онъ усвоилъ себѣ вполнѣ эту почву, на которую онъ вступилъ безъ всякихъ предвзятыхъ мыслей и предубѣжденій, и достигъ полнаго господства по вполнѣ научному методу изслѣдованія, по замѣчательной ясности изложенія всего наблюденнаго и по обобщеніямъ, дѣлаемымъ изъ фактовъ,—осторожнымъ и весьма плодотворнымъ. Общественное мнѣніе въ Англіи было уже взволновано тюремными безобразіями и безпорядками, вслѣдствіе чего попытки Говарда оказались какъ нельзя больше своевременными. Въ тюрьмахъ англійскихъ содержимы были совмѣстно несостоятельные должники, подслѣдственные арестанты и осужденные. Освобожденные по суду подсудимые не освобождались до взноса тюремщикамъ установленной въ ихъ пользу платы и вознагражденія за издержки на прокормленіе и содержаніе. Оба пола и всѣ возрасты содержались вмѣстѣ въ тѣхъ-же камерахъ. Надзиратели притѣсняли бѣдняковъ, но разрѣшали за деньги состоятельнымъ предаваться пьянству и разврату. Тюрьмы были постоянными центрами заразъ, ихъ не покидали болѣзни, свойственныя только имъ, напримѣръ: тюремная лихорадка (gaol-fever). Говардъ сталъ объѣзжать всѣ тюрьмы Великобританіи, большею частью верхомъ, дѣлалъ 30 до 40 англ. миль въ день, наблюдая, отмѣчая, сравнивая. Онъ скоро отличился, нашелъ друзей и союзниковъ въ парламентѣ. Онъ подружился съ Попгемомъ членомъ парламента изъ м. Таунтона, предложившаго нѣсколько существенно важныхъ билей, которые прошли въ парламентѣ въ 1774 г. (немедленное освобожденіе оправдываемыхъ безъ взноса денегъ тюремщикамъ, мѣры очистки и оздоровленія тюремъ). Говардъ озаботился отпечатаніемъ этихъ вновь изданныхъ законовъ большими буквами на свой собственный счетъ и разослалъ ихъ всѣмъ тюремнымъ сторожамъ и надзирателямъ королевства. Палата коммонеровъ вызвала Говарда въ свое засѣданіе для выслушанія его мнѣнія по предложеніямъ Попгема, причемъ она его благодарила за

его усердіе. Одобренія, которыя получилъ Говардъ, удваивали только его энергическое стремленіе къ избранной цѣли. Каждый новый опытъ расширялъ его взгляды и пополнялъ его знанія. Этотъ человѣкъ, положительный, имѣющій мало воображенія, вслѣдствіе только того, что у него была ненасытная жажда знать положительные факты, способность собирать ихъ, отмѣчать и располагать и что онъ умѣлъ судить ихъ безпристрастно, становился почти-что изобрѣтателемъ и создателемъ системы. Англія съ Уэльсомъ, Шотландія и Ирландія не были для него достаточны: съ 1775 г. начинаются его повторяющіяся поѣздки во всѣхъ направленіяхъ по европейскому материку, извѣданному имъ отъ Мадрида и Константинополя до Стокгольма, С.-Петербурга и Москвы. Совокупность всѣхъ его путешествій на родинѣ и заграницею съ пенитенціарными и врачебными цѣлями опредѣляютъ въ 42,000 англійскихъ миль, то есть приблизительно въ 68,000 километровъ, — количество громадное по тому времени, не знавшему желѣзныхъ дорогъ. Послѣ каждаго путешествія программа изслѣдованій расширилась, въ нее входили, наконецъ, разныя учрежденія: тюрьмы, госпитали, школы. Интересно наблюдать въ запискахъ Говарда, какъ искренняя любовь къ истинѣ одерживала въ немъ, не безъ борьбы впрочемъ, верхъ надъ высокимъ самомнѣніемъ англичанина, убѣжденнаго въ первенствѣ своей національности предъ всѣми другими. «Рѣдко случалось мнѣ—пишетъ онъ,— завидовать иностранцамъ въ какомъ-бы то ни было отношеніи, въ отношеніи ихъ положенія, религіи, нравовъ или правительства». Однако онъ не колеблясь признаетъ, что его отечество сильно отстало отъ народовъ материка по отношенію устройства тюремъ. «Мнѣ приходилось иногда краснѣть за мою родину» — сознается онъ и съ полною готовностью отдаетъ справедливость всему полезному, гдѣ бы онъ его ни нашелъ. Такъ, напримѣръ, въ Россіи онъ хвалитъ русскія бани и лѣтніе больничные бараки. Все хорошее, что только найдено

имъ у другихъ, онъ тотчасъ же заимствуетъ и предлагаетъ. Въ числѣ заимствованій были и такія, которыя оказали сильнѣйшее, рѣшающее вліяніе на его-же систему. Только за-границею познакомился Говардъ съ идеею исправленія преступниковъ посредствомъ обязательнаго труда, совсѣмъ чуждаго англійскимъ тюрьмамъ. Его восхищали голландскія тюрьмы: тихія, опрятныя, на-бѣло выкрашенныя. Въ австрійской Фландріи въ Гентѣ областныя сословія довершали сооруженіе великолѣпнаго рабочаго дома (maison de force) на пути къ Брюггэ, громаднаго восьмиугольника, въ которомъ арестанты трудились сообща въ мастерскихъ днемъ, а на ночь запирались въ отдѣльныя келіи и получали плату за сверхъ-урочныя работы. Все заведеніе имѣло видъ превосходно устроенной мануфактуры. Поданная виконтомъ Виленомъ XIV сословіямъ фландрскимъ записка объ этомъ рабочемъ домѣ начиналась съ слѣдующихъ соображеній: «Человѣкъ для труда созданъ. Нашъ праотецъ помѣщенъ былъ въ земномъ раю, чтобы работать. Праздность есть постоянное нарушеніе законовъ природы и божескаго ея создателя. Законъ этотъ всеобщій: государи и подданные, великіе и малые, богатые и бѣдные ему подчинены». Заведеніе гентское не долго сохранило этотъ внушающій уваженіе характеръ. Въ 1779 году, по распоряженію Іосифа II, трудъ арестантовъ прекращенъ въ видахъ недѣланія подрыва свободному труду страны.

Для методическаго и властнаго ума Говарда самъ видъ этой организаціи труда производительнаго и, въ концѣ концовъ, исправляющаго, хотя-бы онъ совершался по принужденію, былъ просто лучемъ свѣта. Онъ весь проникся прекраснымъ голландскимъ изрѣченіемъ: «Сдѣлайте людей прилежными и они станутъ честными». Онъ и прежде признавалъ необходимость благоразумной, но твердой дисциплины для арестантовъ. Онъ нѣсколько разъ воспроизвелъ въ своихъ сочиненіяхъ и даже поставилъ на заглавномъ листѣ своего

«Appendix to the state of Prisons 1784» надпись папы Климента XI надъ домомъ св. Михаила для юныхъ арестантовъ, поставленную при открытіи заведенія въ 1704 г. Parum est improbos coërcere poena nisi probos efficias disciplina (недостаточно если злодѣевъ укрощаютъ только наказаніемъ, надо ихъ дисциплиной вышколить въ честныхъ людей). Къ этой строгой, но благоразумной дисциплинѣ присоединился трудъ, какъ средство исправленія силою одной только пріобрѣтаемой привычки. Прибавимъ къ этимъ двумъ элементамъ обученіе, какъ понималъ его Говардъ, преимущественно нравственное и религіозное, и вся система заканчивалась и была совсѣмъ готова, воздвигнуты были всѣ главные устои настоящей и будущей пенитенціарной политики. Главные черты этой политики превосходно изображены въ образцовой книгѣ, появленіе которой было событіемъ: «The State of prisons in England and Wales» (Warrington 1777). Это сочиненіе въ высшей степени замѣчательное въ своемъ родѣ—одно изъ главныхъ произведеній XVIII в., оно трудъ автора, который совсѣмъ не былъ ни ученымъ, ни литераторомъ. Никогда еще книга чисто описательная, наполненная статистическими данными, объективная какъ дѣловой отчетъ, избѣгающая всякаго выраженія личныхъ чувствъ, не имѣла въ Англіи подобнаго успѣха не между спеціалистами, а въ массѣ публики; она заслужила этотъ успѣхъ своею необычайною простотою. Въ ней чувствуется правдивость изложенія фактовъ, какъ они дѣйствительно есть, безъ малѣйшей прикрасы. Читая ее, невольно поддаешься обаянію этой невозмутимо-ясной души и чувствуешь ровныя біенія этого благороднаго, человѣколюбиваго сердца.

Сочиненія Говарда даютъ только слабое понятіе о сильномъ и неотразимомъ вліяніи его могучей личности на современниковъ. Онъ зналъ — пишетъ его біографъ Гепуортъ Диксонъ, (Joh Howard. London, 1849), — что нѣтъ тюрьмы въ Англіи, которая не открылась бы передъ нимъ — частнымъ лицомъ. Съ нимъ совѣтовались

надзиратели и заключенные слѣдовали его наставленіямъ, обращались къ нему, какъ къ руководителю совѣсти. Низкаго роста, тощій, довольно слабаго тѣлосложенія, безстрастный, Говардъ велъ образъ жизни почти отшельническій, съ 1770 г. питался только растительною пищею и воздерживался отъ вина и всякихъ спиртныхъ напитковъ. Однако этотъ почти что не отъ сего міра человѣкъ вовсе не былъ равнодушенъ къ тому, что вокругъ него происходило. Напротивъ того, онъ отважно выходилъ на бой со всѣми силами превозмогающаго зла, боролся изо всей силы и обнаружилъ во многихъ случаяхъ мужество физическое и замѣчательную твердость духа. Въ 1786 году онъ ѣздилъ изучать чуму въ ея гнѣздѣ, посѣтилъ съ этою цѣлью Смирну и Константинополь. Возвращался онъ на венеціанскомъ суднѣ, имѣвшемъ только одну, и то неисправную пушку. На судно сдѣлалъ нападеніе варварійскій корсаръ. Говардъ беретъ на себя командованіе защитою, заряжаетъ пушку, при неимѣніи другихъ зарядовъ, гвоздями и разнымъ желѣзомъ, и удачнымъ выстрѣломъ обращаетъ въ бѣгство нападавшихъ. Въ 1785 г. Говарда пытается поймать и арестовать во Франціи полиція за то, что онъ опубликовалъ книжонку, описывающую ужасы заключенія въ Бастиліи. Онъ успѣлъ перехитрить французскихъ сыщиковъ въ Парижѣ, добрался переодѣтый до Марсели и ушелъ изъ Франціи благополучно, посѣтивъ Тулонъ и сдѣлавъ всѣ нужныя отмѣтки о интересовавшихъ его въ немъ заведеніяхъ.— Англія воевала одно время съ Голландіею; голландскихъ плѣнниковъ въ Англіи заставляли всячески вступать на военную службу англійскую. Говардъ узнаетъ о томъ, возмущается, отправляется къ военно-плѣннымъ, убѣждаетъ ихъ не измѣнять своему отечеству, грозитъ тѣмъ, которые бы его не послушали, что онъ сообщитъ ихъ названія въ Голландію, гдѣ они будутъ повѣшены, когда возвратятся. Замѣчательно и поучительно его свиданіе съ Іосифомъ II въ 1786 г. на Рождествѣ, при возвра-

щеніи Говарда съ востока. Говардъ избѣгалъ всякихъ представленій, ссылаясь на то, что онъ ѣздилъ осматривать не дворцы, а только тюрьмы. Іосифъ II послалъ за нимъ, чтобы получить отъ него лично мнѣніе объ австрійскихъ мѣстахъ заключенія и лазаретахъ. Говардъ выразилъ объ нихъ довольно рѣзко и ѣдко. Императоръ замѣтилъ ему, что въ Англіи не стѣсняются вѣшать людей забездѣлицы.—«Государь,—отвѣтилъ Говардъ,—я предпочелъ бы быть повѣшеннымъ, нежели испытать тѣ страданія, которыхъ я былъ свидѣтелемъ въ мѣстахъ заключенія вашего величества». Разговоръ перешелъ на исправительные дома. «Гдѣ видали вы,—спросилъ императоръ,—болѣе хорошія учрежденія?»—Было,—отвѣчалъ Говардъ,—одно превосходное въ Гентѣ, «not so now! not so now!» (но его ужъ нѣтъ, его ужъ нѣтъ!) Говардъ энергически протестовалъ до конца жизни противъ предложенія о сооруженіи ему статуи (только по смерти его поставлена была таковая рѣзца скульптора Бэкона въ церкви св. Павла въ Лондонѣ. Онъ имѣлъ счастіе узнать въ послѣдніе дни жизни, по газетамъ, о взятіи и снесеніи Бастиліи. Дѣдъ знаменитаго Чарльза Дарвина Эразмъ Дарвинъ прославилъ Говарда краснорѣчивыми и патетическими стихами въ поэмѣ «The life of the plants», 1789 г.

Джонъ Говардъ былъ мало знакомъ съ Россіею и изучалъ ее лишь поверхностно. Его идеи и личный его примѣръ не нашли немедленно послѣдователей или прямого практическаго приложенія. Только теперь его вліяніе начинаетъ проявляться и расти. Въ теченіи послѣднихъ тридцати лѣтъ въ Россіи произошли громадной важности событія, въ 1861 г. отмѣнено крѣпостное состояніе, 17 Апрѣля 1863 г. отмѣнены уголовныя тѣлѣсныя наказанія, въ 1864 году преобразованы суды и судопроизводство. Эти событія, въ совокупности, поставили на очередь, для немедленнаго ея разрѣшенія, слѣдующую великую дилемму уголовнаго характера: быть на будущее время ссылкѣ въ Сибирь или ее упразднить?

Необходимо было рѣшиться либо устроить уголовное заключеніе на вполнѣ разумныхъ началахъ, стараясь, по мѣрѣ возможности, оздоровить испорченные элементы общества, либо извергать куда-нибудь опасную часть этихъ элементовъ, не занимаясь особенно вопросомъ о томъ, что̀ выйдетъ изъ этихъ элементовъ на мѣстахъ, куда ихъ выбрасывали. Одновременное пользованіе двумя противоположными способами: лишенія, свободы для менѣе тяжкой преступности и ссылки для болѣе тяжкой становится почти непреодолимымъ препятствіемъ дальнѣйшему прогрессу, потому что несравненно труднѣе совершенствовать двѣ противныя и часто противодѣйствующія одна другой системы, нежели установить одну только, вполнѣ послѣдовательную и цѣльную. Точно такой же вопросъ занималъ Англію при Говардѣ: онъ былъ спрошенъ, чтобы высказался либо въ пользу ссылки во вновь открытыя Кукомъ австралійскія страны, либо въ пользу задумываемаго опыта of Home Correctional Discipline; (попытки исправленія на мѣстѣ) посредствомъ сооруженія въ самой Англіи нѣсколькихъ пенитенціаріевъ, по образцу лучшихъ исправительныхъ или рабочихъ домовъ европейскихъ. Говардъ сталъ рѣшительно на сторону пенитенціаріевъ, которые рѣшено было соорудить по закону 1778 года. Говардъ былъ назначенъ однимъ изъ трехъ коммиссаровъ, которымъ поручено было осуществленіе этого опыта. Къ несчастью, дѣло сооруженія затянулось, одинъ коммиссаръ умеръ, съ другимъ Говардъ былъ не въ ладахъ и отретировался. Начатый опытъ былъ затѣмъ брошенъ и принята другая система: усвоена ссылка въ Ботанибей. Извѣстны результаты, въ сущности, отрицательные этой ссылки. Въ 1840 г. ссылка была ограничена; а 26 іюня 1857 г. она была окончательно отмѣнена, по акту парламента.

Такимъ образомъ, пришли опять въ Англіи къ идеямъ и предложеніямъ Говарда и рѣшено было принять нынѣ дѣйствующую систему, начинающую съ самой строгой формы заключенія, а затѣмъ доводящую

постепенно арестантовъ, по мѣрѣ укрѣпленія ихъ нравственности, до болѣе свободнаго состоянія и, наконецъ, до водворенія ихъ опять въ общество.

Главное тюремное управленіе въ Россіи, учрежденное указомъ 25 февраля 1879 г., не могло, конечно, осуществить въ теченіи одиннадцати лѣтъ своего существованія громадную возложенную на него задачу; но я рѣшаюсь привести заключительныя слова отчета этого учрежденія за первыя десять лѣтъ (1879—1889), чтобы установить, до какой степени это управленіе понимаетъ и слѣдуетъ идеямъ, впервые распространеннымъ Говардомъ:

«Въ тѣсныхъ помѣщеніяхъ, при малочисленномъ надзорѣ, при недостаточномъ развитіи труда, безъ школъ, при затруднительности личнаго, внѣ часовъ богослуженія, воздѣйствія на заключенныхъ со стороны духовныхъ пастырей—трудно думать о стройномъ, послѣдовательномъ проведеніи въ тюремную жизнь здравыхъ исправительныхъ началъ. Только съ устраненіемъ всѣхъ этихъ недостатковъ представится возможность приступить къ установленію той «пенитенціарной системы», которая составляетъ не исходную точку, какъ полагали въ шестидесятыхъ годахъ, а вѣнецъ тюремной реформы».

Реформа, какъ видите, начата, она подвигается туго и медленно, по предустановленному плану и при пользованіи результатами предпринимаемыхъ опытовъ. Для достиженія великой цѣли не сразу, а въ будущности, можетъ быть, и весьма отдаленной, надобно подвигаться впередъ всевозможными путями. Надобно пользоваться и высокимъ полетомъ мыслителей, подобныхъ Бэккарію, освѣщающихъ наиболѣе загадочныя части науки, и кропотливыми изысканіями практиковъ, подобныхъ Говарду, надобно употреблять на живое дѣло всѣ стремленія общества къ идеалу, будь онъ какой угодно, будь онъ религіозность или человѣчность, надобно ежеминутно прибѣгать за содѣйствіемъ къ наукѣ, которая въ этихъ стѣнахъ имѣетъ столь достойныхъ представи-

телей, надобно также разрабатывать мельчайшія подробности посредствомъ наблюденій надъ обыденными положительными фактами по методу Говарда и его послѣдователей, статистиковъ и наставниковъ реформы. Конечно, наука великое дѣло, но ея не хватитъ на осуществленіе великой реформы. Переустройство тюремъ не можетъ быть произведено ни посредствомъ самой только науки, ни посредствомъ самого только правительства. Оно совершится только тогда, когда къ нему примкнетъ все общество, когда оно поможетъ своимъ сочувствіемъ и своимъ хотѣніемъ, когда всѣ достаточные и интеллигентные классы общества поддержатъ тюремное дѣло искренно и безкорыстно не своими денежными только взносами, но своими личными услугами, посѣщеніями тюремъ, участіемъ въ обученіи арестантовъ, въ особенности опекою и патронатствомъ надъ освобождаемыми по отбытіи наказанія, патронатствомъ, котораго совсѣмъ нѣтъ, которое приходится цѣликомъ создавать. Примѣръ Джона Говарда больше всего цѣненъ тѣмъ, что онъ можетъ служить сборнымъ пунктомъ и маякомъ для всѣхъ людей благонамѣренныхъ, которые войдутъ въ этотъ союзъ благотворительности и спасенія. Примѣръ Говарда дорогъ потому, что доказываетъ, что́ можетъ иногда совершить частный человѣкъ, не имѣющій оффиціальнаго характера, ни власти, по своему личному почину, когда онъ упорно работаетъ для добра.

Заключая бесѣду, я хотѣлъ ограничиться произнесеніемъ одного только имени великаго человѣколюбца, но я не могу этого сдѣлать, потому что даже въ мысли моей, какъ уже прежде выразилъ, ихъ двое и они не раздѣлимы. Честь и слава достославной четѣ родоначальниковъ уголовной реформы въ XVIII столѣтіи: Говарду и Бэккаріи!

Новыя направленія въ наукѣ уголовнаго права.

(Чтенія въ Спб. Педагогическомъ Музеѣ въ началѣ 1891 г.).

Новыя направленія въ наукѣ уголовнаго права.

(Публичныя чтенія въ С.-Петербургскомъ Педагогическомъ Музеѣ въ началѣ 1891 года).

I.

Итальянская школа антропологовъ-позитивистовъ.

Беру на себя нелегкую задачу представить въ сжатомъ очеркѣ перемѣны, происшедшія въ послѣднее время въ наукѣ уголовнаго права, новыя вѣянія, обрисовывающійся новый фазисъ—пока только въ одной наукѣ; но извѣстно, что коль скоро ученые станутъ что-нибудь въ одинъ голосъ повторять, то оно перейдетъ и въ законы, и въ практику. Понятно, что для характеристики новаго я долженъ сопоставить его со старымъ, а старое лично для меня—то, что существовало лѣтъ 25 тому назадъ, въ 1864 году, когда я сошелъ съ преподавательской каѳедры. Я бы тогда не повѣрилъ, что раздадутся на западѣ и найдутъ послѣдователей и у насъ сужденія совсѣмъ противоположныя тому, что было принято считать непререкаемыми аксіомами и прямыми выраженіями человѣчности и христіанскаго духа. Я бы тогда не повѣрилъ, что станутъ проповѣдывать:—Не надо толковать всякое сомнѣніе въ пользу подсудимаго (in dubio pro reo); слишкомъ жалѣли злодѣя—надобно пожалѣть и общество. Долой въ судѣ неумѣстную милость;

никакая власть не въ правѣ водворять въ общество его отбросы и всякія другія отложенія. Нѣжныя чувства къ павшему человѣку годились сто лѣтъ тому назадъ, въ эпоху Беккаріи, когда надо было освобождаться отъ варварской жестокости среднихъ вѣковъ. Нынѣ функціи общественной гигіены должны быть отправляемы безъ сантиментальности и безъ гнѣва, съ устраненіемъ всякихъ эмоціональныхъ и эстетическихъ элементовъ, съ отрѣшеніемъ отъ драматизма для широкой борьбы между обвиненіемъ и защитою. Повязка должна быть снята съ глазъ Ѳемиды. но и мечъ ея долженъ быть отнятъ отъ присяжныхъ, судящихъ не умомъ, а только сердцемъ, и отъ сухихъ теологовъ-юристовъ, которые привыкли возиться съ отвлеченными преступленіями и судить пустое дѣяніе, изъ котораго выпущено живое лицо преступника. Сама задача уголовнаго суда должна быть радикально видоизмѣнена. Старая школа юристовъ судила извѣстное дѣяніе извѣстнаго человѣка, какъ произведеніе его свободной воли: но съ этою вольною волей счеты покончены; она—предразсудокъ и самообольщеніе сознанія, происходящее отъ того, что наше самонаблюденіе не простирается на выработку въ безсознательномъ состояніи мотивовъ дѣйствія, существующихъ въ скрытномъ видѣ, а начинается съ момента, когда эти мотивы вступаютъ между собою въ борьбу, въ которой несомнѣнно верхъ одерживаетъ сильнѣйшій. Такъ какъ вольной воли нѣтъ, то не можетъ быть и нравственной отвѣтственности за дѣйствіе, то-есть той вины, по которой отмѣривалось и отсчитывалось наказаніе. Та особенность, которою мы гордились, какъ превосходствомъ современности передъ средними вѣками, а именно, что сумасшедшаго не судятъ, что его отпускаютъ безъ суда,—пропадаетъ; сумасшедшіе одинаково опасны, какъ и психически здоровые люди, и если они опасны, то подлежатъ изъятію изъ общежитія. Пріемы и методы суда, равно какъ и личный его составъ должны измѣниться. Въ судьи годятся не случайные понятые изъ народа,

безъ толку волнующіеся, и не казуисты, производящіе операціи на искуственно вырѣзанномъ изъ жизни дѣяніи, отвлеченно разсматриваемомъ, но антропологи и по возможности психологи и психіатры, которыхъ работа клонится къ тому, чтобы, изучивъ статику и динамику субекта, его сложеніе и привычки, помѣстить его въ подходящій классъ преступниковъ, подлежащихъ либо изъятію изъ общежитія, либо меньшимъ ограниченіямъ и стѣсненіямъ. Изнѣжившись, мы напрасно ослабили нашу карательную систему. Въ борьбѣ за существованіе между обществомъ и злодѣями основаніе системы—*искорененіе*; а если по состоянію нервовъ общества нельзя къ сожалѣнію практиковать въ надлежащей мѣрѣ смертную казнь, то возможно оградить себя и безъ нея посредствомъ эквивалентовъ,—правда, дорогихъ и сложныхъ, но все-таки дѣйствительныхъ.

Таковы были голоса, нарушившіе своими диссонансами рутину, утвердившуюся въ области криминалистики. Замѣчательно, что они выходили изъ Италіи — на глазахъ нашихъ превратившейся изъ «географическаго названія», какимъ ее считалъ Меттирнихъ, въ новое почтенныхъ размѣровъ государство, съ конституціею съ иголочки, съ либеральными учрежденіями, позаимствованными и не имѣющими корней, между тѣмъ какъ въ самомъ народѣ кишатъ средневѣковыя привычки, и самый народъ — живой, нервный, страстный, склонный къ преступленіямъ противъ личности, готовый еще и нынѣ выдѣлять изъ себя разбойничьи шайки въ родѣ неаполитанской каморры или сицильянской маффіи. Судъ присяжныхъ въ Италіи нерѣдко боится убійцъ, которыхъ судитъ, и до сихъ поръ не сдѣлался популярнымъ. Народъ итальянскій — весьма даровитый, талантливый, въ особенности въ области практическаго дѣла. Потомки древнихъ римлянъ, итальянцы произвели множество великихъ папъ, Макіавелли и великихъ кондотьеровъ, къ числу которыхъ Тэнъ отнесъ и Наполеона. Они — прирожденные политики,

слѣдовательно и криминалисты. Беккарія (Dei delitti e delle pene, 1764) былъ у нихъ глашатаемъ уголовной реформы, увлекшей всю Европу. Имъ же достался и починъ въ дѣлѣ отставленія отъ службы старой Беккаріевской классической школы и созданія новой, болѣе суровой, соотвѣтствующей научному духу изслѣдованія, свойственному нашему вѣку. Эти соображенія не уясняютъ однако, почему итальянскія ученія нашли отголосокъ и послѣдователей внѣ Италіи. Они распространились и въ западной Европѣ, именно потому, что и въ ней насталъ вѣкъ желѣзный, господство грубой силы, торжествующей съ цинизмомъ. Но такое очерствленіе и одичаніе, которое мы испытываемъ, есть въ свою очередь только результатъ и рефлексъ измѣнившагося міросозерцанія. Тѣ проповѣдники просвѣтительной философіи XVIII вѣка и начала XIX-го, будь они теисты или даже атеисты, все же были проникнуты христіанскимъ духомъ, любовью ко всему ощущающему и страдающему. Міръ имъ казался единымъ цѣлымъ, солидарнымъ во всѣхъ частяхъ. Этому міросозерцанію нынѣ противопоставлены — природа съ ея роковыми и нещадными законами, міръ какъ совокупность борющихся силъ, торжество сильнѣйшаго и гибель слабѣйшаго, какъ орудіе прогресса. Приведу слѣдующія слова Тарда (Philosophie pénale, 526): «Распространеніе Дарвиновой теоріи, въ послѣдніе годы было прямымъ возвращеніемъ къ языческому духу. Религія или философія, которыя въ миѳологической или научной формѣ берутъ за исходную точку врожденный безпорядокъ, первичный конфликтъ, и усматриваютъ въ гармоніи только побѣду послѣ сраженія, должны привести къ оправданію завоевателя и героя. Несомнѣнно, что успѣхъ Дарвинизма содѣйствовалъ ужасающему возрожденію милитаризма и затормозилъ движеніе противъ смертной казни, столь сильное въ предшествующую эпоху. Я далекъ отъ мысли полемизировать съ однимъ изъ величайшихъ геніевъ XIX столѣтія, но и его ученіе есть только одинъ изъ

фазисовъ въ эволюціи идей. Я хотѣлъ указать только на стволъ дерева, изъ котораго выросли въ видѣ вѣтокъ капитальныя произведенія итальянской школы криминалистовъ; это — Дарвинъ и Гербертъ Спенсеръ. Школа имѣетъ нынѣ трехъ видныхъ представителей: Ломброзо, Ферри и Гарофало».

Основатель школы, Цезаръ *Ломброзо*, еврей по происхожденію, медикъ по профессіи, родился въ 1836 г., управлялъ заведеніемъ для сумасшедшихъ въ Пезаро, потомъ занялъ каѳедру судебной медицины и клинической психіатріи въ Туринѣ, гдѣ и прославился своими наблюденіями надъ преступниками. Его капитальное произведеніе: Uomo delinquente, 1878 — имѣло множество изданій, изъ которыхъ четвертое переведено на французскій языкъ (L'homme criminel. 1887). Громкая, европейская его извѣстность началась съ 1885 года, когда въ Римѣ одновременно засѣдали два конгресса, занимавшіеся одними и тѣми же вопросами: пенитенціарный и антропологическій.

Ломброзо — не юристъ и нисколько не соціологъ; онъ только естественникъ, притомъ человѣкъ не только односторонній, но и однопредметный или, лучше сказать, одноидейный. Въ свою одну идею онъ внесъ всѣ способности весьма кипучаго ума, онъ переворачивалъ ее и развивалъ по всевозможнымъ направленіямъ, изобрѣтая, производя опыты и неутомимо роясь въ исторіи. У него живое воображеніе, страсть къ поспѣшнымъ обобщеніямъ, но и большая готовность отступать отъ своихъ выводовъ и ихъ вычеркивать. Коренная его идея та, что въ родѣ человѣческомъ есть особый видъ, отличающійся характерными признаками: человѣкъ-преступникъ. Признаковъ этихъ Ломброзо открылъ большое количество. Сначала онъ ихъ искалъ въ тѣлосложеніи субъектовъ, работалъ надъ составленіемъ чего-то въ родѣ анатомическаго атласа виднѣйшихъ экземпляровъ типа. Потомъ онъ находилъ ихъ въ отправленіяхъ физіологическихъ и психологическихъ. Человѣкъ-пре-

ступникъ обыкновенно дюжъ и тяжелъ, съ меньшею чѣмъ у другихъ вмѣстимостью черепа, съ низкимъ и подающимся назадъ лбомъ, со складками на лбу, выдающимися бровяными сводами и скулами, съ несимметрическимъ расположеніемъ правыхъ и лѣвыхъ частей черепа и лица, глубокими глазными впадинами, кривымъ или вздернутымъ носомъ. Преступники страдаютъ часто дальтонизмомъ, косоглазы, лѣвши, волосаты, но съ рѣдкими бородами. Они мало чувствительны къ физическимъ страданіямъ, рѣдко краснѣютъ, непомѣрно тщеславны, любятъ татуироваться и тому подобное. Для отнесенія субъекта къ типу приступника необходимо, чтобы онъ вмѣщалъ въ себѣ многіе признаки. Хотя большинство преступниковъ не подойдетъ подъ типъ, но въ цѣлой арміи разрушителей общественнаго порядка главный корпусъ составляютъ лица, роковымъ образомъ по своей организаціи созданныя для преступленія, такъ-называемые прирожденные преступники (delinquenti nati); ихъ бываетъ, по разсчету Ломброзо, до 40% въ общемъ итогѣ присуждаемыхъ къ наказаніямъ.

Еслибы и было доказано, что мысль Ломброзо вѣрна, и что есть въ родѣ человѣческомъ прирожденные преступники, то какой слѣдуетъ сдѣлать практическій выводъ изъ этого положенія? Ломброзо его не дѣлаетъ, о немъ и не думаетъ; онъ озабоченъ дачею объясненія причинъ этого непрекращающагося комплектованія класса звѣрей во образѣ человѣческомъ, лишенныхъ всякихъ альтруистическихъ чувствъ. Объясненіе дается въ смыслѣ Дарвиновой теоріи и философіи Герберта Спенсера; оно основано на наслѣдственности, на атавизмѣ—на томъ, что послѣ длиннаго ряда поколѣній дрессированныхъ и цивилизованныхъ можетъ родиться правнукъ съ характерными чертами отдаленнѣйшихъ предковъ, вполнѣ похожій на тѣхъ праотцевъ пещернаго періода, когда убійство, грабежъ и то, что́ мы называемъ преступленіемъ, были всеобщими правилами дѣйствій. Путемъ этой наслѣдственности въ каждомъ дитяти про-

является пережитое прошлое, задатки преступности: гнѣвъ, мстительность, жестокость, лживость, эгоизмъ. Эти сѣмена зла исчезаютъ потомъ при воспитаніи, подъ вліяніемъ общежитія; но есть извѣстный процентъ особей съ превратными наклонностями, которыя остаются таковыми всю жизнь.

Ломброзо не могъ, однако, остановиться на объясненіи всего посредствомъ одного атавизма просто потому, что хотя многіе острожники схожи анатомически съ дикарями—людьми вообще здоровыми, между которыми почти не бываетъ сумасшедшихъ, то въ большинствѣ осуждаемыхъ нельзя, однако, отрицать присутствія признаковъ болѣзненной нервности, патологическихъ состояній, неврастеніи. Вообще и медики-аліенисты, и публика, расположены даже смотрѣть на преступниковъ какъ на психически больныхъ, какъ на пребывающихъ въ состояніи невмѣняемости. Считаясь съ этимъ взглядомъ, но не отказываясь и отъ прежняго, Ломброзо оба несовмѣстимыя объясненія совокупилъ такимъ образомъ, что въ преступникѣ совмѣщаются и дикарь, и больной, такъ какъ къ атавизму часто приводятъ дурное питаніе мозга, нервность, эпилепсія. Между преступниками случайными и несомнѣнно сумасшедшими становятся «прирожденные преступники», въ числѣ которыхъ на ряду съ сумасшедшими помѣщаются одержимые такъ-называемымъ нравственнымъ сумасшествіемъ, то-есть люди, разсуждающіе здраво и дѣйствующіе цѣлесообразно, но безусловно неспособные различать нравственное добро и зло (moral insanity, folie morale). Новѣйшіе психіатры пріурочиваютъ этотъ видъ сумасшествія къ болѣзнямъ нервныхъ центровъ. Ломброзо идетъ дальше и кладетъ какъ подъ этотъ классъ, такъ и вообще подъ всѣхъ прирожденныхъ преступниковъ общее основаніе, а именно дѣлаетъ предположеніе, что всѣ они нервно больные, эпилептики, страдающіе либо явными припадками падучей болѣзни, либо, по крайней мѣрѣ, скрытою эпилепсіею (épilepsie larvée), иными сло-

вами, они имѣютъ эпилептическій темпераментъ, вслѣдствіе чего всѣ «прирожденные преступники» получаютъ психопатическую окраску и разсматриваются якобы сумасшедшіе (не matti, а mattoïdi). Такимъ образомъ, изъ сомнительныхъ предположеній дѣлаются и выводы совсѣмъ невѣрные. Подъ понятіемъ преступниковъ по атавизму разумѣлись запоздалые уроды, являющіеся нынѣ какъ бы по ошибкѣ, когда имъ слѣдовало бы жить назадъ тому нѣсколько вѣковъ, но не выродки, родившіеся нормальными людьми и потомъ свихнувшіеся или даже сошедшіе съ ума, люди, отличающіеся признаками не органическими, а патологическими. Любопытно, что ученикъ Ломброзо — Марро — взялся повѣрить теорію учителя и произвелъ хотя меньшее количество наблюденій, но зато съ необычайною точностью и при помощи всѣхъ средствъ психофизики,—надъ арестантами и несудившимися людьми въ одной сѣверной Италіи, причемъ пришелъ къ заключеніямъ совсѣмъ не согласнымъ съ теоріею своего учителя. Марро подраздѣляетъ усмотрѣнныя имъ ненормальности на три разряда: *атавическія*, когда онѣ соотвѣтствуютъ физическимъ чертамъ организаціи предковъ; *атипическія*, когда онѣ произошли въ зародышномъ еще состояніи субъекта (уродливое строеніе черепа, страбизмъ, ассимметрія, золотуха); и *патологическія*, напримѣръ, рубцы, параличъ, затруднительное кровеобращеніе, увѣчья, послѣдствія алкоголизма. Перваго рода ненормальности весьма рѣдки; вторыя—въ одинаковой пропорціи свойственны и преступникамъ, и несудившимся лицамъ; ненормальностями третьяго рода одержимы преступники въ несравненно большемъ количествѣ и степени, нежели честные люди. Значитъ, преступникъ въ бо́льшей части случаевъ—больной, расшатанный человѣкъ, часто психопатъ, часто страдающій отъ недостаточнаго прилива крови къ мозгу. Бѣдность, нищета—вотъ неразлагаемый осадокъ преступнаго типа. Прибавимъ къ тому невѣжество и не біологическій атавизмъ, и тотъ общеизвѣстный истори-

ческій фактъ, что разные слои одного и того же общества, въ одно и то же время, по своимъ идеямъ и нравамъ живутъ въ разныхъ вѣкахъ исторіи: передовые классы—въ XIX, а аріергардъ, темныя массы, можетъ быть, въ XI или X столѣтіяхъ.

Тутъ я разстаюсь съ Ломброзо и перехожу къ тѣмъ его послѣдователямъ, въ рукахъ которыхъ проповѣдуемая имъ уголовная антропологія получила правовое и философское значеніе вслѣдствіе того, что они къ даннымъ біологіи и экспериментальной психологіи присоединили изысканія статистики. Они ее и переименовали изъ *антропологической* школы въ *положительную* (scuola positiva del diritto criminale).

Статистическія наблюденія надъ ходомъ преступности имѣли вездѣ тотъ результатъ, что они озадачивали общество и ставили на очереди жгучій вопросъ о спѣшномъ сооруженіи плотинъ противъ быстраго прибоя преступности, противъ возрастанія непропорціонально приращенію населенія—числа преступленій вообще и рецидивовъ въ особенности. Я не буду останавливаться вообще на этихъ изслѣдованіяхъ ни на классическомъ по своему методу и размѣрамъ оффиціальномъ французскомъ отчетѣ за 1880 (работа Ивернеса), изображающемъ движеніе преступности во Франціи за цѣлые полвѣка (съ 1830 по 1880 г.),—ни на успокоительной, но парадоксальной теоріи *Полетти* (1882, Di una legge empirica della criminalità), по которой увеличеніе числа преступленій, непропорціональное приращенію населенія, не обозначаетъ усиленія порчи нравовъ, если при этомъ быстро возросли и обращеніе богатствъ, и количество мѣновыхъ сдѣлокъ. Я счелъ необходимымъ затронуть статистику только съ одною цѣлью—указать, что какъ только статистическія изысканія присоединились къ антропологическимъ, занимавшимся одними конкретными преступниками и ихъ преступленіями,—то сама криминологія тотчасъ же преобразилась, содержаніе ея обобщилось, индивидуальная личность стушевалась, и мы стали имѣть дѣло съ

коллективнымъ стремленіемъ къ преступности, проявляющимся съ различнымъ напряженіемъ въ связи со всѣми условіями общественнаго быта. Сама наука изъ той смѣси біологіи, зоологіи, антропологіи, какою она являлась у Ломброзо, превратилась въ часть соціологіи, въ государственную науку, въ политику. Трудъ такого пополненія антропологіи статистикою, сопряженный съ опытомъ перевода науки на соціологическую почву, совершилъ Энрико *Ферри*, мантуанецъ, родившійся въ 1856 г., преподававшій уголовное право въ Туринѣ, а потомъ въ Сіенѣ, и промѣнявшій въ 1886 г. профессуру на званіе члена итальянскаго парламента. Самое блистательное его произведеніе, дающее наилучшее представленіе о всей итальянской школѣ, озаглавлено: «I nuovi orrizonti del diritto e della procedura penale» (2 изд. 1884).

Ферри кладетъ въ основаніе своего ученія три *первоосновы*. Первая, общая всѣмъ представителямъ школы, есть несуществованіе свободной воли, а слѣдовательно и нравственной отвѣтственности, съ превращеніемъ уголовнаго права въ простую самооборону обществъ отъ преступниковъ. Вторая основа—идея Ферри, заимствованная отъ Ломброзо, а именно, что преступникъ есть разновидность рода человѣческаго, существо ненормальное, на другихъ особей иныхъ видовъ непохожее. Третья основа—наказанія сами по себѣ мало вліяютъ на уменьшеніе или приростъ преступности. Всякій психическій процессъ, а слѣдовательно и волевой, происходитъ по общему типу нервнаго рефлекса, осложненнаго только тѣмъ, что между вызвавшимъ его внѣшнимъ дѣйствіемъ и конечнымъ воздѣйствіемъ имѣется промежуточный фазисъ психическій, сопровождаемый обманнымъ чувствомъ, якобы, свободы произвола, а въ сущности это есть одно сознаніе того, что, откликаясь на раздраженіе извнѣ, лицо становится хотя и невольною, но дѣйствительною причиною перемѣнъ, производимыхъ имъ въ мірѣ внѣшнемъ, что́ и составляетъ

основаніе вмѣненія ему этихъ перемѣнъ. Карательная дѣятельность есть такой же рефлексъ, самозащита организма личнаго или коллективнаго въ его борьбѣ за существованіе. Она бываетъ либо немедленная, либо отлагаемая до болѣе удобнаго случая (месть), либо военная, либо судебная, либо исправляемая главою государства, либо его министрами и слугами. Она была первоначально совершаема безъ всякаго вывода противъ караемаго, противъ какой бы то ни было его вины, и подобный характеръ она имѣетъ и нынѣ въ международныхъ войнахъ. Однако, вскорѣ карательная функція перешла къ жрецамъ, въ рукахъ которыхъ она получила мистическій характеръ оскорбленія божества, требующаго очищенія, Этотъ мистицизмъ до того со временемъ прилѣпился къ понятію преступленія, что и послѣ выхода изъ религіознаго періода законодательство и классическая уголовная школа не перестаютъ возиться съ виною, соразмѣряя съ нею наказаніе на отвлеченнѣйшихъ вѣсахъ. Обусловленная виною юстиція стала воздаяніемъ. Она была кровная месть, государственная месть, божеская месть, или, наконецъ, жертвоприношеніе какой-то заоблачной идеѣ правды и справедливости. Наши законы еще не раздѣлались съ первымъ религіознымъ фазисомъ, классическая криминологія пребываетъ и до сихъ поръ во второмъ фазисѣ юстиціи воздаятельной и исправляющей, но пора вступить въ третій фазисъ юстиціи чисто правовой, задающейся только цѣлью охраны общества и закона, но не болѣ,—юстиціи, для которой безразличны степени вины. Изъемля личность изъ тисковъ средневѣковаго государства, индивидуалисты-классики выдавали преступника государству головою для отмщенія ему—только при доказанности моральной его вины. Теперь задача измѣняется. Общество не караетъ, а только предохраняетъ себя отъ злодѣевъ, либо ассимилируя все то, что́ еще годно къ ассимиляціи, или извергая все негодное,—и это оно дѣлаетъ хладнокровно, безъ эмоціи. Такъ какъ дѣянія людей въ общежитіи,

смотря по ихъ хорошимъ или вреднымъ для общества послѣдствіямъ, должны быть относимы на счетъ дѣятелей, то общество и дѣлаетъ сихъ послѣднихъ отвѣтственными, не нравственно, а только легально, за ихъ противозаконныя дѣйствія, вслѣдствіе одного того факта, что они состояли въ общежитіи,—не добираясь до сокровенной вины. Воздѣйствіе общества на преступниковъ заключается и въ порицаніи ихъ поступковъ общественнымъ мнѣніемъ, и въ мѣрахъ предупрежденія, и въ гражданскихъ взысканіяхъ. На самомъ краю этой системы стоятъ мѣры уголовнаго укрощенія и изъятія изъ общежитія особей наиболѣе опасныхъ. Критеріумъ при опредѣленіи степени наказуемости не вина, а только la temibilita del delinquente,—выраженіе, изобрѣтенное Гарофало и усвоенное школою; оно выражаетъ *боязнь, внушаемую субъектомъ*, зависящую отъ важности посягательствъ на благо лица или общества съ объективной его стороны и отъ вѣроятности повторенія. При этомъ критеріумѣ преступленія дѣлятся на: 1) легкія, совершаемыя непривычными къ преступленію людьми (мѣры исправительныя); 2) средней важности преступленія, но совершаемыя непривычными людьми (кары, способныя отбить охоту и у другихъ то же дѣлать); 3) преступленія либо легкія, либо среднія, но совершаемыя людьми, занимающимися ими какъ ремесломъ, профессіонально (мѣры, клонящіяся къ тому, чтобы сдѣлять повтореніе мало-вѣроятнымъ); наконецъ, 4) выходящія изъ ряда злодѣянія (мѣры, пресѣкающія всякую возможность повторенія).

По *второй* изъ своихъ первоосновъ, Ферри слѣдуетъ почти по пятамъ Ломброзо, придерживаясь притомъ его первоначальнаго объясненія, по которому преступникъ прежде всего не психопатъ, а дикарь. По мнѣнію Ферри, преступникъ есть представитель первобытныхъ дикарей, у которыхъ нравственныя идеи и чувства существуютъ лишь въ зачаткахъ. Дѣленіе преступниковъ по системѣ Ферри замѣчательно тѣмъ, что оно было принято въ

1885 г. антропологическимъ конгрессомъ въ Римѣ и состоитъ изъ слѣдующихъ классовъ: 1) преступники-сумасшедшіе; 2) неисправимые или прирожденные; 3) привычные, дѣйствующіе по ремеслу (увеличивающійся грозный корпусъ рецидивистовъ); 4) преступники по страстному аффекту или импетики по темпераменту; 5) наконецъ, преступники случайные, вовлеченные въ преступленіе вліяніями среды или внѣшними связями. Опасныхъ сумасшедшихъ нельзя отпускать безъ осужденія; они должны быть помѣщены безсрочно или до выздоровленія въ такъ-называемыя manicomia или арестантскія больницы для помѣшанныхъ. Въ судѣ должны засѣдать въ числѣ судей и эксперты изъ психіатровъ. Къ сумасшедшимъ должны быть относимы и mattoïdi, одержимые нравственнымъ сумасшествіемъ. Настоящая расправа съ прирожденными и неисправимыми преступниками была бы смертная казнь, но не такая, какая существуетъ нынѣ въ видѣ пугала для воробьевъ, всего по нѣсколько головъ въ годъ. На одну Италію полезно было бы казнить въ годъ до 1.500 человѣкъ. Такъ какъ смертная казнь дѣлается невозможною по состоянію нравовъ, то лучше упразднить ее, но завести для неисправимыхъ заключеніе навсегда, со ссылкою куда-нибудь подальше, съ употребленіемъ на полевыя работы въ болотахъ, въ мѣстахъ, гдѣ свирѣпствуетъ malaria, съ прибавкою для строптивыхъ тѣлеснаго наказанія, приспособленнаго къ нашему вѣку, не въ видѣ розогъ, но въ видѣ окачиваній холодною водою или электрическихъ разряженій, боль причиняющихъ, но безъ слѣдовъ. Для привычныхъ преступниковъ мѣньшаго калибра—воровъ, хищниковъ, заключеніе должно быть продолжительное, увеличивающееся по числу рецидивовъ до зачисленія въ неисправимые, то есть до безсрочнаго заключенія. Относительно случайныхъ преступниковъ желательно поменьше тюремнаго ареста, побольше взысканія убытковъ, для молодыхъ—школа, для взрослыхъ—ирландскій способъ срочныхъ условныхъ отпусковъ.

Тюрьма не должна быть комфортабельна, работы въ ней безусловно обязательны по началу: chi non lavora non mangia. Если преступники по страстному порыву не психопаты, то, сверхъ вознагражденія убытковъ, они должны быть подвергаемы особому заключенію срочному, не подлежащему сокращенію посредствомъ досрочнаго отпуска.

Что касается до *третьей* первоосновы Ферри, а именно, слабаго вліянія уголовныхъ каръ на преступность вообще, то предметъ этотъ находится въ ближайшей связи съ вопросомъ о *факторахъ* преступности, которыхъ Ферри насчитываетъ три рода: 1) *антропологическіе*, присущіе лицу преступника; 2) *физическіе*, состоящіе изъ совокупности условій окружающей преступника среды; 3) *общественные*, къ которымъ относятся нравы, религія, производительность и экономическое устройство, администрація, судъ, законодательство. Съузивъ область общественныхъ факторовъ, Ферри неправильно отнесъ въ антропологическіе — гражданское состояніе, занятіе и степень образованія лица. Факторы физическіе одинаково вліяютъ на всѣ классы преступниковъ; антропологическіе — преобладаютъ въ классахъ сумасшедшихъ, прирожденныхъ и импетиковъ; соціальные — въ классѣ случайныхъ преступниковъ. Факторы физическіе и антропологическіе состоятъ внѣ власти законодателя, дѣйствуютъ по извѣстному ритму; результатами ихъ являются изъ ряда вонъ выходящія крупныя злодѣянія, численно почти одинаковыя изъ года въ годъ. Зато страшная подвижность господствуетъ въ меньшихъ преступленіяхъ противъ лицъ, противъ общественной организаціи и въ особенности противъ имуществъ. Цифры колеблются, будучи въ постоянной зависимости отъ мѣняющихся условій общественной среды по неизмѣнному, усматриваемому Ферри, закону *уголовнаго насыщенія*. Подобно тому какъ по началамъ химіи при извѣстной температурѣ распускается въ водѣ только извѣстное количество соли или иного подобнаго веще-

ства, а остальное пребываатъ въ видѣ нерастворенаго осадка, но слѣдуетъ только повысить температуру, и способность воды насыщенія ея солью тотчасъ увеличивается, — такъ точно и при кризисахъ финансовыхъ, земледѣльческихъ, политическихъ, насыщаемость уголовная вдругъ ростетъ, число преступленій, а слѣдовательно, и осужденій за наказанія увеличивается, причемъ, однако, возникаетъ вопросъ: способствуютъ ли эти наказанія хотя бы только къ заторможенію надлежащимъ образомъ усиливающейся склонности къ преступленіямъ. Тутъ Ферри большой скептикъ. Въ обществѣ есть высшіе интеллигентные классы, которые могли бы обходиться и безъ каръ, по одной унаслѣдованной привычкѣ честно дѣйствовать. Есть затѣмъ подонки общества, люди необразованные и нечестные, всецѣло преданные звѣрской борьбѣ за существованіе. На этотъ классъ, доставляющій наибольшее число преступниковъ, наказанія не дѣйствуютъ. Наконецъ, есть колеблющіеся, умѣренно-честные, на которыхъ угроза наказанія дѣйствуетъ въ смыслѣ психологическаго мотива, употребляемаго когда всѣ другія лекарства оказались недѣйствительными. Здѣсь въ помощь уголовному праву является выстроенная Ферри заманчивая система замѣстителей наказанія, такъ-называемыхъ sostitutivi penali — свободная мѣна, свобода выселенія, податная реформа, избирательная реформа, либеральное управленіе и такъ дальше, словомъ, рай земной, воображаемый идеальный общественный порядокъ, какимъ только можетъ его себѣ представить современный прогрессистъ,— программа на нѣсколько сотъ лѣтъ впередъ, которая не можетъ не измѣняться радикально прежде, нежели будутъ еще осуществлены самыя коренныя изъ ея предначертаній.

Послѣ всего сказаннаго мною о книгѣ Ферри, я могу довольствоваться немногими словами, посвященными третьему представителю итальянской школы, вице-президенту трибунала въ Неаполѣ — Гарофало и его

криминологіи (1885 г., 2-е изданіе во французскомъ переводѣ 1890 г.). Онъ изобрѣлъ указанный уже мною критеріумъ наказуемости — la temibilita del delinquente. Его дѣленіе не-случайныхъ преступниковъ на три разряда: смертоубійцъ, насилователей и воровъ, одобрено въ 1889 г. антропологическимъ конгрессомъ въ Парижѣ. Оно основано на понятіи Гарофало о преступленіяхъ *естественныхъ*, заключающемся въ томъ, что если изъ преступности выдѣлить преступленія религіозныя, политическія и такія, которыя только по положительному закону квалифицированы преступными, то всѣ остальныя сводятся къ отсутствію въ дѣятелѣ либо одного, либо обоихъ коренныхъ альтруистическихъ чувствъ: чувства состраданія или чувства честности. Гарофало— утонченный логикъ, озабоченный проведеніемъ идей школы въ законодательство и въ практику. Онъ порицаетъ нынѣшнее уголовное право за то, что наказанія утратили свой элиминативный характеръ; они допускаютъ преслѣдованіе по частному обвиненію, уголовную давность и помилованіе, пользуются судомъ присяжныхъ и избираютъ типическимъ наказаніемъ заточеніе въ тюрьмѣ въ размѣрѣ, опредѣленномъ напередъ.

На долю не Гарофало, а Ферри досталась нелегкая задача — защищать идеи новой школы въ итальянскомъ парламентѣ при преніяхъ о новомъ кодексѣ, утвержденномъ 1-го декабря 1889 г. и введенномъ въ дѣйствіе съ 1-го января 1890 г. Ферри произнесъ рѣчь безъ увлеченія, зная, что она не найдетъ въ сеймовомъ собраніи поддержки, — до того преобладаютъ въ немъ еще идеи классиковъ-беккаріанцевъ. Позитивисты никогда не разсчитывали на ближайшіе успѣхи. Еще на антропологическомъ конгрессѣ въ Римѣ, въ ноябрѣ 1885 г., по предложенію Молешотта, они приняли слѣдующее заключеніе: «признавая, что только достаточно созрѣвшія идеи могутъ проникнуть въ практическую жизнь и осуществиться однимъ дѣйствіемъ собственныхъ силъ, конгрессъ выражаетъ желаніе, чтобы будущія законо-

дательства въ ихъ прогрессивной эволюціи сообразовались съ началами уголовной антропологіи».

Хотя итальянскій уголовный кодексъ, задуманный еще въ 1875 г. при Манчини и осуществленный только нынѣ при Занарделли, пошелъ по иному пути, нежели тотъ, какой предлагали позитивисты, но и въ немъ имѣются кой какіе слѣды позитивизма, на которые я долженъ указать. Кодексъ весьма сжатъ (498 статей); онъ исключилъ изъ употребительнаго трехъ-членнаго дѣленія уголовныхъ правонарушеній — на crimes, délits et contraventions — первый членъ, то-есть преступленія, crimes, и усвоилъ себѣ только *проступки* и *нарушенія*. Смертная казнь въ немъ отмѣнена; ее замѣняетъ ergastolo, вѣчная каторга съ одиночнымъ заключеніемъ въ первыя 7 лѣтъ и съ работами потомъ въ общихъ помѣщеніяхъ, но съ обязательнымъ молчаніемъ (§ 12). При наличности смягчающихъ вину обстоятельствъ, вмѣсто ergastolo полагается reclusione на 30 лѣтъ. Срочное заключеніе въ двухъ видахъ, reclusione и detentione, длится до 24 лѣтъ, первое съ одиночнымъ заключеніемъ, но оба съ обязательными работами. Невмѣняемость существуетъ для дитяти до 9 лѣтъ, съ 9 до 14 лѣтъ ставится вопросъ о разумѣніи, и во всякомъ случаѣ до 21 г. наказаніе смягчается (§§ 53—56). Въ § 45 сказано: никто не можетъ быть наказанъ за проступокъ, если онъ не желалъ дѣйствія, составляющаго проступокъ, за исключеніемъ случаевъ, когда законъ распорядился иначе, отнеся дѣйствіе на счетъ обвиняемаго, какъ послѣдствіе его дѣянія или его упущенія. По § 46 ненаказуемо лицо, которое въ моментъ совершенія факта находилось въ состояніи слабоумія, способнаго лишить его сознанія или *свободы* его дѣйствій. Слѣдующія затѣмъ слова этого же § даютъ нѣкоторое удовлетвореніе позитивистамъ относительно ихъ manicomia для сумасшедшихъ: однако, если судья сочтетъ опаснымъ освобожденіе обвиняемаго, объявленнаго состоящимъ въ состояніи невмѣняемости, то онъ распорядится о

передачѣ такового подлежащей власти для поступленія съ нимъ по закону. Въ § 47 положено громадное пониженіе наказанія для признававшагося уже и прежде итальянцами, но не допускаемаго другими законодателями состоянія полупомѣшательства, то-есть «для лицъ которыхъ умственное состояніе таково, что могло значительно уменьшить отвѣтственность, не исключая её однако».

Итальянскіе позитивисты не признаютъ своимъ дѣтищемъ новый кодексъ. Побѣда для нихъ только впереди; но возникаетъ вопросъ: достанется ли она имъ и въ будущемъ? Вносятъ ли они въ уголовное дѣло новыя идеи, вѣрныя основанія, настоящія истины? Для разрѣшенія этого вопроса необходимо произвести критическую оцѣнку коронныхъ основаній новой школы.

Ея краеугольный камень — преступникъ, какъ разновидность рода человѣческаго — есть мечта воображенія, несуществующій предметъ. Можно ли признать существованіе вида, когда его признаки оказываются только у 40% особей, относимыхъ къ этому виду; и притомъ признаковъ этихъ весьма много и они составляютъ характеристику только тогда, когда совмѣщаются въ лицѣ въ весьма большомъ числѣ. Эти признаки столь часты и у несудившихся людей, что надо были прибѣгнуть къ гипнотезѣ *скрытнаго преступника* (delinquente latentе), который не имѣлъ еще случая заявить свое предрасположеніе къ преступленію. Не только всѣ признаки вида спорны, но даже и объясненіе, даваемое школою происхожденію и непрекращающемуся комплектованію вида, оказывается весьма сомнительнымъ и даже фантастическимъ. Не доказано, что изначала, въ до-историческія времена, нормальнымъ типомъ былъ человѣкъ-преступникъ, разучившійся только злодѣйствовать подъ вліяніемъ цивилизаціи. Данныя исторіи, восходящія до отдаленнѣйшихъ временъ, обнаруживаютъ признаки доброты, мягкости и простоты семейной жизни у племенъ пребывающихъ въ до-государственномъ со-

стояніи. Потомъ, вслѣдствіе роковой необходимости защищаться, воевать, наступило одичаніе, которое навсегда было регрессомъ къ первичной старинѣ. Общество можетъ одичать, взятое въ цѣлой своей совокупности, — могутъ вырождаться и портиться отдѣльныя особи также и вслѣдствіе *подбора наоборотъ*, о которомъ говорилъ Гарофало, то-есть полового совокупленія лицъ хилыхъ и слабыхъ, и вслѣдствіе того, что эти особи оказались шаткими, не устояли противъ искушеній, превратились въ нечистоплотныхъ животныхъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что между уродами нравственными, которые таковыми уже родились, и уродами которые таковыми сдѣлались, есть поразительныя общія черты сходства, такъ что можно изъ этихъ признаковъ составить общій типъ *острожный* и *уголовный*, но онъ не разновидность рода человѣческаго, а только доказательство, что пребываніе въ извѣстной средѣ, напримѣръ, въ острогѣ, или даже занятіе преступленіемъ, какъ ремесломъ, налагаютъ на человѣка извѣстную печать. Въ «Запискахъ изъ Мертваго Дома», воспроизводимыхъ въ главныхъ чертахъ почти всѣми итальянцами антропологами-криминалистами, Достоевскій изобразилъ наблюденный имъ типъ острожниковъ сибирскихъ. Независимо отъ тюремнаго отпечатка, занятіе однимъ трудомъ, усиленное упражненіе однихъ органовъ и слабое развитіе другихъ, неработающихъ—дѣлаютъ то, что по одной наружности мы можемъ опознать военнаго, священника, учителя или кузнеца. И занятія избираютъ себѣ люди наиболѣе подходящія къ ихъ сложенію. Привычки у людей бываютъ мускульныя и нервныя, которыя легко подмѣтить. Вслѣдствіе скрещиванія и смѣшенія народа въ громадныхъ государствахъ расовые типы стушевываются, но зато тѣмъ сильнѣе обрисовываются профессіональные, въ числѣ которыхъ видное мѣсто занимаетъ уголовный типъ или въ особенности типъ закоренѣлаго и неисправимаго рецидивиста. Это и есть единственный типъ преступный, уловимый съ

внѣшней стороны. Классъ преступниковъ-сумасшедшихъ основанъ на логическомъ противорѣчіи: кто сумасшедшій, тотъ не преступникъ, хотя бы даже его и держали въ заключеніи. Вѣроятно, наука значительно расширитъ въ будущемъ кругъ лицъ психически больныхъ, находящихся въ состояніи невмѣняемости, такъ что въ этотъ кругъ войдутъ и многіе прирожденные преступники, насколько они своей преступности не сознавали. Преступниковъ по страстному порыву немного (около 5%); если страсть помутила сознаніе, то она можетъ быть разсматриваема какъ моментальное сумашествіе. Остальные два подраздѣленія преступниковъ: случайные и привычные — едвали могутъ быть разграничены, потому что всякій привычный преступникъ началъ съ того, что былъ преступникомъ по случаю, пока наклонность къ преступленію, вслѣдствіе повторенія, не сдѣлалась для него привычкою.

Итальянская школа слишкомъ долго и усидчиво занималась только зоологіею, антропометріею, подробностями тѣлосложенія, такъ что ей не хватило времени на психологическія наблюденія, а соціологія хотя и входила въ ея намѣренія, но осталась ей на дѣлѣ чужда. Еслибы вмѣсто того, чтобы ограничиваться изученіемъ съ небывалою до сихъ поръ подробностью—атавизма, эпилепсіи, алкоголизма, вліянія временъ года и проч., позитивисты занялись столь же прилежно взвѣшиваніемъ соціальныхъ факторовъ: религіи, богатства, образовъ правленія, свойствъ переживаемаго историческаго момента,—то оказалось бы, что многое изъ относимаго на счетъ природы должно бы было быть поставлено на счетъ обществу и его плохому устройству. При такой перестановкѣ вопроса произошелъ бы неизбѣжно расколъ въ лагерѣ позитивистовъ по поводу соціальныхъ факторовъ, которыхъ до сихъ поръ они не разбирали. Въ этомъ лагерѣ естественники, занимающіеся уголовнымъ правомъ, какъ наукою описательною, перессорились бы съ соціалистами, своего рода метафизиками, которые,

доискиваясь первопричинъ зла и не обрѣтая ихъ въ свободной волѣ, влекутъ на судбище само общество, и разрушаютъ его мысленно съ тѣмъ, чтобы потомъ за́ново его отстроить. Мы уже коснулись этихъ соціалистическихъ утопій въ sostitutivi penali у Ферри. Какъ бы не были велики и всесторонни усовершенствованія законодательныя, они устранятъ только одни поводы къ тому, чтобы грѣшить и преступать законъ, но не превратятъ людей въ добрыхъ и честныхъ, не уменьшатъ числа такъ-называемыхъ «скрытныхъ преступниковъ». Законы и учрежденія—это только оболочка и кора общества, а сердцевина, отъ которой именно все и зависитъ, это—тѣ культурно-выращенныя чувства человѣколюбія и честности, которыхъ недостатокъ, по ученію Гарофало, служитъ показателемъ естественной преступности дѣятеля. Когда эти чувства перестаютъ быть живучими,—одна шлифовка и оттачиваніе внѣшнихъ формъ быта весьма мало поможетъ.

При критической оцѣнкѣ коренныхъ началъ позитивной школы итальянской мельчаетъ и постепенно ступе́вывается то безусловно *роковое*, на которомъ она построена. Роковое въ природѣ—*атавизмъ*—растаяло и изъ психическаго уродства превратилось въ предрасположеніе. Роковое *соціологическое* — отвѣтственность за дѣйствія человѣка одной среды и законовъ общежитія—есть предположеніе весьма сомнительное, рискованная теорія. Остается роковое въ *мотивахъ воли*, тотъ детерминизмъ, отрицающій всякую нравственную отвѣтственность и видоизмѣняющій—юридическую. Къ разбору его я и долженъ приступить.

Такимъ образомъ, оказывается, что итальянская школа не дала положительныхъ результатовъ, однако отрицательные ея результаты значительны. Она обнаружила полную несостоятельность и безрезультатность нынѣшней системы наказаній, легкомысленную торопливость, съ которою разбираютъ на судѣ по эмоціямъ, а не на основаніи научныхъ пріемовъ—не самого чело-

вѣка, а искуственно отдѣленное отъ его личности его дѣяніе, послѣ чего судимый человѣкъ для юстиціи исчезаетъ, и о дальнѣйшихъ его судьбахъ она перестаетъ заботиться. Такова несомнѣнная польза, которую принесла эта школа.

II.

Вопросъ о свободѣ воли.—Законы подражательности Тарда.

Итальянская положительная школа антропологовъ-криминалистовъ беретъ за исходную точку ученіе, распространившееся особенно сильно съ пятидесятыхъ годовъ нашего столѣтія, о несвободѣ воли, какъ вслѣдствіе подчиненія этой воли всеобщему закону причинности, такъ и вслѣдствіе того, что дѣйствію предшествуетъ рѣшимость, рѣшимость же не мыслима безъ мотивовъ, а мотивы эти дѣйствуютъ роковымъ образомъ и непреодолимо. Если нѣтъ свободы воли, то нѣтъ вины и нѣтъ отвѣтственности, ни нравственной, ни юридической, и нѣтъ наказанія за вину, а только самозащита общества отъ нарушителей его законовъ. Не вхожу пока въ разборъ правильности такого вывода изъ посылокъ; замѣчу только, что есть много детерминистовъ или «нецессаріанцевъ», которые, отрицая свободу воли, признаютъ за обществомъ право создавать противодѣйствующіе преступленію психическіе мотивы, то-есть грозить наказаніемъ, а затѣмъ, для поддержанія дѣйствительности этой угрозы и наказывать. Я только констатирую, что мы стали теперь передъ вопросомъ о свободѣ воли, который необходимо либо разрѣшить, либо какимъ бы то ни было образомъ обойти.

Вопросъ глубокъ и безбреженъ какъ море. Сначала онъ явился въ богословской формѣ предопредѣленія къ добру дѣйствіемъ божеской благодати (у св. Августина). Св. Ѳома Аквинатъ допускалъ ограниченную свободу

воли у человѣка. Лютеръ возвратился къ предопредѣленію по идеѣ Св. Августина. Потомъ, когда «служанка богословія», философія, освободилась, ей достался на рѣшеніе головоломный вопросъ. Она не обладала данными естествознанія, методами точнаго наблюденія явленій, въ мірѣ происходящихъ, имѣла въ своемъ распоряженіи только скудный запасъ наблюденій, доставляемыхъ внутреннимъ опытомъ, самосознаніемъ, и воспроизводила мысленно вселенную по этимъ даннымъ психологіи при помощи воображенія. Она была притомъ полу-религіозная, склонялась къ тому, чтобы созерцать вселенную съ точки зрѣнія абсолюта, какъ Бога-природу Спинозы, какъ саморазвившуюся идею Гегеля, какъ міровую волю Шопенгауера,—либо въ наиболѣе узкомъ смыслѣ раціоналистическая, сводящая всю психическую дѣятельность къ уму, анализирующему явленія, и не подозрѣвающая, что сознаваемой дѣятельности ума предшествуютъ сложные процессы чисто-психическаго свойства въ безсознательномъ. То были еще продолжающіеся средніе вѣка. На границѣ ихъ и нашей современности, ознаменованной небывалими успѣхами естествознанія, у самаго входа въ нашу эпоху, сталъ геніальнѣйшій изъ геніальныхъ философъ Иммануилъ Кантъ, родоначальникъ новой философіи, которая движется сообщеннымъ имъ толчкомъ ей, поминутно къ нему возвращаясь, несмотря на недостаточность и незаконченность открытыхъ имъ положеній. Кантъ опредѣлилъ непереступаемыя границы нашему опытному знанію, которое имѣетъ дѣло только съ относительнымъ и феноменальнымъ и скользитъ по улавливаемой впечатлѣніемъ поверхности бытія, между тѣмъ какъ существо вещей, какимъ онѣ есть сами въ себѣ, и ихъ причинность для ума безусловно недоступны. Кантъ сразу подсѣкъ трансцендентную метафизику прошедшаго, населявшую міръ если не живыми человѣкообразными существами, то фантастическими отвлеченностями въ родѣ субстанцій, силы, способностей,

причинъ. Оказалось, что условные знаки изображаютъ невѣдомую подкладку извѣстныхъ серій явленій. Кантъ и есть основатель новѣйшаго агностицизма, то-есть того непознаваемаго, которое составляетъ темный фонъ нашего мышленія. Затѣмъ въ области волевой, практической, Кантъ рѣшительно отдѣляется отъ сенсуалистовъ, отъ людей, выводящихъ мораль изъ эгоизма, изъ прирожденнаго стремленія къ удовольствію, къ счастію, и заключающихъ изъ того, какъ дѣйствуетъ человѣкъ, о томъ, какъ ему слѣдуетъ дѣйствовать. Руководящими для воли началами Кантъ ставитъ сверхчувственную, наблюденію не подлежащую, душѣ, какъ «ноумену», то-есть вещи самой въ себѣ, присущую и непосредственно созерцаемую идею долга. Эта суровая, строгая, независимая отъ чувственности апріорическая мораль является въ видѣ *категорическаго императива*, то-есть прямого велѣнія.

Не буду подвергать критикѣ это ученіе Канта, философски неудовлетворительное, вслѣдствіе того, что оно совсѣмъ мистическое; я указываю только на главные этапы философіи. Такимъ этапомъ послѣ Канта былъ позитивизмъ Огюста Конта, выбросившій за бортъ, вслѣдъ за богословіемъ, и всю метафизику, и задумавшій строить безъ нея настоящую науку. Умъ долженъ отказаться отъ погони за первоосновами, первопричинами и конечными цѣлями бытія; онъ долженъ ограничиться изученіемъ однихъ постоянныхъ отношеній между вещами, основанныхъ на сходствѣ и послѣдовательности явленій, то-есть открытіемъ законовъ жизни. Но и позитивизмъ кончается,—онъ былъ переходнымъ фазисомъ въ развитіи философіи. Метафизика воскресла,—не прежняя, но преобразованная; она признается законнорожденнымъ дѣтищемъ ума, необходимымъ дополненіемъ положительнаго знанія, имѣющимъ свои особыя задачи.

Единственнымъ орудіемъ знанія служитъ опытъ, либо внутренній надъ своею душою, либо внѣшній.

Матеріяломъ служатъ явленія, наблюдаемыя чувствами. Пріемы, необходимые для успѣховъ знанія, суть съ одной стороны спеціализація наблюденій, съ другой—перенесеніе, по аналогіи, выведенныхъ изъ наблюденій законовъ изъ однѣхъ спеціальныхъ областей знанія на другія. Никакая спеціальная наука не въ состояніи дать окончательнаго обобщенія всѣхъ знаній. Каждая выражаетъ своими положеніями, точно алгебраическими условными знаками, извѣстный уголокъ, частицу цѣлаго. Знаки эти передаютъ понятія якобы извѣстныя, а между тѣмъ весьма мало извѣстныя и неопредѣленныя; нѣкоторыя изъ этихъ понятій суть концентрированныя наблюденія а нѣкоторыя можетъ быть формы нашего мышленія. Эти данныя, каковы теперь: сила, пространство, число, время и тому подобныя, предполагаются сопровождающими всякое движеніе и потому не поясняются. Умъ нашъ способенъ сдѣлать предметомъ изслѣдованія эти высшія отвлеченія, отдѣленныя отъ своего базиса, подвергнуть ихъ критикѣ для точнаго опредѣленія ихъ содержанія (теорія познанія, гноѳологія) и завершить знаніе куполомъ, построить міросозерцаніе, воспроизводящее въ субъективномъ, правда, образѣ всю вселенную, всю природу, всю міровую жизнь согласно состоянію въ тотъ моментъ положительныхъ наукъ. Этотъ отраженный образъ вселенной можетъ и не претендовать на воспроизведеніе ея — точное; вселенная въ этомъ образѣ окрашена въ цвѣтъ личнаго темперамента созерцателя; она—вселенная въ томъ только видѣ, въ какомъ ее мыслитъ, чувствуетъ и желаетъ имѣть созерцатель. По выраженію Фулье (Avenir de la métaphysique. 1889) она есть матафизика *имманентная*, въ предѣлахъ настоящаго бытія, въ противоположеніи бывшей въ ходу въ прежнія времена — трансцендентной. Она не поэзія идеала, какъ ее себѣ представляли Ланге и Ренанъ, потому что не изобрѣтаетъ небывальщинъ, фикцій, а доискивается настоящаго смысла жизни, хотя и сознаетъ, что не можетъ его вполнѣ раскрыть. Метафизика опирается, ко-

нечно, на результатахъ положительныхъ наукъ, но она состоитъ главнымъ образомъ изъ сужденій ипотетическихъ, то-есть, по данным опыта частичнаго растягиваемыхъ и обобщаемыхъ; она весь міръ пытается представить въ видѣ цѣлаго, приведеннаго къ одному началу. Нѣтъ науки, могущей обойтись безъ ипотезъ. Многіе дошли до результатовъ только потому, что смѣло ставили ипотезы, потомъ блистательно оправдавшіяся. Ипотеза есть сильнѣйшее оружіе въ борьбѣ съ непознаваемымъ и даже съ незнаемымъ; часто случалось что непознаваемое оказывалось только незнаемымъ и даже неизвѣстнымъ. Въ этой борьбѣ знанія метафизика была и есть передовой застрѣльщикъ. Ея участіе въ области морали незамѣнимо ничѣмъ, такъ какъ этика есть наука насквозь метафизическая, ставящая неразрѣшимыя посредствомъ прямаго наблюденія задачи и не дающая никакихъ рѣшеній, кромѣ ипотетическихъ, а слѣдовательно, не окончательныхъ,—объ удовольствіи, счастіи, добрѣ, идеалѣ дѣйствія, долгѣ, свободѣ воли. Не приступая къ рѣшенію послѣдняго изъ этихъ вопросовъ, я долженъ нѣсколькими чертами обозначить нынѣшній его фазисъ съ тою цѣлью, чтобы опредѣлить, склоняются ли нынѣ мнѣнія къ тому рѣшенію, которое ему давали детерминисты и въ томъ числѣ итальянскіе антропологи-позитивисты.

Прежде всего я долженъ устранить всѣ ученія о свободѣ воли трансцендентной, о волѣ человѣка, предполагаемой, міровой. Съ 1887 г. по 1889 г., вопросъ о свободѣ воли разбирался въ московскомъ Психологическомъ обществѣ, отдѣльные рефераты изданы въ особой книжкѣ 1889 г. «О свободѣ воли». Въ одномъ изъ рефератовъ профессоръ Н. Гротъ говоритъ: «воля личности есть обособившійся элементъ всеединой вселенской воли» (92). Я становлюсь на точку зрѣнія одного изъ московскихъ референтовъ, врача Кирсанова, и предполагаю волю только тамъ, гдѣ есть душа, слѣдовательно въ человѣкѣ. Начну съ того, что уму чело-

вѣка присуще понятіе причинности—плодъ внутренняго наблюденія, обобщеннаго въ законъ, распространенное потомъ на весь міръ, хотя внѣ своего сознанія человѣкъ не наблюдалъ его и найти бы не могъ. «Хочу что-нибудь сдѣлать» (дѣйствіе потенціальное); «дѣйствую» (возможность, превратившаяся въ актъ); «я сдѣлалъ и узнаю себя въ произведеніи». Этотъ психологическій опытъ надъ самосознаніемъ; перенесенный во внѣшнюю природу, является у дикаря въ грубой формѣ антропоморфизма и фетишизма: весь міръ по его понятіямъ населенъ богами, духами, живыми существами, прихотливыми и своенравными. Съ ходомъ развитія законъ причинности преображается и пріобрѣтаетъ колоссальное значеніе. Весь міръ упорядоченъ, нѣтъ случайныхъ явленій, все сущее превращено въ густую сѣтку причинъ и слѣдствій, и явилась возможность предусматривать будущее,—чего бы не могло быть, если нельзя было по предшествующему и обусловливающему предвидѣть наступленіе неизбѣжно за нимъ слѣдующаго обусловливаемаго. Эта новая причинность есть только подобіе первоначальной психологической; она чисто *механическая*. Каждое послѣдующее сводится къ своему непосредственно предшествовавшему, какъ къ своему основанію, это послѣднее—къ своему предъидущему и такъ далѣе до невѣдомаго перваго. Въ математикѣ и механикѣ дѣлаются попытки изгнать само метафизическое представленіе причинности, предполагающее связь, подобную рождаемости, между предъидущимъ и послѣдующимъ, и превратить ее въ простыя метаморфозы движенія, при сохраненіи той же энергіи или силы. Съ помощью закона причинности на механической подкладкѣ естествознаніе сдѣлало громадные успѣхи,—сдѣлало потомъ вторженіе въ міръ самосознанія, изобрѣло опытную физіологію и психофизику, обнаружило корни и зачатки всѣхъ сознательныхъ процессовъ души въ безсознательномъ, чѣмъ довело до великой степени правдоподобія предположеніе о тождествѣ параллельно

совершающихся процессовъ: физическаго—въ нервахъ, и психологическаго—въ душѣ, не превращающихся однако никогда одинъ въ другой. Тогда неизбѣжно должна была произойти попытка завоевать и подчинить естествознанію единственную оставшуюся независимою отъ него область дѣяній человѣческихъ, то-есть морали, водворить и въ ней законъ механической причинности, уже господствующій въ естествознаніи, замѣнивъ этою механическою причинностью другую непосредственную, психологическую, удостовѣряемую внутреннимъ чувствомъ. Можетъ кто-либо воображать себя свободно самоопредѣляющимся въ своихъ дѣйствіяхъ, но его увѣрятъ въ самообольщеніи, въ томъ, что онъ дѣйствуетъ по такой же необходимости, съ какою камень падаетъ и вода течетъ. Этотъ выводъ дѣлается при помощи слѣдующихъ соображеній.

Всякое дѣйствіе человѣка есть, выражаясь языкомъ физіологіи, рефлекторный актъ. Всякое сознательное дѣйствіе или дѣяніе представляется сознанію какъ особаго рода психическій волевой процессъ, сопровождающій и осложняющій процессъ въ нервахъ. Та перемѣна, которую человѣкъ произвелъ дѣяніемъ въ мірѣ внѣшнемъ (послѣдствія дѣянія), скована съ дѣяніемъ по закону простой физической причинности; но само движеніе въ мірѣ внѣшнемъ было только однимъ изъ звеньевъ психологическаго процесса; ему предшествовало хотѣніе, консолидировавшееся до степени рѣшенія. Какъ только состоялась рѣшимость — осуществлявшее его движеніе стало явленіемъ необходимымъ и роковымъ. Но самой рѣшимости неизбѣжно предшествовало представленіе въ умѣ о послѣдствіяхъ дѣянія, какъ о цѣлевой или конечной причинѣ (causa finalis), ради которой движеніе совершилось. Отъ другихъ присущихъ сознанію представленій это представленіе отличается тѣмъ, что другія воспроизводятъ мысленно отношенія вещей, какія есть, а оно — творческое, съ новою группировкою условій возможности будущаго, становяща-

гося предметомъ *воли* и *рѣшимости*. Это представленіе, цѣлевое, или *телеологическое*, давъ толчокъ волевому движенію, стало двигателемъ или *мотивомъ* дѣйствія. Образованіе такихъ цѣлевыхъ представленій можетъ быть и непроизвольное (по внезапному вдохновенію), но обусловленное мотивомъ волевое явленіе всегда сопровождается усиліемъ, расходомъ энергіи. Самъ толчекъ кажется намъ исходящимъ отъ нашей же воли, то-есть отъ нашего *я*, а потому спрашивается: не былъ ли онъ необходимъ, какъ все, что̀ въ природѣ происходитъ? Тутъ-то и ставилось поборниками вольной воли произвольное и нелѣпое представленіе о волѣ, какъ о способности выбирать одно изъ противоположныхъ направленій, рѣшаться по произволу, то-есть по неосмысленному случаю, на одно или противное ему другое, подбирая по прихоти тотъ или другой мотивъ. Такъ-называемая *свобода безразличія* есть небывальщина, пустая отвлеченность, которую можно измыслить, но не наблюдать, и которая получится только тогда, когда мы волю возьмемъ какъ нѣчто формальное и вычтемъ, такъ сказать; изъ нея все ея содержаніе, то-есть когда она уже не будетъ воля, а нуль или ничто (хотѣніе, чтобы ничего не хотѣть). Мотивъ не избирается нами, но самъ навязывается намъ и заполоняетъ нашу волю съ бо̀льшею или мѐньшею силою, такъ что онъ бываетъ не только импульсивнымъ, то-есть толкающимъ насъ на дѣйствіе, но иногда, по выраженію Канта, и категорически императивнымъ, то-есть непреодолимымъ, и превозмогаетъ всякіе другіе мотивы, какіе только мыслимы. Если мотивъ непроизволенъ, если въ душѣ происходитъ между идейными представленіями-мотивами борьба за существованіе, — причемъ имѣющійся въ наличности сильнѣйшій всегда побѣдитъ и увлечетъ человѣка, — то какое же мѣсто можетъ быть отведено въ первой части рефлекторнаго процесса такъ-называемой свободѣ воли? Если обратнымъ ходомъ будемъ восходить къ первопричинамъ дѣйствій, то натолкнемся

на два антецедента, устраняющіе свободу воли: во-первыхъ, на сложившійся характеръ лица, на совокупность привычекъ откликаться почти автоматически на внѣшнія раздраженія, впечатлѣнія, а затѣмъ на то самое нервное раздраженіе или возбужденіе, съ котораго рефлекторный актъ начался. Такимъ образомъ, воля есть специфическое ощущеніе, сопровождающее заключительную двигательную часть рефлекторнаго акта. Сама она дѣйствій не опредѣляетъ; дѣйствія эти запечатлѣны характеромъ необходимости; автономія воли есть чистый призракъ, представленіе, лишенное всякой реальности.

Этотъ выводъ одностороненъ и ошибоченъ, потому что смѣшиваетъ феноменальную физическую причинность съ психологическою причинностью идей-мотивовъ, созерцаемыхъ непосредственно внутреннимъ чувствомъ. Если мы станемъ изучать дѣяніе какъ рефлекторный актъ, то уже въ началѣ его, въ воспріятіи ощущенія найдемъ, что пресѣкается возможность связать по закону причинности внѣшній толчокъ съ тѣми послѣдствіями, которыя онъ можетъ произвести въ душѣ. Внѣшній міръ не входитъ ни въ малѣйшей долѣ внутрь насъ, въ ощущенія, а происходитъ только въ доходящемъ до мозга вибрированіи нервовъ реакція внутренней энергіи мозговыхъ клѣтокъ. Эти вибраціи ощущаются душою какъ символически только воспроизводящія свойства и отношенія міра внѣшняго. Самъ рефлексъ необычайно сложенъ; чувственное раздраженіе не всегда тотчасъ переходитъ въ волевое; иногда задержка его длится мѣсяцы и годы, такъ что отъ этихъ задержаній въ центральной части рефлекторнаго снаряда происходитъ большое накопленіе свободной энергіи. Иногда сильный даже толчокъ безслѣдно поглощается центромъ, а иногда и малый достаточенъ для разрѣженія накопившейся энергіи сильнымъ взрывомъ. Самъ резервуаръ энергіи колоссаленъ; это настоящій microcosmus, совокупность идей, чувствованій, воспоминаній даннаго лица, въ скрытомъ состояніи въ немъ пребы-

вающихъ, но отъ всякаго толчка могущихъ проявиться и вихремъ пронестись. Внѣшній толчокъ, то-есть предъидущее, не можетъ быть разсматриваемъ какъ достаточное основаніе послѣдующаго, то-есть разряженія накопившейся энергіи; подобно тому невозможно доказать не только то, что вливающіяся въ Черное море воды Днѣпра, Дуная и другихъ рѣкъ суть причина того морского теченія, несущаго воды Чернаго моря чрезъ Босфоръ и Дарданеллы въ Средиземное море, но еще большее, а именно, что только изъ однѣхъ рѣчныхъ водъ, вливающихся въ Черное море, образуется морское теченіе чрезъ проливъ. Прибавка припасенной энергіи къ движенію, вызванному слабымъ стимуломъ, ощущается какъ несвязанная по необходимости съ этимъ стимуломъ и какъ автономія самосознанія, проявляющаяся въ волевомъ дѣйствіи.

Точно такимъ же образомъ падаетъ и другой доводъ феноменальной необходимости, заключающійся въ сложившемся постоянствѣ характера дѣйствующаго лица. Конечно, всякая человѣческая особь со всѣми унаслѣдованными физическими свойствами и психическими предрасположеніями, подъ вліяніемъ среды, въ теченіе долгаго опыта жизни пріобрѣтаетъ навыкъ откликаться извѣстнымъ образомъ, почти автоматически, на возбужденія извнѣ, такъ что, зная эти привычки, мы съ нѣкоторою вѣроятностью можемъ предугадывать, какъ это лицо въ данномъ случаѣ и положеніи поступитъ. Нельзя отрицать причинности этихъ привычекъ, зависимости отъ нихъ всякихъ психическихъ процессовъ мышленія, чувствованія и воли. Онѣ подобны рельсамъ, по которымъ совершаются жизненныя психическія отправленія съ неимовѣрною быстротою; но, *во-первыхъ*, онѣ были сначала волевые рефлексы, пока не сдѣлались автоматическими—значитъ, характеръ есть окончательный результатъ нѣсколькихъ факторовъ, въ числѣ которыхъ имѣется и настроеніе воли самого лица; притомъ, *во-вторыхъ*, онѣ составляютъ одинъ, не дѣлящійся

на части, нравственный обликъ лица. Сказать, что дѣйствія человѣка зависятъ отъ его характера, а не отъ случайно присущаго въ его сознаніи въ данный моментъ мотива, приведеннаго въ дѣйствіе по ассоціаціи идей, значитъ опять пресѣчь феноменальную причинную связь предъидущаго съ послѣдующимъ, потому что коль скоро мы заговорили о характерѣ, то мы вступили въ отдѣльный бассейнъ моря умственности извѣстнаго лица. Въ этой области конкретнаго характера нельзя различить, что́ свободно и что́ необходимо; обусловливающее не имѣетъ вовсе рокового характера непреложной необходимости; детерминизмъ и свобода сливаются и существуютъ, не враждуя между собою. Въ этой области конкретнаго человѣческаго характера на первомъ планѣ стоитъ объединяющее и все къ себѣ, какъ къ центру, притягивающее самосознаніе, то-есть человѣческое *я*, автономное, въ себѣ усматривающее живую, а не механическую причину расточаемой по всѣмъ направленіямъ энергіи. Детерминисты, объясняющіе проявленія мотивовъ простою ассоціаціею идей, не отводятъ никакого мѣста элементу самосознанія; они его смѣшиваютъ съ сознаніемъ. Сознанія не лишенъ и сумасшедшій; даже и мотивы дѣйствія не чужды ни сумасшедшему, ни дѣйствовавшему по гипнозу человѣку, который хотя явно дѣйствовалъ по чужой, внушенной ему волѣ, но придумываетъ ложные мотивы для объясненія самому себѣ—непонятныхъ безъ такихъ мотивовъ—своихъ же поступковъ. Коренная ошибка психологовъ, изучающихъ явленія воли по методамъ естествознанія, заключается въ томъ, что они наблюдаемое въ сознаніи внутреннимъ чувствомъ искажаютъ, переиначиваютъ и представляютъ себѣ въ видѣ совсѣмъ превратномъ, не соотвѣтствующемъ дѣйствительности. Процессъ самосознанія, взаимныхъ превращеній, хотѣній, идей, эмоціи и движеній воли разлагается мысленно аналитически на состоянія души, располагаемыя вереницами въ видѣ явленій предъидущихъ и послѣдующихъ, обусловли-

вающихъ и обусловливаемыхъ, по логическому закону причинности. Всѣ эти мысленно отдѣляемыя одни отъ другихъ состоянія сознанія получаютъ видъ самостоятельныхъ особей, точно тѣла небесныя, тяготѣющія одни къ другимъ во времени и въ пространствѣ. То *я* самосознанія, которое ихъ проникало и одушевляло, превращается въ чисто формальную связь, въ тонкую ниточку, на которую всѣ они нанизаны. Психическій микрокосмосъ, разсматриваемый чрезъ такое стекло, является чѣмъ-то безжизненнымъ, чистѣйшимъ механизмомъ, движущимся какъ заведенные часы. Этотъ взглядъ съ замѣчательною ясностью изложенъ у Бергсона въ книжкѣ: Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris, 1889, въ которой авторъ представляетъ именно возможность созерцать себя какъ вещь—совершенно внѣшнюю, неодушевленную.

Въ заключеніе нашихъ соображеній о причинности замѣчу, что одно и то же слово: причина — прикрываетъ иногда совершенно различные предметы. Еще Аристотель различалъ четыре рода причинъ: *матеріальную, формальную, дѣятельную* (causa efficiens) и цѣлевую или *конечную* (causa finalis). Допустимъ, что строится домъ. Вещественную причину составляетъ матеріалъ, дерево или камень, изъ котораго онъ выстроенъ; формальную — самая идея произведенія: домъ, а не иное сооруженіе; дѣятельная причина заключается въ лицѣ создателя, который былъ предпринимателемъ постройки; наконецъ, конечная — въ цѣли и назначеніи постройки, напримѣръ, для жилья. Нынѣ два первые рода причинъ вышли изъ употребленія; подъ словомъ: причина — разумѣются данныя, обусловившія происшедшую перемѣну въ порядкѣ вещей или отношеній. Два послѣдніе рода причинъ сохранили свое значеніе; они отвѣчаютъ на два разные вопроса: отчего и зачѣмъ?— Совершено убійство. Отчего оно произошло? Оттого, что Х., рѣшившись совершить его, взялъ ружье, прицѣлился въ М., выстрѣлилъ, и пуля попала въ цѣль.—

Зачѣмъ оно совершено? — затѣмъ, чтобы отмстить М. или ограбить его. Первымъ отвѣтомъ опредѣлялась causa efficiens, вторымъ — causa finalis. Волевые мотивы принадлежатъ всецѣло къ разряду конечныхъ или цѣлевыхъ. Наша воля участвуетъ лишь въ малой долѣ въ мышленіи; результаты мышленія, то-есть сочетанія идей въ умѣ, въ значительной степени непроизвольны: въ числѣ ихъ есть и настоящія предвосхищенія будущаго, то-есть предвидѣнія послѣдующаго, еслибы явились предъидущія въ образѣ цѣлесообразно дѣйствующаго лица; безчисленныя этого рода предвидѣнія мелькаютъ въ сознаніи и, западая въ него, хранятся въ памяти въ скрытомъ состояніи, пока которое-нибудь изъ нихъ не обратилось въ активную силу, въ волю. Здѣсь-то и возгарается споръ между индетерминистами и детерминистами. Одни говорятъ: лицо выбрало мотивъ дѣйствія по произволу; другіе говорятъ: оно было увлечено къ дѣйствію мотивомъ. Свобода, — говорятъ одни, разумѣя безсодержательный произволъ, — это нелѣпо. Другіе говорятъ: неволя, что́ тоже невѣрно, потому что идея-мотивъ, прежде чѣмъ заполонила волю, не могла не вызвать по ассоціаціи всѣ родственные ей противоположные мотивы. Зависимость отъ всѣхъ мыслимыхъ идей-мотивовъ въ совокупности есть уже свобода, точно такъ какъ и въ обществѣ свобода отдѣльнаго лица заключается не въ томъ, чтобы онъ ни отъ кого не зависѣлъ, но чтобы онъ отъ всѣхъ въ совокупности зависѣлъ по нормѣ закона. Въ большинствѣ случаевъ даже неуловимъ внѣшній толчокъ, начинающій волевое движеніе, такъ что *я* является единственно сознаваемою самопричиною послѣдствій дѣянія, потому что предвидѣніе послѣдствій дѣянія уже существовало въ немъ до начала волевого акта и усвоено имъ, когда это идейное будущее стало его добровольнымъ хотѣніемъ, то-есть хотѣніемъ какъ своего добра; наконецъ, потому что въ содѣянномъ оно можетъ не признать себя, какъ механическую его причину. Такимъ образомъ, можно пріі-

искать логически сколько же доводовъ за, сколько и противъ идеи свободы воли; они подобны стеклу одинаковой толщины, выпуклому на одной, вогнутому на другой его поверхности. Главный камень преткновенія въ этомъ вопросѣ — тотъ, что если мы пойдемъ слишкомъ рѣзко противъ метода естественныхъ наукъ, выразившагося въ ученіи детерминистовъ, то мы разойдемся съ истиною, потому что во многихъ отношеніяхъ дѣятельность нашего *я* въ волевыхъ актахъ далеко не свободна, — на что и постараюсь указать.

То *я* самосознанія, которое, дѣйствуя цѣлесообразно, объясняетъ себѣ свои дѣйствія и несетъ за нихъ и нравственную, и юридическую отвѣтственность,—есть понятіе крайне сложное и по содержанію своему по крайней мѣрѣ двойственное. Долго психологія вращалась только въ области сознаваемаго; нынѣ она изучаетъ глубокіе корни сознаваемыхъ процессовъ въ несознаваемомъ, въ физическихъ основахъ организма; она превратилась въ психофизику. Сознаваемое превратилось въ залитую солнцемъ горную вершину, между тѣмъ какъ среднія части горы въ полутѣни, а подножіе въ полномъ мракѣ. Если при свѣтѣ этого различія станемъ изучать наше *я*, то оно окажется двойное. Чаще всего, когда мы о немъ помышляемъ, оно есть *я* психологическое, разумное, самоуправляющее и дѣйствующее только цѣлесообразно по конечнымъ причинамъ. Это и есть *я*, которое Бергсонъ называетъ наружнымъ. Оно *я* идеальное, воображаемое, какимъ оно должно быть; когда же оно таковымъ не бываетъ, то мы страдаемъ, испытывая такъ-называемые укоры совѣсти. Но есть еще другое *я*—реальное, назовемъ его психофизическимъ: это—ветхій человѣкъ, котораго нельзя съ себя совлечь, *я* глубокое и темное. Новѣйшая психологія допускаетъ существованіе въ одномъ и томъ же субъектѣ нѣсколькихъ такихъ зачаточныхъ сознаній, децентрализацію личности на нѣсколько разныхъ *я*. Источники сознанія бываютъ всегда мутные: кровь, раса, физическіе и даже психическіе недостатки пред-

ковъ, необъяснимыя эмоціи и взрывы чувства, слѣпые импульсы, съ которыми не легко совладать, и для осмысленія коихъ мы выдумываемъ post factum небывалые мотивы, оказывающіеся только предлогами, броженіе враждующихъ элементовъ, неясныя, похожія на бредъ промежуточныя состоянія, вторгающіяся въ область сознательнаго, разстроивающія наши постановленія и заставляющія насъ дѣйствовать нецѣлесообразно, то-есть неразумно. Эти бури и потрясенія, влекущія за собою сходъ съ рельсовъ волевой самоопредѣляемости, отличаются тѣмъ именно, что они безмотивны; они—практическіе примѣры индетерминизма, психической безпричинности, но именно потому-то они уничтожаютъ или ослабляютъ отвѣтственность, какъ дѣянія лица, находившагося въ состояніи невмѣняемости.

Итакъ, споръ о свободѣ воли допускаетъ одинаковую возможность противоположныхъ рѣшеній,—споръ, вытекающій изъ недоразумѣнія, который надо предоставить метафизикѣ. Чурающіеся всякой метафизики, итальянскіе криминалисты напрасно надъ нимъ засиживались, напрасно вносили безусловное отрицаніе свободы воли въ свое уголовное право. Праздность этого отрицанія подмѣтилъ еще въ началѣ семидесятыхъ годовъ (1872) Альфредъ Фулье (La libertè et le dèterminisme), основавшій свою теорію свободы воли на томъ, что еслибы и было установлено, что она—самообольщеніе, то люди не могутъ однако не дѣйствовать подъ впечатлѣніемъ этого самообольщенія и по предположенію, что они свободны; а всякая идея есть, по мнѣнію Фулье, *идея-сила,* т.-е. содержитъ въ себѣ развивающійся зачатокъ осуществляющагося движенія. Пуритане, янсенисты, были сильнѣйшими противниками свободы воли. Чистѣйшій кантіанецъ Леви-Брюль (1884. L'idée de la responsabilité), глубоко убѣжденный въ существованіи и свободы воли, и нравственной отвѣтственности, но въ существованіи недоступномъ познанію *), разграничилъ отвѣтственность

*) Croyant au dévoir nous croirons aussi à la possibilité de la réalité

нравственную и уголовную, признаетъ существованіе первой изъ нихъ, но лишенной всякой санкціи, такъ какъ таковою не могутъ быть укоры совѣсти—случайные и притупляющіеся отъ повторенія, и ограничилъ вторую только механическимъ воздѣйствіемъ государства, лишеннымъ нравственнаго элемента, слѣдовательно, разрѣшилъ уголовный вопросъ совершенно такъ, какъ итальянцы. Съ другой стороны, прямой детерминистъ, Н. С. Таганцевъ (Курсъ общей части угол. права, 33), раздѣляющій убѣжденія итальянцевъ о полной несвободѣ воли, убѣжденный въ томъ, что охватывающій вселенную законъ міровой причинности царитъ въ жизни человѣка и общества,—не затрудняется признать вмѣненіе и уголовную отвѣтственность, какъ признаютъ ее криминалисты-классики, потому что всѣ поступки людей подчинены закону достаточной причины, а слѣдовательно, хотя при извѣстной суммѣ причинъ и условій дѣйствіе человѣка неизбѣжно, но самые факторы, вызывающіе это дѣйствіе, несомнѣнно подлежатъ измѣненію, ихъ можетъ измѣнять и само общество; въ числѣ ихъ имѣется наказаніе.

Итакъ, вопросъ объ отвѣтственности стоитъ прочно даже и при отрицаніи свободы воли. Это приводитъ насъ къ теоріи отвѣтственности по новымъ сочиненіямъ, появившимся уже послѣ трудовъ итальянскихъ антропологовъ. Между ними я особенно отличаю сочиненіе Ж. Тарда о философіи уголовнаго права. Тардъ—археологъ, экономистъ и криминалистъ-соціологъ. Онъ былъ судебнымъ слѣдователемъ во Франціи, много лѣтъ сотрудничалъ въ издаваемомъ Рибо журналѣ «Revue philosophique», участвовалъ въ антропологическомъ конгрессѣ въ Римѣ въ 1885 г., издалъ въ 1886 г. прекрасный этюдъ: La criminalité comparée, а въ 1890 г.—два капитальныя, тѣсно связанныя одно съ другимъ, произведенія:

---

du libre arbitre et de la responsabilité morale... Nous n'essayerons pas de les prouver ni de les démontrer, puisque les conditions del'intelligibilité pour nous y opposent un obstacle invincible.

Les lois de l'imitation и La philosophie pénale. Остановлюсь я пока только на первомъ изъ нихъ.

Тардъ имѣетъ то преимущество передъ классиками, —напримѣръ, передъ нѣмецкими криминалистами,—что онъ учился, можно сказать, у итальянцевъ, работалъ съ итальянцами въ одной лабораторіи. Ломброзо призналъ печатно, что критика у Тарда его труда Uomo delinquente есть самая ловкая и самая глубокая изъ всѣхъ появившихся въ печати. Тардъ тоже, какъ и итальянцы, детерминистъ, но онъ не фаталистъ. Для него не существенно, свободна ли воля человѣка или несвободна, а существенно то, существуютъ ли особи или онѣ—воплощенія отвлеченностей, какъ единственныхъ реальностей, —старый споръ между номиналистами и реалистами, восходящій къ XII вѣку. Посредствомъ отвлеченія можно себѣ представить вселенную въ образѣ проявляющихся однообразными и, такъ сказать, прямолинейными движеніями стихійныхъ силъ, производящихъ каждый разъ совершенно одинаковыя повторенія одного и того же, причемъ произволъ отнесенъ только въ міровую волю; онъ существуетъ въ первопричинѣ сущаго, устроившей вселенную. Но можно созерцать вселенную и съ другого конца. Прямолинейное движеніе—такая же небывальщина, какъ математическая точка или линія. Нѣтъ въ живыхъ организмахъ, начиная съ растенія, такихъ, которые бы жили только повторяясь. Каждая особь имѣетъ хотя бы крошечное своеобразіе и вибрируетъ не такъ, какъ другія. Эта элементарная подфеноменальная произвольность несомнѣнно воздѣйствуетъ и на деспотизмъ регламента, и на законъ, предопредѣляющій явленіе. Эту свободу произвола Тардъ допускаетъ, но онъ ею надѣляетъ всѣ живущія органическія существа.

Другая, еще болѣе крупная особенность Тарда заключается въ томъ, что онъ не по имени только, а и въ дѣйствительности *соціологъ*. Извѣстна позитивистическая классификація наукъ, основанная на постепенно увеличивающейся сложности міровыхъ явленій

и на уменьшающейся всеобщности, господствующей въ каждой спеціальной области жизни законовъ. Есть міръ физическій, управляемый законами физики, химіи, механики; господствующее здѣсь явленіе волнообразное вибрированіе атомовъ, молекулъ всякаго тѣла. Есть, затѣмъ, міръ органическихъ веществъ, съ законами біологическими, распространяющимися и на человѣка (антропологія). Свойственное этой области бытія повторительное движеніе есть наслѣдственность, — воспроизведеніе особями другихъ особей, созданныхъ по тому же типу. Есть, наконецъ, міръ общественный, въ которомъ господствуетъ особая форма движенія — подражательность, спорадическая или эпидемическая, медленно видоизмѣняемая нововведеніями — геніальными изобрѣтеніями ума человѣческаго, новыми сочетаніями уже существующихъ вѣрованій, желаній, обрядовъ, формъ и учрежденій. Бывъ повторены подражательно милліоны разъ милліонами людей, эти изобрѣтенія могутъ видоизмѣнить обликъ народа и человѣчества. Всѣ подражанія сводятся въ сущности къ двумъ только статьямъ: вѣрованія или желанія, иными словами: идеи и потребности, соотвѣтствующія тому, что въ физикѣ изображаютъ матерія и сила, а въ біологіи — органы и функціи, или статика и динамика. Когда выяснится значеніе подражательности, какъ главнаго фактора исторіи, то вся исторія сведена будетъ къ слѣдующимъ явленіямъ: 1) появленіе на дальнихъ разстояніяхъ и съ громадными промежутками времени нововведеній, геніальныхъ идей, новыхъ сознанныхъ потребностей; 2) ихъ интерференцій или скрещиваній, причемъ они или нейтрализуютъ, или страшно потенцируютъ, дѣйствуя — вѣра на вѣру, стремленіе на стремленіе, вѣра на стремленіе или стремленіе на вѣру; 3) ихъ подражательное размноженіе, если оно можетъ совершаться безпрепятственно, — и оно можетъ быть наблюдаемо посредствомъ двухъ наукъ, посвященныхъ исторіи культуры: археологіи и статистики. Повторенія нововведеній не представ-

ляютъ ничего загадочнаго, но нововведеніе бываетъ всегда внезапно, нечаянно и совершается въ силу того, что́ называется у сочинителей вдохновеніемъ. Новый взглядъ на исторію повлечетъ за собою и новое пониманіе человѣческаго общества. Оно было опредѣляемо донынѣ либо экономически, какъ совокупность людей, соединенныхъ взаимностью услугъ, либо юридически, какъ совокупность людей, обязательно подчиненныхъ господствующей надъ ними власти. Исторически, юридическое опредѣленіе ближе къ дѣйствительности. Насиліе было первороднымъ грѣхомъ всѣхъ вновь образующихся обществъ, и только со временемъ механически сплоченные атомы ассимилировались подражательно (par une imitation contagieuse), и такимъ образомъ организовались. Всѣ полубоги начинающихся цивилизацій были деспоты, люди властные и жестокіе, но пользующіеся необыкновеннымъ престижемъ; ихъ не только боялись, но ихъ любили и имъ подражали бо́льшею частью безсознательно. Мыслить и чувствовать самостоятельно труднѣе, нежели мыслить и чувствовать по чужому внушенію. Жизнь общественная вездѣ имѣетъ видъ коллективнаго гипноза. Общество вообще есть союзъ людей извѣстнымъ образомъ подражающихъ. Быть общительнымъ человѣкомъ значитъ попадать сразу въ тонъ каждой общественной среды, подражать другимъ особямъ той же среды и по идеямъ, и по эмоціямъ, и по наружному виду. Своеобразенъ и геніаленъ только тотъ человѣкъ, который имѣетъ рѣдкую способность уединяться.

Во всѣхъ великихъ областяхъ бытія—религіи, морали, искуствѣ—людей толкаютъ впередъ ихъ потребности, ихъ желанія, а стремятся люди—къ спокойствію вѣрованій и твердыхъ убѣжденій. Совершенствуется организація цѣлаго, но настолько же слабѣютъ страстные порывы желаній, такъ что конечная цѣль культуры заключается въ томъ, чтобы съ наименьшею тратою силъ и энергіи

осуществить наибольшее количество добра *). Культура есть единеніе, наиболѣе глубокое и обширное въ общемъ идеалѣ,—будь это иллюзія, и что всего важнѣе—состоитъ въ общемъ стремленіи къ осуществленію этого идеала, которое отъ одного своего безконечнаго повторенія изъ импульсивнаго мотива превращается въ категорическій императивъ, въ долгъ совѣсти, въ нѣчто такое, что одержимый этимъ мотивомъ человѣкъ исполняетъ какъ не свою а высшую волю (morale heteronome). Эта высшая воля и есть мораль общественная. Такое общественное происхожденіе морали изображено Тардомъ весьма сильно и убѣдительно. Возьмемъ дикаря; онъ разсуждаетъ такимъ образомъ: хочу убить врага (первая посылка—цѣль); могу его убить отравленною стрѣлою (вторая посылка—средство); я долженъ его убить (выводъ). Этотъ силлогизмъ вытекаетъ изъ личнаго мотива причины конечной, но его можно построить и на неличномъ мотивѣ, напримѣръ: государь или жрецъ приказалъ; благо колѣна или слава и господство Аѳинъ или Рима того требуютъ; самъ Богъ велитъ. Тогда эта большая посылка становится страшно авторитетна, безусловно императивна; отъ частаго повторенія логическія предпосылки вывода отпадаютъ, требованіе становится абсолютнымъ, безапеляціоннымъ, божескимъ, но вся причина конечная такого дѣянія заключается только въ цѣли, достигаемой общими силами, безъ всякаго предварительнаго соглашенія, по одной только заразительности подражательнаго увлеченія. Такимъ образомъ, по теоріи Тарда къ двумъ силамъ, которымъ подчиняется воля по ученію детерминистовъ—внѣшнее раздраженіе и окостенѣлость характера,—присовокупляется третье, можетъ быть еще болѣе крупное: стадное чувство,

*) Le véritable et final objet du désir, c'est la croyance; la seule raison d'être des mouvements du coeur, c'est la formation des hautes certitudes. Plus une société a progressé, plus on trouve en elle des convictions fortes et des passions mortes.

подражательность, непреодолимое влеченіе къ тому, чтобы дѣлать то же, что дѣлаютъ другіе.

Эволюція подражательности имѣетъ свои фазисы. Первый ея фазисъ—подражательность патріархальная, обычай, обожаніе стариннаго, колѣнопреклоненіе предъ стариною. Nihil mihi antiquius est,—говорилъ Цицеронъ (древнѣе для меня ничего нѣтъ, вмѣсто того, чтобы сказать: дороже для меня ничего нѣтъ). Наступаетъ, однако, время, когда надъ подражаніемъ старинѣ береть верхъ подражаніе иностранному. Обычай изгоняется модою, распространяющеюся тоже подражательно (tout nouveau—tout beau). Послѣ этого второго фазиса наступаетъ обыкновенно третій: образованіе изъ разнообразныхъ элементовъ—своихъ собственныхъ и усвоенныхъ иностранныхъ — своеобразной національной цивилизаціи, послѣ чего идутъ опять фазисы обычая и моды, и такъ далѣе до безконечности.

Изъ этого краткаго очерка усматривается, насколько сочиненіе Тарда о законахъ подражательности богато содержаніемъ для соціологіи вообще и въ особенности для уголовнаго права. Преступность распространяется въ обществѣ преимущественно подъ вліяніемъ присущей человѣку склонности его къ подражанію, но и сдерживать можно эту подражательность примѣрными наказаніями или острасткою.

III.

Уголовная теорія Тарда.—Отвѣтственность, невмѣняемость, преступники, преступленіе.

По мнѣнію Тарда, уголовная теорія котораго подлежитъ теперь разбору—настоящій вѣкъ для уголовнаго права и его науки есть именно тотъ золотой вѣкъ, который мы теперь переживаемъ,—вѣкъ уменьшившейся преступности и значительнаго смягченія нравовъ, а не вѣкъ варварства и не вѣкъ законченной, устоявшейся

и успокоившейся въ тихомъ и едва замѣтномъ движеніи цивилизаціи. Въ періодѣ варварства немыслима сама идея карательнаго права, и существуетъ одна обязанность карать жестоко и внушительно, чтобы установить какой-либо матеріальный порядокъ и искоренить разбойничество, свирѣпствующее и въ одиночку, и въ особенности шайками. Когда прекратился разливъ преступности и она вошла уже въ свое русло, наполняя его по края и только изрѣдка и моментально выступая изъ своихъ береговъ, тогда она становится самымъ удобнымъ предметомъ для изслѣдованій и для опытовъ. Станетъ опять усиливаться преступность—тогда и общество займется укрощеніемъ ея, кое-что измѣнитъ въ наказаніяхъ, умножитъ и упорядочитъ тюрьмы и совладаетъ, въ концѣ концовъ, съ преступностью. Вся трудность задачи нынѣ не въ приращеніи преступности, а въ томъ, что она совпадаетъ съ кризисомъ въ морали. Мораль измѣняется, модернизируется, старые ея устои:—такъ Богъ велѣлъ, того отечество требуетъ, того отъ меня требуетъ долгъ совѣсти — расшатаны. Вѣру замѣнилъ еще въ XVIII столѣтіи разумъ; для образованнаго человѣка вездѣ, гдѣ онъ ни поселится, можетъ быть отечество; соціализмъ давно проповѣдуетъ бытіе безъ отечества. Наконецъ, долгъ совѣсти или категорическій императивъ становится остаткомъ миѳологіи и проваливается со всѣми апріористическими идеями, исчезающими какъ призраки предъ философіею эволюціи. Идеалисты высокаго полета, въ родѣ Гюйо, пытались выстроить мораль sans obligation ni sanction, но эта затѣя не удалась. Утилитарная англійская мораль не удовлетворяетъ никого. Эволюціонная мораль Герберта Спенсера, заложенная, по словамъ Тарда, въ видѣ пирамиды, вышла чѣмъ-то въ родѣ наклонной башни въ Пизѣ и въ концѣ концовъ нынѣ рушится;—печальнѣе же всего то, что подъ знаменемъ научнаго детерминизма ученые принялись дружно и съ разныхъ сторонъ подрывать и принижать человѣческое «я», приводить его къ нулю,

отнимать у него энергію дѣйствія, увѣренность въ самомъ существованіи опредѣляющейся къ дѣйствію воли и объявлять это «я» несостоятельнымъ передъ лицомъ природы, или передъ лицомъ общества или государствъ, и передъ роковыми, управляющими тою или другою громадою, законами. Тардъ сознаетъ необходимость укрѣпить это «я», низводимое на одну степень съ явленіями физической природы. Тардъ соглашается съ детерминистами, что суть вопроса заключается въ причинности, примѣняемой къ дѣйствіямъ человѣка, но онъ полагаетъ, что вопросъ дурно поставленъ. Причина дѣйствія не есть вольная воля личности, пустой пузырь безъ содержанія, а сама личность съ ея воспоминаніями въ одной — и желаніями и надеждами съ другой стороны. Споръ не о томъ, есть ли у этого *я* вольная доля, то-есть можетъ ли оно не-хотя хотѣть, но есть ли само это *я* нѣчто *реальное*, тождественно ли оно само съ собою въ различные моменты своего существованія, въ прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ, *я*, которое и вспоминаетъ, и рѣшаетъ, въ которомъ сплавляются всевозможныя состоянія души, не выдѣлимыя изъ него въ дѣйствительности и только искуственно изъ него вырѣзываемыя, когда мы принимаемся его анатомировать, *я* — непрерывное, котораго начало въ прошедшемъ и конецъ въ будущемъ — для него неизвѣстны, но которое—пока существуетъ преобразуясь—увѣрено, что оно то же самое, которое существовало и будетъ существовать до и послѣ этихъ преобразованій. «Тождество или постоянство лицъ,—говоритъ Тардъ,—это—личность, разсматриваемая какъ нѣчто длящееся, совокупность состояній сознанія и полусознанія (subconscience), внѣшняго и внутренняго чувствъ, влеченій и похотей».

Тождественностью личности въ разные моменты ея существованія объясняется причинность дѣйствій, но не объясняется отвѣтственность за эти дѣйствія, для вывода которой Тардъ прибѣгаетъ къ понятію общитель-

ности человѣка, основанной на однообразномъ вибрированіи людей, сложившихся въ общество, и на необходимо устанавливающейся заразительной подражательности другъ другу, вслѣдствіе которой всѣ люди — солидарныя частицы и органы высшаго собирательнаго цѣлаго, у нихъ есть общая коллективная душа, коллективное недѣлимое «я», налагающее на каждую особь свою печать. Только при установленіи факта существованія этой собирательной личности высшаго порядка рождается возможность оцѣнивать событія внѣшнія и съ точки зрѣнія личной, и съ точки зрѣнія общественной, вырабатывать понятія добра и зла, идею *долга*, въ высшей степени соціальную и даже, можно сказать, исключительно соціальную, и установить отвѣтственность. Собирательное «я» представляетъ завершеніе цѣлаго процесса объединенія, интеграціи, сплоченія отдѣльныхъ частицъ въ одно живое цѣлое. Первообразъ и корень такой интеграціи представляетъ собою нашъ организмъ физическій, упорядоченный составъ тканей, клѣтокъ, органовъ, снабженныхъ нѣкоторымъ самочувствіемъ и согласованныхъ въ служеніи однихъ другимъ, въ поддерживаніи себя взаимно и въ питаніи,—такъ сказать, пожертвовавшихъ собою, чтобы существовать только въ цѣломъ. Не буду останавливаться на этомъ тезисѣ, блистательно развитомъ у Эспинаса (Des colonies animales, 1877 г.). Отмѣчу только, что, опираясь на идею Эспинаса, Тардъ пускаетъ ядовитую стрѣлу въ Дарвинизмъ: «невѣрно то, якобы борьба за жизнь, коренная вражда существъ и ихъ элементовъ—составляли первое и основное начало вселенной. Она была и можетъ быть только одною изъ таковыхъ первоосновъ. Первая заключается въ сочетаніи жизни рода, въ солидарности частицъ внутри всякаго бытія, которое представляется воюющихъ только съ внѣшней стороны». Что касается до порядка послѣдовательности въ этой серіи различаемыхъ степеней самосознанія, то первую степень образуетъ *я психофизическое*, конкретное, самое настоящее,

и его милліоны ощущеній безъ названія и безъ очертаній, переливающихся одно въ другое, какъ тоны въ музыкѣ, безконечное множество душевныхъ состояній, проникающихся взаимно и себя окрашивающихъ, множество неизъяснимыхъ и самимъ намъ непонятныхъ порывовъ, увлекающихъ насъ и заставляющихъ совершать то, чего и въ умѣ никогда не было. Затѣмъ другое «я», которое Бергсонъ называетъ наружнымъ (superficiel), есть то «я», которое мы прежде назвали *психологическимъ*. Оно, такъ сказать, отчеканено для общежитія, приспособлено къ требованіямъ общежитія, *соціологическое*, по теоріи Тарда, разумное или по крайней мѣрѣ резонирующее. Оно слагается такимъ образомъ, что, относясь аналитически къ явленіямъ жизни души, мы ее мысленно разсѣкаемъ на душевныя состоянія, раскладываемъ ихъ въ пространствѣ, давая имъ условныя клички, и обращаемъ ихъ въ готовый матеріалъ для логическихъ выводовъ. Совокупность этихъ искуственныхъ препаратовъ, наслоенныхъ въ сознаніи, образуетъ наружную нашу личность, состоящую изъ данныхъ сознанія, уже до извѣстной степени обезличенныхъ, расположенныхъ по извѣстной ассоціаціи идей и упорядоченныхъ въ одно извѣстное міросозерцаніе. Вслѣдствіе фиксированія въ нашей памяти извѣстныхъ идей, чувствъ и ощущеній, одинаковыя внѣшнія раздраженія вызываютъ въ насъ одинаковыя реакціи, будутъ ли то сознательныя или безсознательныя, которыя очень похожи на автоматизмъ, на простые рефлексы. Вторженіе нашего «я», конкретнаго или психофизическаго, въ ходъ жизни, въ которой распорядителемъ сдѣлалось второе «я», психологическое, разумное или по крайней мѣрѣ резонирующее,—становится рѣже и рѣже и случается только въ минуты либо подъема надъ уровнемъ обыденнаго, либо бунта противъ общепринятаго условнаго. Но съ другой стороны общежитіе только и сдѣлалось возможнымъ вслѣдствіе того, что второе «я», наружное, выдвинулось на первый планъ, что всѣ люди стали

обмѣниваться символами воображаемыхъ вещей—словами, что они стали другъ другу сочувствовать, обмѣниваясь знаками, изображающими настоящія чувствованія, общепринятыми ихъ выраженіями. Всякое общество есть связь не между лицами, какъ организмами, но между лицами, какъ *личностями*, которыя соприкасаются другъ съ другомъ только наружными сторонами, только поверхностями, носящими одинаковые отпечатки общей чеканки однимъ и тѣмъ же штемпелемъ—колѣна, города, націи, отечества. Въ далекомъ прошедшемъ отпечатокъ былъ сильнѣе, глубже, и существовала такая соціальная солидарность частицъ, о которой мы нынѣ едва можемъ составить себѣ надлежащее понятіе, такъ какъ современный типъ государства есть многомилліонный агломератъ, въ которомъ слиты и перемѣшаны экземпляры разныхъ расъ, съ унаслѣдованными отъ предковъ чертами, и разныхъ общественныхъ обстановокъ, которыя ихъ окружали; всѣ мы, современники, въ большей или меньшей степени — космополиты. Но надо брать общежитіе въ его первичныхъ формахъ, въ малыхъ кружкахъ, одушевленныхъ тѣмъ, что Гумпловичъ (Der Rassenkampf, 1883) называетъ singenismus, то-есть, альтруистическое братское чувство только въ предѣлахъ своего стада, своего кружка, внѣ коего—одни враги, одна ненависть и война. Въ тѣ дальнія времена человѣческая личность не цѣнилась и не признавалась, а существовала только собирательная. Зло сдѣлалъ иородецъ, иноплеменникъ; виновато было и отвѣчало все колѣно, весь городъ — коллективно; ихъ не судили, съ ними только воевали. Настоящая личная отвѣтственность и настоящая—не война, а кара обрѣталась только внутри малаго кружка, въ предѣлахъ той другъ другу подражательности въ вѣрованіяхъ и пожеланіяхъ, которая связывала во-едино малый кружокъ. Вслѣдствіе—не войны съ внѣшними врагами, а сожительства и братства въ одной средѣ, человѣкъ пріучился различать общія, согласованныя удовольствія, пріобрѣтаемыя не на счетъ

чужихъ страданій, и общія страданія всей среды, любить и ненавидѣть сообща по логикѣ соціальной, откликаться дружно на общее добро и зло, имѣть общія и общественныя вѣрованія и влеченія. Снаровка согласоваться въ вѣрованіяхъ и желаніяхъ ведетъ съ одной стороны къ тому, что верхъ берутъ желанія согласованныя и общія, превращающіяся вслѣдствіе этой общности въ обязанности общественныя (начало идеи добра); съ другой же стороны, никакія желанія не должны переходить за извѣстныя границы, за которыми они сталкивались бы съ одинаково вѣскими и уважительными желаніями другихъ лицъ (начало идеи справедливости). Идеалъ преуспѣвающаго общества, по мнѣнію Тарда,—это сильныя схожія убѣжденія и слабыя несхожія самолюбія, большіе порывы на общее дѣло и малыя стремленія къ личнымъ, частнымъ пользованіямъ. Представимъ себѣ среди такого общества особь, дѣйствующую вопреки всѣмъ кореннымъ убѣжденіямъ общества и стремящуюся къ удовлетворенію своихъ разнузданныхъ страстей въ ущербъ узаконеннымъ наслажденіямъ другихъ своихъ соотчичей. «Il se desassimile et il s'aliéne», — говоритъ Тардъ; онъ дѣлается несхожимъ и отчуждается, онъ хуже врага, онъ бунтовщикъ, а можетъ быть, и предатель. Во всякомъ случаѣ онъ осквернилъ свое гнѣздо и терпимъ быть не можетъ не только по утилитарнымъ, а и по нравственнымъ соображеніямъ, по причинѣ негодованія, которое онъ возбуждаетъ какъ свой человѣкъ: «измите злого отъ васъ самихъ»—таковъ мотивъ, «повторяющійся безконечное число разъ во Второзаконіи. Эта коллективная реакція поражаетъ тою же коллективностью всю группу, въ которой состоитъ осквернитель, его семью, и жену, и дѣтей, и домочадцевъ. Въ сравнительно позднее время уже довольно долго эволюціонировавшей уголовщины мерцаетъ сознаніе, выраженное въ XXIV, 16, Второзаконія: «да не умрутъ отцы за сыны и сынове да не умрутъ за отцы, кійждо за свой грѣхъ да умретъ». Законодательство цивили-

зуется, но античныя возрѣнія на общность наказанія продолжаютъ еще жить въ простонародіи. По свидѣтельству Ферри, еще недавно одинъ простолюдинъ-итальянецъ закололъ солдата потому только, что онъ былъ оскорбленъ также солдатомъ.

Мнѣ кажется, что Тардъ правильно установилъ коренное различіе между войною и наказаніемъ. Война есть повальное истребленіе всего и всѣхъ (Второзаконіе, III, 6, 7: «и потребихомъ вся грады въ купѣ, и жены ихъ, и чада, и вся скоты, и корысти градныя плѣнихомъ себѣ»). Казнь имѣетъ иныя задачи и цѣли, которыя, впрочемъ, видоизмѣняются, эволюціонируютъ. Сначала казнь бываетъ патріархальная, домашняя, по суду родоначальника или главы клана, надъ провинившимися родичами. Цѣль ея — очистить общество отъ мерзости, которая — такъ какъ преступникъ свой человѣкъ — есть общая всѣмъ и должна быть тѣмъ или инымъ образомъ смыта: покаяніемъ ли, доблестными дѣлами со стороны прощаемаго преступника или отсѣченіемъ его отъ общества, анаѳематствованіемъ. Этотъ характеръ очищенія сообщили наказанію вовсе не жрецы, и онъ—въ связи съ міровоззрѣніями первобытнаго общества, по которымъ все безусловно, безотносительно и вѣчно: вѣченъ Богъ, вѣчна душа у супостата, вѣчно государство, а вѣра въ тождество лица и его воли доведена до вѣры въ его безсмертіе. Между тѣмъ общество развивается, появляются соціальные аггломераты, объединяющіе малыя родовыя колѣнныя группы. На первый планъ выдвигается царь — онъ же военачальникъ и судья. Въ юстицію вносятся военный духъ, жестокіе пріемы, казни и пытки, чтобы вывѣдать въ преступленіи настоящую истину. Цѣлью наказанія становится ея примѣрность, острастка. Съ теченіемъ времени изъ національныхъ государствъ образуются громадныя державы, происходятъ невообразимыя до того скрещенія породъ, эпидемически распространяются космополитическія религіозныя вѣроученія, совершается утрам-

бовка общества, подъ которою нельзя уже добраться до того, какъ вылѣпилось отдѣльное лицо, такъ перепутаны въ немъ черты атавистическія, предрасполагающія его къ извѣстному дѣйствованію, съ чертами среды, въ которой живя, лицо по непреодолимому влеченію подражательно воспроизводитъ ее. Въ громадинѣ современнаго государства человѣкъ такая крошка, такая эфемерида, что о вѣчности и его существованія, и его наказанія, нельзя и думать. Успѣхи антропологіи и психіатріи обнаруживаютъ съ большею и большою ясностью, что во многихъ дѣйствіяхъ субъекта проявлялось не самостоятельное «я» человѣка, а неразгаданныя силы, нѣчто подымающееся изъ бездонной и непрозрачной глубины его психофизическаго нутра; въ немъ дѣйствовали его болѣзни и уродства. Другое условіе наказуемости — требованіе сходства лица по подражательности со средою, требованіе того, чтобы наказуемый былъ свой человѣкъ, — безмѣрно расплылось вслѣдствіе міровыхъ международныхъ отношеній, обхватывающихъ шаръ земной и дѣлающихъ сингенизмъ исключеніемъ. Нынѣ всякій человѣкъ — свой, потому только, что онъ — человѣкъ. Въ карательныхъ мѣрахъ сквозитъ новая цѣль— исправленіе. Это направленіе доводимо было до крайностей, до отрицанія неисправимости въ людяхъ. Какъ бы то не было, ученіе итальянскихъ криминалистовъ, клонящееся къ тому, чтобы расправляться съ преступниками по обычаю войны и упраздняющее отвѣтственность, а съ нею и уголовное право, есть идея невозможная, не имѣющая будущности и настолько несогласная съ нравами, что эти же криминалисты были принуждены, въ концѣ концовъ, подписаться за полную отмѣну смертной казни. Таковъ очеркъ теоріи отвѣтственности у Тарда. Слѣдуетъ ее подвергнуть перекрестной повѣркѣ въ составляющемъ ея оборотную сторону ученіи о безотвѣтственности, то-есть о невмѣняемости и о невмѣненіи.

Пробный оселокъ по вопросу о безотвѣтственности

заключается въ томъ: что дѣлать съ человѣкомъ, который дѣйствовалъ будучи не въ своемъ умѣ, иными словами: какъ поступать съ *сумасшедшимъ?* По Тарду, сумасшествіе отчуждаетъ человѣка отъ его «я». Новѣйшія изслѣдованія (Ribot, Maladies de la personnalité, 1884; Azam, Hypnotisme, double personnalité, 1887) доказываютъ, что большинство психологическихъ, загадочныхъ случаевъ сумасшествія сводятся къ болѣзнямъ самосознанія, къ развитію личности, къ раскольническому замѣщенію настоящаго «я», умозаключающаго связно, съ другимъ его двойникомъ, отличнымъ отъ перваго по воспоминаніямъ, ощущеніямъ и даже характеру и дѣйствующимъ также связно и цѣлесообразно, но такимъ образомъ, что первое «я», когда очнется, логическихъ операцій второго не сознаетъ и не признаетъ. Измѣненіе и замѣщеніе личности можетъ быть внезапное, но можетъ быть и постепенное. По мѣрѣ того, какъ личность нормальная и общительная замѣняется экстравагантною, совершается и дезассимиляція, то-есть человѣкъ по отношенію къ обществу становится чужимъ.

Принципъ поставленъ вѣрно и правильно выведены изъ него Тардомъ два послѣдствія: 1) энергическій протестъ автора противъ предлагаемаго итальянцами manicomio criminale, въ которомъ бы содержались и потерявшіе свое нормальное «я» сумасшедшіе, и mattoïdi— прирожденные злодѣи самаго сквернѣйшаго свойства; 2) но будучи рѣшительнымъ противникомъ прямолинейной логики, допускающей либо полную вмѣняемость, либо таковую же невмѣняемость, Тардъ допускаетъ частичную или ослабленную вмѣняемость, которую нельзя не допустить, когда сумасшествіе приходитъ постепенно и нѣтъ точнаго момента во времени, когда второе «я», анти-общественное, вытѣснило первое «я», разумное, и водворялось вмѣсто него безъ борьбы или послѣ упорной борьбы. Окончательному сумасшествію предшествуютъ болѣзнія смуты въ сознаніи, рѣзкія измѣненія въ характерѣ, гипертрофія самомнѣнія, уныніе, доходящее до

отчаянія. Большія затрудненія при анализѣ представляетъ *мономанія*, умопомѣшательство на одномъ пунктѣ, когда въ одномъ лицѣ вмѣщаются одновременно и не чередуясь двѣ личности,—болѣзнь—хуже общаго умопомѣшательства, такъ какъ обыкновенно она неизлечима.

Необычайно трудно держать балансъ въ этихъ казуистическихъ вопросахъ, идя, такъ сказать, по натянутому канату. Можно усомниться, всегда ли, какъ слѣдуетъ, хранилъ равновѣсіе Тардъ, на примѣръ, когда онъ устанавливалъ капитальное различіе между случаемъ, когда сумасшествіе водворялось въ совершенно здоровомъ организмѣ, или когда оно было только патологическимъ усиленіемъ (гипертрофіею) извѣстной прирожденной дурной наклонности. Извѣстный субъектъ былъ сухъ и грубъ, а потомъ сталъ жестокъ; былъ раздражителенъ, а сдѣлался бѣшенымъ; былъ эгоистомъ, а сдѣлался отчаяннымъ себялюбцемъ. «Очевидно,—говоритъ Тардъ, —что когда сумасшествіе не сталкиваетъ насъ въ пропасть по сторонѣ, съ которой мы уже были склонны къ паденію, то тогда отчужденіе бываетъ не столь глубокое и не столь безотвѣтственное, какъ то, когда мы падаемъ съ противоположной стороны». Едва ли это справедливо. Едва ли можно сугубо взыскивать съ лица, которое сошло съ рельсовъ нормальнаго порядка и морали, потому что оно имѣло уже задатки зла въ своей организаціи. Чѣмъ же виновато оно, что уже родилось съ этими задаткими, вслѣдствіе которыхъ оно роковымъ образомъ сдѣлалось потомъ изъ сухого жестокимъ, изъ раздражительнаго бѣшенымъ? Чѣмъ такое лицо хуже того, который сошелъ съ ума, вслѣдствіе несчастнаго случая, удара, или болѣзни, личность его видоизмѣнившей?

Еще сомнительнѣе выводы Тарда относящіеся къ труднымъ и рѣдкимъ случаямъ moral insanity, помѣшательства только нравственнаго, атрофіи одного только нравственнаго чувства человѣчности при полной ясности разсудка. По мнѣнію Тарда, нравственное чувство вы-

ражается брезгливостью и невольнымъ отвращеніемъ отъ дѣйствій нехорошихъ, общевредныхъ. Оно—родъ тормоза. Иногда въ смутныя времена все общество увлечено въ вакханалію безчинства, въ пароксизмъ каннибализма (напр., періодъ террора въ французской революціи XVIII-го вѣка). Общее увлеченіе сильнѣе тормоза; агнцы на время этой эпидиміи становятся отъ внѣшняго толчка лютыми волками. Иногда толчокъ сообщается человѣку изнутри, вслѣдствіе болѣзненнаго припадка, моментально поражающаго мозгъ (падучая болѣзнь, истерія, delirium tremens отъ алкоголизма). Иногда все остается нормальнымъ въ психическихъ отправленіяхъ, а только безъ внѣшняго толчка тормозъ сломанъ, одни нравственныя понятія разрушились. По даннымъ медицины такіе случаи возможны. Иногда это и бываетъ стадія, предшествующая общему параличу и затѣмъ—слабоумію. Но бываетъ также, что человѣкъ уменъ, ловокъ, сообразителенъ,—только отродясь не имѣлъ альтруистическихъ чувствъ, не откликался сочувственно на чужія страданія, не различалъ ихъ, какъ дальтонистъ не различаетъ цвѣтовъ, однимъ словомъ, былъ безнравственъ отъ самаго рожденія. У него есть безспорно первое условіе его отвѣтственности: тождественность его «я» во всѣ періоды своего бытія, но нѣтъ второго условія, нѣтъ сходства съ другими людьми, нѣтъ органа гуманности, состраданія, онъ не человѣкъ, хотя по внѣшности имѣетъ видъ человѣка. Такія лица появлялись на историческихъ подмосткахъ —вспомнимъ только XVI вѣкъ и итальянскій ренессансъ. Даже и нынѣ появленіе ихъ возможно въ моменты разнузданности похотей, когда талантъ и умъ берутъ верхъ надъ сердцемъ и характеромъ. Такіе люди отродясь анти-соціальны, не схожи съ другими; слѣдовательно, можно бы сказать, что они безотвѣтственны, съ чѣмъ, однако, Тардъ не можетъ помириться, во-первыхъ, потому что у нихъ устойчивость самосознанія діаметрально противоположна сумасшествію, во-вторыхъ, по-

тому, что имъ присуща хотя бы малая толика нравственнаго чувства, такъ что и отвѣтственность ихъ можетъ быть уменьшенная, но не нулевая. Такого прирожденнаго злодѣя нельзя, по мнѣнію Тарда, ни лечить, ни исправлять, но нельзя его разить, какъ дикаго звѣря, къ намъ случайно забѣжавшаго. Онъ все-таки, хотя наружно, членъ общества, за него намъ стыдно, не только-что страшно. Его надо исключить со всѣми обрядами соціальнаго анаѳематствованія, то-есть уголовнаго суда. Такой выводъ можетъ быть не совсѣмъ ладенъ логически,—потому что если, напримѣръ, кто слѣпъ, то съ него нельзя взыскивать за то, что онъ цвѣтовъ не различаетъ,—но практически этотъ выводъ удовлетворителенъ и совпадаетъ съ заключеніями какъ свободовольцевъ, такъ и детерминистовъ, изъ которыхъ послѣдніе разсуждаютъ такимъ образомъ: этотъ человѣкъ не чувствуетъ, что̀ добро и что̀ зло, но онъ уменъ и способенъ понять, что не слѣдуетъ дѣлать зла, чтобы не подвергнуться наказанію. Къ нему прикрѣпляется уголовный противовѣсъ похотямъ — угроза наказанія, затѣмъ само наказаніе примѣняется съ тою только цѣлью, чтобы угроза не утратила своей дѣйствительности и внушительности.

Въ ближайшей связи съ сумасшествіемъ состоитъ *эпилепсія*, падучая болѣзнь, выражающаяся въ безпокойствѣ передъ припадкомъ, въ судорогахъ и потерѣ сознанія, сопровождаемая маніакальною идеею, галлюцинаціею и непреодолимымъ затѣмъ порывомъ къ какому-либо насилію. Тардъ любилъ объяснять явленія психическія посредствомъ соціологическихъ наблюденій (la sociologie est le microscope solaire de la psychologie). Онъ сравниваетъ эпилепсію со смутами, которыя встрѣчаются въ жизни каждаго народа. Сначала жгучая неясная потребность, сказывающаяся въ подражательномъ распространеніи вѣрованія или желанія революціоннаго свойства, затѣмъ судороги—междоусобная война, переходящая въ маніакальное экстравагантное обожаніе идеи

или лица (напр., недавній буланжизмъ), наконецъ, какая-нибудь ненужная внѣшняя война, разражающаяся безъ повода, чтобы дать какой-нибудь исходъ междоусобію.

Совершеніе преступленія въ пьяномъ видѣ не представляетъ значительныхъ затрудненій. Если преступленіе совершено въ пьяномъ до безсознательности состояніи, то въ преступникѣ дѣйствовало его другое «я», о которомъ онъ, протрезвившись, можетъ не имѣть никакого понятія. Важно то, былъ ли онъ случайно приведенъ въ это состояніе, или вошелъ въ него сознательно, зная, что, напившись, онъ способенъ буянить и дѣлается опаснымъ. Его отвѣтственность похожа на гражданскую отвѣтственность отца или хозяина, отвѣчающихъ за своихъ дѣтей и слугъ, причинившихъ кому-нибудь вредъ.

Гипнозъ близко подходитъ къ сумасшествію. Онъ состоитъ въ отчужденіи себя и своего «я» либо по волѣ гипнотизирующаго, либо по соглашенію съ нимъ, при прекращеніи вообще функцій умственной жизни. Посредствомъ этого необыкновеннаго и страннаго состоянія можно повѣрять всѣ формы помѣшательства, самое состояніе и даже функціи нашего умствованія въ ихъ наипростѣйшихъ элементахъ. Гипнозъ есть прекращеніе сознанія и усыпленіе его, но неполное, въ которомъ субъектъ воспринимаетъ только то, что́ дѣлаетъ и чѣмъ на него дѣйствуетъ гипнотизеръ. Ничего другого онъ не ощущаетъ, кромѣ подсказываемаго и внушаемаго ему гипнотизеромъ. Гипнотизируемый мыслитъ и чувствуетъ только то и рѣшается только на то, что́ ему подсказано гипнотизеромъ. Подсказываніе дѣлается выразительными жестами, символическими знаками, словами. Эти знаки пробуждаютъ связанныя съ ними въ умѣ гипнотизируемаго понятія и представленія, по закону—надъ разработкою котораго потрудились особенно англійскіе психологи—*ассоціаціи представленій*. Бредъ продолжается еще и наяву, по пробужденіи субъекта,

который совершаетъ тогда то, что ему было приказано совершить, когда онъ былъ въ бреду. Субъектъ исполняетъ приказанное сознательно; онъ убѣжденъ, что поступилъ такъ по доброй волѣ и не помнитъ, какъ возникла рѣшимость. Онъ дѣлаетъ страшныя усилія для измышленія post factum мотива поступка и изобрѣтаетъ ложные мотивы, но искренно считаетъ ихъ дѣйствительными, такъ какъ дѣйствіе безмотивное немыслимо и субъектъ долженъ самъ себѣ эти мотивы разъяснить, чтобы быть съ собою въ порядкѣ. Гипнотизированный — не автоматъ. Изучавшіе гипнотизмъ, Бинэ, Фере и другіе, утверждаютъ, что въ дѣйствованіяхъ лица, находившагося въ гипнотическомъ снѣ, проявляется опредѣленная личность, отличная по наклонностямъ и отвращеніямъ отъ личности субъекта на его нормальномъ состояніи наяву. Гипнотизированный и не пробуетъ уклоняться отъ отвѣтственности за сдѣланное, — онъ его хотѣлъ сдѣлать. Суть дѣла только въ томъ, что хотѣлъ дѣло сдѣлать другой «я», сомнамбулическій; этимъ же другимъ руководила чужая воля гипнотизера, отъ которой гипнотизированный былъ въ зависимости, а потому въ томъ, что имъ сдѣлано, не имѣется перваго условія отвѣтственности, а именно тождественности личности субъекта. Но въ томъ-то и весь спорный вопросъ: какова эта зависимость — безусловная, рабская, или неполная? дѣйствуетъ ли и во время гипноза нравственный тормозъ, который не допуститъ субъекта (какъ утверждалъ экспертъ Льежуа по дѣлу Бомпаръ и Эйро, убившихъ Гуффе, 1890) совершить то, что подсказано гипнотизеромъ, но что противно его нравственнымъ началамъ, такъ что онъ скорѣе очнется, нежели исполнитъ подсказываемое?

Не вдаваясь въ подробный разборъ всего отдѣла о безотвѣтственности у Тарда, замѣчу, что онъ ставитъ любопытный вопросъ объ отвѣтственности людей, нравственно возродившихся къ добру, къ свѣту, къ истинѣ. Тождество личности для нихъ существуетъ, и то дур-

ное, что они совершили въ прошедшемъ, сознается какъ еще болѣе отвратительье и мерзкое, въ сравненіи съ тѣмъ, какимъ они его понимали до своего возрожденія, а между тѣмъ казнить ихъ было бы несправедливо, и тогда неминуемо ставится вопросъ о помилованіи. Весьма оригинально рѣшается Тардомъ вопросъ объ отвѣтственности великихъ и геніальныхъ людей. Геніальный человѣкъ по своей натурѣ не подражатель, а творецъ; онъ стоитъ на границѣ съ природою, которой законы онъ открываетъ, и рода человѣческаго, выдѣляющаго безчисленное множество подражателей генію. Геніальный человѣкъ похожъ на гипнотизера, поддающаго людямъ свои идеи, свою волю; онъ долженъ если не юридически, то нравственно отвѣчать за излишества и преступленія той арміи обезьянъ во образѣ человѣческомъ, которою онъ командуетъ. Такъ какъ Тардъ слѣдуетъ шагъ за шагомъ по стезямъ итальянскихъ антропологовъ-криминалистовъ и такъ какъ его теорія является только систематическимъ опроверженіемъ или дополненіемъ ихъ ученій, то и расположеніе предметовъ въ его теоріи соотвѣтствуетъ ихъ системѣ, въ которой эти предметы располагаются такимъ образомъ: преступникъ, преступленіе, наказаніе и судъ.

Существуетъ ли особый типъ преступника? какова должна быть классификація преступниковъ? Прежде всего преступникъ есть извѣстное злокачественное, ядовитое и заразительное отложеніе общества, которое общество выдѣляетъ изъ себя, чтобы самому жить. Преступникъ есть въ наивысшей степени соціальный продуктъ, а юстиція есть функція общества *санитарная*.

Бываютъ физическія болѣзни, — напримѣръ, сахарная, — когда организмъ выдѣляетъ изъ себя элементы; безъ которыхъ ему жить нельзя, и вслѣдствіе того истощается. Нѣчто подобное тому бываетъ и въ жизни соціальной. Франція при Людовикѣ XIV изгоняла протестантовъ, французская революція во время террора истребляла аристократовъ, Испанія преслѣдовала мав-

ровъ. Самъ типъ уголовный, вслѣдствіе нераціональности преслѣдованій, не одинъ и тотъ же въ разные вѣка,— напр., при Петрѣ В., Екатеринѣ II и теперь. Бывали эпохи, когда общества извергали изъ себя лучшихъ людей своихъ, а худшіе и наиболѣе испорченные были въ почетѣ и властвовали, — напримѣръ, Италія со своими princìpi во время реннесанса (Tarde: «le crime a eu sa place et sa place d'honneur dans cette magnifique floraison de tous les arts»).

Итакъ, преступленіе есть неустойчивое понятіе— преступность мѣняется. Неустойчивы и *естественныя* преступленія по теоріи Гарофало. Нѣтъ никакихъ точно опредѣленныхъ признаковъ, которыя могли бы служить для характеристики типа человѣка-преступника, отыскиваемаго съ такимъ трудомъ и такъ упорно школою. Преступникъ не есть запоздавшій появленіемъ дикарь, не есть также сумасшедшій, не есть также скрытый эпилептикъ или, по крайней мѣрѣ, человѣкъ, имѣющій эпилептическій темпераментъ. Есть, однако, нѣкоторая доля правды въ положеніи, которое Ломброзо отстаиваетъ съ такою настойчивостью. Многіе преступники принадлежатъ къ числу нервныхъ натуръ, къ числу темпераментовъ экстравагантныхъ, склонныхъ къ излишествамъ, и эти излишества происходятъ и въ особяхъ, и въ обществахъ, періодически, по извѣстному ритму; они повторяются такимъ образомъ, что моментъ повторенія можно предугадать и подмѣтить. Опытный тюремщикъ сразу подмѣтитъ, что арестантъ переживаетъ недобрый день или часъ, когда съ нимъ надо быть особенно на-сторожѣ. При изученіи преступныхъ типовъ признаки физіологическіе и динамическіе важнѣе анатомическихъ и статическихъ. Преступникъ узнается не только по глазу, сколько по взору, не столько по формѣ рта, сколько по улыбкѣ, не столько по росту, сколько по походкѣ, вообще по цѣльному выраженію лица. Весьма оригиналенъ взглядъ Тарда на криминалистическіе признаки измѣненія характера. Горафало ввелъ

понятіе о такъ-называемыхъ естественныхъ преступленіяхъ, которыя онъ приписывалъ предшествовавшему преступленію коренному недостатку чувствъ альтруистическихъ, честности или человѣколюбія. Тардъ дѣлаетъ обратный выводъ и предполагаетъ, что во многихъ случаяхъ чудовищный эгоизмъ и адская гордыня преступника были не причиною, но естественнымъ послѣдствіемъ преступленія. Предъ совершеніемъ преступленія онъ колебался, боролся, но разъ оно имъ совершено, онъ сознаетъ, что между нимъ и обществомъ образовалась пропасть. То негодованіе, которое его ждетъ за преступленіе, онъ самъ въ себѣ ощущалъ; если онъ энергиченъ, то чрезъ преступленіе онъ въ своей злости еще болѣе утвердился, закалился, сдѣлался еще злѣе и опаснѣе, и это чувство погубило его еще больше, нежели само преступленіе. Онъ расплачивается съ обществомъ въ злобѣ своей, усиливаясь превзойти себя въ злодѣяніи. Чѣмъ больше его злодѣяніе, тѣмъ меньше общаго между нимъ и мелкими воришками и мошенниками, которые постепенно и незамѣтно, безъ сильнаго моральнаго кризиса, дошли до своего паденія. Онъ—сложный продуктъ—и своего злодѣянія, и настоящаго или ожидаемаго воздѣйствія на него общества за его преступленіе. Здѣсь является опять факторъ преступности не антропологическій, но соціальный. Такъ какъ люди въ обществѣ похожи на мягкую глину, изъ которой лѣпятся личности и характеры по образцу и подобію общества, то несомнѣнно, что дѣленіе преступниковъ должно быть дѣлаемо по общественнымъ группамъ, по классамъ, занятіямъ и кружковымъ различіямъ среды. Вездѣ и всегда встрѣчается объективное, неизмѣнное дѣленіе—на преступленія противъ личности (насилователи, въ томъ числѣ и убійцы) и на преступленія противъ собственности (воры), но тотчасъ же оба главныя теченія развѣтвляются на сельскій людъ съ земледѣльческими занятіями и городской—съ фабричными и меркантильными. Въ одномъ преобладаетъ наслѣд-

ственность съ подражаніемъ-обычаемъ, въ формахъ скотскихъ и грубыхъ; въ другомъ—вліяніе среды съ подражаніемъ-модою, съ страстью къ новизнѣ и утонченною испорченностью. При дальнѣйшихъ подраздѣленіяхъ и развѣтвленіяхъ оказывается, что есть преступники, для которыхъ преступленіе только добавочный источникъ существованія, а главный—трудъ, и есть такіе, которыхъ главное и спеціальное занятіе есть хищеніе. Одни дѣйствуютъ въ одиночку, другіе привыкли дѣйствовать организованными шайками. И въ этихъ шайкахъ есть громадныя различія между бандитизмомъ, юначествомъ, казачествомъ, открытымъ бунтомъ элементовъ, не укладывающихся въ рамки государственнаго порядка, щеголяющихъ тѣмъ, что оно—юначество, и между сбродомъ всякой всячины, городскими ворами, соединяющимися для убійствъ, грабежей и самыхъ утонченныхъ хищеній. Съ теченіемъ времени село и деревня становятся порядочнѣе, очищаются отъ бандитизма и даже конокрадства; зато всю скверну всасываютъ въ себя и поглощаютъ города, въ которыхъ въ наше время преступность прогрессируетъ, процвѣтаетъ, и изъ которыхъ она подражательно распространяется въ широкомъ районѣ на окрестности. Къ преступленіямъ противъ личности и противъ собственности присовокупляются, по мѣрѣ успѣховъ цивилизаціи и непомѣрнаго роста большихъ центровъ населенія—городовъ,—половыя излишества. Преступность въгородахъ дѣлается утонченнѣе и сладострастнѣе, и въ такомъ видѣ растекается и проливается на деревни. Вмѣсто дѣленія преступниковъ на случайныхъ и привычныхъ, лучше бы дѣлить преступность на сельскую и городскую, и на первичную и прогрессивную или утонченную. Таковы мысли, брошенныя Тардомъ, какъ жалоны для будущихъ изслѣдователей,—мысли, которымъ нельзя отказать ни въ основательности, ни въ оригинальности.

Переходя отъ конкретнаго къ абстрактному, отъ преступниковъ къ преступленію, изучаемому главнымъ

образомъ по даннымъ статистики, Тардъ вполнѣ одобряетъ мастерское, по его словамъ, дѣленіе факторовъ преступленія на антропологическіе, физическіе и соціальные,—дѣленіе заимствованное, по его мнѣнію, у Тэна (la race, le milieu et le moment); но онъ находитъ, что соціологическіе факторы едва намѣчены у итальянцевъ и далеко не по достоинству оцѣнены, между тѣмъ какъ ихъ необходимо уяснять изъ присущей человѣку и составляющей основу его общежительности—подражательности. Заразительность примѣра въ самоубійствахъ, поджогахъ—не подлежитъ сомнѣнію. Пріемы убійства и грабежа душеніемъ, съ разсѣканіемъ трупа на части или распарываніемъ животовъ, повторяются съ замѣчательнымъ однообразіемъ. Въ 1875 г. парижанка Гроссъ брызнула своему невѣрному любовнику сѣрною кислотою въ лицо и была оправдана, послѣ чего этотъ способъ женской мести нашелъ безчисленныхъ послѣдовательницъ даже и внѣ Франціи. Въ Италіи въ обычаѣ coltellata, въ Корсикѣ—кровная месть. Въ pendant къ французской сѣрной кислотѣ въ Неаполѣ донынѣ въ обычаѣ freggio, заключающееся въ томъ, что влюбившійся въ дѣвушку, если она отказывается выйти за него замужъ, разсѣкаетъ ей бритвою щеку, вслѣдствіе чего дѣвушки изъ боязни выходятъ иногда замужъ за отъявленныхъ негодяевъ. Подражательность бываетъ и при дѣйствіяхъ въ одиночку, но она особенно поразительна при дѣйствіяхъ массами. Подражательность бываетъ двоякая: обмѣнъ другъ у друга неимѣвшихся у заимствующихъ вѣрованій, вкусовъ, стремленій и взаимное другъ другомъ подстреканіе къ имѣющемуся уже у всѣхъ убѣжденію или стремленію, то-есть не аккордъ, а unisono, причемъ дѣйствіе присущаго всѣмъ единицамъ общаго фактора было бы равносильно не сложенію, а умноженію или возведенію его въ степень, то-есть образованію изъ него страшной силы. Въ такой массѣ, хотя бы она состояла изъ разнороднѣйшихъ и никогда не сочетавшихся элементовъ, происходитъ нѣчто въ родѣ само-

зарожденія дѣйствія; толпа превращается въ одного собирательнаго звѣря, бѣшено устремляющагося на добычу съ неудержимою цѣлесообразностью и увлекаемаго бредомъ разрушенія или смертоубійства. Всякая революція исполнена такихъ массовыхъ разряженій импульсивности въ массѣ, одушевленной однимъ чувствомъ. Она мгновенно организуется и сразу, безъ сговора, получаетъ готовыхъ вожаковъ. Вотъ почему опасно засиживаться и мыслителю въ своемъ маломъ кружкѣ, въ которомъ вырабатывается незамѣтно нѣчто похожее на дѣйствіе массою, а именно: *сектантство*. Общественная организація въ ея зародышахъ представляетъ слѣдующія двѣ основныя формы: семья и толпа, подражаніе старѣйшимъ или подражаніе коноводамъ-агитаторамъ; послѣднее особенно развито въ большихъ городскихъ центрахъ съ смѣшаннымъ населеніемъ. Эти взрывы, эти насилія толпою, вслѣдствіе которыхъ люди въ массѣ совершаютъ иногда мерзости, на которыя никто въ одиночку неспособенъ, составляютъ, однако, признакъ прогресса въ цивилизаціи. Люди своекорыстны; они борются за существованіе, но, такъ или иначе, они спѣлись и согласовались, и препираются они не насильствуя другъ друга; зато весь запасъ дикой энергіи, проявлявшійся въ личныхъ междоусобіяхъ, разряжается въ сравнительно рѣдкіе моменты вспышекъ собирательной энергіи. Произведенъ родъ дренажа, вода изъ болота проведена трубами и каналами; коллективное проявленіе энергіи облагорожено присущею дѣйствіямъ массы идеею общаго добра. Величавое осуществленіе этого отвода, этой эвакуаціи бурныхъ и дикихъ порывовъ и страстей, представляютъ войны, грандіозныя, организованныя смертоубійства, злодѣянія, взаимныя истребленія, освѣщаемыя ореоломъ подвига, патріотизма, почти возводимыя въ добродѣтель. Жестокость, ненависть и жадность, осуждаемыя въ индивидуальной формѣ, въ отношеніяхъ особей другъ къ другу утилизированы цѣлесообразно, смотря по морали извѣстнаго историческаго

момента въ образѣ милитаризма и международной войны. По словамъ Тарда: la guerre est la plus haute et la plus complète expression du crime mutualisé, т.-е. война есть высшее выраженіе злодѣянія, изъ первичной односторонней индивидуальной формы преобразившагося въ форму двустороннюю, взаимно обоюдную.

Тардъ излагаетъ подробно, приводя въ видѣ иллюстраціи множество примѣровъ изъ исторіи, какими путями и въ какихъ формахъ совершается эволюція подражательности въ предѣлахъ уголовнаго права въ области преступности. Вездѣ и всегда владыка-господинъ навязывалъ себя покореннымъ народамъ какъ образецъ для подражанія и требовалъ, чтобы сіи послѣдніе уподоблялись побѣдителямъ, воспроизводили ихъ типъ. Такимъ образомъ прививалось насильственно и хорошее, и дурное, распространяясь сверху внизъ. Разсадниками идей и цвѣтниками художествъ были сначала аристократіи. Нынѣ, въ нашъ демократическій вѣкъ, эта роль досталась на долю столицъ и вообще большихъ городскихъ центровъ. Обираніе проѣзжихъ, хищничество на большихъ дорогахъ было любимымъ промысломъ средневѣковыхъ феодаловъ; дворянство сильно пьянствовало; отравленіемъ занимались съ увлеченіемъ знатныя особы; убійство по найму было долгое время весьма употребительно въ политикѣ правительствъ. Нынѣ зараза преступности распространяется главнымъ образомъ изъ столицъ. Тардъ не опасается особенно и не озабоченъ чрезъ мѣру этимъ лучеиспусканіемъ преступности изъ городскихъ центровъ. Правда, ростутъ еще нынѣ города, но близко то время, когда послѣдуетъ отливъ изъ нихъ населенія. Всякая аристократія тяжела только въ физисѣ своемъ прибывающемъ, восходящемъ; разъ она перешла свой апогей и клонится книзу, она тотчасъ дѣлается мягче, скромнѣе, безвреднѣе и полезнѣе. За нею остается гегемонія искуства, вкуса, утонченной вѣжливости, чувства чести, всего того, что обозначается непереводимымъ словомъ: urbanitas. Таковы были послѣ

своего паденія Аѳины, Римъ, нынѣшніе итальянскіе города, многіе нѣмецкіе и фламандскіе.

Всякая новая и цѣльная теорія уголовнаго права задѣваетъ, подвергаетъ пересмотру и видоизмѣняетъ крупные отдѣлы общей части уголовнаго права. Изъ нихъ въ книгѣ Тарда затронуты и разобраны три: въ ученіи объ умыслѣ—понятіе предумышленія, теорія покушенія и цѣлый отдѣлъ соучастія многихъ лицъ въ одномъ и томъ же преступленіи.

Одинъ изъ недавнихъ посѣтителей С.-Петербурга во время пенитенціарнаго конгресса 1885 г., профессоръ неаполитанскаго университета, *Бернардино Алимена*, написалъ обширную книгу: La premeditatione in rapporto alla psychologia e al diritto. 1887. Самъ онъ не позитивистъ и выбралъ тему, которая была уже обработываема криминалистомъ-классикомъ *Гольцендорфомъ*, о томъ, что нераціонально и ни съ чѣмъ несообразно громадное значеніе, которое донынѣ придаютъ въ области одного только главнаго преступленія противъ личности, а именно смертоубійства—факту обдуманнаго заранѣе намѣренія или *предумышленія* (praemeditatio). Смотря по наличности или отсутствію этого факта, само преступленіе подраздѣляется на murder, Mord, assasinat предумышленное и на качественно отъ него отличаемое простое: meurtre, Todtschlag, mordslaughter. Это дѣленіе есть безсмысленный остатокъ изъ римскаго права, занесенный въ европейскіе кодексы и повторяемый съ робкою подражательностью, по рутинѣ. Очевидная его несостоятельность доказывается прежде всего тѣмъ, что предумышленность не предполагаетъ вовсе хладнокровія и не противопоставляется аффекту. И по внезапному побужденію можетъ преступникъ зарѣзать человѣка хладнокровно, но смертоубійство возможно также и по вполнѣ обдуманному намѣренію — въ порывѣ сильной страсти, иногда неблагородной, а иногда и очень извинительной. Не степень обдуманности, а свойство побужденій или цѣлевыхъ мотивовъ состав-

лиетъ въ смертоубійствѣ главное. Гольцендорфъ приводитъ три преобладающіе мотива этого преступленія: жадность, сладострастіе, осложняемое половою похотью, и ненависть съ местью. Только въ связи съ первымъ изъ этихъ мотивовъ преступленіе становится особенно позорнымъ, мерзкимъ и опаснымъ. Статистика обнаружила, что вообще смертоубійство изъ-за матеріальныхъ выгодъ втрое чаще бываетъ предумышленное, нежели просто умышленное, между тѣмъ какъ въ убійствѣ по ненависти или мести вдвое болѣе непредумышленныхъ убійствъ, нежели умышленныхъ, а въ случаяхъ смертоубійства по половой похоти оба вида почти уравновѣшиваются. Курьезно то, что прикладывается предумышленіе только къ убійству, но никто его не примѣняетъ къ воровству, зажигательству или инымъ преступленіямъ. Общественное мнѣніе въ лицѣ присяжныхъ высказывается весьма рѣшительно противъ такого порядка, предумышленіе обыкновенно отвергается, но отстаиваютъ его цѣпко и крѣпко только юристы-техники. Предумышленіе, какъ самостоятельный признакъ, должно быть исключено, потому что оно — остатокъ осуждаемаго нынѣ съ полною основательностью пріема отвлекать отъ живого лица его дѣйствіе и судить это дѣйствіе, а не живое дѣйствующее лицо. Наказаніе должно быть разсчитываемо не по величинѣ времени, протекшаго между первоначальнымъ замысломъ и исполненіемъ, а по цѣлямъ преступника, по тому, какую страсть стремился онъ удовлетворить.

Въ своихъ заключеніяхъ относительно *покушенія*, и итальянскіе криминалисты, и Тардъ, идутъ уже прямо противъ привычекъ, укоренившихся и въ публикѣ, и во взглядахъ на преступленіе присяжныхъ засѣдателей. Итальянцы и Тардъ не признаютъ никакого основанія пониженія наказанія за преступленіе неудавшееся или даже за покушеніе, остановленное по зависимымъ отъ преступника обстоятельствамъ. Это отрицаніе смягченія наказанія вполнѣ съ ихъ стороны ло-

тично, такъ какъ они вообще исключаютъ изъ уголовнаго суда и наказанія всякій элементъ частнаго вреда и частнаго обвиненія и судятъ преступника только за анти-соціальныя качества его личности по мѣрѣ опасности, несомнѣнно грозящей обществу отъ человѣка, уже вполнѣ обнаружившаго свои намѣренія и цѣли.

Всякому занимавшемуся уголовнымъ правомъ извѣстно, какую запутанную и неудопримѣнимую часть этого права составляютъ законы о наказуемости *соучастниковъ* въ преступленіи. Преступленіе совершено, положимъ, сообща многими лицами. Они, можетъ быть, даже и не сговаривались, а сгруппировались внезапно. Если они сговаривались,—одни изъ нихъ науськивали или только совѣтовали, другіе не отказали въ доставленіи средствъ или въ обѣщаніи помощи на всякій случай, которая даже отъ нихъ и не потребовалась; иные помогали косвенно, можетъ быть, не въ самый моментъ дѣйствія, а раньше или позже. По старой, но глубоко укоренившейся рутинѣ — судить не живыхъ людей, а отвлеченное дѣло, состоящее изъ отдѣльныхъ проступковъ всѣхъ дѣятелей, — эта увѣсистая масса взваливалась потомъ на каждаго изъ дѣятелей по-одиночкѣ, якобы, какъ общая вина, между тѣмъ какъ у каждаго была своя вина, совсѣмъ особая; между тѣмъ какъ въ сущности и дѣла-то у нихъ общаго, можетъ быть, не было. Правда, что наказуемость каждаго сообразована съ мѣрою его личнаго участія, но все-таки за общее дѣло,—между тѣмъ какъ это общее дѣло выведено искуственно и каждый преслѣдовалъ въ немъ свои особенныя цѣли. Все представленіе о соучастіи должно быть въ сущности упразднено: quot delinquentes tot delicta. Нѣтъ никакой надобности образовать изъ всѣхъ соучастниковъ одну общую кучу. Всѣ тѣ результаты, которые достигаются нынѣ посредствомъ ученія о соучастіи, могутъ быть прямѣе и лучше достигнуты по упраздненіи его. И нынѣ вездѣ въ другихъ, кромѣ нашего, законодательствахъ отлетѣло понятіе прикосновенности,

вмѣщающее въ себѣ укрывательство, попустительство, недонесеніе. Это самостоятельные проступки, которымъ должно быть отведено мѣсто въ особой части кодекса. Подстрекатель не есть зачинщикъ или соучастникъ, а есть настоящій интеллектуальный виновникъ, совершившій преступленіе не собственными правда руками, а при посредствѣ другихъ лицъ, которыми онъ пользовался какъ орудіями своей воли. Физическіе виновники и теперь отвѣчаютъ за дѣяніе какъ за свою вину, и нѣтъ между ними разницы отъ того, дѣйствовали ли они порознь, или сообща. Есть пособники, доставлявшіе средства къ преступленію, но не пріобщавшіеся къ цѣли, руководившей настоящими дѣятелями преступленія. Ихъ дѣйствія могутъ быть предусмотрѣны въ особой части кодекса *). Разборъ ученія о преступленіи по книгѣ Тарда мною конченъ, — мнѣ остается изложить его мысли и соображенія о наказаніяхъ и о судѣ надъ преступниками.

IV.

Система наказаній.—Виды на реформу суда.

Разбирая итальянскихъ криминалистовъ, я уже отмѣтилъ, что они допускаютъ правосудіе какъ самозащиту, спокойную, хладнокровную, лишенную чувствъ негодованія или мести и чуждающуюся всякихъ эмоцій. Они бы предпочитали истреблять злодѣевъ, но они мирятся по необходимости на томъ, чтобы иначе ихъ удалять; что же касается до субъектовъ менѣе испорченныхъ, не подходящихъ подъ элиминацію, то итальянцы мало заботятся объ организаціи наказаній для этого рода людей и предпочитаютъ, какъ то дѣлаетъ Ферри, провозгла-

*) Та же мысль развита въ статьѣ проф. Фойницкаго въ январьской книжкѣ «Юридическаго Вѣстника» за 1891 годъ.

шать, что они не приписываютъ этимъ наказаніямъ никакой полезности ни по отношенію къ наказываемымъ, ни по отношенію къ обществу. Еслибы эти наказанія и не были исполняемы, то это обстоятельство бы не принесло ни прибытка, ни убытка; оно не повліяло бы существенно на усиленіе преступности. Это ученіе вполнѣ согласно съ кореннымъ основаніемъ системы, по которой извѣстный процентъ населенія роковымъ образомъ обращается въ преступниковъ, причемъ настоящая причина ихъ преступности — не они, а ихъ предки.

Такъ какъ Тардъ стоитъ не на антропологической, а на соціологической точкѣ зрѣнія, то онъ прямо противоположнаго мнѣнія—и доказываетъ, что ничѣмъ низамѣнима и страшно дѣйствительна для пресѣченія заразительной преступности острастка, своевременно и въ надлежащей мѣрѣ употребленная. Бунтъ, революцію можно почти всегда подавить или отсрочить посредствомъ немногихъ экзекуцій. Энергическое преслѣдованіе разбойничества искоренило его совсѣмъ въ Римѣ въ XVI в. при Сикстѣ V, во Франціи въ 1775 г., въ Сициліи въ 1877 г. Распустите немного дисциплину въ войскѣ—оно превратится въ толпу хищниковъ, въ мародеровъ (наполеоновская армія въ Россіи въ 1812 г.). Дайте поблажку городской полиціи—нельзя будетъ ходить по вечерамъ по улицамъ. При продолжающейся гдѣ-нибудь анархіи, злодѣянія плодятся неимовѣрно. При энергическомъ образѣ дѣйствія всякое правительство справится со своими заговорщиками и даже съ вольномыслителями. Правда, что послѣ этого преслѣдованія умственная жизнь можетъ пострадать и вмѣстѣ съ новшествомъ общество можетъ потерять и творчество, сдѣлаться національно безплоднымъ, омертвѣть, какъ омертвѣла Испанія послѣ того, какъ въ два столѣтія, начиная съ половины XVI-го, погибло отъ инквизиціи до 300 тысячъ человѣкъ. Не только уголовные, но и гражданскіе законы вліяютъ на численность такъ-называемыхъ произвольныхъ поступковъ. Наполеоновъ кодексъ

установилъ начало: le recherche de la paternité est interdite. Статистически доказано, что въ тѣхъ частяхъ Германіи, которыя пользуются наполеоновскимъ кодексомъ, число незаконнорожденныхъ бываетъ вдвое или втрое меньше, нежели въ другихъ, значитъ—самъ пылъ любовной страсти умѣряется вслѣдствіе простого разсудочнаго соображенія, что нельзя будетъ судомъ заставить любовника, чтобы онъ расходовался на содержаніе ребенка.

Острастка соціально полезна и необходима, что̀ упускаетъ изъ виду итальянская школа, а забываетъ она о томъ потому, что все свела въ человѣкѣ и въ обществѣ къ чистѣйшему механизму; систематически и принципіально она исключила изъ юстиціи всякое чувство и всякую красоту, превратила судью въ хирурга, разрѣшающаго дѣла безъ эмоціи, потому что эмоція только мѣшала бы ему исполнять извѣстную чисто научную задачу. Юстиція не была и никогда не будетъ столь безучастна къ судьбѣ своего паціента, — это противно ея общественному назначенію и функціи общества награждать добрыхъ и карать злыхъ (échange des services, échange des préjudices), канализировать и утилизировать чувства одобренія и чувства негодованія—живыя и могучія силы общественнаго организма. Фазисовъ эволюціи юстиціи бываетъ больше, чѣмъ ихъ насчитываетъ Тардъ. Въ каждомъ дѣятельно участвуетъ эта своего рода эмоція, постепенно усиливаясь и облагораживаясь. У своего источника наказаніе есть простѣйшій рефлексъ—отплата зломъ за зло, зломъ таліона за безпричинное преступленіе. Сдѣлавшись изъ личной отместки коллективною, наказаніе вступило въ фазисъ очищенія, въ періодъ мистическій. Самъ ли преступникъ приносился въ жертву богамъ, или онъ умилостивлялъ ихъ богатыми дарами, во всякомъ случаѣ это богослужебное искупленіе совершаемо было по религіозному чувству, по высочайшей, къ какой только способенъ человѣкъ, эмоціи. Затѣмъ слѣдовалъ новый, ненамѣченный

Тардомъ, фазисъ, рядъ попытокъ ума нормировать мѣну и услугъ, и взглядовъ, и въ качественномъ, и въ количественномъ отношеніяхъ. Устанавливались цѣны и таксы на продукты и работы и композиціи, за убійство, пораненіе, насиліе или хищеніе, причемъ принимались въ разсчетъ знатность пострадавшаго и знатность обидчика; выводъ уравненія имѣлъ видъ частной сдѣлки. Затѣмъ сдѣланъ новый шагъ впередъ — слагается государство съ большими потугами сопровождаемыми насиліемъ. Это громадное событіе отличается условіемъ солидарности всѣхъ частей объединяемой громады и соотвѣтствующимъ тому чувствомъ *негодованія* противъ преступниковъ, негодованія уже безличнаго, уже сдѣлавшагося общенароднымъ, но на первыхъ порахъ столь же безусловнаго, какимъ оно было, когда наказаніе имѣло характеръ очищенія. Карающая власть снимаетъ съ себя религіозный нарядъ и облекается въ мундиръ, дѣйствіе ея становится прямо политическимъ, все относящимъ къ государю, карающимъ прежде всего за нарушеніе государева мира, за оскорбленіе величества. Логическіе пріемы въ сущности тѣ же, какими были прежде—уравненіе зла дѣянія со зломъ наказанія; убійства, воровства, кражи съ извѣстными лишеніями, страданіями, но самъ корень разсчета измѣнился, такса на преступленіе безмѣрно повышена, основаніе разсчета стало идеальнѣе. Преслѣдуется не вредитель, а лихой человѣкъ и озорникъ. Онъ расплачивается не состояніемъ своимъ, а головою или членами тѣла, которое подвергаетъ сѣченію, полосованію, искалѣченію, причемъ изумительною становится изобрѣтательность изыскиваемыхъ средствъ и орудій мученія. Власть свирѣпствовала, дѣйствовала не по праву карать, а по неоспариваемой никѣмъ обязанности карать и пользуясь услугами многочисленныхъ болѣе усердныхъ, нежели разборчивыхъ исполнителей, отъ которыхъ и не требовались чувство, убѣжденіе, совѣстливость.

Когда была исполнена задача централизаціи, когда

матеріальный порядокъ былъ водворенъ, то-есть когда была установлена законность по государственному закону, тогда наступило смягченіе нравовъ, быстрое уменьшеніе проявленія дикихъ страстей и вмѣстѣ съ тѣмъ ослабленіе наказаній, соотвѣтствующее превращенію каранія изъ долга государства въ его право, изъ неограниченнаго въ ограниченное. Произошло громадное, быстрое, заходящее даже за нормальные предѣлы, пониженіе уголовной таксы. Система измѣнилась: она была террористическая—она превратилась въ исправительную. Злоупотребленія острасткою подорвали вѣру въ дѣйствительность этой острастки. Ограниченіе права карать повело къ тому, что на казнь государству выдаваемы были только субъекты, изобличенные надлежащимъ образомъ въ извѣстномъ законопротивномъ дѣяніи. Отмѣнены предустановленные признаки преступности, при наличности которыхъ судьи примѣняли наказаніе чисто механически, и осужденіе возложено на совѣсть судей—людей, мало способныхъ вообще къ выполненію этой именно задачи, потому что они вносятъ въ эту работу весь формализмъ и всѣ тонкости казуистики, къ которой они приноровились въ гражданскомъ правѣ, и привыкли анализировать само дѣяніе, отсѣченное отъ личности дѣйствовавшаго человѣка. Привожу мѣткія выраженія Тарда (484): «когда законъ оставилъ судей безъ компаса, безъ возможности оріентироваться, сказавъ имъ только: судите по совѣсти,—то они стали заботиться только о томъ, чтобы искупить безграничнымъ снисхожденіемъ свое полновластіе, лишенное направленія, вслѣдствіе чего этотъ полновластный судъ сдѣлался крайне слабымъ». Когда нашли, что правительственные судьи плохо дѣйствуютъ и передали сужденіе о винѣ присяжнымъ засѣдателямъ, вышло караніе еще слабѣе прежняго, потому что присяжные рѣшаютъ только по эмоціямъ; съ одной стороны, негодованіе, съ другой—жалость къ имѣющему быть наказаннымъ, и послѣднее чувство во многихъ случаяхъ береть рѣшительно перевѣсъ. Благодушіе при-

сяжныхъ вошло въ пословицу, и необходимость заставляетъ нынѣ озаботиться усиленіемъ наказаній. По мнѣнію Тарда, открывается въ перспективѣ новый фазисъ наказанія, юстиція—не исправительная, а просто санитарная. Окончательная черта ея—усиленіе строгости. Какъ усилить строгость? укрѣпивъ чувство негодованія въ судьяхъ? Каковъ бы судъ не былъ, осужденіе опорочиваетъ подсудимаго, оно есть выраженіе порицанія, соединяющаго всѣхъ честныхъ людей въ государствѣ въ дружномъ ихъ моральномъ и матеріальномъ противодѣйствіи преступленію,—противодѣйствіи, которое становится плотиною, защищающею общество отъ преступниковъ и ихъ единомышленниковъ, которыхъ много. Оно, по словамъ Тарда, *сгущенный утилитаризмъ всего человѣческаго рода, совокупность нажитыхъ достовѣрностей*, сдѣлавшихся автоматическими выводами изъ безчисленныхъ опытовъ надъ общевреднымъ, сопровождаемыхъ такими же опытами надъ общеполезнымъ, совокупность выработанныхъ категорическихъ императивовъ. Въ этомъ негодованіи нѣтъ ничего предвзятаго, страстнаго, излишняго. При усиливающемся пониманіи отношеній и вслѣдствіе того при извиненіи многаго, весьма многіе уголовные случаи будутъ разрѣшаемы оправдательными приговорами, по чувству тоже не безотчетному, но логически обоснованному—состраданію къ лицу, совершившему гадкое дѣло по нуждѣ, по дурному питанію мозга, по скрытой эпилепсіи; но какова бы ни была снисходительность, она не дойдетъ никогда до принципіальнаго всеизвиненія и всепрощенія. «Видѣть въ преступникѣ,—говоритъ Тардъ,—только опасное существо, а не виновнаго человѣка, значитъ требовать, чтобы криминалисты, а вслѣдъ за ними и публика судили о преступленіи и наказаніи только интеллектуально, отрѣшась отъ всякой эмоціи и всякаго порицанія. Когда перестанутъ ненавидѣть и порицать злодѣя, злодѣянія расплодятся». Тардъ отвергаетъ ледяной и безсердечный коллективизмъ, безъ негодованія и милосердія,—кото-

рому приказываютъ работать, какъ работаетъ мясникъ, и которому запрещаютъ энергически заклеймить порицаніемъ то, что подлежитъ отсѣченію и изверженію. Тардъ усматриваетъ въ этой системѣ безсердечія итальянской школы остатокъ экономической теоріи, основанной на началѣ чистаго эгоизма, которая внушила Дарвину его основную идею борьбы за существованіе. Нынѣшняя политическая экономія ищетъ другихъ началъ, кромѣ борьбы на жизнь и смерть, и соціологія будетъ искать тоже иныхъ, кромѣ права силы, кромѣ права кулачнаго. Общество не можетъ не утилизировать негодованія возбуждаемаго нравственнымъ зломъ, какъ не можетъ не утилизировать чувства состраданія, то-есть оно должно организовать и осуществить родъ государственнаго соціализма въ пользу падшихъ людей, преступниковъ.

Такимъ образомъ, вопреки итальянцамъ, возстановляются въ уголовномъ правѣ, хотя осуществляющемъ утилитарныя цѣли, невыдѣлимые изъ дѣйствованія человѣческаго,—каково бы оно ни было,—элементы этическіе и эстетическіе: нравственнаго добра и красоты. При возстановленіи уже существовавшихъ и продолжающихъ существовать началъ *либерализма* и *гуманизма*, спрашивается, въ чемъ будетъ заключаться характеристика грядущаго, усматриваемаго Тардомъ, новаго четвертаго періода, санитарнаго, послѣ трехъ предъидущихъ: очищенія, острастки и исправленія? Каждый изъ трехъ завершившихся періодовъ имѣлъ своеобразную систему наказаній, соотвѣтствующую особенному воззрѣнію на преступленіе. Первому свойственны были жертвоприношенія, виры, окупы, анаѳемы; второму—колесованіе, отсѣченіе головы и членовъ, кнутованіе и тому подобныя кровавыя экзекуціи; третьему—ссылка и срочныя лишенія свободы. Оказывается, что все исчерпано, что ничего нельзя придумать новаго, а есть кой-какія измѣненія уже существующаго, которое можно дополнить и въ нѣкоторыхъ частяхъ усовершенствовать.

Такимъ образомъ, въ лицѣ Тарда, мы получаемъ постепеннаго и раціональнаго реформатора, а не радикалиста-революціонера. Идея его о реформахъ, въ смыслѣ наказанія, сводится къ нижеслѣдующему.

Мы пережили религіозный вѣкъ, наказаніе не содержитъ въ себѣ ничего мистическаго. Съ другой стороны, общество наше изъ военнаго преображается въ промышленное; наши современники имѣютъ утонченные нравы и слабые, весьма чувствительные нервы; всякая мысль о тѣлесныхъ наказаніяхъ и о смертной казни имъ невыносима и противна. Въ распоряженіи законодателя оставались только два средства: ссылка и тюрьма, но ссылка видимо убываетъ и изчезаетъ, и остается одна тюрьма. Если она сама по себѣ не въ надлежащей степени внушительна—удлинняйте ее, доводите до безсрочности. Если она неисправительна—постарайтесь дѣлать ее болѣе исправительною. Эта послѣдняя цѣль достигается не однѣми механическими мѣрами, но педагогическою и этическою пропагандою, активною любовью, пронимающею, въ концѣ концовъ, и заражающею даже закоренѣлыхъ злодѣевъ,—конечно, не всѣхъ, но многихъ. Государство не успѣетъ исполнить свою задачу, если оно не озаботится подобрать подходящій персоналъ и преданныхъ тюремному дѣлу людей и если оно не заручится активнѣйшимъ содѣйствіемъ самого общества, организующихся въ немъ патронатствъ и посвящающихъ себя тюремному дѣлу добровольцевъ изъ частныхъ лицъ.

Это не ново;—каковы же другія предложенія? Сумасшедшихъ необходимо выдѣлить и содержать ихъ не въ предлагаемыхъ итальянскою школою *маникоміяхъ*, а въ настоящихъ психіатрическихъ клиникахъ, занимающихъ средину между больницею и тюрьмою, то есть въ пріютахъ для лицъ, находящихся въ состояніи невмѣняемости, неспособныхъ по своей опасности къ гражданскому общежитію. Затѣмъ необходима еще другая сортировка. Слѣдуетъ изъ общей массы вынуть людей,

случайно впавшихъ въ преступленіе, и даже рецидивистовъ еще не хроническихъ, но только по слабости характера. Тардъ не былъ бы противенъ содержанію наказуемыхъ въ общихъ камерахъ съ заключеніемъ одиночнымъ только по ночамъ; онъ бы не требовалъ даже строгаго и безусловнаго отдѣленія мужчинъ и женщинъ при дневныхъ работахъ. Но онъ сильно стоитъ за отдѣленіе горожанъ и сельчанъ и за устроеніе для сельскихъ преступниковъ спеціально-земледѣльческихъ работъ, а не городскихъ ремесленныхъ, которыя содѣйствуютъ только столь пагубному нынѣ переходу выпускаемыхъ изъ тюремъ въ большіе городскіе центры, гдѣ они обыкновенно увеличиваютъ только численность городскихъ мазуриковъ и проститутокъ. Для хроническихъ рецидивистовъ мѣньшаго калибра Тардъ предполагаетъ устраивать особыя отдѣленія. Что касается до болѣе тяжкихъ, то XIX вѣкъ усовершенствовалъ два средства: уголовную колонизацію (Австралія) и келейное заключеніе—сколокъ съ монастырскаго. Бывали и попытки совокупленія обѣихъ мѣръ, либо ссылая послѣ келейнаго заключенія, либо предназначая келейное заключеніе для мелкихъ, а ссылку для крупныхъ преступниковъ. Одолѣло келейное заключеніе, ссылка нынѣ регрессируетъ. Нельзя создать колонію изъ однихъ преступниковъ; коль скоро же въ колоніи имѣется ядро свободнаго, не-уголовнаго населенія, то оно не можетъ не противиться всячески дальнѣйшей эвакуаціи въ колонію сквернѣйшихъ заразныхъ отложеній метрополіи. Наконецъ для колонизаціи годились бы только одни ссыльные изъ крестьянъ. Наконецъ ссылка не устрашительна. Мало-мальски колонія успѣваетъ,—уже разыгрывается воображеніе у попавшихся подъ судъ преступниковъ, и они порываются, какъ бы попасть въ эту ссылку. Келейное, одиночное заключеніе, которое осталось побѣдителемъ, можетъ быть сдѣлано суррогатомъ смерти, почти одинаково съ нею страшнымъ. Если смертная казнь отмѣнена, то необходимо оставить безсрочную тюрьму съ келейнымъ

заключеніемъ на большое число лѣтъ. Для лицъ, подающихъ хотя бы слабую надежду на исправленіе, одиночное заключеніе должно быть умѣренное по времени, съ извѣстнымъ періодомъ для испытанія, при посѣщеніяхъ, со стороны сердобольныхъ членовъ тюремныхъ патронатствъ. Тардъ совѣтуетъ вербовать въ эти патронатства побольше небогатыхъ людей, потому что богатые въ тюрьмы обыкновенно не идутъ, а дожидаются, пока къ нимъ не обратятся за помощью освобожденные, и участіе ихъ болѣе денежное, нежели сердечное. Заключеніе можетъ быть значительно сокращено замѣною части его, по мѣрѣ поведенія арестанта, досрочнымъ, условнымъ отпускомъ на волю, который, въ связи съ дѣятельностью пріискивающихъ отпускаемымъ работу патронатствъ, содѣйствуетъ обратному водворенію въ обществѣ наказаннаго человѣка на болѣе благопріятныхъ для него, нежели до совершенія преступленія внѣшнихъ условіяхъ быта. Сначала въ Бельгіи, а потомъ, въ 1890 г., во Франціи установлена для менѣе важныхъ проступковъ система условныхъ освобожденій отъ наказанія для впервые провинившихся осужденныхъ, если они не попадутся вторично въ теченіе извѣстнаго числа лѣтъ. Объ этомъ нововведеніи, которому посвящено было столько времени на пенитенціарномъ конгрессѣ 1890 г. въ С.-Петербургѣ, нѣтъ еще ни слова въ книгѣ Тарда; оно пошло въ ходъ, когда книга издавалась.

Изъ всѣхъ вопросовъ, возбуждаемыхъ системою наказаній, выдѣляется у Тарда одинъ, поставленный особо, вопросъ самый заѣзженный, можетъ быть, и избитый— *о смертной казни*, затормозившійся въ послѣднее время, вслѣдствіе возврата европейскаго общества къ милитаризму, къ ожесточенію въ нравахъ. Онъ стоитъ нынѣ, такъ сказать, на точкѣ замерзанія. Для насъ въ Россіи вопросъ этотъ имѣетъ интересъ, какъ говорятъ, чисто академическій, то есть лишенный практическаго значенія. Онъ притомъ имѣетъ у насъ обратную, по сравненію съ положеніемъ его въ Европѣ, постановку. У насъ смертная

казнь есть и будетъ долгое время нормальнымъ наказаніемъ за главнѣйшія политическія преступленія; тамъ вообще за политическія преступленія она отмѣнена и оставлена лишь за общія или, лучше сказать, за одно смертоубійство, между тѣмъ какъ съ 1754 г., то-есть въ теченіе полутораста лѣтъ, Россія по принципу обходится безъ смертной казни въ обыкновенномъ порядкѣ судопроизводства (т.-е. не въ военныхъ судахъ) для обыкновенныхъ преступленій и не предвидится возможности возврата къ примѣненію ея за эти преступленія. Самъ вопросъ о смертной казни не есть вопросъ логическій, разрѣшаемый на основаніи убѣждающихъ рзаумъ доводовъ, а только вопросъ для чувства. Логически всѣ доводы противъ смертной казни весьма бѣдны и неудовлетворительны. Говорятъ, что она неотмѣнима, недѣлима, что дѣлаетъ рекламу убійцамъ и развиваетъ подражательность въ стекающихся наблюдать ее зрителяхъ, что она драматизируетъ событіе, которое надлежало бы покрыть забвеніемъ. Корень отвращенія отъ этой казни иной — эмоціональный, чисто физіологическій. Онъ заключается въ ужасѣ, который внушаетъ само воображаемое представленіе о качающемся въ судорогахъ на висѣлицѣ и о томъ, которому отрубаютъ голову. Возмущаетъ насъ притомъ не сама воображаемая жестокая мука, а связанная съ нею идея. Видъ тысячи тѣлъ, изуродованныхъ, покрывающихъ поле битвы, видъ хирургическихъ операцій, самоубійцъ, даже представленіе о принимающемъ ядъ Сократѣ или о какомъ-нибудь римлянинѣ, которому императоръ предоставилъ избирать родъ смерти, не производятъ на насъ подобнаго впечатлѣнія. Насъ раздражаетъ то, что смертная казнь подобна кнутованію, бичеванію, вообще тѣлеснымъ казнямъ, что она — ненужное истязаніе и поруганіе тѣла человѣческаго, котораго не выносятъ нервы людей въ обществѣ, дошедшемъ до извѣстной степени цивилизаціи, безъ предварителельнаго убѣжденія, достаточными резонами въ томъ, что эти истязанія неизбѣжны и необходимы.

Сильное, лѣтъ тридцать тому назадъ, движеніе въ пользу отмѣны смертной казни остановилось. Въ жизни остановка движенія бываетъ почти всегда началомъ обратнаго движенія, началомъ регресса. Еслибы была неопровержимо установлена логическая необходимость лишать жизни ежегодно нѣсколько десятковъ злодѣевъ и еслибы былъ изобрѣтенъ способъ убивать ихъ мгновенно безъ страданій и безъ разсѣченія на части или уродованія посредствомъ сильнѣйшихъ ядовъ или электричества, то неизбѣжно возникла бы мысль объ элиминированіи такимъ образомъ отчаянныхъ злодѣевъ, которыхъ исправленіе невозможно, и мысль эту усвоило бы себѣ законодательство. Возможенъ ли возвратъ къ суровости, къ возстановленію смертной казни тамъ, гдѣ она уже была законодательнымъ порядкомъ отмѣнена? Тардъ полагаетъ, что онъ возможенъ. Мы переживаемъ критическій моментъ внезапнаго подъема милитаризма, смертная казнь—родная сестра войны. Если мы не только не возмущаемся, когда десятки тысячъ людей гибнутъ разомъ въ жестокихъ мукахъ на полѣ битвы, но прославляемъ эту рѣзню и несемъ охотно на алтарь отечества свои собственныя жизни, то что́ въ сравненіи съ тѣмъ нѣсколько сотенъ нашихъ собратьевъ, болѣе похожихъ на звѣрей, чѣмъ на людей, которыхъ бы пришлось для общественной безопасности извести? При томъ наша чувствительность во многихъ отношеніяхъ фальшивая, наше кровеотвращеніе напускное и искуственное. Обыкновенно сочувствуютъ человѣку, который мститъ за свою опороченную честь револьверомъ, женщинѣ, которая расправляется съ покинувшимъ ее любовникомъ сѣрною кислотою, мужу, убивающему на мѣстѣ невѣрную жену или сообщника ея, прелюбодѣя. Въ воскрешеніи и возстаніи считавшейся отжившею смертной казни виноватъ, впрочемъ, не милитаризмъ. Причина глубже, Тардъ ее прямо указываетъ. Она—въ господствѣ Дарвинизма, въ ученіи, которое возводитъ въ законъ природы борьбу за

существованіе и внушаетъ всякому существу слабѣйшему: умри и пропадай. Вся философія Тарда есть сплошной протестъ противъ Дарвинизма; она—краснорѣчивое исповѣданіе вѣры въ то, что возвратъ къ языческому духу не будетъ длиться, что побѣдитъ его другое міросозерцаніе, какъ бы его ни называли: гуманизмъ, соціализмъ, въ сущности воспрянувшій опять христіанскій духъ въ его чистѣйшей квинтъ-эссенціи. Этотъ соціалистическій духъ общественности совершаетъ медленно свою невидимую подземную работу. Когда онъ такимъ образомъ растянетъ на далекое разстояніе свою ткань сходствъ и тождествъ, идейныхъ и эмоціонныхъ подражаній, тогда и появится религія или философія, соединяющая людей въ одномъ общемъ религіозномъ или даже и не-религіозномъ идеалѣ. Это начинающееся широкое космополитическое братство одолѣетъ въ будущемъ даже и самую войну, не по сознанной общечеловѣческой солидарности матеріальныхъ интересовъ, но по развитію и усиленію симпатичныхъ чувствъ, вслѣдствіе дѣлающагося все болѣе и болѣе крѣпкимъ международнаго общенія. Тардъ убѣжденъ въ успѣшности этой невидимой работы. Она сопровождается двумя отрицательными признаками, которыхъ однако не надобно пугаться: ослабленіемъ догматическихъ вѣрованій и недовольствомъ жизнью или пессимизмомъ. Сумма вѣрованій и желаній у человѣка, можно сказать, одна и та же; но чѣмъ кто образованнѣе, тѣмъ у него больше количество идей, между которыми распредѣляется его бюджетъ вѣрованій; онъ размѣненъ на малые атомы—человѣкъ становится скептикомъ. Съ другой стороны, и бюджетъ желаній израсходованъ на безчисленное множество потребностей, изъ коихъ ни одна не увлекаетъ его страстно; онъ скучаетъ и тяготится жизнью. Мы всѣ заражены этою болѣзнью вѣка. Тардъ превосходно объясняетъ, какъ при этихъ двухъ недугахъ, скептицизмѣ и пессимизмѣ, изъ нихъ же вытекаетъ то разрѣшеніе вопроса о смертной казни, котораго добиваются

аболиціонисты. Эта страница (554) столь краснорѣчива, что я привожу ее цѣликомъ: «Сдѣлавшись скептикомъ и—что еще хуже—пессимистомъ, общество обязано дать созрѣть красивому нравственному плоду, отъ этихъ настроеній исходящему, а именно милосердію (pitié). Преступникъ не въ правѣ его требовать—вотъ почему я и не утверждаю, чтобы общество обязано было давать ему жизнь по какому-то метафизическому праву. Оно дѣлаетъ это только по великодушію (générosité, clémence), вполнѣ сознавая возвышенность своего мотива. Не надо ему внушать, что оно дѣлаетъ хорошій разсчетъ, когда слѣдуетъ влеченію своего сердца. Оно рискуетъ, но обязано нести послѣдствія этого риска. Идеалъ утилитаріанцевъ—безстрастное общество, разящее людей безъ мести и прощенія,—несбыточенъ. Какъ бы ни втолковывали безсердечіе, общество будетъ продолжать прощать и мстить, но его месть будетъ не мужественная и его прощеніе не будетъ доброе,—то и другое будетъ нѣсколько подловатое (lâche) и въ его перемежающихся отместкахъ, а еще болѣе въ амнистіяхъ. Боязнь зла, почетъ злу, удивленіе злу—это все подлости, существующія съ-поконъ вѣка. Нынѣшнему обществу подобаетъ не родить, но развить менѣе опасное и болѣе благородное чувство снисхожденія къ злу». Это снисхожденіе, даруя жизнь, должно однако обречь злодѣя на достойную его участь. Иными словами, необходимо одно изъ двухъ: либо оставить или даже расширить смертную казнь, смягчая ее до безболѣзненнаго и неуродующаго тѣла лишенія жизни, либо замѣнить ее тяжелою и трудовою жизнью, откровеннымъ, а не притворнымъ и стыдящимся возвратомъ къ тѣлеснымъ наказаніямъ, насколько ихъ будетъ требовать тюремная дисциплина.

Итакъ, и въ ученіи о преступленіи, и въ ученіи о наказаніи, побивая побѣдоносно итальянскихъ криминалистовъ, Тардъ не является вовсе новаторомъ. Онъ одерживаетъ эту побѣду старыми средствами, которыми уже пользовались криминалисты-классики. Совсѣмъ иное

впечатлѣніе производитъ послѣдній отдѣлъ его теоріи, посвященный суду и рѣшенію. Здѣсь онъ круто поворачиваетъ, переходитъ на сторону противниковъ, соединяется съ ними въ энергическомъ порицаніи суда присяжныхъ, не по причинѣ тѣхъ или другихъ подробностей, но по самой коренной идеѣ учрежденія, и склоняется къ передачѣ судейской функціи совершенно инымъ лицамъ,—не тѣмъ, которые засѣдали до-нынѣ за судейскимъ столомъ или на скамьѣ присяжныхъ; но тѣмъ, которымъ надлежало бы предпочтительнѣе предъ ними поручить исправленіе судейскихъ обязанностей по духу нашего, наукѣ поклоняющагося, времени.

Судъ есть своего рода изслѣдователь истины. Дѣятельность его направлена къ тому, чтобы установить съ наибольшимъ правдоподобіемъ, какъ бы тому ни противились заинтересованныя въ дѣлѣ стороны: *во-первыхъ*: кто совершилъ предполагаемое въ данномъ случаѣ преступленіе; *во-вторыхъ*: какая въ этомъ дѣлѣ степень его вины и отвѣтственности. Доказательства, посредствомъ какихъ судья доходитъ до истины, суть общія логическія основанія убѣжденій въ истинѣ. Такимъ образомъ вопросъ о доказательствѣ не есть юридическій вопросъ, а логическій, разрѣшаемый посредствомъ знанія и по методу и философіи извѣстной эпохи. Исторія судебныхъ доказательствъ есть исторія самой познавательной дѣятельности нашего ума. Главные характерные фазисы этой исторія были слѣдующіе.

Былъ въ судопроизводствѣ періодъ миѳическій, мистическій, соотвѣтствующій состоянію ума дѣтскому, отличающемуся невозможностью додуматься до истины. Человѣкъ мнилъ себя окруженнымъ богами, духами, вѣрилъ имъ и сообщался съ ними; для разрѣшенія же неразрѣшимыхъ по его познаніямъ споровъ прибѣгалъ къ этимъ богамъ, къ оракулу, къ жребію, къ ордаліямъ, гадалъ объ истинѣ посредствомъ раскаленнаго желѣза, кипятка, поединка. Онъ вооружалъ спорщиковъ дубинами или мечами и заставлялъ ихъ выходить на поле,

биться. Кто побѣждалъ, за тѣмъ была и правда Божія. Наступилъ затѣмъ фазисъ судопроизводства другой. Мѣсто суевѣрія занялъ раціонализмъ сухой и грубый, насилованіе истины исторганіемъ ея изъ лживыхъ устъ запирающагося обвиняемаго, постоянное прибѣганіе къ особой экспертизѣ, въ которой экспертомъ былъ заплечныхъ дѣлъ мастеръ или палачъ. Слагалось между тѣмъ государство; оно искореняло лихихъ людей, оно возлагало за нихъ отвѣтственность на общины, оно дѣлало повальные обыски о лихихъ людяхъ, вызывало въ Англіи представителей общинъ ad vere dicendum, кто въ данномъ преступленіи виноватъ, — таково начало англійскаго *джюри* (jurata), къ которому въ Англіи перешли прямо отъ ордалій. На материкѣ Европы ходъ развитія былъ иной. Вытащено римское право, юстиція перешла въ руки ученыхъ романистовъ и судъ былъ построенъ на весьма грубомъ, хотя и не лишенномъ нѣкоторой логики основаніи, что осужденіе недостовѣрно, пока самъ подсудимый не признался, и что человѣкъ вообще правдолюбивъ; если же онъ запирается и лжетъ, то онъ это дѣлаетъ не безъ особаго волевого усилія, такъ что посредствомъ физическаго его развитія можно уничтожить этотъ нравственный тормозъ и добыть самую истину изъ устъ, раскрываемыхъ мукою. Ужасно было только то, на что закрывали глаза,—что на мученіе могъ быть взятъ и совсѣмъ невиновный человѣкъ, который, бывъ истязуемъ, могъ взвести на себя всякія небылицы. Этотъ такъ-называемый *инквизиціонный* процессъ просуществовалъ до половины XVIII-го в., до Беккаріи (1764. Dei delitti e delle pene). Когда отъ него отсѣкли пытку, то юстиція явилась выхолощенною, беззубою. Законники-рутинисты, по лишеніи ихъ пытки, не могли уже справиться съ своимъ дѣломъ посредствомъ остальныхъ своихъ доказательствъ; они не съумѣли даже выработать достовѣрность по совокупности уликъ, то-есть по мотивированному убѣжденію, какъ рѣшаютъ вопросы научные изслѣдователи истины.

Тогда-то и насталъ новый періодъ, объяснимый только подражательностью. Изъ Англіи заимствованъ былъ сдѣлавшійся моднымъ институтъ джюри, дурно понятый и перенаряженный, и онъ съ неимовѣрною быстротою распространился и обошелъ кругомъ весь шаръ земной. Распространеніе этого института совпадаетъ съ другими родственными ему явленіями современности, изъ одного съ нимъ источника происходящими, съ souveraineté du peuple, всеобщею подачею голосовъ, съ либеральными и конституціонными учрежденіями, съ романтизмомъ. Основаніе заимствованія заключалось тоже въ суевѣріи, хотя иного рода, въ мистической вѣрѣ въ здравый человѣческій смыслъ, однимъ чутьемъ, по слѣпому инстинкту открывающій сразу то, чего записные изслѣдователи-законники не откроютъ по своей близорукости, и въ абсолютную безошибочность общественнаго мнѣнія толпы. Подъ вліяніемъ увлеченія институтъ разросся не въ мѣру и облекся въ уродливыя формы. На родинѣ, въ Англіи, онъ былъ только доказательствомъ посредствомъ вердикта присяжныхъ и не употреблялся, когда подсудимый дѣлалъ признаніе (pleaded guilty). На материкѣ присяжные стали судьями факта, хотя бы признаніе существовало полное, судьями полной вины, — слѣдовательно, косвенно они и рѣшители наказанія. Вслѣдствіе принципіальнаго возложенія участи обвиняемаго на ихъ совѣсть, безъ требованія отъ нея какого-либо отчета, они пріобрѣли фактически власть помилованія, во владѣніе и пользованіе коимъ имъ помогли войти услужливые куртизаны, заискивающіе у всякихъ власть имущихъ. Итальянскіе позитивисты издѣваются надъ институтомъ (Гарофало называетъ его дикимъ — institution barogue du jury). Тардъ присоединяется къ этому осужденію, обвиняетъ присяжныхъ въ невѣжествѣ, непослѣдовательности, перемѣнчивости убѣжденій, трусости, неспособности быть самостоятельными по отношенію къ общественному мнѣнію. Выборъ ихъ совершается безсмы-

сленнымъ образомъ по жребію; всѣ лица которыя познергичнѣе или посмышленѣе, отводятся сторонами; выбаллотировываются такимъ образомъ однѣ посредственности. Эта малая толика воды, зачерпнутой, такъ сказать, ладонью изъ воды морской, не выражаетъ даже и общественнаго мнѣнія, потому что она была изолирована искуственно и заворожена вкрадчивыми рѣчами искусителей — обвинителей или защитниковъ. «Никто изъ мошенниковъ не боится присяжныхъ, но никто изъ честныхъ людей ихъ не уважаетъ. Недовѣріе къ нимъ полное, конецъ ихъ близится». Введеніе института было во время оно́ прогрессомъ, его существованіе нынѣ равносильно застою. Нѣтъ учрежденія коснѣе присяжныхъ; никогда нельзя на нихъ разсчитывать, когда для общества необходимо быть построже, подтянуть или приструнить — вотъ почему вездѣ прибѣгаютъ къ такъ-называемой correctionalisation des délits, къ изъятію изъ ихъ вѣденія менѣе тяжкихъ преступленій. По мнѣнію Тарда, самъ институтъ обреченъ на сломку; весь вопросъ въ томъ, чѣмъ замѣстить присяжныхъ.

На этотъ вопросъ отвѣтъ готовъ у итальянцевъ, по мнѣнію которыхъ судьи нужны собственно только для разрѣшенія вопроса, совершено ли извѣстнымъ лицомъ дѣяніе, обнаруживающее опасность для общества со стороны его виновника. Затѣмъ наказанія собственно и нѣтъ, а необходимъ только классификаторъ, который бы, зная антропологію и психологію, пощупалъ, измѣрилъ и наблюлъ виновника, да отнесъ бы въ одинъ изъ предустановленныхъ разрядовъ: прирожденныхъ, профессіональныхъ или случайныхъ преступниковъ, послѣ чего виновный и нашелъ бы подобающее ему мѣсто въ пенитенціарномъ звѣринцѣ. Вѣдь онъ и судится не за свое дѣяніе, а только за свою temibilità. Но Тардъ не сошелся съ итальянцами; онъ — настоящій криминалистъ, онъ судитъ лицъ, которымъ вмѣняются ихъ поступки, лицъ отвѣтственныхъ. Онъ высказывается рѣшительно противъ перехода членовъ по очереди изъ

гражданскихъ отдѣленій суда въ уголовные и, наоборотъ; онъ полагаетъ, что будущіе уголовные судьи должны быть спеціалисты - аліенисты, изучавшіе физіологію, психологію и соціологію, напрактиковавшіеся изучать арестантовъ, посѣщая ихъ въ тюрьмахъ во время своего стажа или кандидатуры. Тардъ настаиваетъ на пользѣ предлагаемаго имъ и позаимствованнаго у Бентама способа голосованія судей баллами о виновности, выражающими степень увѣренности судей въ виновности субъекта. Полной увѣренности въ виновности почти никогда не бываетъ. за исключеніемъ рѣдкихъ случаевъ полнаго признанія, совпадающаго съ обстоятельствами дѣла; но какъ хирургъ рѣшается на рискованную операцію не потому, чтобы онъ отрицалъ возможность леченія и безъ операціи, но потому, что временить и колебаться было бы опасно, такъ и судья не можетъ задерживать дѣйствія правосудія, хотя не всѣ сомнѣнія очистились, и подвергать риску общественную безопасность. Тардъ бы предложилъ, какъ на экзаменахъ, баллотированіе баллами отъ 1 до 5, съ достаточными для осужденія 3 въ среднемъ выводѣ. Онъ бы желалъ, — если бы первое предложеніе не было принято,—чтобы судъ могъ, какъ въ Римѣ, произнести non liquet или, какъ въ шотландскомъ процессѣ: not proven, вмѣсто not guilty — невиновенъ. Простые случаи будутъ рѣшаться безъ экспертовъ; во всѣхъ дѣлахъ съ загадочнымъ пунктомъ, съ вопросами, требующими великаго знанія глубокой науки, судьямъ должны помогать будущіе замѣстители нынѣшняго джюри, ученые эксперты. Тардъ выражается довольно неопредѣленно, что онъ не желаетъ превращенія экспертовъ въ судей, что заключеніе экспертовъ должно быть только высшимъ средствомъ разъясненія (moyen supérieur d'information mis à la disposition de la justice); но съ другой стороны онъ полагаетъ, что заключеніе этого ученаго jury будетъ чѣмъ-то въ родѣ *законнаго* доказательства,—значитъ, доказательства, обязательнаго для суда. Изъ этихъ словъ я заключаю, что роль эксперт-

товъ измѣнится, что изъ простыхъ орудій наблюденія, которыми судъ можетъ по произволу пользоваться или не пользоваться въ трудныхъ вопросахъ, выходящихъ за предѣлы судейскаго знанія, комплектъ ученыхъ спеціалистовъ явится окончательно рѣшителемъ спорнаго и только наукѣ доступнаго факта, и что единогласное рѣшеніе ихъ будетъ нормою для судьи.

Таковы идеи Тарда о будущемъ судоустройствѣ, идеи болѣе блестящія, нежели солидныя; въ нихъ меньше послѣдовательности, нежели у итальянскихъ позитивистовъ, можно сказать, что онѣ—мечты воображенія. Устранимъ прежде всего неудачную попытку связать джюри съ экспертизою и представить ученую экспертизу какъ преемника и замѣстителя джюри. Эти два предмета не сочетаются, не имѣютъ ничего общаго. Наши законы, давая и сторонамъ, и суду, какъ уголовному, такъ и гражданскому, черпать матеріалы для рѣшенія изъ сокровищницы науки, не признаютъ однако экспертизы доказательствомъ; она—только повѣрка доказательствъ. Судьямъ дано на волю уважать экспертизу или не уважать и, отклонивъ отъ себя эти результаты глубокаго, можетъ быть, знанія, вопреки имъ постановлять рѣшеніе. Надо признать, что можно бы всякую научную экспертизу (не только судебно-медицинскую) въ обоихъ процессахъ, и гражданскомъ, и уголовномъ, поставить иначе, организовать постоянныя коллегіи экспертовъ, опредѣлить ихъ составъ, потребовать, чтобы судъ очертилъ въ каждомъ данномъ случаѣ предѣлы области, внутри которыхъ, не будучи компетентнымъ по недостаточности своего знанія, онъ требуетъ не заключенія, а приговора экспертовъ. Единогласнымъ и категорическимъ изреченіямъ экспертовъ законодательство могло бы сообщить значеніе непререкаемыхъ доказательствъ, которыми судьи коронные обязаны были-бы руководствоваться. Для присяжныхъ такое отношеніе къ экспертизѣ невозможно, такъ какъ законы ничѣмъ не ограничиваютъ ихъ при рѣшеніи о виновности и даже

о событіи преступленія, но само собою разумѣется, что въ своей заключительной рѣчи предсѣдатель обязанъ былъ бы преподать взглядъ законодателя на экспертизу, какъ на выводъ, сдѣланный знатоками дѣла и по закону пользующійся неопровержимымъ авторитетомъ. Не вхожу въ разборъ того, наступитъ ли когда-либо такое преобразованіе, или даже того, желательно ли оно или нежелательно; я хотѣлъ только установить то положеніе, что преобразованіе можетъ быть произведено безъ того, чтобы пришлось тронуть или уничтожить присяжныхъ.

Итакъ, вопросъ не въ спеціалистахъ-техникахъ и не въ мѣстѣ, имъ занимаемомъ. Они оказываютъ нынѣ услуги, а въ будущемъ могутъ оказывать еще бо́льшія. Вопросъ и не въ судьяхъ, какъ бы высоко ни подымать ихъ образовательный цензъ, хотя бы совсѣмъ воспретили брать ихъ изъ составовъ гражданскихъ отдѣленій, хотя бы ихъ заставили держать экзамены изъ тюрьмовѣденія, психологіи и психіатріи. То будутъ второстепенныя качества и квалификаціи, а главная функція судьи та же:—онъ блюститель и истолкователь закона, на то поставленный, чтобы растягивать и выпрямлять этотъ законъ дедуктивно и казуистически,—а это становится возможнымъ только тогда, когда самыя явленія жизни онъ будетъ разсматривать абстрактно, перенося эти явленія въ область безцвѣтныхъ и лишенныхъ живаго, конкретнаго содержанія законодательныхъ предусмотрѣній, то-есть чистѣйшихъ отвлеченностей. Тардъ думаетъ, что судьи потому бываютъ такіе формалисты и византійцы, что въ школѣ зубрили римское право, которое потомъ примѣняли и въ судѣ. Я утверждаю противное. Посадите на судейское кресло не романиста, а психолога или натуралиста, но заставьте его продѣлывать много лѣтъ судейскую работу—и, въ силу своихъ постоянныхъ занятій, онъ сдѣлается казуистомъ и законникомъ. Безъ законниковъ не можетъ быть суда. Отъ правительства поставленный на то, чтобы судить, законникъ — будь онъ даже несмѣняе-

мый — имѣетъ неминуемо слѣдующія — не скажу недостатки, но односторонности: прежде всего онъ отвлеченный человѣкъ, отъ міра сего отошедшій и витающій въ заоблачныхъ абстракціяхъ; во-вторыхъ, такъ какъ онъ правительствомъ поставленъ судить, то во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ государство находится по своимъ интересамъ въ коллизіи съ интересами гражданскаго общества, съ правами гражданъ, онъ — не безпристрастный рѣшитель и будетъ тянуть въ сторону государства. Наконецъ, въ-третьихъ, не ждите отъ него надлежащаго проявленія чувствъ негодованія и сострадания по отношенію къ подсудимому, которыми, по мнѣнію не итальянцевъ, а Тарда, долженъ быть одушевленъ судъ, возстановляющій господство правды и закона. Судъ изъ техниковъ-законниковъ надлежало усилить введеніемъ въ него народныхъ элементовъ. Какимъ образомъ и въ какой формѣ надлежало вводить эти элементы? Въ формѣ ли выборныхъ или въ формѣ присяжныхъ? Только и были на-лицо эти двѣ формы; но первая изъ нихъ оказалась невозможною въ обществѣ пока не модернизированномъ, имѣющемъ еще старинныя сословныя перегородки и живо помнящемъ всѣ неудачные опыты судебныхъ засѣдателей въ судахъ по законодательству Екатерины II. Тогда и придумали ввести общегражданскую судейскую повинность, брать понятыхъ изъ народа для рѣшенія вопросовъ, фактически относящихся къ преступленію, какъ это практикуется уже съ успѣхомъ въ другихъ западно-европейскихъ государствахъ. Этотъ судъ принесъ и продолжаетъ доставлять громадной важности и ничѣмъ незамѣнимыя удобства. Онъ сразу отсѣкъ и упразднилъ теорію законныхъ доказательствъ, заставивъ судить только по убѣжденію совѣсти. Когда людей, не умѣющихъ плавать, бросятъ въ глубокую воду, они будутъ барахтаться, пока не приноровятся къ тому, какъ держать себя на водѣ. Нѣчто подобное произошло съ присяжными. Только судъ присяжныхъ и поддерживаетъ устность су-

допроизводства. Возмемъ гласный судъ, какъ онъ практикуется въ областяхъ, гдѣ присяжныхъ нѣтъ, а есть суды съ двумя инстанціями; сила вещей возстановляетъ на практикѣ во второй инстанціи безжизненное бумажное производство. Учрежденіе присяжныхъ сдѣлало изъ судебной функціи живой общественный органъ, свободно обсуждающій и наставительный, имѣющій для общества воспитательное значеніе. Институтъ присяжныхъ имѣетъ много недостатковъ, больше, можетъ быть, чѣмъ сколько ихъ насчитано у Тарда, но извѣстно, что всякое новое колесо скрипитъ; недостатокъ можетъ быть и присущъ институту не по самой его идеѣ, а только по его формѣ. Есть безчисленное множество измѣненій, посредствомъ которыхъ можно бы институтъ усовершенствовать. Одного нельзя только требовать отъ присяжныхъ, а именно чтобы они свои рѣшенія мотивировали; но я сильно сомнѣваюсь, есть ли патентованное лекарство противъ плохихъ судейскихъ рѣшеній. Дѣло и въ коронномъ судѣ рѣшается по общему впечатлѣнію и по совѣсти, а не механически. Мотивы подбираются и придѣлываются потомъ, они похожи на тѣ объясненія post factum, къ которымъ человѣкъ приходитъ заднимъ умомъ, но которыхъ, можетъ быть, у него не было, когда онъ дѣйствовалъ. Составьте судъ изъ техниковъ двустепенный и судъ присяжныхъ — кому дать предпочтеніе? Я отвѣчаю по опыту — несомнѣнно присяжнымъ. Нѣтъ вполнѣ совершенныхъ учрежденій; институтъ присяжныхъ имѣетъ многіе недостатки; несомнѣнно, что въ будущемъ найдены будутъ формы болѣе цѣлесообразныя и лучшія, но это будущее весьма далекое, и то, что предлагаютъ взмѣнъ присяжныхъ, совсѣмъ неудовлетворительно. Часть сочиненія Тарда, относящаяся къ процессу, есть самая слабая, и его возраженія противъ суда присяжныхъ не пошатнули нисколько этого института,—хотя вызываютъ на размышленіе по поводу его.

Кончаю разборъ философіи уголовнаго права Тарда. Эта книга и предшествовавшіе ей труды итальянскихъ

антропологовъ-криминалистовъ, которые она опровергаетъ и на которые она представляетъ остроумные и своеобразные отвѣты, даетъ въ совокупности нѣкоторое понятіе о томъ могучемъ броженіи и движеніи, которыя закипаютъ въ уголовномъ правѣ, пребывшемъ многіе годы въ застоѣ. Открываются новые горизонты, расшатываются основныя положенія, считавшіяся очевидными истинами. Можетъ быть, не все то пройдетъ и сбудется, о чемъ мечтаютъ храбрые радикальные реформаторы, но несомнѣнно, что въ не очень продолжительномъ времени вся область уголовнаго права и процесса явится въ совсѣмъ отличномъ отъ настоящаго и до неузнаваемости новомъ видѣ.

(Публичныя чтенія въ 1891 г. въ Педагогическомъ музеѣ Соляного Городка).

На юбилеѣ А. М. Скабичевскаго.

(Рѣчь произнесенная въ мартѣ 1894 г.).

На юбилѣ А. М. Скабичевскаго.

Рѣчь, произнесенная въ мартѣ 1894 года.

Мы собрались праздновать тридцатипятилѣтіе честной и безпорочной службы литературѣ и критикѣ одного изъ неутомимѣйшихъ дѣятелей по этой части. Многочисленность собравшейся пишущей братіи, а между ними, говоря классическимъ языкомъ, и Аполлоновыхъ дѣтей, т. е. художниковъ и поэтовъ, доказываетъ, что юбиляръ былъ не злой, не кусающійся Зоилъ, а другъ литературы и ободритель, въ особенности начинающихъ талантовъ, изъ которыхъ онъ никого не оставлялъ безъ отзыва. Его отзывы отличались всегда большою справедливостью и щепетильною деликатностью. Но не по этой собственно части намѣренъ я хвалить юбиляра, я его особенно цѣню и не за его «Очерки цензуры», которые останутся курьезнѣйшимъ документомъ такихъ отношеній, которыя лѣтъ черезъ сто будутъ казаться баснословными; я ему особенно признателенъ за его «Исторію новѣйшей русской литературы» (1848—1890), безъ которой намъ пришлось-бы блуждать по нашей современности и, какъ говорятъ, «изъ-за деревъ не видѣть лѣса».

Я люблю эту книгу и много разъ ее перечитывалъ. Въ ней авторъ обнаружилъ, что у него есть та эстетическая жилка, которой недостатокъ онъ усматривалъ у

одного изъ своихъ замѣчательнѣйшихъ предшественниковъ. Его характеристики писателей обдуманы и точны, все сочиненіе состоитъ, главнымъ образомъ, изъ этихъ альбомныхъ портретовъ. Автора можно даже упрекнуть въ томъ, что онъ отвелъ слишкомъ много мѣста этой портретной галлереѣ и не отмѣчалъ въ достаточной степени, какими недочетами и изъянами отражались указываемые имъ недостатки и односторонности авторовъ въ теченіяхъ, въ которыхъ эти авторы были иниціаторами или главными лицами. Я вдаюсь, кажется въ критику, но пусть и будетъ такъ. Я не умѣю говорить комплиментовъ; скажу, въ чемъ я вамъ сочувствую и въ чемъ съ вами расхожусь. Я-бы хотѣлъ, чтобы этотъ настоящій праздникъ превратился изъ чествованія чисто личнаго въ чествованіе самой критики, въ чествованіе того искуства, которое служитъ намъ съ юбиляромъ соединительнымъ звеномъ, и чтобы, оканчивая, по обыкновенію, рѣчь мою пожеланіями многолѣтія юбиляру, я-бы могъ соединить ихъ съ пожеланіями развитія и процвѣтанія того, что намъ здѣсь всего дороже, а именно: русской литературы.

Вы опредѣлили, Александръ Михайловичъ, весьма отчетливо и точно вашу роль и дѣятельность въ литературѣ. Вы пишете (114 стр.), что подъ вліяніемъ великихъ вашихъ предшественниковъ, изъ которыхъ вы особенно уважаете Добролюбова, воплотившаго въ себѣ, по вашимъ словамъ, весь свой замѣчательный вѣкъ, русская критика передового лагеря движенія получила сохраняемый ею до нынѣ *публицистическій* характеръ разсмотрѣнія общественныхъ явленій съ точки зрѣнія ихъ политически-общественнаго значенія; что критика сдѣлалась тою *реальною* критикою, которая занимается не столько самыми произведеніями, сколько общественными фактами изображаемыми въ этихъ произведеніяхъ.

Вы передаете весьма характеристически, какъ вымирали одинъ за другимъ прежніе »Олимпійцы», ставшіе столь рѣдкими, какъ зубры Бѣловѣжской пущи, и какъ

внезапно образовалась *федерація литературныхъ лагерей*, гдѣ много шуму, гдѣ все дисциплинировано. Вы отмѣтили, какъ въ этихъ лагеряхъ при оцѣнкѣ людей стала приниматься въ разсчетъ не одна только талантливость, но и политическая репутація, основывающаяся какъ на качествѣ убѣжденій, такъ и на искренности и вѣрности лица этимъ убѣжденіямъ. Вы продолжатель тогда начавшейся эпохи, какъ историкъ литературы, а Н. К. Михайловскій ея продолжатель, какъ философъ. Вы очень вѣрно замѣтили, говоря о Писаревѣ, что онъ нашелъ задатки отрицательнаго отношенія къ искуству у своихъ предшественниковъ, примѣры подначальной служебной роли искуства по отношенію къ прогрессу, образцы такого ихъ взаимодѣйствія, при которомъ одна только отвлеченная мысль, то есть наука, можетъ обновлять строй человѣческой жизни, а искуство помогаетъ только мыслить и составляетъ только подспорье, иллюстрацію. Такое подчиненіе изящной литературы публицистической критикѣ вело иногда къ результатамъ, которые заставляли призадуматься. Такъ, напримѣръ, изъ одного и того-же стебля критики вышли двумя побѣгами два діаметрально противоположные, почти во всемъ, критики: строгій ригористъ Добролюбовъ и аристократъ по темпераменту, блистательный сенсуалистъ Писаревъ, не признающій никакой этической узды.

Вы признавали, Александръ Михайловичъ, что этотъ публицистическій характеръ критики есть явленіе временное, свойственное только извѣстной эпохѣ, которую вы сами пережили и затѣмъ изображали. Вы описываете главныя событія этой исторіи такъ живо и съ такою-же эмоціею, какъ будто-бы они совершались сегодня, какъ будто-бы мы были въ самомъ разгарѣ партійной борьбы, а не двадцать или тридцать лѣтъ тому назадъ. Для васъ «Вопросы Жизни» Пирогова сохраняютъ реакціонный характеръ. Вы и теперь считаете появленіе «Отцовъ и Дѣтей» Тургенева роковымъ кризисомъ въ его жизни и едва-ли не роковою его ошибкою.

Какъ убѣжденный критикъ-публицистъ, вы руководствовались излюбленными вами идеалами; я долженъ сказать, что эти идеалы не дурны и что мы поклоняемся многимъ изъ нихъ и до нынѣ. Вы всегда были вполнѣ *западникъ* и европеецъ, вы всегда недолюбливали мрачнаго ученія мистиковъ-почвенниковъ. Вы всегда были демократъ-сторонникъ той демократической тяги къ народу, которую вы ставите въ особенную заслугу Тургеневу. Вы также и *народникъ*. У васъ выражено, что въ срединѣ пятидесятыхъ годовъ явилось слезное покаяніе въ неправдахъ, лежавшихъ на совѣсти русской, и что всѣ тревожные вопросы времени стали укладываться въ одно слово, опредѣляющее ихъ сложность, слово: народность.—Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что на самомъ днѣ вашихъ убѣжденій лежалъ неизвѣстный Востоку, но торжествующій свои побѣды въ Западной Европѣ *коллективизмъ*, полное отсутствіе котораго у Льва Толстаго дѣлаетъ безплодными усилія его къ одному только личному самоусовершенствованію.—Насколько я могъ васъ понять, этотъ коллективизмъ есть нѣчто пережитое нами-же въ одномъ изъ его крупныхъ проявленій, въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, когда послѣдовало освобожденіе крестьянъ. Я его понимаю, какъ сознательное, общими силами всего народа движеніе впередъ, какъ осмысленное преобразованіе строя общественной жизни, какъ общій подъемъ духа въ народѣ, котораго у насъ хватило на великую реформу 19-го Февраля 1861 г., но послѣ нея единодушіе ослабѣло, лагери обособились, пошелъ разладъ и въ каждомъ отдѣльномъ лагерѣ.

Тутъ-то я и поджидаю васъ, Александръ Михайловичъ.—Не думаю, чтобы кто-нибудь могъ предположить, что появленіе коллективизма, что подъемъ духа произошли вслѣдствіе того, что партіи сошлись и условились дѣйствовать дружно по извѣстной программѣ для достиженія общей цѣли. Случилось совершенно тому противное. Было общество волнующееся, какъ взбаламученное

море, движимое однимъ чувствомъ; при этомъ движеніи группировались партіи, каждая единица пристала въ подобнымъ ей другимъ; группируясь, онѣ получали выправку; общее дѣло совершено, послѣ чего наступило разобщеніе, дробленіе группъ на меньшія и меньшія части. Оно и не могло быть иначе. Малая доля идеаловъ осуществлена, а, вообще, идеалы бываютъ искажаемы людьми и испошляемы. Демократизмъ противѣетъ, когда онъ состоитъ въ низкопоклонничествѣ толпѣ и усвоеніи самыхъ грубыхъ ея привычекъ. Народничество не сокрушается уже неправдами, лежащими на совѣсти народной, а превращается въ съѣданіе однихъ народовъ другими. Коллективизмъ сталъ государственнымъ соціализмомъ, который у насъ опаснѣе чѣмъ гдѣ-бы то ни было. Противъ такого коллективизма я буду всегда бороться въ одной компаніи съ Тэномъ и съ Гербертомъ Спенсеромъ. Прежніе идеалы не годятся, надо искать новыхъ. Тогда и дѣлается необходимымъ освобожденіе отъ партійности, дѣйствованіе вразсыпную безъ соблюденія строя, безъ команды, съ подчиненіемъ только законамъ чистаго искуства. Подъ словами «чистое искуство» нельзя понимать одно только поклоненіе формѣ, одни великія поэтическія произведенія безсодержательныя; безъ идейныхъ произведеній быть не можетъ, поэтично только-то, что въ высокой степени человѣчно. Но этого человѣчнаго искать можно повсюду, не стѣснясь никакими вопросами дня и на нетронутой почвѣ, и въ старыхъ заброшенныхъ шахтахъ. При всякомъ движеніи впередъ человѣчества раздавливается многое еще не совсѣмъ отжившее, еще жизнеспособное, къ чему можно и слѣдуетъ возвращаться. Въ этихъ поискахъ новыхъ идеаловъ слѣдуетъ подражать партіямъ золотоискателей, которыя не идутъ кучами, но разсыпаются по огромному пространству, каждый искатель по иному направленію. Брать найденный самородокъ новаго идеала можно гдѣ угодно, но необходимо искренно его прочувствовать и воплотить въ такой красивой, одному высокому иску-

ству свойственной, формѣ, которая одна только способна воодушевлять людей.

Вы сказали, Александръ Михайловичъ, что въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ произошло нѣкоторое одичаніе въ русскомъ обществѣ, забыты были идеи сороковыхъ годовъ и сохранились только неопредѣленные остатки гуманизма. Я съ вами согласиться не могу. Какое-же было одичаніе, когда вслѣдъ затѣмъ пошли всякія реформы и пышно расцвѣла одна область изящной литературы: русскій романъ. То были сумерки нашего сѣвернаго лѣтняго дня, отдѣлявшія отживаніе прежнихъ идеаловъ и нарожденіе новыхъ. Такія сумерки мы переживаемъ и теперь. Свѣта въ эти сумерки не внесемъ мы, его внести, вообще, не въ состояніи критика, наше дѣло стоять при прежнемъ и выжидать. Свѣтъ внесетъ только появленіе великой поэзіи, она всѣхъ оживитъ, одушевитъ и взволнуетъ. Я себѣ и вамъ желаю, чтобы мы дожили до этого дня и могли сказать, отходя, подобно Симеону: нынѣ отпущаеши. Заканчиваю мою рѣчъ словами латинской церковной пѣсни: Veni creator spiritus!

Памяти А. П. Платонова.

(Письмо къ редактору «Новостей» 22-го мая 1894 года).

Памяти А. П. Платонова.

(Письмо къ редактору «Новостей», 22 мая 1894 г.).

Не откажите помѣстить въ «Новостяхъ» нѣсколько моихъ личныхъ воспоминаній о недавно скончавшемся человѣкѣ, одномъ изъ самыхъ характерныхъ и доблестныхъ, какихъ я вообще немного на моемъ вѣку встрѣчалъ. Я говорю объ угасшемъ тихо, спокойно на 88-мъ году жизни Александрѣ Платоновичѣ Платоновѣ.

Были два родные брата Платоновы, Александръ и Валеріанъ. На четыре года моложе старшаго Валеріанъ занималъ видный постъ статсъ-секретаря царства польскаго въ смутное въ этомъ краѣ время съ 1861 по 1864 годъ. Онъ принималъ непосредственное участіе въ неудавшихся попыткахъ связанныхъ съ системою управленія маркиза Вѣлёпольскаго. Его замѣнилъ Н. Милютинъ, послѣ чего онъ уѣхалъ заграницу и поселился въ южной Франціи у подножья Пиренеяхъ въ По, гдѣ умеръ 10 декабря 1893 г. То былъ дипломатъ, придворный и государственный человѣкъ, между тѣмъ какъ Александръ Платоновъ, родившійся 15 ноября 1806 г. былъ по своему призванію только солдатъ и помѣщикъ. Онъ страстно любилъ деревню, но какъ чистокровный русскій дворянинъ стараго покроя считалъ своимъ первымъ долгомъ служить отечеству на войнѣ.— Вступивъ на военную службу онъ отбылъ турецкую компанію 1828 г. и польскую 1831 г., а впослѣд-

ствіи съ 1838 г. вплоть до 1884 г. съ однимъ только непродолжительнымъ перерывомъ занималъ должность царскосельскаго уѣзднаго предводителя дворянства.—Вышеупомянутый перерывъ соотвѣтствовалъ времени севастопольской войны, когда Платоновъ будучи уже пожилымъ человѣкомъ самъ лично съ двумя своими сыновьями вступилъ опять въ военную службу, которую несъ до Парижскаго мира 1856 г. Видимымъ слѣдомъ этой службы на Александрѣ Платоновичѣ осталась извѣстная, пріобрѣтенная въ ней военная выправка, которая вполнѣ подходила къ его крѣпкому, статному тѣлосложенію. — Онъ всегда ходилъ въ мундирѣ полковника гусарскаго. Какъ земскій человѣкъ несшій въ теченіи болѣе сорока лѣтъ утомительно хлопотливую въ особенности послѣ великихъ реформъ, обязанность уѣзднаго предводителя дворянства, Платоновъ былъ прежде всего весьма послѣдовательный *постепеновецъ*, слѣдовательно, почти тоже самое, что консерваторъ, безчисленными корнями вростающій въ извѣстную ограниченную среду, но и состоящій въ непрерывномъ общеніи со всѣми слоями населенія, въ особенности съ мелкими людьми, съ мужичьемъ; онъ былъ систематическій противникъ всякихъ крутыхъ переломовъ и внезапныхъ скачковъ впередъ. — Еще въ 1848 г. при императорѣ Николаѣ онъ поднялъ въ дворянскомъ собраніи небезопасный въ то время вопросъ объ освобожденіи крестьянъ. Его конечно опередило позднѣйшее освободительное движеніе начала царствованія Александра II, но когда послѣдовали три великія реформы: крестьянская, земская и судебныя, то онъ сдѣлался самымъ ревностнымъ осуществителемъ каждой изъ нихъ и какъ предводитель дворянства и какъ предсѣдатель мировыхъ съѣздовъ и земскихъ собраній. Эту напряженную дѣятельность хотя и на разныхъ поприщахъ, но въ одномъ направленіи отличала одна довольно рѣзкая, но весьма типическая черта — сердечное отвращеніе отъ бюрократіи, отъ ея путей, методовъ и пріемовъ.

Въ Александрѣ Платоновичѣ дѣйствовали отчасти, безъ малѣшей впрочемъ окраски и примѣси славянофильства, тѣ же чувства, которыми вѣроятно одушевлены были древне-московскіе земцы по отношенію къ опричинѣ, или тѣ чувства съ какими позднѣйшіе ихъ потомки относились къ насильственно навязываемымъ реформамъ петербургскаго періода русской исторіи. До мозга костей дворянинъ и пропитанный насквозь духомъ дворянской грамоты 1785 года, понимаемой не въ томъ видѣ въ какомъ она примѣнялась и до насъ дошла, но идеально, Платоновъ убѣжденъ былъ что при неизбѣжной вслѣдствіе современныхъ условій жизни демократизаціи общества, сила и значеніе русскаго дворянства въ будущемъ будутъ опредѣляться только его заслугами и самопожертвованіями на пользу общую, на всенародное дѣло, его воспитательною дѣятельностью по отношенію къ низшимъ слоямъ населенія, сообщеніемъ этимъ слоямъ той выправки, какую пріобрѣло дворянство въ практикѣ жизни общественной ставъ передовымъ и самоуправляющимся сословіемъ по своду законовъ.—Платоновъ былъ въ высокой степени идеалистъ, фанатикъ не дворянскихъ привилегій, но *дворянскихъ* нравственныхъ повинностей. Онъ не могъ примириться съ мыслью, чтобы освобожденные отъ крѣпостной зависимости крестьяне ведены были на бюрократическихъ помочахъ и до конца своей жизни былъ горячимъ сторонникомъ всесословной сельской общины, безъ которой намъ всетаки не обойтись, если не сегодня то завтра, если не завтра то въ болѣе отдаленномъ будущемъ.

Платоновъ былъ другомъ и наростающихъ молодыхъ поколѣній, скорбѣлъ объ ихъ увлеченіяхъ, но постигалъ причины ихъ настроенія и ихъ нужды. Я и сблизился съ нимъ особенно по поводу Нечаевскаго процесса, въ которомъ онъ былъ судьею въ составѣ особаго присутствія. Та доля крупнаго идеализма, которую онъ всегда вносилъ въ свою дѣятельность заставляла его обыкновенно являться представителемъ и ораторомъ оппозиціи

въ крупныхъ вопросахъ внутренней политики и самоуправленія. Самъ для себя Платоновъ никогда и ни о чемъ не хлопоталъ, и постоянно сторонился отъ общественнаго пирога, но онъ былъ тѣмъ болѣе самостоятеленъ, когда брался отстаивать то, что считалъ существеннымъ юридическимъ или общественнымъ долгомъ дворянства и его въ этомъ смыслѣ правомъ. Обыкновенно сдержанный и нерѣчистый, постоянно серьезный, въ вопросахъ, которые задѣвали его за нутро онъ становился краснорѣчивымъ и даже увлекательнымъ. Разбитый параличемъ въ 1884 г. и сложившій съ себя уже званіе предводителя дворянства, онъ являлся однако въ рѣшающіе моменты на совѣщаніяхъ въ дворянскихъ собраніяхъ и руководящихъ кружкахъ. Мы можемъ ожидать отъ лицъ, которые его въ такихъ случаяхъ видѣли и слышали, что они дадутъ намъ когда-нибудь указанія относительно рѣчей его и мнѣній, которыя онъ въ этихъ случаяхъ защищалъ. Конечно въ послѣднихъ его появленіяхъ была большая доля горечи, онъ чувствовалъ что мы окунулись въ новое небывалое теченіе, къ которому онъ не въ состояніи былъ приспособиться, онъ задался сильно смущавшимъ его вопросомъ: куда мы идемъ? Но я помню его еще въ полной силѣ и блескѣ, когда онъ одерживалъ побѣды, распоряжаясь съ умѣніемъ опытнаго тактика силою партіи, которую вокругъ себя собиралъ и дисциплинировалъ, когда дѣйствуя по своей программѣ онъ зналъ, что и какъ сказать во время. Онъ былъ какъ бы созданъ для сеймовой жизни въ этомъ небольшомъ кружкѣ, который у насъ для нея открытъ.

Была еще одна матерія, въ бесѣдахъ о которой Александръ Платоновичъ былъ и словоохотливъ и неутомимъ. Глубоко религіозный человѣкъ, вникающій только въ существо религіи, помимо всякой обрядности, онъ былъ притомъ усердный чтецъ Священнаго Писанія и своего рода богословъ. Его начитанность была въ этой области громадная. Вдаваясь въ бесѣду съ какимъ-ни-

будь новичкомъ изъ послѣднихъ и новѣйшихъ современниковъ, для которыхъ не существуютъ религіозные вопросы, онъ любилъ припирать ихъ къ стѣнкѣ или вышибать ихъ изъ сѣделъ, доказавъ посредствомъ самой тонкой и сжатой діалектики, что они ничего несмыслятъ. Хотя онъ не былъ вовсе филологъ, но его сильно занимали даже и самые подлинные тексты Писанія. Я помню, что по его настоятельному требованію я его познакомилъ съ Владиміромъ Сергѣевичемъ Соловьевымъ, котораго личность, ученость и образъ мыслей онъ высоко уважалъ. Платоновъ искалъ въ особенности знакомства съ спеціалистами по профессіи, у него случалось встрѣчать и православнаго сельскаго священника и ученаго монаха и отца Lagrange и даже раввина. Его терпимость была безпредѣльная.

Безпредѣльны также были его человѣколюбіе и снисходительная заботливость о страдающихъ и нуждающихся, за которыхъ надо было хлопотать. Рука его можно сказать никогда не оскудѣвала. Самъ онъ былъ человѣкъ далеко не богатый, помѣщикъ средней руки, патріархъ среди многочисленнаго рода разросшагося до того, что были тамъ и внуки и правнуки. Въ его усадьбѣ въ Вохоно близъ Елисаветинской станціи на Балтійской желѣзной дорогѣ, домъ былъ просторенъ, но въ скромной обстановкѣ ничего не мѣнялось какимъ оно было десятки лѣтъ тому назадъ такимъ и оставалось. Гостепріимство хозяевъ было радушное и по числу гостей широкое, но недопускаемы были малѣйшая роскошь или излишекъ. Излишкомъ могло считаться развѣ присутствіе многихъ старыхъ служившихъ или *дѣтскихъ* учителей или просто обѣднѣвшихъ знакомыхъ, которые находили часто въ этомъ домѣ пріютъ и прокормленіе до конца своихъ дней. Я помню чуть-ли не столѣтняго старика англичанина Андерсона.

Домашнее устройство и жизнь въ Вохонѣ живо напоминали знакомый мнѣ бытъ средней руки шляхты въ западномъ краѣ. Кругомъ было смѣшанное населе-

ніе мужицкое полу-русское полу-чухонское. Въ самой усадьбѣ царило разнообразіе національныхъ элементовъ и вѣроисповѣданій. Жена Александра Платоновича была нѣмка урожденная фонъ-Дерфельденъ. У него самого было множество польскихъ знакомствъ и отношеній. Хотя онъ родился въ Курляндіи, но воспитывался въ Ковенской губерніи, часто бывалъ у сестры своей Кайгаровой въ Рауданахъ надъ Нѣманомъ, говорилъ хорошо по польски и читалъ польскихъ поэтовъ. Для Платонова было вполнѣ естественнымъ явленіемъ то братство народовъ, о которомъ мечтали сообща Мицкевичъ и Пушкинъ, и которое нечуждо даже лучшимъ Московскимъ славянофиламъ, но нынѣ слушается какъ нѣкая небывалая сказка.

Надъ могилою Евгенія Исаковича Утина.

(На кладбищѣ Новодѣвичьяго монастыря 20 сентября 1894 года).

Надъ могилою Евгенія Исаковича Утина.

(На кладбищѣ Новодѣвичьяго монастыря 20 сентября 1894 года).

Мы собрались, — воздать послѣдній долгъ дорогому умершему. Внезапная смерть произвела страшное, гнетущее впечатлѣніе — не на него — онъ ея и не предчувствовалъ до послѣдней минуты жизни и не предугадывалъ, что кончается и отходитъ, — но на насъ, его близкихъ, пережившихъ его. Былъ человѣкъ здоровъ и веселъ, — въ самомъ жизнерадостномъ настроеніи — затѣмъ послѣдовало нѣсколько часовъ физическихъ страданій—и его не стало. Еще въ первыхъ числахъ августа онъ писалъ изъ своей волынской усадьбы своему знакомому въ Петербургѣ: «въ Вильно на засѣданіе суда *20-го сентября* я пріѣду, непремѣнно пріѣду, *развѣ не буду живъ*».—Послѣднее и случилось; онъ—не живъ! его мы въ этотъ самый день, 20-го числа, хоронимъ, а тамъ, въ Вильнѣ, въ эту самую минуту открывается то засѣданіе, къ которому онъ всею душою стремился, и въ которомъ долженъ былъ защищать одинъ изъ самыхъ дорогихъ для него интересовъ—свободу совѣсти. Во всѣ такія дѣла, гдѣ затронуты бывали высшіе интересы человѣка, вносилъ онъ жаръ чувства и заразительно-увлекающую слушателей убѣжденность. Таковы были его рѣчи по дѣламъ печати, по преступленіямъ политическимъ; таковы были дѣла такъ-называемыя пасторскія, которыя въ послѣднее время велъ онъ только

одинъ въ правительствующемъ сенатѣ. Тѣ свойства, которыя я намѣтилъ какъ отличительные признаки его дарованія: жаръ чувства и убѣжденность — обыкновенныя качества молодости,—потомъ, съ лѣтами они обыкновенно пропадаютъ. Есть, однако, счастливые люди, у которыхъ они сохраняются, которые остаются юношами, приближаясь, какъ онъ, къ пятидесяти годамъ и достигая иногда болѣе преклонныхъ лѣтъ.

Но неувядаемая юность — удѣлъ весьма рѣдкихъ избранниковъ, никогда не падающихъ духомъ начинателей; людей одержимыхъ «священнымъ недовольствомъ» настоящей минуты, исканіемъ лучшаго будущаго,—людей всегда что-нибудь новое задумывающихъ, и которыхъ призваніе: активная борьба съ препятствіями на пути жизни.

Е. И. Утинъ и былъ именно такой боецъ по своему темпераменту, по натурѣ. Такимъ бойцомъ онъ былъ начиная со школьной скамьи; такимъ онъ былъ позже въ своихъ странствованіяхъ по западу, когда ѣздилъ во Францію тотчасъ послѣ седанскаго погрома, когда прислушивался къ народному собранію въ Бордо, когда восторгался Гамбеттою: онъ столь сильно привязался къ французамъ и ихъ цивилизаціи, что по возвращеніи мы прозвали его шутя «французскимъ патріотомъ». Такимъ бойцомъ онъ былъ, когда отправлялся туристомъ въ Болгарію во время войны 1877 г. и подвергался изъ одной любознательности турецкимъ выстрѣламъ изъ укрѣпленій Плевны. Такимъ бойцомъ онъ былъ, когда въ качествѣ странствующаго рыцаря адвокатуры перебывалъ и состязался во всѣхъ почти судебныхъ центрахъ Россіи, отъ Петербурга до Одессы и отъ западныхъ окраинъ до Екатеринбурга.

Всѣ люди — дѣти своего вѣка; на нихъ есть слѣды рѣзца той эпохи, того момента, когда они появились на поприщѣ дѣятельности общественной. Великія эпохи имѣютъ свой особенный блескъ; онѣ налагаютъ на своихъ сподвижниковъ свою печать и сообщаютъ имъ свой

извѣстный свѣтъ. Старѣйшіе здѣсь по возрасту между нами—люди славной эпохи, люди «шестидесятыхъ» годовъ. Покойный Утинъ былъ однимъ изъ типическихъ представителей этого поколѣнія, со всѣми его достоинствами и недостатками, съ его вѣрою въ идеалы и порывистымъ стремленіемъ къ ихъ осуществленію. Онъ только теперь, въ первый разъ, успокоился, но намъ отъ этого не легче. Мы ощущаемъ одну только убыль; ряды наши рѣдѣютъ. Сомкнемъ же эти ряды, люди шестидесятыхъ годовъ, и почтимъ память умершаго увѣренностью, что и мы, какъ и онъ, останемся вѣрны до нашего конца своимъ идеаламъ, и не измѣнимъ имъ, подобно ему, неизмѣнившему до могилы. Можетъ быть, мы и не доживемъ до лучшаго, до новой весны, но и подъ пеленою снѣга всегда прозябаютъ незримыя для глаза всходы посѣянныхъ сѣмянъ...

Теперь остается только сказать послѣднее прости дорогому усопшему! — Да будетъ тебѣ могильная земля легка!!

Дружба Шиллера и Гёте.

1794—1805 г.

Дружба Шиллера и Гёте.

1794—1805.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Эйзенахъ съ Вартбургскимъ замкомъ, Веймаръ и Іена—соединены желѣзными дорогами и столь сближены, что въ одинъ день можно побывать во всѣхъ этихъ мѣстахъ. Интереснѣйшее изъ нихъ, безъ сомнѣнія, Веймаръ, нѣмецкія Аѳины, уютное гнѣздо нѣмецкаго поэтическаго «ренесанса», городокъ тихій, мало оживленный, сплотившійся вокругъ велико-герцогскаго зàмка. Зàмокъ примыкаетъ къ излучистой рѣчкѣ Ильму и къ безконечному на обоихъ берегахъ, по ту и другую сторону теченія, тѣнистому парку. Флора этого парка—самая неизысканная: преобладаютъ простыя, скоро ростущія но рыхлыя и недолговѣчныя тополи. Въ этой гущѣ зелени утопаетъ крошечный садовый домикъ Гёте (Gartenhaus) по ту сторону Ильма, въ которомъ Гёте прожилъ съ 1776 по 1782 годъ, работая днемъ въ герцогской библіотекѣ, часто бывая у г-жи Штейнъ, жившей въ двухъ шагахъ отъ библіотеки. Послѣ итальянской поѣздки Гёте, августѣйшій другъ его, Карлъ-Августъ подарилъ поэту и бывшему своему министру ту

каменную, обширную, но неуклюжую громадину, гдѣ Гёте прожилъ 39 лѣтъ—до своей смерти. Сюда стекались со всѣхъ сторонъ земного шара поэты, ученые, государственные люди и артисты на поклоненіе къ геніальному и всезнающему, не перестающему работать старику. Невзрачный снаружи, мѣщанскій по своему виду домъ открытъ для публики только съ 1885 г., когда, по смерти внука Гёте, Вальтера, по духовному его завѣщанію домъ этотъ со всѣми богатыми коллекціями дѣда его сдѣлался общественною собственностью, народнымъ Гётевскимъ музеемъ. Внутри домъ весьма помѣстителенъ и весь устроенъ по вкусу Гёте-классика, Гёте retour d'Italie, совсѣмъ уже опредѣлившагося и значительно съузившагося въ сравненіи съ тѣмъ, какимъ онъ былъ въ первой молодости, когда онъ началъ свою литературную дѣятельность (1773) восторженною статьею о страсбургскомъ соборѣ и въ подражаніе Шекспиру сочинялъ «Гёца». Въ 1811 году Сюльпицію Буасерэ, замышлявшему возстановленіе и довершеніе кёльнскаго собора, только послѣ большихъ усилій и при величайшей настойчивости удалось одолѣть равнодушіе охладѣвшаго къ готикѣ Гёте и заинтересовать его кельнскимъ соборомъ по первоначальному его плану*). Буасерэ отмѣтилъ черту гораздо бо́льшаго сродства Гете съ античнымъ римскимъ стилемъ, нежели съ греческимъ, точно какъ бы Гёте жилъ еще при императорѣ Адріанѣ. Все римское его привлекаетъ невольно; это великое умѣніе, этотъ порядокъ во всѣхъ вещахъ—вполнѣ ему по душѣ, но греческое подходитъ къ нему въ меньшей степени. Къ Шекспиру Гёте до конца жизни питалъ благоговѣніе. Извлекаемъ изъ разговоровъ въ Эккерманомъ слѣдующія слова Гёте**). «Могу ли я ставить себя на ряду съ Шекспиромъ! что́ о немъ ни говорить, все будетъ ндостаточно. Я кружился (herumgetupft) во-

*) Biedermann, Goetes Gespräche. Leipzig, 1889, III B. № 525, 638, 666.
**) Biedermann, V, № 1016.

кругъ него въ «Вильгельмѣ Мейстерѣ», но вышло немногое. По одной только въ годъ его пьесѣ полезно проштудировать творческому уму, больше же ему не подъ силу. Я хорошо сдѣлалъ, отдѣлавшись отъ Шекспира «Гёцемъ» и Эгмонтомъ». Хорошо поступилъ Байронъ, идя своею собственною дорогою. Сколько же отъ Шекспира погибло талантливыхъ нѣмцевъ,—отъ него и отъ Кальдерона! Шекспиръ не былъ театральный драматургъ, онъ никогда не думалъ о сценѣ; весь видимый шаръ земной былъ для него слишкомъ тѣсенъ. .Прочтите «Троила и Крессиду», и вы удивитесь, какъ своеобразно пользуется онъ Иліадой». Преклоняясь предъ Шекспиромъ, Гёте ему не подражалъ; онъ былъ величайшій мастеръ въ искусствѣ самоограниченія съ цѣлью тѣмъ большей производительности. Были у него, въ періодъ общенія его съ Шиллеромъ, свои божества, но во всякомъ случаѣ не романтическія. Показывая Ламоттъ Фуке кусокъ мраморной облицовки дельфійскаго храма, онъ произнесъ*): «вотъ что́ я нынѣ чту какъ мощи» (dass sind nun so meine Reliquien)».

Этотъ классическій духъ и это намѣренное самоограниченіе сказываются во всей домашней обстановкѣ Гётева жилища, гдѣ бездна предметовъ, интересныхъ для ума и пріятныхъ для вкуса, но мало отвѣчающихъ требованіямъ современнаго комфорта. Чрезвычайно простая, но геометрически красивая лѣстница безъ перилъ, съ первой площадки ведетъ въ жилыя и рабочія комнатки, а со второй—въ пріемные, болѣе нарядные покои. Два рабочіе кабинета и крошечная спальня съ окнами въ садъ поражаютъ своею скромностью и простотою. Они загромождены столами и шкафами съ книгами и коллекціями. «Въ этихъ двухъ комнатахъ и спальнѣ,—говорилъ въ 1827 г. Гёте Эккерману**),—я провелъ всю прошлую зиму... не заходя въ другія». Всмотритесь кру-

*) Biedermann, № 591.
**) B. VI, № 1070.

гомъ,—говорилъ онъ въ въ 1831 г. *),—въ моемъ кабинетѣ нѣтъ ни одной софы. Сижу на деревянномъ креслѣ, и только недавно устроилъ я себѣ родъ опоры для головы. Комфортабельная мебель служитъ помѣхою мышленію, она приводитъ меня въ состояніе пріятнаго бездѣйствія. Красивыя комнаты и роскошная мебель годны для людей со всѣмъ немыслящихъ». Столь же проста въ верхнемъ этажѣ столовая съ дверьми въ садъ; зато убраны изящно покои пріемные верхняго этажа, и стѣны ихъ густо увѣшены драгоцѣнными произведеніями и остатками древняго и новаго искуства, привезенными изъ Италіи, купленными и поднесенными въ даръ отъ почитателей. Особенно остались въ моей памяти большой прекрасно написанный портретъ какого-то герцога урбинскаго, итальянской школы, и античная голова Медузы—даръ короля баварскаго Людвига I-го. Въ главной пріемной свѣтло-желтое фортепіано напоминаетъ игравшую на немъ часто для старика піанистку г-жу Шимановскую. Что касается до живописи, то численно преобладающій въ ней родъ—портреты друзей, знакомыхъ, (въ томъ числѣ г-жи Шопенгауэръ), сотрудниковъ, семейства. Много разъ воспроизведены довольно вульгарныя черты маленькой, живой и бойкой мѣщаночки, которую насмѣшники прозвали Vulpia, и съ которою Гёте прожилъ 30 лѣтъ. Языкомъ и нравами она была настоящая тюрингенка—говорилъ о ней старикъ Гёте еще при ея жизни;—она усерднѣйше исполняла главную свою задачу—ухаживать за отцомъ своихъ дѣтей и услаждать ему физическую жизнь. Во всемъ остальномъ она своенравна и никого не слушается. Зато я ее и люблю, что она ни въ чемъ не отступилась отъ своего существа, осталась тѣмъ, чѣмъ была» **). Румяный, рыжеволосый, смѣющійся, не то буршъ, не то Джонъ Буль въ молодости и какимъ его

*) B. V, 1358.
**) 1808 г., B. VIII, № 1497.

рисуютъ въ каррикатурахъ, изображаетъ собою сына Гёте, Августа. Внукъ отъ этого сына и Оттиліи фонъ-Погвицъ, Вальтеръ Гёте, не имѣетъ ни одной черты, которая бы напоминала отца его или дѣда: черноволосый, узколицый, съ вытянувшимся подбородкомъ, со скучающимъ и соннымъ выраженіемъ лица. Изъ портретовъ самого Гёте наибольшее число относится къ годамъ поздней старости и соотвѣтствуетъ юпитеровскому типу, съ которымъ въ нашемъ воображеніи соединено обыкновенно само представленіе о Гёте. Но извѣстно, что въ цвѣтущей молодости своей, напр. во время итальянскаго путешествія, Гёте изображалъ собою скорѣе Аполлона. Такимъ является онъ на портретѣ кисти Тишбейна въ Шеделевскомъ музеѣ во Франкфуртѣ (въ бѣломъ плащѣ, лежащій на камнѣ среди развалинъ римской Кампаньи); такимъ въ особенности является онъ въ бюстѣ, изваянномъ изъ мрамора въ 1788 г. художникомъ Триппелемъ. Бюстъ этотъ—совершенство; когда художникъ задумалъ другой бюстъ съ того же лица, вышла полнѣйшая неудача — оба изображенія совсѣмъ не схожи. Оба бюста хранятся въ великогерцогской библіотекѣ, съ которой я бы совѣтовалъ посѣтителямъ Веймара начинать изученіе остатковъ великой литературной эпохи.

Въ 1562 г. возлѣ большого стараго дворца выстроенъ былъ малый, во французскомъ стилѣ «возрожденія» по образцу Шатиліонскаго замка; потомъ его обратили въ книгохранилище. Завѣдуя книгохранилищемъ Гёте-министръ передѣлалъ его, пробилъ потолки, образовалъ рядъ залъ въ два свѣта. Здѣсь происходило представленіе «Ифигеніи въ Тавридѣ», въ которомъ участвовали Гёте, какъ Орестъ, герцогъ Карлъ-Августъ, какъ Пиладъ. Въ особомъ шкафу хранятся: монашеская ряса Лютера, прострѣленный лосиный кафтанъ, снятый съ мертваго Густава-Адольфа, придворный мундиръ Гёте съ золотыми пуговицами. На стѣнахъ и въ нишахъ вся литературная великая эпоха увѣковѣчена въ мраморѣ

и полотнѣ, въ изображеніяхъ ея дѣятелей; кромѣ Трипелевскихъ, имѣется дивный юпитеровскій бюстъ Гёте рѣзца Давида д'Анже. Наконецъ, библіотека обладаетъ безцѣннѣйшимъ предметомъ — тѣмъ изъ нѣсколькихъ Даннекеровскихъ бюстовъ Шиллера, который отмѣченъ художникомъ числомъ 1805 и былъ сдѣланъ за два мѣсяца до смерти поэта. Это произведеніе — верхъ красоты патологической; послѣдняя фиксировка вспышки яркимъ пламенемъ погасающаго свѣточа. Тѣло изможденнаго, почти-что покойника—одна кожа да кости, но на захудалой мраморной щекѣ угадываешь чахоточный румянецъ и во всѣхъ чертахъ просвѣчиваетъ еще гордая, неунывающая и порывистая душа великаго идеалиста. Чтобы достигнуть полной эстетической оцѣнки этого произведенія, надобно его сопоставить съ другимъ совсѣмъ уже не-эстетическимъ, но реальнѣйшимъ предметомъ — съ посмертною гипсовою маскою, снятою съ преставившагося Шиллера. Она хранится въ бывшемъ домѣ Шиллера на Louisen—нынѣ Schillerstrasse, близъ Гётева дома и близъ театра. Домъ этотъ, узенькій, тѣсноватый, но въ три этажа, былъ Шиллеромъ купленъ въ 1802 г. за 2.000 талеровъ; нынѣ онъ общественный и обращенъ въ Шиллеровскій музей. Весь домъ занималъ Шиллеръ самъ; внизу онъ работалъ; верхніе три маленькіе покои были жилые; спальня Шиллера обрѣталась тутъ же, въ помѣщеніи въ родѣ мансарды. Подъ конецъ жизни Шиллеръ не терпѣлъ настоящаго недостатка, но былъ стѣсненъ въ средствахъ существованія; тысячу талеровъ жалованья получалъ онъ, отъ герцога и имѣлъ обѣщаніе на такую же сумму, въ случаѣ, если бы болѣзнь помѣшала работать, чѣмъ онъ. однако, никогда не воспользовался *). Остальныя средства заработывалъ онъ перомъ; а такъ какъ для сведенія концовъ съ концами онъ долженъ былъ ставить по двѣ пьесы въ годъ, то онъ и работалъ до истощенія силъ,

*) В. VI, № 1074, разг. съ Эккерм.

въ особенности по ночамъ. Домашняя обстановка его жилья, чистенькая, приличная, имѣетъ всѣ черты средне-мѣщанскаго типа жизни, который отличается тѣмъ, что ни малѣйшій обрѣзокъ не пропадаетъ и накопляются годами дешевенькія бездѣлицы и разные сувенирчики. Зато спальня поражаетъ наготою; простой человѣкъ не рѣшился бы нынѣ довольствоваться низенькою, узкою кроватью, на которой испустилъ духъ поэтъ, а на лицѣ его тогда отразилось застывшее выраженіе несказанной душевной горечи и глубокой скорби съ долею какого-то величаваго презрѣнія. Вспоминаются невольно сохранившіяся подробности о томъ, что̀ послѣвало за этимъ моментомъ. Не было на-лицо близкихъ людей или родныхъ, которые бы занялись похоронами; жена Шиллера, Шарлотта, лежала тяжко больная и почти не сознавала, что̀ кругомъ ея происходило. Похороны справляло приходское начальство. По мѣстному обычаю похоронную службу отправляли за малое вознагражденіе ремесленные цехи по очереди, организованные въ церковныя братства. На очереди при похоронахъ Шиллера былъ цехъ портныхъ. Хоронили его по-полуночи, безъ музыки и пѣнія. Знакомые и почитатели поэта устранили, однако, портныхъ и на своихъ рукахъ донесли гробъ въ ночь съ 11-го на 12-е мая 1805 г. до Hof und Garnisonskirche св. Іакова на кладбищѣ. И церковь, и кладбище — внутри самаго города; нынѣ ни въ склепѣ церковномъ, ни на погостѣ, никого не хоронятъ, но еще въ 1816 г. на этомъ погостѣ похоронена жена Гёте. Гробъ былъ простой, безъ всякой бляхи и надписи. Его опустили на веревкахъ въ подземелье подъ церковью, гдѣ обрѣталось десятка два такихъ же гробовъ. Ихъ прибыло еще много, пока не послѣдовалъ приказъ Карла-Августа о перенесеніи останковъ поэта въ болѣе достойное мѣсто. Когда при исполненіи приказа открытъ былъ церковный склепъ, на днѣ котораго долженъ былъ находиться Шиллеровъ гробъ, то его уже нельзя было отличить въ громадѣ другихъ, въ нѣ-

сколько этажей гробовъ, уже прогнившихъ отъ сырости и разсыпавшихся отъ малѣйшаго ихъ передвиженія. Розыскомъ руководилъ мѣстный бургомистръ Швабъ, который самъ нѣкогда былъ въ числѣ несшихъ гробъ и опускавшихъ его въ подземелье. Работали до поздней ночи и вытащили 23 черепа. Эти черепа перенесены были на квартиру къ бургомистру, изъ нихъ выбранъ одинъ, наиболѣе подходящій по формѣ и размѣрамъ къ маскѣ, снятой по смерти съ поэта. Отдѣленный отъ подобраннаго такимъ же образомъ любителями и сочлененнаго ими остова, этотъ черепъ помѣщенъ въ постаментѣ подъ Даннекеровымъ бюстомъ, пока его не соединили, по совѣту короля баварскаго Людвига I-го, съ соотвѣтствующимъ ему, по предположенію, остовомъ. Еще при жизни своей Карлъ-Августъ въ 1827 г. перенесъ останки Шиллера въ выстроенный имъ для себя и для Гёте великогерцогскій некрополь (Fürstengruft), и самъ между этими двумя гробницами, изъ которыхъ одна была пустая, въ слѣдующемъ, 1828 году, опочилъ.

II.

Гдѣ обрѣтался и что дѣлалъ Гёте, когда хоронили его сердечнаго друга? Въ январѣ 1805 г. онъ перенесъ весьма опасную болѣзнь; въ маѣ онъ уже ходилъ, но былъ слабъ и берегъ себя. Притомъ въ числѣ многочисленныхъ питаемыхъ имъ отвращеній (онъ не выносилъ собакъ, куренія табаку, запаха чесноку, ношенія очковъ) не послѣднее мѣсто занимало отвращеніе къ смерти, къ ея виду и запаху. Отъ матери своей, Frau Rath, иначе Frau Aya *), Гёте унаслѣдовалъ веселый нравъ, выше всего цѣнилъ здоровье, любилъ страстно жизнь и избѣгалъ всякихъ страданій, и физическихъ, и нравственныхъ **). «Я былъ какъ пеликанъ,—говорилъ

*) Heinemann, Goethes Mutter. 1892, S. 345.
**) Biedermann, № 1434.

онъ, — и вскормилъ Вертера кровью моего сердца, но я перечелъ его только одинъ разъ послѣ изданія и никогда читать его не буду. Читая, я чувствую, что я самъ не свой (es wird mir unheimlich dabei), и я боюсь, чтобы я не ощутилъ опять того патологическаго состоянія, которое породило Вертера *)». Гёте не была чужда физическая отвага, что́ онъ доказалъ въ кампанію 1792 г. въ арміи герцога брауншвейгскаго подъ Вальми, когда онъ добровольно скакалъ подъ пушечнымъ огнемъ французовъ только ради того, чтобы испытать das Kanonenfieber и придти къ заключенію, что это ощущеніе вовсе не желательно. Эта неохота встрѣчаться съ реальною смертью съ глазу на глазъ была слабою стороною въ его характерѣ **). Она была извѣстна семьѣ и домашнимъ людямъ — тѣмъ ходячимъ словарямъ (lebende Lexika), которыми Гёте пользовался въ своихъ трудахъ (Meyer, Riemer, Eckermann). Всякую смерть дорогого лица старались, елико возможно, дольше передъ нимъ скрывать. Этого рода извѣстія были имъ принимаемы спокойно, почти равнодушно, безъ всякихъ оказательствъ чувства. Такъ встрѣтилъ онъ смерть матери, смерть великаго герцога Карла-Августа, смерть сына своего Августа, умершаго въ Римѣ (1830 г.). Глаза его наполнились слезами; «non ignoravi me mortalem genuisse», сказалъ онъ и присовокупилъ, обращаясь ко вдовѣ сына, Оттиліи: «Августъ не вернется, будемте держаться другъ съ другомъ» — и только, и не болѣе. Въ слѣдующемъ году другъ сына, фонъ-Гольтэй, затѣялъ съ Гёте разговоръ о сынѣ; Гёте оборвалъ его и заговорилъ о другихъ предметахъ ***). Гете во многихъ отношеніяхъ оправдывалъ даваемое ему названіе «великаго язычника»;

---

*) B., № 919.

**) См. Biedermann, VIII, № 1414, о послѣднихъ минутахъ жизни Гёте:... «fürchtereiche, grässliche Todesangst». Послѣднія слова его переиначены,—имъ дано переносное значеніе. Гёте сказалъ только: «откройте другую половину окошка, чтобъ больше было свѣта въ комнатѣ».

***) B., № 1374.

сердцемъ грекъ или римлянинъ—онъ чуждался многихъ чувствъ, привитыхъ намъ христіанствомъ. Смерть Шиллера прочувствовалъ онъ, однако, сильно и глубоко. Во время болѣзни Шиллера видѣли, какъ онъ плакалъ. Одинъ изъ его «живыхъ словарей», Мейеръ (швейцарецъ, котораго прозывали Kunschtmeyer), ушелъ отъ Гёте, не простившись, когда получилъ извѣстіе о томъ, что Шиллеръ скончался. Гёте догадался на другой день о случившемся по слезамъ жены своей Христины. 11-го мая онъ отправился подѣлиться скорбью съ своимъ давнишнимъ другомъ, m-me Штейнъ *), но на предложеніе ея навѣстить покойника отвѣтилъ отрицаніемъ: «nein, die Zerstörung!...» Въ 1813 году онъ оправдывался передъ Фалькомъ **): «не хотѣлъ я видѣть въ гробахъ ни Гердера,. ни Шиллера, ни герцогиню Амалію. Смерть—плохой портретистъ. Хочу хранить въ памяти живые образы друзей, а не ихъ маски. Хочу, чтобы и со мною такимъ образомъ поступили. Въ смерти Шиллера мнѣ особенно нравится, какъ онъ отъ насъ ушелъ; не оповѣщенный прибылъ онъ въ Веймаръ, незамѣтнымъ образомъ оставилъ онъ насъ. Не люблю я похоронныхъ парадовъ. Выставка покойниковъ — добрый древній обычай, общеполезный и назидательный; публика должна знать не только, что человѣкъ скончался; но и какимъ образомъ онъ скончался. Каждому изъ насъ важно только то, чтобы ни одна жизнь не была прекращена, пока не положитъ ей конецъ сама природа». Не подлежитъ сомнѣнію, что еслибы Гёте соблюлъ этотъ общечеловѣческій, не только христіанскій, но и античный обычай возданія чести праху умершаго Шиллера, то онъ бы избѣжалъ печальной необходимости подбирать, можетъ быть, и не принадлежавшія покойному кости и складывать ихъ въ остовъ. Низкій столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, на которомъ со-

*) Düntzer, Goetes Leben, 1880, S. 335.
**) В., № 573.

вершался этотъ подборъ, показываютъ и теперь въ великогерцогской библіотекѣ.

III.

Подъ этимъ мраморнымъ равнодушіемъ не скрывался-ли холодный эгоизмъ? Многіе обвиняли Гёте въ такомъ безпредѣльномъ эгоизмѣ, въ томъ числѣ и самъ Шиллеръ, пока онъ не сблизился съ Гёте. Кто изучилъ вполнѣ отношенія обоихъ поэтовъ, и при жизни ихъ, и по смерти Шиллера, тотъ долженъ признать, что Гёте до самой своей кончины оказывалъ памяти умершаго высокій почетъ и не отзывался о немъ иначе, какъ съ теплымъ чувствомъ почти благоговенія. Въ бреду предсмертной агоніи ему мерещились разбросанные, какъ бы по полу, листки его переписки съ Шиллеромъ, которые онъ приказывалъ подбирать *). Онъ воздвигъ притомъ своему другу болѣе прочный памятникъ, нежели тотъ, который имѣется въ великогерцогскомъ некрополѣ. На первыхъ же порахъ послѣ кончины друга, Гёте сочинилъ (1805 г.) эпилогъ къ Шиллеровскому «Колоколу», къ которому, при позднѣйшихъ поминальныхъ сценическихъ представленіяхъ (1810—1815 г.), придѣлывались все новыя и новыя строфы.

Прекрасно выдается слѣдующее мѣсто въ эпилогѣ:

Indessen schritt sein Geist gewaltig fort
In's Ewige des Wahren, Guten, Schönen
Und hinter ihm im bodenlosen Scheine
Lag was uns alle bändigt—das Gemeine.

(Стремился духъ его неудержимо въ вѣковѣчность правды, добра и красоты—а позади его вдали лежала безпочвеннымъ призракомъ та пошлость, которая всѣхъ насъ сковываетъ.)

«Не могу, не могу я этого человѣка забыть»,—ска-

*) В., № 1415.

залъ Гёте,—прерывая произносившую эпилогъ артистку Вольфъ *). Въ 1813 г. онъ выразился въ разговорѣ съ Буасерэ: «то былъ послѣдній дворянинъ въ нѣмецкой литературѣ, рыцарь sans peur et sans reproche» **). «Онъ былъ аристократичнѣе меня,—увѣрялъ Гёте Эккермана ***): — удивительный человѣкъ, каждую недѣлю онъ былъ иной и болѣе совершенный; при всякомъ новомъ свиданіи казалось, что онъ сдѣлалъ новые успѣхи въ учености, въ начитанности и въ сужденіяхъ». Въ 1828 г. уже сильно состарѣвшійся Гёте сталъ печатать свою переписку съ Шиллеромъ—изданіе капитальное, необходимый ключъ для уразумѣнія характеровъ обоихъ поэтовъ и ихъ творчества въ довольно продолжительный періодъ наибольшей ихъ зрѣлости и блеска. Изданію предшествуетъ письмо Гёте къ королю баварскому Людвигу, отъ 18-го октября 1829 года, съ препровожденіемъ экземпляра изданія. Письмо это объясняетъ слѣдующимъ образомъ отношенія переписывавшихся: «когда насъ оставляетъ важное вліятельное лицо, мы обыкновенно углубляемся въ самихъ себя и болѣзненно ощущаемъ то, что́ мы съ его потерею утратили. Въ моемъ личномъ положеніи этотъ расчетъ имѣлъ большую важность, потому что съ тѣхъ поръ я ощутилъ, что нѣтъ сердечнаго и надежнѣйшаго соучастника; я лишился умственнаго стимула и всего того, что́ возбуждаетъ достохвальное соревнованіе. Все это ощутилъ я тогда самымъ чувствительнымъ образомъ» (Mir fehlte nun eine innige vertraute Theilnahme, ich vermisste eine geistreiche Anregung und was nur einen löblichen Wetteifer beförden konnte. Diess empfand ich damals auf schmerzlichste). Эта богатая содержаніемъ и интересующая, какъ любопытнѣйшій психологическій романъ, переписка обнаруживаетъ весьма рѣдкое и, можетъ быть, единственное во всемірной исто-

*) 1805. B., № 234.
**) B., № 632.
***) 1824. B., № 920, S. 971.

ріи литературъ событіе—двухъ первостепенныхъ мастеровъ въ писательствѣ, разныхъ возрастовъ, несходныхъ темпераментовъ, сошедшихся однако, подружившихся и столь тѣсно соединившихся, что, дополняя другъ друга и, такъ сказать, взаимно себя оплодотворяя, они стали работать не въ складчину, не надъ тѣмъ или другимъ произведеніемъ сообща, но каждый надъ своими личными созданіями, совѣтуясь только, одобряя себя взаимно и дѣйствуя въ одномъ и томъ же духѣ и направленіи. Исключеніе составляютъ только «Ксеніи», писанныя въ складчину, но это все-таки бездѣлица.

Образованію подобныхъ союзовъ между художниками того же мастерства мѣшаютъ многочисленныя препятствія: авторское самолюбіе, болѣзненно чувствительное у поэтовъ; различія во взглядахъ этическихъ и политическихъ; одиночество геніевъ, не обрѣтающихъ обыкновенно вокругъ себя товарищей подъ стать себѣ и даже такихъ, которые были бы способны давать имъ реплику, какимъ былъ, напримѣръ, Бенъ-Джонсонъ по отношенію къ Шекспиру. Большею частью геній бываетъ окруженъ спутниками, какъ большая планета лунами (Мицкевичъ), или онъ тащитъ за собою длинный хвостъ подражателей (В. Гюго). Случалось, что сближались моментально крупные поэтическіе таланты, одинаковые по величинѣ размѣровъ, но столь противоположныхъ темпераментовъ, что о взаимномъ ихъ вліяніи на творчество другъ друга не могло быть и рѣчи (Байронъ и Шелли); красоту любили они одинаково, но мало другъ друга понимали. Случалось и то, что пылкіе люди-поэты влюблялись другъ въ друга какъ артисты; вспышка была яркая, но на одно мгновеніе, а потомъ пылкій нравъ, неугомонность характеровъ брали верхъ, въ особенности если къ размолвкѣ располагали ихъ еще и противоположныя общественныя теченія; друзья расходились въ разныя стороны по скрестившимся моментально путямъ (Красинскій и Словацкій).

Союзъ Гёте и Шиллера отличался тѣмъ именно, что

два великана поэзіи сошлись какъ вполнѣ равные по степени дарованія и по достоинству; они вступили въ прочную и неразрывную дружбу на всю жизнь; этимъ своимъ артистическимъ общеніемъ они закрѣпили прочное свое господство надъ умами современниковъ и потомства. Почти сто лѣтъ прошло съ момента, когда союзъ образовался; господство друзей поколеблено, но оно еще не упало и понынѣ, по неимѣнію подходящихъ замѣстителей. Они—представители и продолжатели общечеловѣческаго гуманизма безъ вѣроисповѣданій, классическаго искуства, отливающаго современныя чувства и мысли въ красивыя формы, завѣщанныя древностью, располагающаго высокимъ стилемъ, образованнымъ на античныхъ образцахъ. Никто до сихъ поръ не достигъ вершины германскаго поэтическаго Олимпа, занятаго этими двумя людьми, которыхъ величаютъ не безъ нѣкотораго основанія Кастеромъ и Поллуксомъ—братьями Діоскурами. Идею ихъ духовнаго братства выразилъ мѣдный памятникъ, поставленный въ память ихъ въ 1857 г., работы скульптора Ритчеля, передъ знаменитымъ во всей Германіи веймарскимъ театромъ. Въ нынѣшнемъ своемъ видѣ этотъ театръ построенъ по смерти Шиллера на мѣстѣ прежняго, сгорѣвшаго 22-го марта 1825 г., послѣ чего Гёте позаботился о новомъ сооруженіи, которое больше и красивѣе прежняго. Два мѣдные великана поставлены на весьма невысокомъ пьедесталѣ, точно они взошли случайно на это мѣсто, точно они отличаются отъ прохожихъ по площади только по своему исполинскому росту. Группа въ движеніи. Усмѣхающійся Гёте, въ шитомъ мундирѣ, высокомъ галстухѣ и съ кружевнымъ жабо, подаетъ правою рукою лавровый вѣнокъ Шиллеру, а лѣвую положилъ покровительственно ему на плечо. И Ритчель, и Бегасъ—въ статуѣ Шиллера въ Берлинѣ передъ театромъ на Geandarmenmarkt — надѣли на Шиллера домашній длиннополый развѣвающійся сюртукъ. Шиллеръ является моложавымъ студентомъ; его шея открыта, волоса длинные;

онъ держитъ въ одной рукѣ свертокъ бумаги, онъ жестикулируетъ, точно ораторъ или восторгающійся поэтъ. Концами пальцевъ правой руки онъ уже коснулся вѣнка, такъ и ждешь, что онъ его приметъ, хотя въ первый моментъ онъ какъ будто бы еще колеблется. Справедливо замѣтилъ Германъ Гриммъ въ своихъ берлинскихъ публичныхъ чтеніяхъ о Гёте (1877 г.), что нарядъ Шиллеру данъ Ритчелемъ неподходящій и группировка поэтовъ неудачная. Въ 1804 г., г-жа Сталь передавала слѣдующимъ образомъ свое посѣщеніе герцогини Амаліи-матери: «я дожидалась герцогини, вдругъ вижу — въ той же комнатѣ стоитъ мужчина, высокій, худой, блѣдный, въ мундирѣ съ эполетами. Чувствую уваженіе къ генералу, который держитъ себя неподвижно и молчитъ. Вдругъ является герцогиня и представляетъ мнѣ г. Шиллера. Я просто остолбенѣла. — Что же вы бы сдѣлали, — сказалъ мнѣ Гёте,—еслибы вы увидали меня въ такомъ же нарядѣ?— Я не ошиблась бы, притомъ нарядъ отлично бы шелъ къ вамъ по причинѣ вашей... полноты» *). Сорокалѣтній свѣтскій человѣкъ, Шиллеръ, не походилъ уже нисколько на того бурша, какимъ онъ былъ смолоду. Допустимъ, что воображеніе художника-скульптора въ правѣ свободно воспроизвести черты великаго человѣка не реальныя, то-есть не соотвѣтствующія тому или другому историческому моменту, но легендарныя, до извѣстной степени условныя, какимъ его публика себѣ представляетъ. Я готовъ согласиться, что трудно представить себѣ Гёте не въ видѣ пожилаго мудреца — и Шиллера не въ видѣ пылкаго юноши-энтузіаста. Я готовъ признать, что въ группѣ скульпторъ вправѣ сопоставить два историческія лица, въ такой характеристикѣ, въ какой они никогда другъ съ другомъ не встрѣчались, но которая остается за ними окончательно въ исторіи или наиболѣе соотвѣтствуетъ легендарному сказанію.

*) Biedermann, № 209.

Все-таки, однако, ихъ постановка въ группѣ должна символизировать ихъ реальныя другъ къ другу отношенія, ихъ взаимныя другъ о другѣ понятія, ихъ взаимныя чувства. Съ этой точки зрѣнія, постановка поэтовъ въ группѣ Ритчеля совсѣмъ несвойственна ихъ роду знакомства и способу сближенія. Пока они не сошлись, отношенія ихъ были церемоніальныя и скорѣе непріязненныя, нежели дружескія. Когда они сблизились, то до самаго конца ихъ общенія не было ни одного момента, соотвѣтствующаго милостивому и покровительственному снисхожденію съ одной стороны, или умственному и сердечному самоподчиненію—съ другой стороны. Не только существовало полное равенство взаимныхъ услугъ, но и въ образованіи ихъ союза болѣе дѣятельную роль игралъ скорѣе Шиллеръ, нежели Гёте. Первый шагъ къ сближенію сдѣлалъ Шиллеръ, онъ рѣшилъ расшевелить Гёте; онъ достигъ своей цѣли и имъ дѣйствительно завладѣлъ. Несмотря свое безденежье, на свою болѣзненность и зародыши чахотки въ легкихъ, Шиллеръ сталъ главнымъ литературнымъ дѣятелемъ въ Германіи ко времени возвращенія Гёте изъ итальянскаго путешествія. Онъ былъ писателемъ отзывчивымъ на всѣ потребности времени и всѣ вѣянія духа своего вѣка. Онъ обладалъ способностями первостепеннаго публициста, увлекающаго всѣхъ своею искренностью и сердечностью. Его сочувствіе всякому добру было столь обаятельно, что какъ скоро онъ захотѣлъ кого-нибудь увлечь, то увлекалъ и заставлялъ служить не себѣ, но общественному дѣлу и идеѣ. Въ моментъ сближенія съ Шиллеромъ, Гете уже находился внѣ главнаго общественнаго теченія; масса публики становилась къ нему болѣе и болѣе равнодушна и переставала его понимать. Въ наукѣ онъ былъ естествоиспытатель, въ искуствѣ — классикъ-любитель античнаго, ко всему остальному довольно равнодушный. Будь у Шиллера крупинка мелкой зависти или авторскаго самолюбія, онъ бы сталъ кидать камни въ идола, какъ

кидалъ ихъ Коцебу, какъ кидали ихъ Бёрне и вообще позднѣйшая молодая Германія. Увлекши за собою Гёте, Шиллеръ воспламенилъ опять погасающій въ Гете огонь поэтическаго творчества. Гете опять сталъ популяренъ, а Шиллеръ извлекъ изъ общенія съ нимъ ту непосредственную пользу, что почерпалъ вдохновеніе и поэтическіе замыслы и сюжеты въ умственной организаціи своего друга, необычайно глубокой, неисчерпаемой и разносторонней. По смерти Шиллера Гёте сосредоточился въ себѣ самомъ, сталъ болѣе ученымъ и критикомъ, нежели художникомъ; въ самомъ художествѣ онъ больше рефлектировалъ, символизировалъ, сочинялъ аллеторіи, создавалъ вещи замысловатыя, загадочныя, «Wanderjahren В. Мейстера», вторую часть «Фауста». Его чевствовали дымомъ кадильнымъ, ему кланялись какъ божеству, но мало ему сочувствовали, и почетъ былъ только внѣшній, церемоніальный. Въ бисмарковскій періодъ исторіи Германіи оба діоскура дождались того, что ихъ стали ругать за то, что они были всечеловѣки, а не настоящіе патріоты германскіе *). Самый образъ первой завязки отношенія между поэтами повліялъ несомнѣнно на роль каждаго изъ союзниковъ въ этомъ союзѣ. Посему, прежде чѣмъ приступить къ разбору содержанія ихъ переписки и затронутыхъ въ ней вопросовъ искуства, необходимо остановиться на обстоятельствахъ, непосредственно предшествовавшихъ тѣснѣйшему ихъ знакомству и сближенію.

IV.

Первая ихъ встрѣча была въ Штутгардтѣ и отмѣчена числомъ 14-го декабря 1779 года. Молодой саксенъ-веймарскій герцогъ, Карлъ-Августъ, объѣзжалъ тогда Германію; ему сопутствовалъ въ качествѣ больше

*) Starke, Deutsche Geschichte 1880, II, 554.

пріятеля, нежели наставника, тайный совѣтникъ Johann Wolfgang von Goethe, весьма извѣстный авторъ «Гёца», «Вертера», «Клавиго» и многихъ другихъ произведеній. Они приняли участіе въ засѣданіи основанной герцогомъ вюртембергскимъ медицинской академіи и въ раздачѣ наградъ воспитанникамъ. Учредитель имѣлъ по правую сторону Карла-Августа, по лѣвую — Гёте. При вызовѣ получателей наградъ оказалось, что изъ 124 присужденныхъ медалей три подлежали выдачѣ двадцатилѣтнему воспитанику Фридриху Шиллеру, который былъ моложе Гёте ровно на десять лѣтъ (1749—1759). Худой, несложившійся юноша имѣлъ узкую выпуклую грудь, рыжіе волосы, лицо почти прозрачно-нѣжное, но все въ веснушкахъ; красивы были въ этой физіономіи широкій лобъ, тонкій орлиный носъ и смѣлые огненные взоры. Шиллеръ обожалъ Гёте какъ писателя, сознавалъ въ себѣ влеченіе къ театру, къ драматическому искуству, онъ уже сочинялъ тайкомъ, въ большомъ секретѣ, своихъ «Разбойниковъ», которыхъ первое представленіе въ Маннгеймѣ, 13-го января 1782 г., вызвало гнѣвъ князя и заставило военнаго фельдшера Шиллера бѣжать дезертиромъ за границу. Съ момента бѣгства (осень 1782 г.—по апрѣль 1785 г.) слѣдовали три года скитаній, житья въ кредитъ или на чужой счетъ, безъ гроша за душою. Въ портфелѣ скитальца лежали много разъ переписываемые и исправляемые «Fiesco», «Cabale und Liebe», «Don Carlos», которые ничего не приносили ему, потому что кто хотѣлъ — перепечатывалъ ихъ безъ зазрѣнія совѣсти, да и на сценѣ не имѣли они того колоссальнаго успѣха, который достался на долю «Разбойникамъ». Нищенствуя и голодая, скитаясь и ухаживая за женщинами, пытаясь быть и литературнымъ критикомъ, и журналистомъ, Шиллеръ стремился неуклонно къ одной простой и великой цѣли: стать сценическимъ писателемъ-трагикомъ, играть на сердцахъ человѣческихъ, какъ на струнахъ, достигнуть того, чтобы отъ словъ его люди дрожали и плакали.

Ничто не могло поколебать увѣренности его въ громадной внутренней своей силѣ, которая совладаетъ съ задачею и одолѣетъ препятствія. Въ борьбѣ за существованіе, въ сношеніяхъ съ труппами актеровъ, съ директорами театровъ и журналистами, въ соприкосновеніяхъ съ высшимъ обществомъ и придворными мелкихъ нѣмецкихъ государствъ, Шиллеръ научился искуству жить съ людьми, пріобрѣлъ ловкость манеръ, практичность и удивительную способность нападать на слабыя стороны всякаго характера, съ которымъ ему приходилось имѣть дѣло. Онъ былъ своего рода маркизъ Поза, обращающійся не къ Филиппу II, но къ сердцамъ несравненно болѣе мягкимъ, чѣмъ даже наши современныя,—къ сердцамъ людей XVIII-го вѣка. Сердечностью Шиллера, чувствительностью людей, на которыхъ онъ дѣйствовалъ, объясняются многіе изъ тѣхъ неожиданныхъ сюрпризовъ, которые доставались на его долю. О немъ заботились неизвѣстныя ему женщины: въ тяжелыя минуты являлась неожиданная помощь отъ незнакомыхъ. Когда въ 1791 г. Шиллеръ, уже женатый, профессорствовалъ въ Іенѣ и весьма тяжко захворалъ отъ воспаленія легкихъ, онъ получилъ вдругъ даръ въ 3.000 талеровъ отъ герцога Августенбургскаго изъ Даніи. Къ числу такихъ сюрпризовъ принадлежало и полученіе шолковаго разшитаго мѣшечка съ четырьмя силуэтами, отъ поклонниковъ поэта, Готфрида Кёрнера, его невѣсты и родственницъ ихъ. Это приношеніе послужило началомъ идеальнѣйшей дружбы, нашедшей выраженіе въ извѣстной пѣснѣ: «An die Freude». Пребываніе Шиллера въ Дрезденѣ у этого консисторскаго чиновника-философа Кёрнера было въ жизни Шиллера счастливымъ поворотомъ къ лучшему. Послѣ такого отдыха Шиллеръ вернулся на прежнія мѣста, въ тюрингенскій край, въ окрестности Мейнингена, Веймара, Рудольфштадта. Веймаръ былъ тихъ и пустъ; Гёте, послѣ десятилѣтняго закрѣпощенія себя администраціи и нравственнымъ заботамъ (1775—1785) бѣжалъ въ

Италію; герцогъ Карлъ-Августъ поступилъ въ Пруссію на военную службу; оставались въ маленькой столицѣ только дамы и нѣсколько литературныхъ знаменитостей, устроившихся при этомъ дворѣ—Виландъ, Гердеръ. Шиллеру улыбалась мысль профессорствованія въ Іенѣ, въ университетѣ, который содержали въ складчину четыре крошечныя государства (Gotha, Coburg, Meiningen, Weimar). Къ Рудольфштадту его привлекало знакомство съ вдовою фонъ-Ленгенфельдъ и ея двумя дочерьми, которыя обѣ были въ Шиллера влюблены, и изъ которыхъ на одной — Шарлоттѣ, онъ, уже профессорствуя въ Іенѣ, женился 22-го января 1790 г., а другая — Каролина (von Beullwitz) написала цѣнное для потомства его жизнеописаніе. Таково было положеніе Шиллера, когда состоялось 18-го іюня 1788 г. давно ожидаемое возвращеніе Гёте въ Веймаръ. Подробности ихъ новой встрѣчи передаетъ слѣдующимъ образомъ Шиллеръ въ своихъ письмахъ.

V.

Встрѣчи этой выжидалъ Шиллеръ съ нетерпѣніемъ и нѣкоторымъ безпокойствомъ. Онъ вполнѣ сознавалъ громадное значеніе Гёте въ литературѣ, но сознавалъ также и свою собственную силу а слѣдовательно и то, что сближеніе могло быть только при условіи равенства, и первый шагъ долженъ быть сдѣланъ не имъ, а Гёте. Не могъ Гёте не знать, что́ происходило въ германской литературѣ и журналистикѣ за послѣдніе годы; слѣдовательно, онъ не могъ обойти Шиллера, не обнаруживая того, что онъ намѣренно его избѣгаетъ. 12-го августа 1787 г., за годъ до пріѣзда Гёте, посѣщая его домикъ и садъ, которые занималъ общій знакомый ихъ, Кнебель, Шиллеръ отмѣтилъ *): «Духъ Гете отпечатлѣлся на

*) Schillers Briefe, ausg. von Fritz Jonas. 1892, I, 381.

всѣхъ людяхъ его кружка. И его самого, и всю здѣшнюю секту отличаютъ презрѣніе ко всякому умозрѣнію и философскому изслѣдованію, до излишества доведенная привязанность къ природѣ и предоставленіе себя только своимъ пяти чувствамъ, — однимъ словомъ, нѣкоторая дѣтская простота разума». Несмотря на эти предубѣжденія, Шиллеръ слѣдитъ за каждымъ шагомъ Гёте съ момента его пріѣзда въ половинѣ іюня 1788 г. «Гёте теперь у васъ (пишетъ онъ 7-го іюля 1788 г. къ Риделю)*). Я горю нетерпѣніемъ повидать его; немногіе смертные меня въ такой степени интересовали. Пишите много о немъ, скажите ему обо мнѣ все лучшее. Его «Ифигенія» доставила мнѣ хорошій день, хотя я купилъ это удовольствіе цѣною сокрушающаго сознанія, что я не въ силахъ произвести что́ бы то ни было подобное».

Шиллеръ разсчитывалъ, что свиданіе состоится у г-жи Штейнъ, но онъ ошибался насчетъ возможности ея посредничества. Гёте уѣзжалъ въ Италію, между прочимъ съ тѣмъ, чтобы освободиться отъ связи съ великосвѣтскою дамою, и хотя онъ переписывался съ нею, но эти письма становились болѣе и болѣе холодными. Съ перваго визита ей Гёте она уже знала, что онъ совсѣмъ перемѣнился. Черезъ три недѣли по его возвращеніи, въ домѣ Гёте уже хозяйничала молодая, рѣзвая, но совсѣмъ простая хозяйка, Христіана Вульпіусъ, на которой Гёте женился 20 лѣтъ потомъ, уже по смерти Шиллера.

Ожидаемое свиданіе состоялось 12-го сентября 1788 г. въ Рудольфштадтѣ, у будущей тещи Шиллера, г-жи Ленгенфельдъ, въ присутствіи г-жъ Штейнъ и Гердеръ. Со словъ Гердера Шиллеръ составилъ себѣ представленіе о Гёте, какъ объ универсальномъ человѣкѣ, вродѣ Юлія Цезаря, но съ перваго же взгляда долженъ былъ сильно понизить это представленіе. Онъ увидѣлъ человѣка «сред-

*) II, 1885 г.

няго роста, у котораго въ манерѣ держать себя и въ походкѣ есть нѣчто чопорное (steif); лицо его непроницаемо, но глаза живые и исполненные выраженія. Голосъ его весьма пріятный, рѣчь плавная, остроумная и оживленная. Въ сущности мое почитаніе не уменьшилось отъ личнаго знакомства, но я сомнѣваюсь, сойдемся ли мы съ нимъ когда нибудь поближе. Многое, что̀ меня интересуетъ, чего я желаю и на что надѣюсь, уже имъ пережито. Онъ настолько опередилъ меня опытомъ жизни и саморазвитіемъ, что мы не можемъ идти рука объ руку. Притомъ наши существа совсѣмъ различно обоснованы (angelegt). Что̀ будетъ дальше — покажетъ время» *). Эти слова несомѣнно свидѣтельствуютъ о разочарованіи. «Кернеръ въ своемъ отвѣтѣ выражаетъ, что онъ доволенъ встрѣчею, и присовокупляетъ: я не жду дружбы, но того, чтобы вы чаще сталкивались и другъ другомъ интересовались». Столкновеніе могло очень скоро послѣдовать, потому что Шиллеръ сдѣлалъ наступательное движеніе и помѣстилъ въ одномъ журналѣ рецензію «Эгмонта», по поводу изданія въ свѣтъ IX-го тома полнаго собранія сочиненій Гёте.

VI.

Рецензія Шиллера написана объективно, безпристрастно; прибавить къ ней или измѣнить приходится немногое. Рецензентъ изумляется мастерству, съ которымъ начертанъ общественный фонъ исторической картины Нидерландовъ,—предметъ крайне сложный и осуществимый только посредствомъ тончайшихъ штриховъ, а не крупными мазками кисти. Мы имѣемъ передъ собою не одну націю, а смѣсь разнообразнѣйшихъ провинціонализмовъ,—всякая частица обособлена, всѣ онѣ движутся. Облагорожены и очеловѣчены даже злыя и темныя лич-

*) Письмо къ Кернеру, 12-го сентября 1788, II, 116.

ности, напримѣръ герцогиня Пармская или Альба, но и онѣ не вселяютъ къ себѣ отвращенія. Великолѣпна и превосходна обстановка, но не таковъ самъ герой. Тутъ и начинается анатомированіе трагедіи вообще, а потомъ самого Эгмонта. Сюжетомъ трагедіи могутъ быть: или необычайныя дѣйствія и положенія, или страсти, или характеры. Древніе трагики ограничивались обыкновенно трагедіями положеній и страстей, не вдаваясь въ подобную характеристику дѣйствующихъ лицъ. Впервые Шекспиръ создалъ трагедію характеровъ, поставилъ на сценѣ цѣльныхъ людей въ полномъ теченіи ихъ жизни. Гёте послѣдовалъ за Шекспиромъ и представилъ въ Эгмонтѣ развитіе одного только характера. Въ положеніи Эгмонта находились въ Нидерландахъ всѣ крупные люди того времени подъ испанскимъ игомъ: они страдали и гибли. Гибнетъ и Эгмонтъ безъ всякихъ особенныхъ драматическихъ осложненій, которыхъ онъ сдѣлался бы жертвою. Далеко не великій, но—весьма симпатичный человѣкъ, храбрый, щедрый, гордый, чувственный, но рыцарскій, привлекающій насъ даже своими слабостями, безумною увѣренностью въ своей правотѣ. Ослѣпленіе, съ которымъ онъ подходитъ къ роковой, всѣмъ другимъ видимой, катастрофѣ, имѣетъ въ себѣ черты трагизма, возбуждающія боязнь за героя и состраданіе къ нему (условія трагизма по теоріи Аристотеля и Лессинга). Авторъ не придумалъ положенія, возбуждающаго интересъ, не одушевилъ Эгмонта сильною страстью; онъ избралъ милаго по характеру человѣка, полагая, что бѣдность содержанія онъ окупитъ богатствомъ своей геніальности. Онъ достигъ своей цѣли, но, спрашивается, какою цѣною? Прежде всего цѣною правды исторической. Отъ этой правды трагикъ воленъ отступать, но только тогда, когда необходимо усилить интересъ въ зрителяхъ къ своему предмету,— но ни въ какомъ случаѣ для того, чтобы его ослабить. Чтоже вышло однако? Историческій Эгмонтъ имѣлъ жену, девятеро дѣтей, онъ былъ въ долгахъ вслѣдствіе своей

щедрости. Если бы онъ покинулъ Нидерланды съ семьею, онъ бы превратился въ аристократа-нищаго. Оставаясь на мѣстѣ, онъ подвергалъ себя опасности изъ-за любви къ семьѣ, изъ-за заботъ о ея благосостояніи. Какимъ же сталъ онъ въ трагедіи?—Обыкновеннымъ жуиромъ, заурядным любовникомъ, дѣлающимся не думая о томъ, виновникомъ несчастія двухъ людей: Кларочки и Бракенбурга, которые, можетъ быть и сочетались бы, еслибы не онъ, а онъ, амурничая, только развлекался. О великихъ дѣлахъ Эгмонта идетъ въ пьесѣ только одно преданіе; на сценѣ видимъ только одни его слабости и легкомысліе. Когда, доведенный до гибели своею легкомысленностью, Эгмонтъ засыпаетъ въ тюрьмѣ передъ казнью, авторъ переноситъ вдругъ его и насъ въ оперный міръ; стѣны тюрьмы раздвигаются, въ облакахъ паритъ свобода, олицетворенная въ образѣ Кларочки. Авторъ зналъ, что онъ-дѣлалъ, но не могъ устоять противъ искушенія отождествить аллегорически въ душѣ Эгмонта два преобладающія чувства: любовь къ женщинѣ и любовь къ свободѣ. Рецензентъ выразилъ въ концѣ сожалѣніе, что этому остроумному сближенію принесено въ жертву серьезное трагическое ощущеніе, совсѣмъ пропавшее послѣ этой сцены.

Шиллеръ ошибся, полагая, что можно произвести въ трагическіе герои добраго семьянина, который погибаетъ потому, что не рѣшился во время убраться за границу. Во всемъ остальномъ его приговоръ былъ справедливъ и произнесенъ съ полною независимостью. Его суть заключалась въ томъ, что драма мастерски написана, но слабо построена. Рецензентъ Шиллеръ питалъ по отношенію къ Гёте чувства, выраженныя молодымъ Альбою къ Эгмонту и повторенныя цѣликомъ въ рецензіи: «Имя твое сіяло въ первой моей молодости словно звѣзда на небѣ. Сколько разъ я прислушивался и спрашивалъ о тебѣ. Ты шелъ впередъ передо мною; я видѣлъ тебя передъ собою безъ зависти и слѣдовалъ за тобою въ даль и въ даль»... Шиллеръ былъ столь наивенъ, что

повѣрилъ, когда ему кто-то сказалъ, что Гёте отнесся къ рецензіи одобрительно; онъ написалъ о томъ къ Кёрнеру, значитъ вѣрилъ слуху, а можетъ быть и полагалъ, подобно Кёрнеру, что столкновеніе поведетъ къ заинтересованію критикуемаго критикомъ.

Шиллеръ грубо ошибался. Гёте, прочтя рецензію, не отвѣтилъ на нее и даже не соизволилъ заинтересоваться рецензентомъ. Единственный слѣдъ того, что рецензія была принята къ свѣдѣнію, заключается въ письмѣ къ герцогу Карлу-Августу въ началѣ октября 1788 г.; тамъ говорится о рецензіи, но не упоминается фамилія рецензента, и сказано: «она разбираетъ довольно хорошо нравственную сторону пьесы; что же касается поэтической стороны, то рецензентъ оставилъ еще сказать весьма многое другимъ».

Смыслъ этой лаконической замѣтки былъ какъ бы слѣдующій: «невдалекѣ отъ меня проживаетъ въ Веймарѣ нѣкій публицистъ, который осудилъ моего «Эгмонта», можетъ быть даже и справедливо съ точки зрѣнія господствующихъ нынѣ въ политикѣ теченій, но что касается поэтической стороны этого произведенія, то онъ разсуждаетъ какъ слѣпой о цвѣтахъ»... Такое презрительное олимпійское равнодушіе ко всякимъ критикамъ, не вдаваясь даже въ разборъ отъ кого онѣ происходятъ,—объясняется прежде всего данными, занесенными въ отрывочныя автобіографическія отмѣтки самого Гёте. Въ Италіи онъ не слѣдилъ за нѣмецкою литературою; когда вернулся, то нашелъ страшный сумбуръ въ головахъ, котораго самыя яркія выраженія были «Ардингелло», Гейзе, и «Разбойники», Шиллера. Послѣдній былъ мнѣ ненавистенъ,—писалъ Гёте,—потому что его сильный, но незрѣлый талантъ изливалъ на всю Германію потоки этическихъ и театральныхъ парадоксовъ, отъ которыхъ я пытался отрѣшиться. Я ужаснулся, когда увидѣлъ, что эти уродливыя произведенія нравятся не только «дикимъ» студентамъ, но и образованнымъ придворнымъ дамамъ, что ими заражаны даже мои бли-

жайшіе знакомые Мейеръ, Морицъ, Тишбейнъ и Бюри; я готовъ былъ отказаться и отъ моихъ занятій пластическимъ искуствомъ и отъ стихотворства, потому-что какая же представлялась возможность взять верхъ надъ этими произведеніями геніальнаго содержанія, но дикой формы. Представьте себѣ мое положеніе. Я питалъ и распространялъ чистѣйшія представленія и вдругъ очутился точно въ клещахъ между Ардингелло и Францомъ Мооромъ. Я избѣгалъ Шиллера, который проживалъ въ моемъ сосѣдствѣ, и отклонилъ всѣ попытки лицъ ему и мнѣ благорасположенныхъ къ тому, чтобы насъ сблизить». Эта отмѣтка свидѣтельствуетъ, что Гёте былъ неосновательно и весьма сильно предубѣжденъ противъ Шиллера. Онъ относился недружелюбно уже не къ автору «Разбойниковъ» но къ автору «Донъ-Карлоса», не къ революціонеру, затѣявшему поставить все вверхъ дномъ, но къ человѣку, пытающемуся обратить на путь прогресса просвѣщаемаго имъ автократа. Самъ Гёте былъ до нѣкоторой степени миніатюрный маркизъ Поза въ крошечномъ государствѣ. Если онъ приписалъ тутъ же въ отмѣткѣ слова: «появленіе Донъ-Карлоса не было надлежащимъ средствомъ къ нашему сближенію», то это показываетъ только, что Гёте пересталъ быть энтузіастомъ, что онъ окончательно вышелъ изъ періода юношескихъ восторговъ и затыкалъ себѣ отъ нихъ уши, точно отъ фальши звуковъ и диссонансовъ въ музыкѣ. Сверхъ этого резона существовалъ, можетъ быть, еще одинъ болѣе глубокій поводъ къ отсутствію всякаго расположенія въ Гёте къ сближенію съ Шиллеромъ. Менѣе чѣмъ кто-нибудь, Гёте располагалъ своимъ творчествомъ; онъ созидалъ что-либо только когда испытывалъ наитіе вдохновенія и сознавалъ вполнѣ эту непроизвольность человѣческаго характера въ самомъ для него существенномъ. Главнымъ образомъ лирикъ и эпикъ, но не драматургъ, онъ въ молодости и вплоть до «Германа и Доротеи» драматизировалъ только то, что́ было имъ реально пере-

жито. Въ этомъ отношеніи онъ походилъ на Байрона, потому что не переставалъ изображать самого себя въобразахъ Гёца или Эгмонта, Фауста или Вильгельма Мейстера. Всегда его герой одинъ и тотъ же, много знающій, высоко даровитый, но колеблющійся, поддающійся ежеминутно натиску извнѣ; въ этой страдательной податливости и лежитъ весь трагизмъ его положенія среди постигающихъ его катастрофъ. Ницше (Unzeitgemässige Betrachtungen 11: Schopenhauer als Erzieher) изобразилъ весьма удачно этотъ типъ человѣка у Гёте, который въ ранней юности былъ бунтующимъ отрицателемъ, какъ человѣкъ у Руссо, но затѣмъ измѣнился, сталъ ненавистникомъ всякаго насилія, всякихъ скачковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всякаго практическаго дѣла, и изъ міроосвободителя Фауста превратился во всесвѣтнаго туриста (Weltreisender). Созерцатель перелетаетъ сквозь всѣ царства жизни и природы, чрезъ все прошлое, всѣ художества и миѳологіи, чрезъ всѣ науки, пока любознательность его не насытится, то есть пока не настанетъ минута, которой поджидаетъ злой его спутникъ Мефистофель, чтобы заполучить его душу. Когда нѣмецъ перестаетъ быть Фаустомъ, онъ превращается мгновенно въ филистера, попадаетъ въ когти чорту, если его отъ того не предохранятъ небесныя силы. Гётевскій человѣкъ—это высокаго стиля созерцатель, который только тѣмъ и держится, что питается всѣмъ, что только было и есть великаго и достопримѣчательнаго, отъ вожделѣнія переходя къ новому вожделѣнію, но не дѣйствуя. Этотъ человѣкъ есть консервативная и выносливая сила, но онъ легко вырождается въ филистера, какъ вырождается человѣкъ у Руссо въ послѣдователя Катилины. Побольше мышечной силы и дикости — и всѣ его хорошія качества выиграли бы отъ того несказанно. «Вы раскисли и прогоркли, — говоритъ гдѣ-то Ярно Вильгельму Мейстеру: — когда вы взаправду озлитесь, то будетъ еще того лучше»... Гёте сознавалъ, изъ какого глубокаго и затаеннаго, никому недоступнаго источника

истекаетъ его творчество; онъ могъ, не входя въ препирательства, игнорировать своихъ рецензентовъ; они совсѣмъ не останавливали на себѣ его любознательности. Хотя къ сужденіямъ Шиллера о его творчествѣ онъ былъ вполнѣ равнодушенъ, однако онъ рѣшился оказать ему свое покровительство, можетъ быть не безъ задней мысли помочь ему выбраться изъ Веймара. По представленію Гёте, въ половинѣ декабря 1788 года, Шиллеръ опредѣленъ былъ профессоромъ исторіи іенскаго университета. Когда Шиллеръ явился благодарить Гёте за его участіе, Гёте отнесся къ нему церемоніально, со всею сухостью старшаго чиновника, разговаривающаго съ младшимъ о служебныхъ дѣлахъ. Эта намѣренно обнаруживаемая безсердечность довела Шиллера до отчаянія и заставила его излить свои жалобы въ перепискѣ съ Кёрнеромъ,— жалобы, въ которыхъ онъ былъ столь же несправедливъ къ Гёте, какъ Гёте къ нему самому; напримѣръ, 2-го февраля 1789, Sch. Briefe, II, 218: «У Гёте нѣтъ ни минуты изліянія даже въ отношеніяхъ его къ ближайшимъ друзьямъ; его нельзя ни на чемъ поймать. Я думаю, онъ въ высочайшей степени эгоистъ; у него есть талантъ привязывать къ себѣ людей и обязывать, но онъ всегда ухитряется такъ, что самъ остается свободнымъ. Онъ благодѣтельствуетъ, но какъ Богъ—не отдавая себя никому; этотъ послѣдовательный и распланированный образъ дѣйствія разсчитанъ, какъ мнѣ кажется, на то, чтобы услаждаться въ наивысшей степени себялюбіемъ... Вотъ почему я его ненавижу, хотя его умъ всѣмъ сердцемъ люблю и имѣю о немъ высокое понятіе. Я питаю къ нему нѣчто въ родѣ смѣшанныхъ чувствъ любви и ненависти, — чувство, похожее на то, какое питали Брутъ и Кассій по отношенію къ Цезарю. Гёте сильно вліяетъ на то, что я стараюсь, чтобы мои стихи были сколько возможно лучше отдѣланы. Я крайне дорожу его мнѣніемъ. Его голова зрѣлая, а его сужденіе можетъ быть пристрастно, но только противъ, а не за меня. Я хотѣлъ слышать правду обо мнѣ, а это единственный

человѣкъ, который можетъ мнѣ оказать такую услугу. Я окружу его подслушивающими (Lauscher), потому что я его никогда о себѣ не прошу»...

5-го февраля 1789 г., въ письмѣ къ Каролинѣ Бейльвицъ, II, 223: «Гёте, какъ я думаю, создалъ изъ величайшаго наслажденія себялюбіемъ идеалъ счастія, при которомъ онъ однако несчастливъ. Этотъ характеръ мнѣ не нравится. Вблизи его я самъ былъ бы не свой. Можетъ быть, будущее укрѣпитъ это сужденіе, или еще будетъ лучше, если оно его опровергнетъ».

9-го марта 1789 г., въ письмѣ къ Кернеру, II, 249, озлобленіе достигло крайняго предѣла: «этотъ человѣкъ, этотъ Гёте стоитъ поперекъ моего пути и напоминаетъ мнѣ часто, что судьба жестоко меня обидѣла, что она несла его геній на своихъ крыльяхъ, а я и донынѣ долженъ жестоко бороться. Потерянаго не наверстаешь, и послѣ тридцати лѣтъ себя не преобразуешь»...

Между тѣмъ, къ Пасхѣ 1789 г., Шиллеръ уже поселился въ Іенѣ, сильно работалъ, женился, обзавелся хозяйствомъ, простудился въ началѣ 1791 г. и былъ при смерти боленъ. Съ самаго переѣзда въ Іену почти нѣтъ уже и помину о Гёте въ перепискѣ Шиллера. Въ то же время Гёте уединялся, работалъ и устроился такъ, чтобы наиболѣе успѣвать въ ограниченномъ кругѣ дѣятельности, который онъ оставилъ за собою. Онъ пересталъ быть главнымъ двигателемъ государственной машины, не участвовалъ въ совѣтѣ управленія герцога, завѣдывалъ только учебными заведеніями, музеями, театромъ, погрузился въ естествознаніе, мало занимался поэзіею, но сопутствовалъ герцогу въ посѣщеніяхъ нѣмецкихъ дворовъ и совершилъ французскую кампанію 1792 г. Что бы произошло, спрашиваетъ Гриммъ, еслибы Шиллеръ преждевременно умеръ? Въ виду его переписки съ друзьями на памяти Гёте легло бы пятномъ весьма правдоподобное обвиненіе, что онъ оттолкнулъ отъ себя Шиллера по самымъ непохвальнымъ побужденіямъ. Что бы произошло, еслибы Гёте поразило французское ядро

подъ Вальми въ рядахъ арміи герцога брауншвейгскаго; еслибы онъ погибъ, не завѣщавъ потомству ни цѣльнаго «Фауста», ни «Германа и Доротеи», ни «Вильгельма Мейстера»? Вѣроятно, были бы о немъ толки такіе же, какъ и по смерти Байрона въ 1824 г. Сказали бы, что скончался человѣкъ, давшій все то, что́ только способенъ былъ дать на самомъ исходѣ своего погасающаго таланта. Въ дѣйствительности всѣ подобныя предположенія оказываются обыкновенно вполнѣ неосновательными. Но вотъ наступилъ моментъ въ концѣ 1794 г., когда уже переставшіе думать другъ о другѣ поэты сблизились случайно самымъ неожиданнымъ и вполнѣ естественнымъ способомъ. Намъ до́роги всѣ подробности этого интереснѣйшаго психологическаго момента.

VII.

Шиллеръ не былъ способенъ къ жизни замкнутой, вдали отъ философскаго и литературнаго движенія, безъ тѣснаго общенія съ духомъ вѣка и его стремленіями, безъ вліянія на людей не только съ каѳедры, но и журнальнаго. Въ 1793 г. онъ познакомился въ Штутгардтѣ съ бойкимъ и дѣятельнымъ тюбингенгенскимъ книгопродавцемъ-издателемъ, барономъ Іоганномъ-Фридрихомъ Коттою. Они согласились издавать ежемѣсячникъ въ девять листовъ подъ заглавіемъ «Ноген» или «Часы». Къ изданію надлежало привлечь щедрыми гонорарами по шести луидоровъ съ листа самыхъ знаменитѣйшихъ писателей и поэтовъ, въ числѣ которыхъ въ первомъ ряду стоялъ Гёте.

13-го іюня 1794 г. гофратъ и профессоръ Шиллеръ написалъ къ Гёте, въ самыхъ изысканныхъ выраженіяхъ, пригласительное письмо, за которымъ вскорѣ послѣдовалъ одинаково краткій, но исполненный благоволенія отвѣтъ (отъ 24-го іюня), выражающій, кромѣ принятія сотрудничества, еще нѣчто бо́льшее, а именно

желаніе личнаго обсужденія предпріятія при ближайшей бытности Гёте въ Іенѣ. Свиданіе это состоялось неизвѣстнаго числа, но при условіяхъ, которыя записаны въ автобіографическихъ отмѣткахъ Гёте. Въ Іенѣ существовало общество естествоиспытателей; въ засѣданіи его присутствовали и Гёте, и Шиллеръ; они вмѣстѣ вышли и дошли до квартиры Шиллера, разсуждая о слышанномъ. Гёте зашелъ къ Шиллеру для окончанія интересовавшей его бесѣды. Шиллеръ сожалѣлъ, что для непосвященныхъ въ естествовѣденіе мало привлекательны отрывочныя по частямъ изслѣдованія природы безъ взгляда на нее какъ на живое цѣлое; сомнѣвался, однако, не выходилъ ли бы подобный взглядъ за предѣлы опытнаго знанія. Гёте не только былъ увѣренъ въ возможности такого взгляда, но считалъ, что міръ обязанъ былъ всѣми своими открытіями по части естествознанія только смѣлымъ гипотезамъ. Такъ какъ въ то время онъ былъ сильно занятъ теоріею превращенія растеній, то для примѣра онъ изобразилъ Шиллеру немногими штрихами символическое растеніе, первообразъ всѣхъ растеній. Шиллеръ, выслушавъ Гёте со вниманіемъ, потрясъ головою и сказалъ: «это не опытъ, это просто идея». Такое возраженіе чуть-чуть не сдѣлалось причиною разрыва налаживающихся между ними отношеній. Уму Гёте представилась діаметральная противоположность двухъ міровоззрѣній, вслѣдствіе котораго онъ и Шиллеръ были, такъ сказать, антиподы. Предъ нимъ стоялъ послѣдователь Канта, обособляющій въ человѣкѣ то, что́ вложено было въ его существо самою природою, и до того преувеличивающій свыше мѣры чувства субъекта, его свободу и самоопредѣляемость, что онъ становился неблагодарнымъ по отношенію къ матери своей—природѣ. Гёте стало досадно, но онъ сдержался и произнесъ: «вотъ что́ мнѣ нравится,— я имѣю идеи, не зная о томъ, и даже я ихъ глазами моими вижу». Струна опять натянулась, но не лопнула. Шиллеръ, за которымъ Гёте признаетъ громад-

ный тактъ и ловкость въ обращеніи, защищалъ только свою точку зрѣнія; никто не побѣдилъ, и остался открытымъ вопросъ: кто болѣе правъ? сторона ли, отождествлявшая съ опытомъ не индуктивно выведенное, но на воздухѣ висящее, хотя правдоподобное предположеніе,—или сторона, относящая предположеніе къ области внѣопытнаго умозрѣнія. Уяснялось, что оба мнѣнія резонны и могутъ быть такъ или иначе примирены; не отступая отъ своихъ мнѣній, Шиллеръ употребилъ всѣ средства расположить къ себѣ гостя, и Гёте поддался его обаянію, несмотря на свои прежнія предубѣжденія, несмотря на свое отвращеніе къ табаку, который Шиллеръ употреблялъ чрезъ мѣру. Гёте утверждаетъ, что Шиллеръ былъ чарующій человѣкъ, имѣвшій неудержимою притягательную силу. Бесѣда вечерняя имѣла результатомъ присылку отъ Гёте статей въ «Horen» при слѣдующихъ выраженіяхъ, чрезвычайно знаменательныхъ со стороны столь сосредоточеннаго въ себѣ и застегнутаго на всѣ пуговицы человѣка (письмо 25-го іюля 1794 г.): «Erhalten Sie mir ein freundschaftliches Andenken und sein Sie versichert, dass ich mich auf eine öftere Auswechselung der Ideen mit Ihnen recht lebhaft freue» *). Такимъ образомъ, запертый на семь замковъ ларчикъ стоялъ открытымъ; первый шагъ сдѣланъ, ледъ сломанъ, и началось общеніе на требуемыхъ Шиллеровъ условіяхъ, то-есть на основаніи равенства и полной откровенности, съ признаніемъ заслугъ Гёте и авторитета, но безъ всякой лести и заискиванія. Два разные темперамента были уже настроены на одинъ камертонъ; требовалась только подача знака для начала музыки. Этотъ знакъ послѣдовалъ, какъ надо было ожидать, со стороны Шиллера въ образцовомъ его, съ дипломатической точки зрѣнія, письмѣ отъ 23-го августа

*) Сохраните меня въ дружеской памяти и будьте увѣрены, что я весьма радъ болѣе частому обмѣну мыслей между нами.

1794 г., письмѣ, которое на всю уже жизнь Шиллера служило программою сношеній и актомъ союза.

VIII.

Это письмо, длинное, писанное осторожно, обдуманно, по слогу весьма трезвое и безцвѣтное, начинается съ увѣренія, не имѣющаго вовсе вида комплимента, а именно, что бесѣда съ Гёте привела въ движеніе массу идей въ Шиллерѣ и освѣтила ему многое, происходящее въ его умѣ. Передавая содержаніе этого письма, мы должны освободить выводы отъ малопонятной нынѣ философской терминологіи, заимствованной у Канта, отъ категорій необходимости и произвола, переводимыхъ изъ области природы въ область духа. Шиллеръ полагаетъ, что «подобные ему, обыкновенные люди, прибѣгающіе къ анализу, доходятъ, съ неимовѣрнымъ трудомъ и окольными путями, до того, до чего сразу доходитъ прямѣе и совершеннѣе ваша непосредственная интуиція. Вы сами не знаете о своемъ богатствѣ, и что вамъ незачѣмъ заимствовать что-либо отъ философіи, потому что философія только расчленяетъ то, что́ ей подано, но сама подача не есть дѣло аналитика, а генія, совокупляющаго предметы по объективнымъ законамъ, при необъяснимомъ, но безошибочномъ вліяніи чистаго ума» (der reinen Vernunft—спекулятивнаго умозрѣнія). Установивъ такимъ образомъ возможность для геніальныхъ людей, въ родѣ Гёте, становиться сразу, по геніальной догадливости, по какому-то наитію для нихъ самихъ необъяснимому, по философскому инстинкту, на высочайшихъ вершинахъ знанія и творчества, до которыхъ добираются медленно и съ трудомъ разсудокъ со своими эмпирическими данными и опытами и чистый трансцендентальный умъ со своимъ анализомъ,—Шиллеръ приподноситъ Гёте его настоящій психологическій портретъ. Онъ его изучалъ, онъ проникъ до самой его глубины,

онъ знаетъ исторію его умственнаго развитія, лучше, чѣмъ кто бы ни было, лучше, чѣмъ самъ Гёте. Онъ проситъ Гёте присмотрѣться къ себѣ самому въ этомъ зеркалѣ. «Вы отыскиваете законы природы, но вы ищете ихъ на труднѣйшемъ и недоступнѣйшемъ для другихъ пути. Въ вашемъ умѣ природа есть непрерывное и организованное цѣлое, отражающееся въ каждой ея частицѣ и объясняющее каждую частицу. Вы слѣдуете по ступенямъ этой лѣстницы отъ простѣйшихъ устройствъ до самосложнѣйшаго, до самого человѣка, котораго вы возсоздаете генетически изъ матеріаловъ всего природозданія по всѣмъ правиламъ техники. Это прекрасное единство связныхъ представленій выходитъ за предѣлы единичнаго человѣческаго существованія и осуществляется при наименѣе выгодныхъ эстетическихъ условіяхъ. Будь вы древній грекъ или итальянецъ временъ возрожденія, вы бы располагали изящною природою и идеализирующимъ искуствомъ, вы бы созидали сразу и безъ затрудненія вещи вполнѣ прекрасныя и въ высокомъ стилѣ. Но вы—германецъ, родившійся на дикомъ и суровомъ сѣверѣ, среди личностей некрасивыхъ и уродливыхъ. Такъ какъ вы грекъ духомъ, а сѣверянинъ тѣломъ, то, созидая достойныя Греціи произведенія при отсутствіи красивой природы и красивой культуры, вы обязательно должны исправлять по лучшимъ образцамъ навязанную вашему воображенію болѣе дурную природу. Это направленіе логическое и рефлектирующее не совмѣстно съ эстетическимъ творчествомъ, а потому работа ваша, по необходимости сугубая, отъ созерцанія переходитъ къ отвлеченностямъ, послѣ чего опять вамъ приходилось превращать эти отвлеченныя понятія въ образы и мысли, въ чувства, такъ какъ творчество можетъ дѣйствовать только этими средствами»...

Повторяю,—я изложилъ содержаніе письма не дословно, но смыслъ его переданъ вполнѣ точно. Изображая умственную организацію Гёте, Шиллеръ вполнѣ искренно выразилъ превосходство Гёте предъ нимъ и

предъ всѣмъ молодымъ поколѣніемъ по возрасту, по зрѣлости и по природной даровитости, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ пытался перекинуть мысленно мостъ, по которому могли бы сойтись обѣ стороны, гдѣ-нибудь на серединѣ. Онъ какъ бы утверждалъ: вы сами не знаете и знать не можете (такъ какъ для генія его природа есть величайшая тайна), въ какой степени ваша интуитивность совпадаетъ съ результатами философскаго умозрѣнія. Интуитивность имѣетъ отправную точку въ особенномъ, умозрѣніе—во всеобщемъ; интуитивность слѣдуетъ за опытомъ, умозрѣніе ищетъ закона; интуитивность имѣетъ дѣло только съ недѣлимыми, а умозрѣніе съ родами; но они сходятся на полъ-дорогѣ, потому что геніальная интуитивность, имѣя дѣло съ недѣлимыми, заимствуетъ изъ нихъ только существенное, слѣдовательно изображаетъ особи, имѣющія всѣ признаки рода; а съ другой стороны, умозрѣніе, возвышаясь надъ опытомъ, не теряетъ его изъ виду и изображаетъ только роды, но роды жизнеспособные и состоящіе въ основательныхъ связяхъ съ дѣйствительностью.

Письмо Шиллера, отъ 23-го августа, попало прямо въ намѣченную цѣль и имѣло результатъ, превосходящій самыя крайнія ожиданія писавшаго. Гёте отвѣтилъ тотчасъ же, 27-го августа, наканунѣ дня своего рожденія (28-го августа). Обезоруженный письмомъ Шиллера и тронутый имъ, Гёте предложилъ ему безъ малѣйшихъ ограниченій себя самого, свою дружбу искреннюю и полную. Эта преданность выражена достойнымъ образомъ и соотвѣтственно зрѣлости обоихъ дружащихся и занимаемому ими положенію, безъ всякихъ изліяній чувства, весьма просто и спокойно, но и съ задатками дѣйствія. Гёте заявилъ, что письмо Шиллера, подводящее итоги существованію Гёте и ободряющее его къ живѣйшему и экономнѣйшему пользованію его силами, было лучшимъ приношеніемъ, какое только онъ могъ получить въ день своего рожденія. «Я доволенъ, что самъ собою, безъ особеннаго поощренія, шелъ по моей дорогѣ, но

мнѣ кажется, что теперь, послѣ этой *неожиданной* встрѣчи, которую я считаю началомъ новой эпохи, намъ придется продолжать путь вдвоемъ. Я всегда цѣнилъ честную и весьма рѣдкую серьезность, проявляющуюся во всемъ, что́ вы пишете или дѣлаете, и теперь имѣю право требовать, чтобы вы познакомили меня съ развитіемъ вашего ума, особенно въ послѣдніе годы»... Важнѣе всего конецъ письма: «все, что́ во мнѣ есть и меня касается, я охотно вамъ сообщу, потому что мое предпріятіе превышаетъ мѣру силъ человѣческихъ и земного существованія. Я хотѣлъ бы многое дать вамъ въ депозитъ, чтобы оно не только сохранилось, но еще и ожило. Будемте непрерывно работать сообща. Сами увидите, какая для меня будетъ польза отъ вашего ко мнѣ участія, потому что при ближайшемъ знакомствѣ вы откроете во мнѣ нѣкоторую темноту и нѣкоторое колебаніе (Zaudern), съ которыми не могу никакъ справиться, хотя ихъ очень хорошо сознаю». Эти слова представляютъ намъ Гёте съ новой совсѣмъ стороны, какъ человѣка не вполнѣ въ себѣ увѣреннаго и шатающагося, которому Шиллеръ будетъ служить зеркаломъ, отражающимъ его собственную, ему самому невидимую натуру. Онъ будетъ просить Шиллера въ послѣдующей перепискѣ помочь ему толковать его сны и мечты. До конца жизни Гёте былъ увѣренъ въ томъ, что́ выразилъ въ письмѣ къ Шиллеру 1798 г., № 399 («ты далъ мнѣ вторую юность и сдѣлалъ то, что я вновь сталъ поэтомъ»), и въ автобіографическихъ отрывкахъ («съ тѣхъ поръ началась для меня новая весна, все весело всходило и росло изъ открывшихся сѣмянъ и вѣтвей»). Зрѣлымъ плодомъ этого умственнаго сожительства и служитъ переписка друзей изъ 999 нумеровъ. Прежде чѣмъ приступимъ къ разбору ея содержанія, позволю себѣ указать на несходныя черты и противоположность двухъ темпераментовъ, соединившихся осенью 1794 г. для общихъ художественныхъ работъ.

IX.

Умъ Шиллера былъ философскій, одинаково способный мыслить отвлеченностями или образами, помогать себѣ въ поэтическомъ творчествѣ изслѣдованіями о законахъ и задачахъ искуства. Въ 1795—1796 г., Шиллеръ написалъ обширный трактатъ: «Ueber naïve und sentimentalische Dichtung», дѣлившій поэзію на эти главные роды ея. Употребленные имъ термины могутъ быть оспариваемы; лучше было бы дать имъ названія объективной и субъективной поэзіи, или реализма и идеализма. Къ первому роду отнесены древніе греки, но не всѣ, Гомеръ и Шекспиръ; ко второму—изъ греческихъ поэтовъ Эврипидъ, римляне и почти вся новѣйшая и современная поэзія. Это дѣленіе имѣетъ свою особую, не выраженную ясно, но сквозящую въ немъ подкладку. Шиллеръ сопоставляетъ свое творчество съ творчествомъ Гёте второго его періода, второй его манеры, когда онъ вернулся изъ Италіи классикомъ, какимъ онъ остался потомъ до самой старости, за исключеніемъ «Фауста», символическихъ послѣднихъ произведеній и мысленной поѣздки на дальній востокъ, въ West-Oestlicher Divan. Шиллеръ отстаиваетъ свой способъ творчества, доказывая его законность и необходимость. Первый родъ изображаетъ природу въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова, со включеніемъ и человѣка непосредственно и съ первой руки, чувственно и пластически, безъ всякихъ заботъ о томъ, чтобы изображаемое было красиво, и безъ всякаго поддаванія созерцающему идей собственнаго авторскаго издѣлія, безъ всякаго идеала. Авторъ прячется за образомъ, какъ Богъ, становящійся невидимымъ за вселенною. Второй родъ свойственъ искуственнѣйшимъ и сложнѣйшимъ общественнымъ устройствамъ,—обществамъ, тоскующимъ о прошломъ, мечтающимъ о возвратѣ къ первобытности, стремящимся къ природѣ, свободной отъ цѣпей, отъ не-

естественныхъ отношеній и нравовъ. Онъ ищетъ природы, какую онъ измыслилъ при свѣтѣ своихъ идеаловъ, и представляетъ ее себѣ окрашенною своими личными чувствами. Чистымъ типомъ такого сентиментализма представляется Руссо. Шиллеръ объясняетъ, сколько труда ему стоило породниться съ Шекспиромъ, съ его ледянымъ безчувствіемъ, съ его сарказмомъ среди сильнѣйшаго паѳоса. «Вслѣдствіе моего знакомства съ новѣйшими поэтами,—говоритъ Шиллеръ,—привыкши въ каждомъ произведеніи искать самого автора, сердцемъ привязываться къ нему, съ нимъ разсуждать о его предметѣ, словомъ — созерцать объектъ въ субъектѣ, я терпѣть не могъ, когда авторъ ускользалъ отъ меня, когда онъ самъ мнѣ не говорилъ. Геній обязательно наивенъ; геніальнымъ человѣкъ становится только вслѣдствіе своей наивности. Руководимый своею собственною природою, своимъ инстинктомъ, проходитъ онъ свободно чрезъ всѣ силки и западни фальшиваго вкуса, и, свободно распоряжаясь внѣ всего ему извѣстнаго точно у себя дома, онъ расширяетъ самую природу, не выходя за ея предѣлы»... Не называя Гёте, Шиллеръ его преимущественно имѣетъ здѣсь въ виду; онъ восторгается въ перепискѣ (№ 7) его интуитивностью, непосредственностью, стеченіемъ всѣхъ мысленныхъ его силъ въ воображеніи, какъ общемъ ихъ представителѣ. Шиллеръ догадывался (Переписка, № 267), что Гёте въ молодости имѣлъ въ своей жизни аналитическій періодъ раздвоенія и разлада, по мино ваніи котораго онъ дошелъ до гармоніи при помощи науки и искуства. Теперь онъ возвращается, образованный и зрѣлый, къ своей молодости, опять обладая одновременно и цвѣтомъ, и плодомъ. Это и есть молодость боговъ,—какъ и они, безсмертная. Въ виду этой интуитивной наивности Шиллеръ сознавалъ свою относительно мѣньшую умственную состоятельность. «Мнѣ надо время,—писалъ онъ 29-го сентября 1794 г., вскорѣ послѣ бесѣды съ Гёте (№ 12),—чтобы справиться съ идеями, которыя вы во мнѣ рас-

шевелили, присвоить себѣ все то, что̀ допускаетъ моя воспріимчивость. Время покажетъ, взойдутъ ли эти посѣвы. Не ожидайте отъ меня (№ 7, письмо отъ 31-го августа 1794 г.) большого богатства идей; я изъ немногаго дѣлаю многое, мой умственный кругозоръ тѣснѣе, но мое круговращеніе быстрѣе и чаще, а посему я успѣваю дѣлать большіе обороты съ малыми моими наличными деньгами, успѣваю наверстать формою недостаточность разнообразія въ содержаніи. Мой умъ дѣйствуетъ главнымъ образомъ—символизируя. Онъ—смѣсь пониманія и созерцанія, правила и ощущенія, техники и геніальности. Эта двойственность дѣлала меня въ былое время неуклюжимъ и въ поэзіи, и въ философіи. Донынѣ зачастую воображеніе портитъ мои отвлеченности, а холодный разсудокъ мѣшаетъ моей поэзіи. Если я успѣю обуздать и ограничить обѣ эти силы, то буду счастливъ, но пока я совладаю съ моими моральными силами, физическая болѣзнь грозитъ мнѣ смертью. Большой внутренней переработки не успѣю я совершить, но попытаюсь сдѣлать, что̀ могу, и охранить отъ пожара кой-какіе остатки»... Шиллеръ превосходно понималъ, въ чемъ состояла трудность предстоявшей ему задачи (№ 361). Поэтъ долженъ возвыситься надъ дѣйствительностью, но не переходя предѣловъ чувственности. Вращаясь среди некрасивой, безформенной природы, поэтъ отрѣшается слишкомъ легко и отъ дѣйствительнаго и отъ чувственнаго, и становится идеалистомъ, а когда его разсудокъ слабъ, то и фантастомъ. Если же онъ отъ природы чувственный человѣкъ, то онъ примѣняется къ дѣйствительности и становится въ ограниченномъ смыслѣ слова реалистомъ; а когда притомъ у него мало фантазіи, то онъ дѣлается рабскимъ и вульгарнымъ реалистомъ. Въ обоихъ случаяхъ онъ не эстетиченъ. Шиллеръ вполнѣ сознавалъ трудность переработки эмпирическихъ опытныхъ формъ въ эстетическія, и потому высоко цѣнилъ технику античныхъ мастеровъ. Лично онъ не выбиралъ для обработки другихъ сюжетовъ, кромѣ историческихъ,

и чувствовалъ, что потерпѣлъ бы неудачу, еслибы задался мыслью сочинить нѣчто чисто вымышленное. «Я способенъ, писалъ онъ (№ 398), оживить, согрѣть и расплавить (aufquellen machen) извѣстный опредѣленный сюжетъ, при чемъ опредѣленная объективность матеріала обуздываетъ мои фантазіи и сдерживаетъ произволъ»... Онъ изумленъ и завидуетъ дивной способности Гёте и творить и рефлектировать поочередно, не смѣшивая никогда этихъ двухъ функцій, слѣдствіемъ чего является необычайная чистота отдѣлки. «Вы работаете творчески въ потьмахъ, и свѣтъ обрѣтается только въ васъ самихъ (иными словами, сюжетъ укладывается неизвѣстно какъ и безсознательно въ произведеніе); но какъ только вы начинаете рефлектировать, внутренній свѣтъ проявляется наружу и озаряетъ предметы и для васъ, и для другихъ людей (№ 396). Во мнѣ оба способа дѣйствія перепутываются въ ущербъ дѣлу»...

Въ 1823 г., разговаривая съ Эккерманомъ*), Гёте смѣется надъ тщетою усилій Шиллера—сдѣлать полное разграниченіе двухъ родовъ поэзіи, сентиментальнаго и наивнаго, какъ будто сентиментальная поэзія могла когда-нибудь существовать не на почвѣ наивности—общей родительницы обоихъ этихъ родовъ,—какъ будто могло какое-нибудь поэтическое произведеніе явиться не безсознательно и не отъ замысла, внезапно и неизвѣстно какъ пришедшаго въ голову. Безъ такого вдохновенія не бываетъ ни творчества, ни геніальности. Всякая драма Шиллера уже съ перваго замысла содержала цѣлое въ общемъ очертаніи; громадная разница между обоими поэтами была только въ томъ, что замыселъ у Гёте незримо слагался, развивался и созрѣвалъ, пока не появлялся въ свѣтъ, какъ доношенный ребенокъ. Между тѣмъ Шиллеръ, имѣя замыселъ, ковалъ его и отдѣлывалъ почти механически, какъ профессіо-

*) Biedermann, № 899.

нальный ремесленникъ. Гриммъ въ своихъ чтеніяхъ даетъ слѣдующую весьма точную характеристику обоихъ способовъ работать: «Что Шиллеръ разумѣлъ подъ словомъ поэтическое творчество, то для Гёте совсѣмъ не было поэтическимъ творчествомъ. Шиллеръ отыскивалъ прежде всего какой-нибудь подходящій матеріалъ, какую-нибудь фабулу обыкновенно историческаго жанра. Въ письмѣ къ Гёте, № 290, онъ объясняетъ: «Суть дѣла въ искусствѣ—cardo rei заключается въ измышленіи поэтической фабулы. Я бы хотѣлъ знать*), какъ вы принимаетесь за работу. У меня чувство не имѣетъ сначала яснаго и опредѣленнаго предмета; предметъ образуется позднѣе. Ему предшествуетъ извѣстное музыкальное настроеніе, и только затѣмъ появляется во мнѣ поэтическая идея». Затѣмъ, получивъ идею, Шиллеръ возился съ матеріалами, пока не уложилъ ихъ наиболѣе для себя сподручно. Потомъ онъ хладнокровно планировалъ ходъ пьесы и работалъ подобно каменьщику, возводящему многоэтажное зданіе изо дня въ день по утвержденному плану. Выстроивъ вчернѣ зданіе, онъ его меблировалъ и передавалъ окончательно отдѣланное и опрятное на пользованіе общественное. Шиллеръ располагалъ до такой степени своимъ талантомъ, что пришпоривалъ своего Пегаса, возбуждалъ его крѣпкими ликерами среди безсонныхъ ночей за работою, запахомъ гнилыхъ яблокъ, которыя держалъ въ ящикѣ рабочаго стола и отъ которыхъ дѣлалось дурно Гёте и у него кружилась голова**). Это переутомленіе, эти потныя капли замѣчалъ Гёте въ произведеніяхъ Шиллера еще до сближенія съ Шиллеромъ***). Въ 1823 г. ****) Гёте утверждалъ, что Шиллеру несвойственно было создавать что-либо инстинктивно и безсознательно, онъ

*) Biedermann, № 157; 1796.
**) Biedermann, № 1074, 1131.
***) Biedermann, № 111.
****) B., № 899.

долженъ былъ рефлектировать; это философское направленіе его поэзіи вредило ей, потому что, давая идеѣ первенство надъ природою, онъ зачастую обходилъ природу. Все то, что́ онъ выдумалъ, должно было осуществиться, было ли оно естественное или неестественное. Слѣдствіемъ этого были: недостаточная мотивировка дѣйствій, рядомъ со сценами возвышенными и потрясающими такія прегрѣшенія противъ жизненной правды, отъ которыхъ книга валится изъ рукъ вонъ, наконецъ чрезъ мѣру усложненная психологія характеровъ. Къ сюжету своему приступалъ Шиллеръ смѣло, осматривалъ его со всѣхъ сторонъ и перевертывалъ его, и лѣпилъ его, но смотря на него только снаружи и во внутрь, такъ какъ спокойное развитіе изнутри не было въ его натурѣ. Никогда онъ не былъ доволенъ своимъ созданіемъ, передѣлывалъ роли передъ пробнымъ представленіемъ, рѣшался на перемѣны смѣло и былъ противникомъ длинныхъ мотивировокъ. «Но онъ имѣлъ способность, которой я лишенъ,—говорилъ Гёте,—передавать другимъ планъ и дѣленія всякой пьесы, которая была у него на верстакѣ» *). Вслѣдствіе того всѣ пьесы Шиллера были обсуждаемы напередъ имъ съ Гёте сообща. Гёте признаетъ, что длинная мотивировка, безъ которой онъ, Гёте, не умѣлъ обойтись, дѣлала пьесы его несценическими, между тѣмъ какъ дарованіе Шиллера было преимущественно сценическое **). Въ 1827 г., Гёте выразился, что, несмотря на всѣ свои несообразности (Roheiten), у Шиллера былъ столь возвышенный умъ и характеръ, что все, къ чему онъ ни прикоснулся, было безконечно выше того, что́ приподносятъ новѣйшіе драматурги въ своихъ слабыхъ, мягкихъ, ходульныхъ и неестественныхъ произведеніяхъ. Шиллеръ превосходитъ этихъ господъ даже и тогда, когда онъ только обрѣзываетъ себѣ ногти ***).

*) Biedermann, № 813.
**) B., № 971.
***) B., № 1073, разгов. съ Эккерманомъ.

X.

Кончая пока эту предварительную характеристику творчества Шиллера, мы должны сказать нѣсколько заключительныхъ словъ и о Гёте, какъ о его антагонистѣ, діаметрально ему противоположномъ во всѣхъ отношеніяхъ. Два эти темперамента невольно вызываютъ классическое сравненіе огня и воды, какъ двухъ никогда несогласуемыхъ стихій. Гёте былъ пластикъ, знатокъ контуровъ и формъ; Шиллеръ преимущественно музыкантъ. Шиллеръ былъ натура огненная; внутренній огонь преждевременно разрушилъ его физическій организмъ, у него была пылкая юность, была вѣчная гоньба за мечтаніями, за идеалами. Гёте, напротивъ того, имѣетъ видъ штиля на океанѣ послѣ довольно бурной, но безповоротно отошедшей молодости. Подъ гладью зеркальной почти поверхности происходятъ любопытныя явленія безъ предвзятаго въ мозгу плана, безъ натугъ воли, проходящія такимъ образомъ, что никто не знаетъ, какъ и откуда они пришли.

Гёте признавался Шиллеру въ 1801 г. *), что все, что̀ создаетъ геній, какъ геній, дѣлается имъ безсознательно. Геній можетъ дѣйствовать и разсудительно, обдуманно и по убѣжденію, но это все случайно и несущественно. Геніальное произведеніе не можетъ быть рефлективнымъ образомъ исправлено и очищено отъ своихъ изъяновъ; однако генію свойственно при помощи рефлексіи и практики поставить себя на такой высотѣ, что онъ будетъ въ концѣ концовъ писать образцовыя произведенія. Творчество—это такая естественная сила, которая, ничѣмъ на свѣтѣ не руководимая, сама себя образуетъ и дѣйствуетъ ей только свойственнымъ способомъ. Это присущее Гёте сознаніе, что онъ своимъ геніемъ обязанъ только природѣ, а не характеру, дѣлало его мало экспан-

*) В., № 807.

сивнымъ, ненавидящимъ всякое хвастовство и позированіе, и старающимся въ обращеніи съ людьми казаться самымъ обыкновеннымъ человѣкомъ, ниже того, чѣмъ былъ онъ въ дѣйствительности. «Есть во мнѣ,—писалъ онъ къ Шиллеру (№ 156),— нѣкоторая реалистическая наклонность (sic), вслѣдствіе которой я расположенъ прятать отъ глазъ человѣческихъ мое существованіе, мои дѣйствія, мои писанія. Люблю я ѣздить incognito, носить простую одежду, а не изящное платье, употреблять, бесѣдуя съ неизвѣстными или малознакомыми лицами, мало характерныя и болѣе слабыя выраженія, словомъ, стушевывать себя по возможности. Прошу васъ, не упускайте выгонять меня изъ этихъ моихъ границъ». Что касается до своего поэтическаго творчества, то Гёте хранилъ его въ глубочайшей тайнѣ. «Знаю,—писалъ онъ,—что все то́ для меня пропало, о чемъ я разскажу кому-либо или о чемъ я сообщу, что у меня такой-то планъ извѣстной работы. Я не сообщалъ о задуманномъ даже и Шиллеру» **). Сочиняя, Гёте самъ себя наблюдалъ, изслѣдуя тайны своего собственнаго существа. При повѣркѣ выводовъ ему было также полезно участіе другого наблюдателя—Шиллера, который бы ему помогъ разъяснить многое загадочное въ его собственномъ творчествѣ. Такъ какъ вдохновеніе стало посѣщать его рѣже и рѣже, то общеніе съ Шиллеромъ было внѣшнимъ стимуломъ, побуждающимъ его къ творчеству. Изъ этого общенія извлекъ еще Гёте другую весьма существенную пользу: «Вы меня отвлекли отъ чрезмѣрнаго наблюденія внѣшнихъ предметовъ и отношеній и заставили меня входить въ самого себя. Вы меня научили правильнѣе оцѣнивать многосторонность внутренняго человѣка».

Заканчиваемъ нашу характеристику творчества Гёте двумя заимствованными отъ него образными сравненіями. «Мы только укладываемъ въ костры большія массы де-

**) Разговоръ 1823 г., В., № 899.

рева,—и просушиваемъ ихъ; потомъ онѣ загораются сами собою въ надлежащее время, что̀ и приводитъ насъ въ удивленіе» (Переписка, № 52). Гёте поклонялся Шекспиру и ставилъ его безконечно выше современниковъ. «Шекспиръ,—говорилъ онъ,—подносилъ намъ золотыя яблоки въ серебряныхъ чашахъ. Послѣ большихъ трудовъ и изученій мы піобрѣтаемъ искуство выдѣлывать серебряныя чаши, но бѣда наша въ томъ, что намъ нечѣмъ наполнить ихъ,—развѣ лишь простымъ картофелемъ» *).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Въ моментъ, когда возникла дружба на всю жизнь между двумя великими нѣмецкими поэтами, на политической европейской сценѣ совершались громадныя событія. 27 іюля (9 термидора) 1794 года палъ Робеспьеръ, и былъ положенъ предѣлъ террору. Въ слѣдующемъ году, 5 апрѣля 1795 г. (16 жерминаля), Франція заключила трактатъ съ Пруссіею, подъ условіемъ нейтралитета нѣмецкихъ государствъ на сѣверъ отъ р. Майна. Жестокости и излишества революціи сильно охладили энтузіазмъ Шиллера и поколебали его вѣру въ возрожденіе человѣчества. Онъ возненавидѣлъ господство черни, насильственный и кровавый образъ дѣйствія, всѣ вообще революціонные пріемы. Выраженіемъ этого измѣнившагося настроенія была начатая въ 1788 г. и напечатанная въ 1800 г. *Пѣснь о колоколѣ*. Никогда Гёте, даже и въ молодости своей, не сочувствовалъ революціонному образу дѣйствій, въ чемъ онъ расходился съ Виландомъ, Гердеромъ и съ Шиллеромъ въ его ранніе года, но онъ

*) 1825 г. В., № 1016.

оцѣнилъ сразу и вполнѣ объективно великое значеніе революціи, ея разливъ по всей Европѣ, существо глубокихъ измѣненій, имѣющихъ произойти и въ общественномъ строѣ, и въ нравахъ. Увидѣвъ подъ Вальми расположенную вогнутымъ полукружіемъ и извергающую густой пушечный огонь армію Келлермана, онъ записалъ въ своемъ дневникѣ: «Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus; und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen» (отсюда и отнынѣ началась новая эпоха въ міровой исторіи; можете сказать, что и вы при томъ присутствовали). Гёте не принималъ сердечнаго участія въ этомъ наступательномъ движеніи, но констатировалъ только фактъ. Событія шли одни за другими и развертывались съ роковою силою. Пестрая мозаика владѣній прирейнскаго бассейна, родины Гёте, не укладывалась ни въ какое народное единство; она исполнена была смутныхъ и отжившихъ архаизмовъ, которые любы были Гёте какъ артисту, какъ первому въ Германіи романтику. Французы хозяйничали тутъ какъ у себя дома, поддерживая крошечныя владѣнія и вольные города противъ такихъ громадъ, какъ Австрія или Пруссія. Растаптываемыя, урѣзываемыя, расхищаемыя и медіатизируемыя мелкія нѣмецкія владѣнія только и ждали того, чтобы сдѣлаться добычею всякаго, кто будетъ сильнѣе.

Шиллеръ не дожилъ до самыхъ бѣдственныхъ для Германіи дней, но полтора года послѣ его смерти, въ декабрѣ 1806 г., Веймаръ былъ уже преданъ французскимъ войскамъ на разграбленіе. Домъ Гёте и его пожитки спасены только энергіею и присутствіемъ духа хозяйки, Христіаны Вульпіусъ, на которой Гёте вскорѣ женился, упорядочивъ церковнымъ вѣнчаніемъ свои къ ней отношенія. Въ октябрѣ 1808 года Гёте вызванъ былъ Наполеономъ въ Эрфуртъ и принятъ имъ съ большимъ почетомъ («Voilà un homme!» сказалъ Наполеонъ, простившись съ нимъ). Но въ 1813 герцогъ веймарскій попалъ въ немилость у Наполена, ему грозило отрѣшеніе отъ престола. Гёте выходилъ изъ себя, горячился не-

свойственнымъ ему манеромъ и говорилъ со слезами на глазахъ (Biedermann, № 518): «Чего они хотятъ, эти французы? люди ли они? зачѣмъ требуютъ они безчеловѣчнаго? Стоитъ ли ваша вчера возникшая имперія на столь твердыхъ ногахъ, что уже ничего не боится въ будущемъ? Съ посохами въ рукахъ пойдемъ мы въ изгнаніе за нашимъ государемъ. Скажутъ люди: — вотъ старикъ Гёте и бывшій герцогъ веймарскій, отрѣшенный отъ престола императоромъ французовъ за то, что заботился о своихъ несчастныхъ друзьяхъ и сослуживцахъ... Я буду пѣть, прося подаянія, я буду оплакивать наши бѣдствія. Я пойду пѣть про срамъ нѣмецкій по всѣмъ селамъ и школамъ»...

Обстоятельства сильно измѣнились послѣ похода на Москву; въ 1813 году промелькнула даже возможность кровавой отместки въ будущемъ,—не національной еще (Германія еще не была сплочена въ одну цѣльную національность), но только племенной. Гёте въ эту минуту посторонился и не приложилъ не только руки, но и одного пальца къ войнѣ за свободу (Freiheitskrieg), поднятой по почину нѣмецкихъ государей и профессоровъ и увлекшей народныя массы противъ французовъ. Отъ него не требовалось, чтобы онъ шелъ на врага съ оружіемъ въ рукахъ, что́ и не соотвѣтствовало бы его преклонному возрасту. Ожидали, что онъ одобритъ только добровольцевъ и обратится къ нимъ съ воззваніемъ къ оружію. Этого-то воззванія Гёте не захотѣлъ сдѣлать. Весьма характеренъ слѣдующій разсказъ о Гёте бывшаго доцента гейдельбергскаго университета Людена (Biedermann, № 570), познакомившагося съ Гёте въ 1806 г. и дружески этимъ послѣднимъ принятаго. Люденъ хотѣлъ поступить въ армію вольноопредѣляющимся, но друзья переубѣдили его, посовѣтовавъ основать патріотическій журналъ въ духѣ мщенія французамъ: «Немезиду». Люденъ за благословеніемъ отправился къ Гёте въ полной увѣренности въ томъ, что найдетъ въ немъ поддержку и сотрудника, но Гёте осадилъ его слѣдующими ледя-

ными словами: «Въ настоящемъ состояніи возбужденія, или, такъ сказать, воодушевленія (Anfregung-Begeisterung), какъ должностное лицо, я ничего противъ вашего предпріятія не имѣю; ни въ чьей протекціи вы не нуждаетесь. Но, какъ человѣкъ, я вамъ посовѣтую—предоставьте судьбы міра ихъ теченію и не вмѣшивайтесь въ эти распри государей, въ которыхъ ни на мой, ни на вашъ голосъ никто не обратитъ вниманія». До глубины души задѣтый, Люденъ вспылилъ и разразился словами негодованія. Гёте выслушалъ рѣчь его терпѣливо и спокойно, а потомъ произнесъ тихо и кротко слѣдующія слова: «Думаете ли, что вы научили меня чему-нибудь новому, мнѣ неизвѣстному? Развѣ вы полагаете, что я равнодушенъ къ великимъ идеямъ свободы народа, отечества!.. И я люблю Германію, и мнѣ было больно за этотъ народъ, столь достопочтенный въ отдѣльныхъ лицахъ и столь ничтожный въ совокупности! Сопоставленіе его съ другими народами порождаетъ тяжелое чувство, которое я всячески стараюсь одолѣть. Въ наукѣ и художествѣ я нашелъ крылья, съ помощью коихъ можно воспарить; но наука и художество принадлежатъ всему свѣту, и передъ ними исчезаютъ національныя грани. Наука и художество доставляютъ слабое утѣшеніе и и не могутъ замѣнить гордое сознаніе принадлежности къ могучей, уважаемой и внушающей боязнь національности. Думаете ли вы, что я не вѣрую въ будущее Германіи? Я вѣрю не хуже васъ; я вѣрю, что германцы предназначены совершить нѣчто больше того, что уже сдѣлали,—то-есть, разрушенія Рима и учрежденія средневѣкового устройства. Нынѣ не настало еще время; каждый по одиночкѣ обязанъ, сообразно своей склонности, положенію и таланту, содѣйствовать образованію народа, укрѣплять его и развивать, дѣйствуя преимущественно снизу вверхъ, и подготовлять его къ великимъ дѣламъ, когда придетъ день славы. Что намъ предстоитъ дѣлать? Въ наилучшемъ случаѣ мы лишь въ началѣ конца. Либо побѣдитъ Наполеонъ—и тогда все останется по старому;

допустимъ, что этотъ исходъ мало вѣроятенъ. Либо Наполеонъ будетъ разбитъ, вполнѣ разбитъ. Вы скажете о пробужденіи и подъемѣ нѣмецкаго народа; но дѣйствительно ли этотъ народъ пробудился? знаетъ ли онъ— чего ему желать? Всякое ли движеніе есть въ то же время и подъемъ? Спрашивается: что пріобрѣтутъ — не весьма немногіе образованные люди, но громадныя массы, но милліоны людей? Вы скажете: они пріобрѣтутъ свободу! Я бы только сказалъ: освобожденіе,—но отъ чего? Отъ ярма одного иностранца, но не отъ иностраннаго ярма вообще. Исчезнутъ французы, какъ исчезли римляне, но я вижу вмѣсто нихъ казаковъ, башкиръ, кашубовъ, хорватовъ, коричневыхъ и иныхъ гусаръ. Мы такъ привыкли смотрѣть только на западъ, что лишь оттуда выжидаемъ опасности, а она можетъ грозить и съ востока. Вы ссылаетесь на превосходные манифесты государей, туземныхъ и иностранныхъ; эти манифесты— то же, что монологъ Ричарда III: «коня, коня, все царство за коня!..» Люденъ такъ и ушелъ отъ Гёте съ пустыми руками, но ушелъ обезоруженный и убѣжденный, что такое отреченіе Гёте отъ активной роли въ національномъ движеніи было только слѣдствіемъ глубокаго его знанія людей и обстоятельствъ, за что и винить его невозможно.

II.

Наше сужденіе не можетъ быть столь снисходительно, какъ сужденіе Людена. Гёте совсѣмъ не чуялъ того могучаго, уже пробуждавшагося въ Германіи и весьма далеко мѣтящаго національнаго движенія, не по недостатку дальновидности или зрѣлости ума, а по поразительному недостатку государственнаго смысла. Этотъ недостатокъ не былъ у него прирожденный, но появился вслѣдствіе бездѣйствія и запущенности, вслѣдствіе доведенія до атрофіи органа, соотвѣтствующаго этому

смыслу. Естествоиспытатель, для котораго не было въ природѣ никакихъ тайнъ, человѣкъ, изслѣдовавшій всѣ ступени лѣствицы органическихъ существъ, Гёте никогда не изучалъ внимательно государства, какъ одного изъ главныхъ, самостоятельныхъ факторовъ въ исторіи культуры; онъ обходилъ систематически государство въ своихъ изслѣдованіяхъ, что́ и обнаруживается, напримѣръ, въ «Годахъ ученія Вильгельма Мейстера». Въ этой именно области Гёте не былъ на высотѣ своего вѣка. Извѣстно, что никто такъ не содѣйствовалъ зрѣлости политическаго смысла въ Германіи, какъ Гегель, котораго философія была въ теченіе извѣстнаго времени оффиціальною, государственною философіею Германіи, выклевывавшейся изъ ячейки прусской монархіи. Гегель знакомъ былъ съ Гёте, онъ былъ принимаемъ въ Веймарѣ и высоко чествуемъ со стороны поэта въ 1827 году (Biedermann, № 1132), но изъ этого общенія не вытекало сближенія. Гёте такъ и остался человѣкомъ до-гегелевской эпохи. Оправдываясь, въ послѣдніе года, въ своемъ политическомъ нейтралитетѣ (Bied., № 1276, 1830 г.), Гёте ссылался на свой преклонный возрастъ и на неуступчивость своего уже окончательно выработавшагося характера. «Могъ ли я взяться за оружіе, могъ ли я дѣйствовать оружіемъ безъ ненависти, могъ ли я, наконецъ, ненавидѣть, имѣя не 20, а слишкомъ 60 лѣтъ?»

Дружась съ Шиллеромъ въ 1794 г., Гёте имѣлъ только 45 лѣтъ, слѣдовательно былъ въ полномъ цвѣту силъ; однако нѣтъ данныхъ, которыя бы показывали, что онъ мыслилъ и чувствовалъ и тогда не такъ, какъ въ 1813 г., наканунѣ войны за освобожденіе. Спрошенный въ то время, онъ бы объяснилъ свой политическій индифферентизмъ тѣми доводами и мотивами, которые приводилъ въ 1828 г. въ своемъ разговорѣ съ Эккерманомъ: «Я былъ радъ, когда отъ насъ убрались французы, но ненавидѣть ихъ я не могъ. Я не могъ ненавидѣть одинъ изъ культурнѣйшихъ народовъ, которому я самъ обязанъ значительною долею моего образованія.

Національная ненависть проявляется всего сильнѣе на нижайшихъ ступеняхъ культуры, но на болѣе высокихъ она немыслима. Тогда стоишь надъ національностями и ощущаешь счастіе или несчастіе народа-сосѣда, какъ и свое собственное. До этой степени культуры я дошелъ далеко раньше 60 лѣтъ». Уваженіе Гёте къ Наполеону, какъ человѣку, было весьма глубокое до самой смерти. Вотъ какъ выражался онъ въ 1828 г. (Bied., № 1144): «Молодецъ онъ былъ, всегда ясно видящій и рѣшительный, ежеминутно снабженный достаточною энергіею, чтобы осуществить то, что́ признавалъ выгоднымъ и необходимымъ. Жизнь его была все равно что походъ полубога съ боя на бой, отъ побѣды къ побѣдѣ. Молодецъ онъ былъ, которому мы не пара (ein Kerl dem wir es freilich nicht nachmachen können). При этомъ своемъ космополитическомъ увлеченіи одною только культурою вообще. Гёте вовсе и не желалъ политическаго преобладанія Германіи; онъ его не предчувствовалъ, онъ не воображалъ себѣ, чтобы Германія могла сплотиться въ крупную державу. Поразительно странное по слѣпотѣ своей впечатлѣніе производятъ слѣдующія слова изъ разговора его съ Мюллеромъ въ 1808 году (Bied., № 386): «Германія ничто, но каждый нѣмецъ отдѣльно взятый—многое; однако странно, что всѣ они воображаютъ себѣ противное тому, чѣмъ они суть на самомъ дѣлѣ. Нѣмцы должны быть разсѣяны и разсажены по всему свѣту, подобно евреямъ, дабы всю ту массу добра, которая въ нихъ есть, они могли развить ко благу всѣхъ народовъ».

Шиллеръ былъ болѣе Гёте чутокъ и отзывчивъ на духъ времени и на настроеніе своей націи даже въ года наихудшіе для Германіи, предшествовавшіе самому бо́льшему ея униженію, послѣдовавшему уже по смерти Шиллера (1805 г. Аустерлицъ, 1806 г. Іена, 1807 г. тильзитскій миръ). Въ наименѣе тенденціозныхъ послѣднихъ его произведеніяхъ: «Орлеанской Дѣвѣ», «Вильгельмѣ Теллѣ», сквозитъ ненамѣренно его горячій на-

ціональный патріотизмъ. Его біографъ Паллеске (II, 570) замѣтилъ весьма основательно, что Шиллеръ вооружилъ свой народъ противъ Наполеона, насколько лишь можетъ поэтъ вооружить свой народъ. Самъ Шиллеръ говорилъ въ письмѣ къ Кёрнеру, относившемся къ сочиняемому тогда Теллю: «Если мнѣ посодѣйствуютъ боги въ исполненіи того, что̀ мною задумано, то выйдетъ полезная вещь, которая потрясетъ германскія сцены». Спрашивается: что̀ бы произошло, еслибы Шиллеръ прожилъ еще лѣтъ десятокъ—до паденія Наполеона? Онъ не могъ бы относиться къ событіямъ пассивно. Онъ или увлекъ бы за собою Гёте и заставилъ его принять участіе въ борьбѣ противъ французовъ, или бы произошло между ними раздвоеніе, и тѣмъ кончилось бы ихъ безпримѣрное умственное единеніе и гармонія. Однако, такъ какъ за все время ихъ сближенія не мерцалъ ни единый лучъ надежды, такъ какъ иной политики нельзя было вести, кромѣ политики пассивнаго выжиданія, такъ какъ общественная жизнь притихла и почти остановилась,—то поэтому представилась полная возможность работать, не развлекаясь, въ возвышенной странѣ науки и чистаго искуства. Шиллеръ въ качествѣ профессора и философа создалъ цѣлую систему эстетики, вполнѣ соотвѣтствующей переживаемому историческому моменту, отрывающей людей отъ дѣйствительности и переселяющей ихъ въ область идеальной, но нереальной свободы, въ область идеаловъ никогда не осуществимыхъ.

Въ этой эстетикѣ своей Шиллеръ не былъ вполнѣ самостоятельнымъ творцомъ; онъ обвился, точно плющъ, вокругъ могучаго ствола философіи Канта. Однако начинающееся нынѣ изученіе этой эстетики можетъ быть рекомендуемо какъ весьма полезное. Въ послѣднее время появились двѣ цѣнныя работы по этому предмету: Fréderic Montargis, «L'esthétique de Schiller». 1892, и Karl Berger, «Die Entwickelung von Schillers' Aesthetik», Weimar, 1894. Эдуардъ Гартманнъ въ своей «Эстетикѣ»

(т. II, 1886 г.) выражался слѣдующимъ образомъ о трудахъ Шиллера по эстетикѣ: «Гдѣ только Шиллеръ слѣдуетъ своей тонкой самонаблюдательности и чутью, тамъ попадаются крупицы настоящаго золота; но гдѣ онъ затянутъ въ корсетъ Кантова ученія, тамъ сужденія его выходятъ отвлеченныя, кривыя, натянутыя и безплодныя». Въ немъ самомъ былъ матеріалъ, чтобы сдѣлаться однимъ изъ величайшихъ эстетиковъ XIX в., еслибы онъ больше пожилъ и освободился отъ двойственности ученія Канта и отъ его морализма. По необходимости мы беремся теперь за весьма сухую матерію, и по пословицѣ: a Jove principium, начнемъ съ учителя, то-есть съ бѣглаго очерка философіи Канта въ ея главныхъ чертахъ.

III.

Справедливо замѣтилъ Виндельбандъ (Geschichte der neueren Philosophie, II, 20), что Кантъ (род. 1724, ум. 1800) доводитъ до конца и завершаетъ просвѣтительное движеніе XVIII в., и вмѣстѣ съ тѣмъ значительно выходитъ за его предѣлы. Онъ стоитъ на рубежѣ двухъ періодовъ въ развитіи философіи. Изъ него истекаютъ самыя противоположныя направленія—позднѣйшій позитивизмъ, современный агностицизмъ, трансцендентальный идеализмъ и даже мистицизмъ,—такъ что когда историкъ запнется на какомъ-нибудь узелкѣ въ этихъ расходящихся теченіяхъ, то по необходимости ему приходится возвращаться къ Канту и опять съ него начинать. Философія Канта прежде всего критическая; онъ привлекъ къ своему суду гордый и зазнавшійся человѣческій разумъ и поставилъ въ тѣсныя рамки *опытное* знаніе. Мы знаемъ только явленія вещей, ихъ отпечатки въ нашихъ чувствахъ; мы знать не можетъ сущности вещей. За доступными намъ явленіями—феноменами — кроется цѣлый такъ называемый трансценден-

тальный міръ существъ вещей — «нуменовъ», знанію недоступныхъ. Нашъ разумъ приводитъ опытныя данныя въ порядокъ, укладываетъ ихъ во врожденныя апріорныя формы мышленія, или *категоріи* — время и пространство, и связываетъ ихъ посредствомъ понятія причинности, заимствуемаго нами не изъ внѣшняго міра, но почерпаемого изъ внутренняго опыта, изъ наблюденій надъ самосознаніемъ. Для объясненія трансцендентальныхъ предметовъ, вполнѣ метафизическихъ, не существующихъ внѣ сознанія, каковы: добро, красота, міръ, душа, — Кантъ усваиваетъ себѣ оказавшееся потомъ несостоятельнымъ и отвергаемое нынѣ дѣленіе разума на Verstand и Vernunft—на простой умъ или разсудокъ, созидающій изъ реальныхъ впечатлѣній отвлеченныя понятія, и высшій или философскій умъ, подводящій эти добытыя такимъ образомъ отвлеченности подъ извѣстные значки или такъ называемыя *идеи*. Ограничивъ и сведя до минимальныхъ размѣровъ чувственность и чувственный опытъ въ познаніи, то-есть, до простой совокупности упорядочиваемыхъ умомъ впечатлѣній отъ вещей, Кантъ въ своей философіи воли, названной имъ *критикой практическаго разума*, совсѣмъ исключилъ опытъ и чувственность изъ своей этики и построилъ нравственность на основаніи уже совсѣмъ не философскомъ — на непосредственномъ чувствѣ, или на такъ называемомъ *категорическомъ императивѣ*, то есть на прямомъ велѣніи практическаго разума, совсѣмъ не требующемъ никакихъ доказательствъ. Громадный успѣхъ, которымъ увѣнчалась эта теорія морали, ни на чемъ твердомъ не основанной и висящей, такъ сказать, на воздухѣ, требуетъ нѣкоторыхъ объясненій.

XVIII-й вѣкъ былъ, какъ извѣстно, весьма нерелигіозный. Вмѣстѣ съ религіею падала и религіозная мораль, опирающаяся на церковный авторитетъ, состоящая изъ документированныхъ божескихъ приказаній или завѣтовъ и имѣющая свое утвержденіе или *санк-*

цію въ чаемыхъ благахъ настоящихъ или посмертныхъ. По мѣрѣ того какъ эта религіозная мораль падала, выдвигалась ей противоположная другая, весьма на видъ понятная и простая: мораль эвдемонизма, раціоналистическая и утилитарная, основанная на томъ, что всякому человѣку присуще желаніе наслаждаться и стремленіе къ достиженію наибольшаго счастія и блаженства. Человѣкъ по природѣ эгоистъ, но культура ведетъ его неизбѣжно къ тому, что его эгоизмъ утончается и дѣлается болѣе благоразумнымъ. Съ одной стороны, устанавливаются коллективною волею общества запреты дѣйствій, которыя приносятъ болѣе общаго вреда, чѣмъ частной пользы для дѣйствующаго лица; съ другой стороны, человѣкъ пріучается радоваться и печалиться не только за себя, но и за другихъ людей—своихъ ближнихъ—по сочувствію къ нимъ. Такимъ-то образомъ созидаются измѣнчивыя и шаткія правила какъ закона положительнаго, такъ и морали, при чемъ главными двигателями при выработкѣ морали являются личныя стремленія недѣлимыхъ къ наибольшему личному блаженству. Кантъ не пошелъ ни по одному изъ этихъ двухъ путей. Онъ жилъ въ то время, когда ни «догма», ни мораль, уже не строились на авторитетѣ, но онъ сознавалъ также въ какую непроходимую трясскую топь заводитъ людей мораль облагороженныхъ чувственныхъ влеченій, гдѣ нѣтъ отвѣтственности, гдѣ все прощается, потому только, что влеченіе могло имѣть страшную силу, но гдѣ мельчаютъ и становятся ниже нуля—характеръ, сила воли, позывъ къ геройству и самопожертвованію. Сложите вмѣстѣ всѣ влеченія и всякія пользы—изъ этой суммы все еще не выйдетъ ни одного атома нравственнаго долга. Для вывода понятія долга Кантъ присовокупляетъ къ двумъ видамъ разума, составляющимъ въ сложности познавательную способность (Verstand и Vernunft), третій видъ разума—*разумъ практическій*, руководитель воли, родитель дѣяній. Его велѣнія вполнѣ независимы отъ всякихъ утилитарныхъ со-

ображеній и чувственныхъ влеченій. Признакъ и показатель нравственнаго достоинства совершаемыхъ по его велѣніямъ дѣяній—тотъ, что они будутъ противны влеченіямъ. Такъ какъ эти велѣнія истекаютъ изъ глубины самосознанія, изъ единственнаго извѣстнаго и доступнаго намъ «нумена», изъ души нашей, то они не могутъ имѣть и не требуютъ доказательствъ. Содержаніе ихъ: дѣлай что долженъ; коль скоро ты долженъ дѣлать, то и можешь дѣлать! Въ этомъ принужденіи воли со стороны практическаго разума, то-есть, чувства и совѣсти, заключается вся нравственная цѣнность дѣйствія. Оно—автономія человѣка, его свобода или независимость дѣйствующаго субъекта отъ какихъ бы то ни было внѣ его лежащихъ побужденій.

Цѣлое столѣтіе прошло со времени появленія главныхъ произведеній Канта, многое съ тѣхъ поръ выяснилось или перемѣнилось, нѣкоторыя коренныя положенія этой философіи поколеблены или разрушены. Нынѣшняя эволюціонная философія отвергаетъ апріорныя формы познанія. Она объясняетъ опытомъ, приспособленіемъ къ средѣ и наслѣдственностью образованіе даже такихъ понятій, какъ время и пространство. Свобода воли объявлена была небылицей и сказкой со стороны столь распространеннаго нынѣ ученія *детерминизма*, по началамъ котораго человѣкъ роковымъ образомъ дѣйствуетъ по направленію сильнѣйшаго изъ толкающихъ его на дѣло психическихъ мотивовъ. Нашъ вѣкъ религіознѣе XVIII-го, въ немъ невозможно отношеніе къ религіозному чувству, какъ къ суевѣрію; но въ области современной науки авторитетъ не возстановленъ, и донынѣ продолжается широкій разливъ выступившихъ изъ береговъ всякихъ утилитарныхъ ученій, разлагающихъ нравственность до тла. Среди этого разлива виднѣется вынесенная Кантомъ изъ потопа и поставленная на высотѣ идея нравственнаго долга, отдѣленная отъ прежняго ея основанія — авторитета. Доказать ее онъ и не пытался, но онъ заставилъ вѣрить въ возможность са-

мопожертвованія для добра, — потому лишь, что оно добро. Вундтъ (Ethik, 1886, стр. 820) вполнѣ основательно заключаетъ, что въ строгости Кантова понятія долга ожилъ аскетическій духъ христіанской церкви. Мы бы могли прибавить: духъ протестантскій, духъ человѣка, поставленнаго съ глазу на глазъ со своею совѣстью и получающаго отъ нея внушенія безъ всякаго внѣшняго руководительства.

IV.

Намъ приходится разобраться еще въ «Эстетикѣ» Канта, то-есть, въ послѣднемъ изъ его капитальныхъ трудовъ, «Критикѣ силы сужденія» (Kritik der Urtheilskraft, 1790). Этотъ одинокій человѣкъ проживалъ безвыѣздно въ одномъ изъ отдаленнѣйшихъ городовъ сѣверо-восточной окраины Германіи—Кёнигсбергѣ, среди некрасивой природы, вдали отъ движенія искуства, отъ музеевъ. Притомъ онъ былъ мало способенъ отъ природы наслаждаться красивыми вещами и не имѣлъ въ себѣ, такъ сказать, никакой артистической жилки. Однако, одною только силою весьма тонкаго и проницательнаго ума онъ положилъ главныя основанія новѣйшей эстетики,—столь твердыя, что и нынѣ то́, что́ онъ по этой части написалъ, несравненно глубже всего, что̀ было до сихъ поръ писано по эстетикѣ (Windelband, II, 171). Кантова эстетика вѣрна кореннымъ основаніямъ его міросозерцанія. Въ ней тотъ же дуализмъ, та же бездонная пропасть, которую онъ пытался замостить между «ноуменомъ» и «феноменомъ», между сверхчувственнымъ и чувственнымъ, между свободою самоопредѣляющагося духа и механизмомъ внѣшней природы, слѣпо подчиняющимся необходимымъ законамъ. И этика, и эстетика Канта — аналогичны. О нравственности умъ судитъ по апріорному сужденію, посредствомъ категорическаго императива; о красотѣ же онъ

судить тоже апріорно и по тому же непосредственному чувству — по *вкусу*. Коль скоро красота вещи не прочувствована, то нельзя непрочувствовавшему ее втолковать, ни доказать ему, что вещь прекрасна. Эти сужденія о красотѣ предметовъ, *вкусовыя* или эстетическія, кореннымъ образомъ отличаются отъ другихъ сужденій о природѣ, нами себѣ подчиняемой, которыя мы называемъ *цѣлевыми* или тэлеологическими. Въ сужденіи цѣлевомъ мы сознаемъ, что вещь намъ полезна, что она удовлетворяетъ наши потребности, а потому она желательна и пріятна. Цѣль вещи — не въ предметѣ, но въ насъ самихъ; чувство, называемое этимъ мышленіемъ, зависитъ отъ связи предмета съ потребностями, отъ отнесенія предмета къ нашему субъективному состоянію. Мы до того привыкли мыслить цѣлесообразно, что эту намъ присущую цѣлесообразность, дѣйствіемъ нашего воображенія, мы влагаемъ въ самую природу. Существовала даже цѣлая система философіи (въ особенности Лейбницъ), которая бралась объяснять всю вселенную по конечнымъ цѣлямъ, которыми руководствовался Создатель при устроеніи міроздания, выдаваемымъ за научныя истины. Кантъ исключилъ изслѣдованіе этихъ цѣлей изъ области знанія; но достовѣрно, что наше мышленіе предполагаетъ цѣли даже тамъ, гдѣ существованіе ихъ не доказано; оно вѣритъ въ цѣлесообразное устройство вселенной и судитъ о ней и о всякой жизни органической по цѣлямъ воображаемымъ, имманентнымъ, то-есть присущимъ предмету безъ всякаго вѣдома его о томъ; таково, напримѣръ, дѣйствованіе по простому инстинкту. Кантъ даетъ такому виду дѣятельности названіе zwecklose Zweckmässigkeit (безцѣльная цѣлесообразность), — правильнѣе бы ее назвать безсознательною цѣлесообразностью.

Отъ этихъ «цѣлевыхъ» сужденій рѣзко отличаются сужденія «вкусовыя». Предметъ вдругъ и сразу или при постепенномъ его изученіи приходится намъ по-

вкусу, признается нормально чувствующими людьми прекраснымъ предметомъ, не рождая въ насъ никакого вожделѣнія, не будучи связываемымъ съ нами какимъ бы то ни было нашимъ интересомъ. Это и будетъ сужденіе *эстетическое*; оно внушается намъ прямо чувствомъ, которое возбуждено пріятнымъ представленіемъ предмета, его нравящеюся намъ формою. Форма можетъ нравиться и при полной безсодержательности предмета. Кругъ такихъ безсодержательныхъ, но *чисто* или *свободно красивыхъ* предметовъ (reine Schönheit, freie Schönheit) крайне ограниченъ: арабески, цвѣты, картины иллирической природы Въ огромномъ большинствѣ случаевъ эстетическія сужденія возникаютъ по поводу *смѣшанныхъ* красотъ, то-есть, представленій пріятныхъ по формѣ и занимательныхъ по содержанію, по воображаемой въ нихъ имманентной цѣлесообразности, доходящей въ нихъ до совершенства. Къ области смѣшанной красоты принадлежатъ и представленія съ примѣсью извѣстнаго нравственнаго элемента, при созерцаніи которыхъ пробуждается въ душѣ чувство *возвышеннаго*. Кантъ—рѣшительный *субъективистъ* въ своей эстетикѣ: вещи сами по себѣ въ его глазахъ не бываютъ красивы или некрасивы, онѣ и не возвышенны; но есть между ними такія, которыя могутъ насъ приводить въ особое состояніе, отличающееся подъемомъ духа, когда, въ виду нашего физическаго ничтожества передъ какимъ-нибудь громаднымъ явленіемъ природы, мы одолѣваемъ его мысленно волею, то-есть, сверхчувственною стороною нашего бытія.

На основаніи изложенныхъ выше началъ Кантъ производитъ размежеваніе области прекраснаго отъ смежныхъ съ нею областей чувственно-пріятнаго и нравственнаго, отъ добра какъ утилитарнаго, такъ и моральнаго. Громадное преимущество Кантовой эстетики заключается въ томъ, что онъ отсѣкъ и исключилъ изъ области прекраснаго весь эстетическій эпикуреизмъ, всякое щекотаніе чувствъ, всякое сладострастіе, всякую

разнузданность похотей,—онъ водворилъ начало полной цѣломудренности искуства. Отличительнымъ признакомъ эстетическаго удовольствія есть полная наша *незаинтересованность* (interessloses Wohlgefallen) въ возбуждающемъ удовольствіе предметѣ при вполнѣ безкорыстномъ его созерцаніи нами. Для поясненія своей мысли Кантъ употребляетъ сравненіе, которое стало классическимъ и господствуетъ въ философіи прекраснаго отъ Шиллера вплоть до Герберта Спенсера. Кантъ сравнилъ именно эстетическое удовольствіе съ удовольствіемъ отъ игры, которая заключается только въ безпрепятственномъ упражненіи нашихъ способностей. Въ немъ есть волненіе чувства, но только идеальное, съ полнымъ сознаніемъ, что оно не серьезно и не имѣетъ никакого соотвѣтствующаго ему реальнаго предмета.

Такое размежеваніе области прекраснаго онъ другихъ смежныхъ съ нею остается въ силѣ до сихъ поръ; но такъ какъ оно имѣетъ свойство, присущее всему, что̀ дѣлалъ Кантъ, то-есть, такъ какъ оно слишкомъ прямолинейное, то и требуетъ нынѣ нѣкоторыхъ и то не очень существенныхъ исправленій. Кантъ исключилъ изъ эстетики чувственность; между тѣмъ несомнѣнно, что чувственность имѣетъ въ эстетикѣ большое, хотя только подначальное значеніе. Артистъ обладаетъ обыкновенно тонкою и сильною чувственностью; сильная чувственность дѣлаетъ произведеніе привлекательнымъ и обаятельнымъ. Новѣйшая эстетика не начинаетъ своихъ выводовъ съ отвлеченной идеи прекраснаго, но изучаетъ прежде всего, что̀ вообще людямъ нравится, то-есть, начинаетъ съ чувственнаго пріятнаго, и затѣмъ уже, строя эстетику, по выраженію Фехнера, снизу вверхъ, доходитъ до идеи прекраснаго. Если, слѣдуя за Кантомъ, мы выбросимъ изъ эстетики всякое чувственное щекотаніе, все то, что имѣетъ хотя бы самую отдаленную связь съ порнографіею, всякія вожделѣнія, порождаемыя предметомъ, — то въ концѣ концовъ, при всей безкорыстности и незаинтересованности предметомъ,

остается въ насъ нѣчто свойственное людямъ развитымъ и безъ чего искуство процвѣтать не можетъ, а именно: не матеріальный, а чисто идеальный интересъ, съ которымъ люди со вкусомъ относятся къ прекрасной обстановкѣ; они ее ищутъ, они не отказываются даже отъ денежныхъ затратъ, чтобы только жить въ красивой мѣстности и среди произведеній искуства. Кантъ признаетъ, что красота присуща не изображаемымъ вещамъ, а только формѣ изображеній, значитъ,—надобно отличать реальную вещь, можетъ быть, и не красивую отъ эстетическаго ея вида въ изображеніи (aesthetischer Schein); значитъ, можно оставаться вполнѣ равнодушнымъ къ существованію вещи и увлекаться, однако, и волноваться отъ ея эстетическаго вида, безъ всякой примѣси реальныхъ чувствъ, порождаемыхъ предметомъ.

Отмѣтимъ, наконецъ, нѣкоторыя замѣчательныя мысли Канта о художественной геніальности. Съ помощью хорошей школы талантъ способенъ производить художественно красивые предметы, но настоящее творчество въ искуствѣ принадлежитъ только генію. Въ ущербъ самому себѣ и съ явною несправедливостью для философовъ и ученыхъ, Кантъ признаетъ геніальность только за художниками—людьми воображенія. Онъ думаетъ, что ученый отличается только количественно отъ средняго мыслителя, такъ что къ выводамъ какого-либо Ньютона могъ бы дойти и обыкновенный умъ, долго и много размышляя. Пониманіе геніальности Кантомъ поразительно. Онъ считаетъ геніальнымъ лишь ненамѣренно цѣлесообразное, то-есть, то, что въ глазахъ другихъ людей кажется дѣломъ самой природы, относительно которой не ставятся вовсе вопросы: откуда и зачѣмъ? Дѣятельность генія есть для него самого тайна; хотя онъ дѣйствуетъ сознательно, но въ этой дѣятельности проявляется нѣчто столь же неудержимое, какъ стихійная сила (das Genie ist eine Intelligenz, die als Natur wirkt). Дѣятельности этой мы удивляемся, но ее мы не постигаемъ. Художникъ, такимъ

образомъ творящій, существовалъ въ то время, — онъ назывался Гёте. Никогда его не видавшій, спеціально его не изучавшій и не имѣвшій ничего артистическаго въ темпераментѣ, Кантъ описалъ его творчество такимъ, какимъ оно было въ дѣйствительности,—такъ что ученикъ его, Шиллеръ, начавшій непосредственно наблюдать Гёте съ 1794 года, могъ только подтвердить полное сходство съ оригиналомъ изображенія, начертаннаго своимъ учителемъ.

V.

Отъ Канта перехожу къ Шиллеру—и начну съ болѣе ранняго періода его творчества, предшествовавшаго моменту, когда въ началѣ 1791 г., во время своей тяжкой болѣзни, онъ познакомился съ вышедшею въ 1790 г. «Kritik der Urtheilskraft». Шиллеръ былъ прежде всего человѣкъ запоздавшаго въ Германіи «возрожденія», сродни тѣмъ «язычникамъ», которыми богаты были XVI и XVII столѣтія, и которые обожали эстетически греческихъ олимпійцевъ и почти сожалѣли, что пришлось «на счетъ всѣхъ обогатить только одного» (Einen zu bereichern unter Allen). Шиллеръ одинаково былъ способенъ и философски анализировать прекрасное, и поэтически сочувствовать отвлеченной идеѣ. Таковы его «Ideendichtungen», какъ ихъ называлъ Вильгельмъ Гумбольдтъ; два этого рода капитальныя *идейныя* стихотворенія написаны были имъ въ 1788 г.: «Die Götter Grichenlands» и «Die Künstler». Въ обоихъ онъ—эллинизирующій поэтъ, восторженно увлекающійся этимъ свѣтлымъ міромъ здоровой силы, тонкой чувственности и жизнерадостности. Во время óно—писалъ Шиллеръ,—чарующій покровъ поэзіи красиво правду обвивалъ; и свята была красота—ни одной радости не стыдился Богъ» (Der Dichtung zauberhafte Hülle Sich noch lieblich um die Wahrheit wand... Damals war nichts heilig

als das Schöne,—Keiner Freude schämte sich der Gott)... «Тогда у смертнаго ложа не становился гадкій остовъ, но только геній наклонялъ свой факелъ»... «милое время расцвѣта природы — лишь въ волшебной странѣ пѣсней живутъ еще твои сказочные слѣды» (Holdes Blüthenalter der Natur,—Ach, nur im Feenland der Lieder Lebt noch deine fabelhafte Spur).

Скорбь о пропажѣ идеаловъ (die Ideale sind zerronnen) и о томъ, что исчезла вѣра «въ существа, созданныя моимъ сномъ» (am Wesen die mein Traum gebar), иными словами—тоска по сдѣлавшемся невозможнымъ въ нашъ вѣкъ антропоморфизмѣ природы, была бы, несмотря на всю свою задушевность, чистымъ ребячествомъ, еслибы не существовалъ весьма осмысленный прозаическій ея комментарій, въ одномъ изъ позднѣйшихъ эстетическихъ писемъ Шиллера (6-мъ), объясняющій глубокія основанія скорби современнаго человѣка объ утраченномъ Олимпѣ. Греки были дѣльнѣе, нежели мы; они относились съ любовью къ веществу и не калѣчили его. Изслѣдуя человѣческую природу, они проекціонировали ее въ увеличенныхъ размѣрахъ, въ видѣ группы своихъ боговъ, но такимъ образомъ, что всѣ человѣческія черты присущи были каждому изъ боговъ. Мы, современники, стали крайними во всемъ спеціалистами. Мы проекціонируемъ въ увеличенномъ размѣрѣ также родовой типъ человѣческій, но въ видѣ отдѣльныхъ членовъ или частей нашего организма, и эти части приходится потомъ подбирать. Общество дѣлится на классы; ни одна личность не является полнымъ представителемъ своего вѣка. У грековъ государство походило на полипа—каждая особь чувствовала, что она остается членомъ живого цѣлаго. Нынѣ политика довела государство до того, что оно только механизмъ,—жизнь его подобна ходу заведенныхъ часовъ, государство чуждается гражданъ, граждане возвращаются въ первичное неустроенное состояніе; правительство въ глазахъ народа—только господствующая партія, наиболѣе, слѣдовательно,

для него ненавистная. Аналитическій умъ лишилъ воображеніе огня. У аналитика-мыслителя *холодное* сердце, потому что онъ разчленяетъ впечатлѣнія, а впечатлѣнія могутъ трогать насъ только въ своей совокупности; у дѣлового же практика—*узкое* сердце, потому что его воображеніе не переступаетъ заколдованнаго круга его профессіи.

Чья же въ томъ вина, что люди спеціализировались, измельчали, сдѣлались некрасивыми и даже уродливыми? Конечно виноваты только культура и неизбѣжныя условія (какъ бы сказали нынѣ) эволюціи культуры. Мы пожертвовали цѣльностью нашего существа и стали изслѣдовать природу въ разсыпную и по частямъ, точно наблюдая ее въ увеличительное стекло. Совокупность міросданія значительно прояснилась, но единицы страдаютъ, неся иго міровой цѣли (unter dem Fluche dieses Weltzweckes) при чемъ онѣ изувѣчены, запечатлѣны слѣдами этой рабской подчиненности, дабы доставить будущимъ поколѣніямъ возможность наслаждаться на полномъ досугѣ нравственнымъ здоровьемъ. Изъ трехъ главныхъ руководителей человѣчества: религіи, искуства и науки,—первая, т.-е. религія, не ставилась уже въ счетъ въ XVIII вѣкѣ и считалась упраздненною; ея функція сливалась съ функціею искуства. Какъ литераторъ и художникъ, Шиллеръ озабоченъ наибольшимъ преуспѣяніемъ рода человѣческаго при посредствѣ искуства, а потому онъ и превозноситъ роль поэзіи съ явнымъ и несправедливымъ ущербомъ для науки. Поэзія есть, во-первыхъ, утѣшительница рода человѣческаго. Какъ нѣкогда, такъ и нынѣ «поверхъ убогой нашей жизни блещетъ поэзія—бодрый міръ тѣней» (Es schimmert auf dem dürftigen Leben—Der Dichtung muntre Schattenwelt). Во-вторыхъ, поэзія предвосхищаетъ тѣ истины, до которыхъ доходитъ потомъ своимъ черепашьимъ ходомъ рефлектирующій разумъ. «То, что послѣ многихъ вѣковъ открылъ старѣющій разумъ, лежало уже въ символѣ прекраснаго и возвышеннаго,

явленное напередъ дѣтскому пониманію» (Was einst nachdem Jahrhunderte verflossen—Die alternde Vernunft verstand—Lag im Symbol des Schönen und des Grossen,—Voraus geoffenbart dem kindlichen Verstand). Конечно, Шиллеръ ошибается, предоставляя наукѣ одно движеніе ползкомъ и передавая въ вѣденіе одной поэзіи всѣ еще не доказанныя положенія научныя. Этимъ заблужденіемъ объясняется у Шиллера высокомѣрное отношеніе поэзіи къ сухому научному изслѣдованію*). Шиллеръ всю жизнь былъ убѣжденъ, что искуство есть главный воспитатель рода человѣческаго, что̀ онъ потомъ и развилъ въ особомъ сочиненіи. Когда Шиллеръ поселился въ Іенѣ въ 1789 г., получивъ университетскую каѳедру, то на продолжительное время онъ разстался съ поэзіею и занялся только наукою, исторіею, а отчасти и эстетикою. Онъ почувствовалъ что въ немъ ожила испытываемая имъ въ юности «старая страсть философствовать» — die alte Lust zum philosophiren (Письма Шиллера, изд. Jonas'a № 521). Всѣ прозаическія его работы по эстетикѣ помѣчены годами 1791—1795 и имѣютъ связь какъ съ университетскими его занятіями, такъ и съ философіею Канта, которую онъ себѣ усвоилъ.

VI.

Университеты германскіе похожи въ нѣкоторомъ родѣ на микрофоны: что̀ сочинялось, напримѣръ, въ кабинетѣ Кантомъ въ Кёнигсбергѣ и о чемъ ближайшіе его знакомые не знали, то̀, оглашалось во всеуслышаніе на всѣхъ улицахъ и перекресткахъ въ другомъ

*) *Die Künstler*: Wenn auf der Denckens freigegebnen Bahnen—Der Forscher jetzt mit kühnem Glücke schweift... Mit fester Hand schon an die Krone greift,—Wenn er mit niederm Söldnerlohne—Den edlen Führer schon zu entlassen glaubt—Und neben dem geträumten Throne —Der Kunst den ersten Sclavenplatz erlaubt.

университетскомъ городѣ, напримѣръ, въ Іенѣ, гдѣ дѣйствовалъ спеціальный апостолъ кантизма, профессоръ Рейнгольдъ, который, по словамъ о немъ Шиллера (письмо къ Кёрнеру), утверждалъ, что чрезъ сто лѣтъ Кантъ будетъ столь же повсюду уважаемъ, какъ Христосъ. Еще въ 1787 г., Рейнгольдъ возвѣщалъ, что скоро выйдетъ критика воли и вкуса (Письма, № 214). Шиллеръ получилъ эту книгу (Kritik der Urtheilskraft, 1790 г.) во время своей болѣзни. Приведу нѣкоторыя выдержки изъ его переписки, чтобы показать, какъ сильно онъ ею интересовался.

«3-го марта 1791 г. (письмо къ Кёрнеру, № 563).— Угадай, что́ я читаю и изучаю. Не что иное, какъ Канта. Его «Kritik der Urtheilskraft» увлекаетъ меня своимъ яснымъ, остроумнымъ содержаніемъ и поселила во мнѣ живѣйшее желаніе вработаться постепенно во всю его философію»... «1-го янв. 1792 г. (№ 695).— Ревностнѣйшимъ образомъ занимаюсь философіей Канта. У меня твердая рѣшимость не покидать ее, пока не познаю ее до дна, хотя бы то мнѣ стоило трехъ лѣтъ»... «15-го октября 1792 г. (№ 628).—Я по уши погруженъ въ Кантову «Urtheilskraft» и не успокоюсь, пока не проникну насквозь эту матерію и не сдѣлаю изъ нея что-нибудь въ моихъ рукахъ»... Еще до своей болѣзни Шиллеръ читалъ студентамъ въ 1790 г. *о трагедіи* —не по учебникамъ, а по личнымъ воспоминаніямъ и по трагическимъ образцамъ; онъ удивлялся количеству припасенныхъ имъ наблюденій по собственной сценической дѣятельности (№ 519, 524). Въ ноябрѣ 1792 г., Шиллеръ преподавалъ курсъ эстетики (privatissima) при 24 слушателяхъ, отъ 4 до 5 лекцій въ недѣлю. Онъ былъ увѣренъ (№ 629), что это Collegium повліяетъ на исправленіе его вкуса; матеріалъ у него росъ, приходили свѣтлыя идеи, накоплялось многое для послѣдующаго писательства; кромѣ того, онъ уповалъ, что достигнетъ извѣстнаго результата въ искуствѣ.

На первыхъ порахъ, результатомъ этимъ оказался

недоконченный опытъ, не нашедшій мѣста даже въ полномъ собраніи сочиненій Шиллера. Онъ задумалъ издать къ Пасхѣ 1793 г. разговоръ о красотѣ, озаглавленный: *Kalliasc*. Въ письмѣ къ Кёрнеру (№ 635) онъ выражается такъ: «Я думаю, что я открылъ то, въ отысканіи чего отчаялся Кантъ, а именно объективное понятіе о красотѣ, которое тѣмъ самымъ пригодится для объективнаго основанія вкуса». Въ другомъ письмѣ (№ 641) онъ думаетъ, что развяжетъ узелокъ, развязать который Кантъ считалъ невозможнымъ.

Надежда была напрасная—Шиллеръ шелъ не по надлежащему пути и искалъ чего-то въ родѣ квадратуры круга, потому что мы только чувствуемъ, но не познаемъ красоту, и слѣдовательно, красота существуетъ только въ сознаніи нашемъ, а не въ природѣ. Намъ придется, однако, остановиться на этой работѣ, стоившей Шиллеру неимовѣрнаго труда.

VII.

Шиллеръ сталъ цѣликомъ на почвѣ Кантовой философіи, а Кантъ какъ извѣстно, отдѣлилъ міръ чувственный отъ міра самосознанія: первый онъ подчинилъ необходимымъ законамъ, а второй—предоставилъ свободѣ воли и духа. Эта свобода сдѣлалась идеаломъ для Шиллера, онъ сталъ ея восторженнымъ почитателемъ. Въ 1827 г., Гёте, разговаривая съ Эккерманомъ (Biedermann, № 1074), ставилъ Шиллеру въ недостатокъ увлеченіе его этимъ идеаломъ, въ сущности только отрицательнымъ, и утверждалъ, что само понятіе свободы у Шиллера мѣнялось: въ юности онъ обожалъ болѣе свободу физическую, а потомъ—только идеальную. Во всякомъ случаѣ, его идея свободы обозначала нѣчто совсѣмъ иное, нежели у Канта, который отождествлялъ ее съ подчиненіемъ воли категорическому императиву и искалъ ее въ возможности дѣйствовать по чувству долга, вопреки

влеченіямъ, насилуя ихъ и обуздывая. Такое пониманіе свободы возмущало Шиллера; оно было прямо противно его темпераменту. Позаимствуемъ опять отрывки изъ его переписки (1793 г., Переписка съ Гёте, № 362): «Меня поражаетъ въ старомъ баринѣ нѣчто юношеское, почти эстетическое; но какая же дикая форма (greuliche); слогъ его, можно сказать, философско-канцелярскій» (1793 г., № 670, письмо къ герцогу Аугустенбургскому)... «Многимъ положеніямъ Канта ихъ строгая и слишкомъ схоластическая форма сообщаетъ такую жестокость (Härte) и странность, которыя чужды ихъ содержанію. Философскія истины должны быть открываемы вовсе не такъ, какъ онѣ должны быть примѣняемы и распространяемы. Красота зданія открывается только тогда, когда сняты лѣса и припрятаны орудія каменьщика и столяра»... Но несочувствіе Шиллера не останавливалось на формѣ и заходило гораздо глубже (Переписка съ Гёте, № 21)... «Философія Канта слишкомъ ригористична и отличается нетерпимостью» (Перепс., № 553)... «Кантъ выворачиваетъ наружу патологическую (дурную) сторону человѣческой природы, естественную склонность человѣка ко злу, что сообщаетъ его практической философіи такой скверный видъ. Въ немъ, какъ и въ Лютерѣ, сказывается бѣглый монахъ, не сгладившій на себѣ слѣдовъ монастыря». Еще рѣшительнѣе обрисовывается діаметральная противоположность двухъ натуръ, изъ которыхъ одна обращается съ человѣкомъ по закону, а другая по любви»... Въ письмѣ 17-го авг. 1795 г., № 86, Шиллеръ дѣлаетъ Канта представителемъ ветхаго завѣта въ противоположность новому завѣту христіанскому, такъ какъ превосходство христіанства заключается въ томъ, что оно отмѣнило законъ, то-есть, кантовскій императивъ, и замѣстило его свободною склонностью, слѣдствіемъ чего является то, что получились прекрасная нравственность и единая эстетическая религія.

Въ этихъ немногихъ словахъ сосредоточено все со-

держаніе шиллеровской эстетики въ ея противоположности—кантовской. Въ позднѣйшемъ своемъ трактатѣ, 1793 г., «Ueber Anmuth und Würde», Шиллеръ открыто нападаетъ на Канта, называя его Дракономъ своего времени и поясняя, что суровость его морали заставила всѣхъ Грацій бѣжать отъ этой морали; она можетъ побудить слабые умы искать нравственнаго совершенства въ ирачномъ монашескомъ аскетизмѣ.

Итакъ, Шиллеръ далеко не полный кантіанецъ. Онъ расходится съ Кантомъ въ весьма существенныхъ пунктахъ, и эти-то размолвки мы должны прослѣдить шагъ за шагомъ.

Они расходились, *во-первыхъ*, въ томъ, что по Канту признаніе предмета красивымъ есть нѣчто вполнѣ субъективное, сужденіе вкусовое, апріорное, очевидное, безъ всякихъ доказательствъ. Надо сначала прочувствовать красоту, и только послѣ того можно пріискать резоны, подкрѣпляющіе и оправдывающіе испытанное художественное ощущеніе. Шиллеръ еще все ищетъ, напротивъ того, формулы, опредѣляющей красоту, ищетъ объективнаго ея основанія, но попытки окажутся неудовлетворенными.

Во-вторыхъ, Кантъ отнесъ въ область чистой красоты одни пустые, безсодержательные предметы, между тѣмъ какъ все распланированное, налаженное къ дѣйствію и технически совершенное, а въ томъ числѣ и человѣкъ, отнесены имъ въ область смѣшанной красоты. Шиллеръ отвергаетъ это дѣленіе, пользуясь заимствованнымъ отъ Канта понятіемъ безсознательной цѣлесообразности, то-есть понятіемъ о цѣляхъ, присущихъ самимъ вещамъ безъ ихъ вѣдома о томъ, или о цѣляхъ, предполагаемыхъ въ существахъ по логикѣ вещей. Помимо всякаго внѣшняго опыта умъ нашъ не можетъ отрѣшиться отъ убѣжденія въ существованіи подобныхъ цѣлей. Наше воображеніе влагаетъ въ предметы эти предполагаемыя цѣли и судитъ такимъ образомъ о предметахъ не логически, а тэлеологически, то-есть

цѣлесообразно и разумоподобно. Каждое организованное существо въ природѣ есть объединенная совокупность частей, есть нѣчто болѣе или менѣе правильно устроенное для жизни, для дѣятельности, для функціонированія. Эта приспособленность частей къ дружному функціонированію цѣлаго и есть *техника* вещи, ея форма. Допустимъ, что эта техника доведена до совершенства. Шиллеръ въ тотъ періодъ развитія его эстетики, когда онъ собирался писать «Калліаса», еще не допускалъ въ ней красоты; она — не жизнь, она еще не красота, она — лишь необходимое условіе красоты. Возведите эту технику, употребляя языкъ алгебры, въ квадратъ, возьмите форму этой формы, возьмите непринужденное функціонированіе этого предмета по всѣмъ правиламъ его техники — это и будетъ красота.

Мы подходимъ къ капитальной точкѣ въ эстетикѣ Шиллера въ тотъ періодъ, къ *третьему* и существенному отличію этой эстетики отъ кантовской. Кантъ красоты совсѣмъ не опредѣляетъ, а Шиллеръ уже формулируетъ ее, называя красоту *свободою въ явленіи* (Freiheit in der Erscheinung). Я извиняюсь,—я не поведу читателей по ухабистой и утомительной дорогѣ, идя по которой Шиллеръ додумался до окончательныхъ своихъ умозаключеній. Я самъ буду модернизировать языкъ его, напоминающій схоластическую терминологію философіи XVIII-го вѣка. Сущность же идей Шиллера о прекрасномъ въ этомъ періодѣ заключалась въ слѣдующемъ.

VIII.

Мы мыслимъ двояко. Или мы умомъ нашимъ только *наблюдаемъ* предметъ въ явленіи, при чемъ извлекаемъ изъ него чистое, холодное, безцвѣтное отвлеченное понятіе, лишенное всякихъ индивидуальныхъ его примѣтъ. Или мы этотъ предметъ *созерцаемъ*, при чемъ нами

получается нѣчто конкретное, живой и чувственный образъ предмета, воспроизведенный въ отсутствіи его совокупною дѣятельностью ума и воображенія. При мышленіи перваго рода, то-есть, посредствомъ одного *отвлеченія*, не можетъ быть и рѣчи о красотѣ. Міръ самъ по себѣ не красивъ, когда его разбираютъ научно, сочетая одни съ другими наблюденія, по заимствованному умомъ изъ одного внутренняго, психическаго, а не изъ внѣшняго опыта, понятію причинности. Въ нескончаемой цѣпи причинъ и слѣдствій всякая вещь объясняется по какой-нибудь внѣ ея существующей и породившей ее причинѣ; она судится по той цѣли, ради которой она создана, при чемъ весь міръ, устроенный по непреложнымъ законамъ, представляется въ видѣ колоссальнѣйшаго благоустроеннаго механизма. Это заключеніе объ отсутствіи красоты во всемъ чисто-механическомъ вполнѣ примѣнимо не только къ міру физическому, но и къ нравственному. Человѣкъ, какъ нравственное существо, свободенъ только потому, что онъ способенъ уклониться отъ нормы долга, отъ категорическаго императива. Мы нравственно одобряемъ это подчиненіе воли игу долга; оно съ нравственной точки зрѣнія даже тѣмъ цѣннѣе, чѣмъ бо́льшихъ усилій потребовало преодолѣніе чувственныхъ наклонностей. Но иго долга есть все-таки иго по отношенію къ нашей волѣ, есть нѣчто внѣшнее; процессъ же самой борьбы и укрощенія склонностей вовсе не эстетиченъ. Нравственность и красота—величины несоизмѣримыя, предметы не только разные, но зачастую и несовмѣстимые. «Нравственный поступокъ, — пишетъ Шиллеръ (8-го февр. 1793 г., № 643, Письм 14), — никогда не покажется намъ красивымъ, коль скоро мы будемъ всматриваться въ пріемы, посредствомъ коихъ онъ вымученъ у нашей чувственности». Итакъ, Кантъ объяснилъ мораль нашихъ поступковъ, но не указалъ ни основанія, ни условій ихъ красоты.

Разрѣшеніе вопроса о красотѣ дѣйствій возможно

лишь при употребленіи иного пріема, при мышленіи инымъ способомъ, — при участіи воображенія. Не разсѣкая вещей ножемъ анализа, мы можемъ ихъ брать какими онѣ намъ представляются (wie sie erscheinen), какими мы ихъ себѣ воображаемъ, — предметы не абстрактные, но конкректные, не отвлеченности, но образы живые, одѣляемые нами же тою самоопредѣляемостью, которую мы въ себѣ испытываемъ, а внѣ насъ только предполагаемъ, и которую мы вкладываемъ въ природу (антропоморфизмъ). Что касается до совсѣмъ неразумныхъ существъ, то мы предполагаемъ, что то, чѣмъ они себя проявляютъ, проистекаетъ свободно изъ нутра ихъ природы (aus reiner Natur). Такъ какъ свобода есть качество сверхчувственное, опыту внѣшнему недоступное, влагаемое умомъ въ представленіе предмета, который, можетъ быть, ею вовсе и не пользуется, то она и не есть свобода дѣйствительная, а только *свобода въ явленіи*, свобода воображаемая — она и есть настоящій источникъ красоты. Въ примѣненіи того же понятія къ человѣку, при обсужденіи его поступковъ по *морали*, существенно важно знать, дѣйствовалъ ли онъ по категорическому императиву, или былъ къ дѣйствію побужденъ какою-либо внѣшнею причиною, напримѣръ, нуждою, страстью, или инымъ тому подобнымъ стимуломъ. Даже и въ томъ случаѣ когда лицо дѣйствовало вполнѣ нравственно, то-есть по категорическому императиву, самый видъ этой проволоки или пружины превращаетъ явленіе въ нѣчто неживое, машинообразное, и слѣдовательно лишаетъ его всякой красоты. Не подлежитъ сомнѣнію, что могутъ быть дѣянія одновременно и нравственныя, и прекрасныя, но то и другое объясняется по разнымъ основаніямъ и причинамъ. Прекрасными они становятся не потому, что согласуются съ нормою долга, съ императивомъ, а только потому, что они — проявленія личности со вкусомъ, дѣйствующей безъ внутренней борьбы, по естественному влеченію своей доброй натуры, своей прекрасной души (schöne Seele). Самоопредѣляемость къ

добру по разуму есть *мораль*; самоопредѣляемость по чувству есть *красота*. У разума и у чувственности какъ будто бы существуютъ двѣ воли, взаимно себя исключающія: воля чувственная, прямо и во-очію себѣ человѣкомъ представляемая, и воля разумная, не входящая въ явленія, потому что она только правило. Такъ какъ эта послѣдняя только мыслится, такъ какъ она является, такимъ образомъ, чѣмъ-то внѣшнимъ, то эстетически дѣйствующій субъектъ представляется какъ бы не-автономнымъ, не-самоопредѣляющимся, некрасивымъ.

Для нагляднаго представленія другу Кёрнеру, въ чемъ состоитъ эстетическая красота дѣянія, Шиллеръ (№ 643) препровождаетъ ему пять картинокъ въ лицахъ, которыя столь характерны, что мы воспроизведемъ ихъ.

1) Разбойники ранили и ограбили человѣка, послѣ чего они его нагого бросили на холоду, на большой дорогѣ. Его застаетъ проѣзжій, который сожалѣетъ о несчастномъ, но видъ страданій противенъ ему и непріятно поражаетъ его нервы. Онъ предлагаетъ ограбленному деньги для нанятія другихъ людей, которые бы его спасли. — Этотъ образъ дѣйствія не полезный, не нравственный не великодушный, не красивый; онъ только добродушный, и то лишь по темпераменту.

2) Второй проѣзжій хотѣлъ бы помочь ограбленному, но онъ разсчетливъ. — «Если ты мнѣ обѣщаешь,—сказалъ онъ,—дать червонецъ за мою потерю времени, я тебя свезу въ ближайшій монастырь на излеченіе». — Этотъ образъ дѣйствія только утилитарный; онъ невеликодушенъ, некрасивъ и ненравственъ.

3) Третій ѣздокъ, выслушавъ ограбленнаго, пожалѣлъ своего плаща, которымъ пришлось бы прикрыть ограбленнаго, пожалѣлъ своего коня, коего пришлось бы обременить двойною ношею. Онъ сознавалъ, однако, свой долгъ и скрѣпя сердце предложилъ ограбленному свой плащъ, своего коня и свои услуги. Однако ограбленный отклонилъ предложеніе, замѣтивъ, что оно дѣ-

лается неохотно. — Этотъ образъ дѣйствія типически нравственный по Канту (rein moralisch), внушенный императивомъ, но не болѣе того.

4) Вдругъ появились на дорогѣ два заклятые врага ограбленнаго, преслѣдовавшіе его съ тѣмъ, чтобы его убить, но, нашедши его раненымъ и безпомощнымъ, они рѣшаются спасти его просто по своему великодушію. Когда ограбленный простеръ къ нимъ руки, предлагая имъ примиреніе и забвеніе прошлаго, они осадили его, однако, холоднымъ замѣчаніемъ, что помочь-то ему они помогутъ, но отъ разсчетовъ съ нимъ не отказываются. Ограбленный отвергъ и ихъ предложенія.—Образъ ихъ дѣйствія несомнѣнно великодушный, но красивъ онъ, однако, невполнѣ.

5) Наконецъ, появился на дорогѣ пѣшеходъ, обремененный тяжелою ношею, который, видя, что ограбленный истекаетъ кровью, а помощь далека, оставилъ на произволъ судьбы свою ношу, взвалилъ ограбленнаго на свои плечи и отнесъ его въ ближайшее селеніе. «Объясни мнѣ,—спрашивалъ Шиллеръ у Кёрнера,—почему послѣднее дѣяніе прекрасно?»—и самъ поясняетъ въ припискѣ: «потому что долгъ исполненъ съ такою легкостью, какъ будто бы дѣяніе совершено по одному инстинкту».

Кончая разборъ того періода дѣятельности Шиллера, въ которомъ на первомъ планѣ стояла формула: «свобода въ явленіи», замѣтимъ, что Шиллеръ не прекращаетъ опытовъ опредѣлять философски то, что не поддается никакому опредѣленію, а именно: чувство красоты, и что формула его слишкомъ односторонняя и узка, потому что она вводитъ въ область прекраснаго одни элементы дѣятельности и движенія, то-есть начала *динамическія*, и исключаетъ всѣ начала *статическія*, а слѣдовательно, и всякую технику, хотя бы совершеннѣйшую, всякую архитектонику, даже красоту человѣческаго тѣлосложенія, въ которую столь влюблены были греки и люди «возрожденія». Этого рода пріемъ

слишкомъ односторонень, его нельзя допустить, какъ нельзя бы одобрить, если бы напримѣръ, кто-либо признавалъ искуствомъ одно искуство—музыку, и совсѣмъ не признавалъ пластики, или когда какой-нибудь художникъ захотѣлъ бы производить свое художество только во времени, а не въ пространствѣ. Замѣтимъ еще, что, заимствовавъ отъ Канта удачное понятіе *объ эстетическомъ видѣ* (aesthetischer Schein), Шиллеръ развилъ и дополнилъ эту идею великолѣпнѣйшимъ образомъ. Открыта новая область бытія, *царство тѣней* (Reich der Schatten — такъ озаглавилъ Шиллеръ свое стихотвореніе 1793 г., извѣстное нынѣ подъ названіемъ: «Der Ideal und das Leben», заканчивающее серію его идейныхъ стихотвореній). Въ этомъ царствѣ эстетическихъ видовъ или видѣній воображеніе властвуетъ самодержавно, населяя эту область людьми, имъ созданными, гораздо болѣе живыми, долговѣчными и къ природѣ близкими, нежели настоящіе люди въ дѣйствительности. Разъ эти порожденія фантазіи закрѣплены въ артистическую форму—они уже дѣлаются обыкновенными, вліяютъ на общество и плодятся, рождая одни другихъ, подраздѣляются на виды и типы, изъ которыхъ каждый имѣетъ свою эволюцію.

Кромѣ идей, живьемъ заимствованныхъ отъ Канта, или тѣхъ, зародыши которыхъ бралъ Шиллеръ у Канта и разработывалъ самостоятельно, были у него еще и свои собственныя, вполнѣ своеобразныя, восходящія ко временамъ, когда Шиллеръ еще не былъ вовсе знакомъ съ кантовскою эстетикою. Одна изъ такихъ излюбленныхъ имъ теорій, занимавшая его до конца жизни, но имѣвшая впрочемъ, не главное, а лишь второстепенное значеніе, касалась установленія отношенія между тремя факторами всякаго художественнаго произведенія. Факторы эти суть: 1) самъ изображенный предметъ съ его природными качествами; 2) вещество, medium или сырецъ, употребляемый на изображеніе, и 3) сама личность творца-художника. Весь художественный процессъ

заключается въ томъ, чтобы 1) завладѣть сырцомъ, растворить его въ формѣ, тѣлесное въ идеальномъ, дѣйствительность въ явленіи,—сдѣлать, напримѣръ, чтобы камень преобразился въ мягкую и живую плоть; 2) въ томъ, чтобы произведеніемъ была поглощена и совсѣмъ въ немъ исчезла сама личность художника, съ ея особенностями, его вкусомъ, его такъ называемой манерой, чтобы произведеніе выдержано было въ высокомъ стилѣ, въ полной независимости отъ субъективныхъ или случайныхъ объективныхъ признаковъ и опредѣленій. Только *великій* артистъ представляетъ предметъ въ чистѣйшей его природѣ: *средственный*—высказываетъ и свою собственную особу, а *плохой*—обличаетъ и тотъ матеріалъ, который онъ видоизмѣнялъ, работая надъ нимъ (П. Ш., 28-го февр. 1793 г., № 646).

IX.

Намъ предстоитъ теперь изложить дальнѣйшую эволюцію эстетики Шиллера послѣ его приготовленій къ «Калліасу», и окончательные выводы, къ которымъ онъ пришелъ. «Калліасъ», не былъ вовсе написанъ; не состоялась также обдумываемая Шиллеромъ «Теорія Красоты» (письмо 20-го іюня 1793 г., № 662), или «Аналитика Прекраснаго». «Охота философствовать», проснувшаяся въ немъ въ 1790 г., продолжалась до 1795 г. и не произвела ничего цѣльнаго; изъ написанныхъ имъ въ два послѣдніе года работъ всего замѣчательнѣе разсужденіе: «Ueber Anmuth und Würde» (о граціи и достоинствѣ) и «*Письма объ эстетическомъ воспитаніи человѣчества*». Исторія ихъ такова: желая чѣмъ-нибудь отплатить герцогу Христіану Августенбургскому за весьма своевременное денежное пособіе во время болѣзни, Шиллеръ написалъ ему, въ 1793 г., девять писемъ объ искуствѣ. Подлинники этихъ писемъ сгорѣли во время пожара королевскаго дворца въ Копенгагенѣ, 26-го февраля 1794 г.,

но нѣкоторыя письма сохранились въ ходившихъ по рукамъ копіяхъ. Изъ этихъ копій, черняковъ и продолженій составилась серія 27 писемъ, помѣщенныхъ въ 1795 г. въ журналѣ «Horen».

Сущность громадныхъ перемѣнъ, происшедшихъ во взглядахъ Шиллера на красоту, выражается всего рельефнѣе въ слѣдующемъ отрывкѣ изъ письма его къ Кёрнеру, отъ 25-го октября 1794 года (тотчасъ послѣ сближенія съ Гёте).

«Мы привыкли класть въ основаніе красоты понятіе, заимствованное у опыта, которое реально вовсе не существуетъ. То, что мы ощущаемъ, какъ прекрасное, не есть красота. Она не опытное понятіе, а скорѣе только одинъ «императивъ». Она, конечно, объективна, но только въ смыслѣ необходимой задачи для нашей природы чувственно-разумной; въ дѣйствительности же она неосуществима. Сколько бы ни былъ прекрасенъ предметъ, но когда забѣжитъ впередъ разумъ, то моментально онъ превращаетъ это прекрасное въ нѣчто совершенное, а если забѣжитъ чувственность, то она превратитъ его въ нѣчто просто пріятное». *Опытное*, значитъ, одно и то же, что *объективное;* упраздняя его, Шиллеръ перешелъ на сторону Канта, съ которымъ онъ хотѣлъ состязаться. Рядомъ съ императивомъ долга поставленъ другой, подобный ему императивъ—неутолимая жажда, стремленіе къ чему-то недостижимому, но мерцающему вдали, какъ жизненная наша задача. Самъ взглядъ на красоту сталъ несравненно шире. Она проявляется не только въ движеніи, въ дѣйствіи, но и въ покоѣ, и въ устройствѣ и въ гармоническомъ сочетаніи частей. Такова прежде всего красота человѣческаго тѣлостроенія (архитектоника человѣка), чувственно обаятельная—помимо и прежде всякаго проявленія въ образѣ человѣка его нравственной личности.

Въ трактатѣ «Ueber Anmuth und Würde» Шиллеръ прибѣгаетъ для выраженія своей мысли къ греческому мифу и заставляетъ насъ поклоняться Венерѣ, въ тотъ

моментъ, когда она, еще никѣмъ незримая, выходила, еще безъ пояса, изъ пѣны морской. Эта фиксированная красота тѣлостроенія, независимо отъ того, какая въ ней выражается личность, есть низшая степень красоты. Вторую, высшую степень образуетъ грація (Anmuth), красота игры, не природою даруемая, но истекающая изъ души. Не всѣ движенія граціозны; прежде всего надобно выдѣлить движенія хотя и естественныя, но непроизвольныя, — хотя бы они и выражали пробужденную, но неудовлетворенную потребность, такъ какъ всякая разнузданность похоти есть господство грубой силы надъ волею. Равнымъ образомъ исключается, какъ нѣчто нераціозное, насильственное укрощеніе похоти или даже холодное исполненіе долга. Движеніе становится граціознымъ, когда оно не только намѣренное, но и *симпатичное*, то-есть, когда, будучи произвольнымъ, оно еще запечатлѣно волненіемъ чувства, обличающимъ соотвѣтствующее, сочувственное движенію настроеніе души, — когда оно проявляетъ совпаденіе ума и чувственности, обязанности и влеченія. Нравственное совершенство лица только и заключается въ томъ, что влеченіе участвуетъ въ дѣяніи, что человѣкъ наклоненъ къ обязанности. Наивысшимъ идеаломъ для человѣчества есть такъ называемая у Шиллера *прекрасная душа* (schöne Seele), то есть такая, въ которой руковожденіе волею можетъ быть вполнѣ и безошибочно предоставлено одному аффекту, порыву, съ увѣренностью, что онъ не ошибется. Когда человѣкъ пріобыкъ желать только благороднаго, воля его тогда совпала съ его идеаломъ и поглощена этимъ идеаломъ. Ему незачѣмъ заботиться о томъ, чтобы нравственно дѣйствовать, —онъ сталъ весь и насквозь нравственнымъ человѣкомъ. Такимъ образомъ, Шиллеръ послѣдовательно дошелъ до того результата, совпадающаго съ философіей Канта, что конкретный человѣкъ, есть единственный возможный идеалъ красоты. Въ рецензіи стихотвореній Маттисона онъ утверждаетъ, что неодушевленная природа

можетъ служить лишь матеріаломъ для символизирующаго вдохновенія, она входитъ въ область искуства только какъ символъ чисто-человѣчнаго. Надъ человѣкомъ, какъ конкретнымъ явленіемъ, нѣтъ уже предмета для искуства, а развѣ только для науки, потому что здѣсь кончается область воображенія. Ниже человѣка — также нѣтъ ничего для художественно прекраснаго, а развѣ только для чувственно-пріятнаго, потому что здѣсь царитъ одна необходимость.

Поставивъ согласованіе наклонности и долга наивысшимъ идеаломъ красоты, Шиллеръ очень хорошо понимаетъ, однако, что бываютъ случаи, когда они сталкиваются, и когда приходится дѣлать выборъ между ними—и чтобы сохранить свое достоинство, стать внѣ природы, въ разрѣзъ съ нею, учинить надъ нею насиліе. Мы доходимъ тогда до другого полюса красоты. Она не всегда — въ наслажденіи; она возможна и въ страданіи; въ выдѣляющейся и чувственно контрастирующей съ граціею области *возвышеннаго*. Эта полная пригодность страданій для эстетики тѣмъ менѣе чужда Шиллеру, что онъ главнымъ образомъ занимался, какъ трагикъ, свойственною этому виду творчества постановкою на сцену величайшихъ страданій человѣческихъ. Кантъ считалъ, что *возвышенное* есть нѣчто чуждое эстетикѣ, и разсматривалъ его какъ привитую къ эстетикѣ вѣтвь морали. Шиллеръ уравниваетъ *граціозное*, или просто красивое, съ *возвышеннымъ* и разсматриваетъ ихъ, какъ два коренные вида красоты, при чемъ онъ дѣлаетъ глубокій анализъ возвышеннаго съ двухъ противоположныхъ точекъ зрѣнія, а именно, съ нравственной и эстетической. Видъ страданія поражаетъ непріятно нервы созерцателей, но эта непріятность окупается созерцаніемъ и противодѣйствія страданію со стороны страждущаго лица. Если это противодѣйствіе идетъ отъ непреклонно нравственнаго человѣка, то хотя бы оно кончилось гибелью этого лица, — оно интересуетъ насъ прежде всего, какъ нравственное явленіе;

но оно можетъ и не плѣнять насъ, какъ красивое явленіе, — вообще въ немъ тѣмъ мѣньшая доля красоты, чѣмъ болѣе человѣмъ пріобыкъ быть добродѣтельнымъ и чѣмъ больше онъ добродѣтеленъ почти безъ борьбы надъ собою, почти автоматически. При эстетической оцѣнкѣ противодѣйствія страданію заинтересованъ не практическій разумъ съ его этикою, а преимущественно воображеніе. Оно увлекается не направленіемъ силы, а ея напряженіемъ, оно плѣняется тою свободою, съ которою человѣкъ, въ борьбѣ, играетъ всѣми препятствіями и попираетъ всякіе законы, всякіе — и физическіе, и даже нравственные — порядки. Художникъ въ правѣ избирать въ герои всякихъ людей, и добрыхъ, и злыхъ, но всегда необыкновенныхъ, всегда только могучихъ, ставящихъ, такъ сказать, на карту жизнь и счастіе въ дерзновенной игрѣ. Въ своемъ разсужденіи «О патетическомъ» Шиллеръ утверждаетъ, что всегда происходитъ явное смѣшеніе границъ, когда требуютъ нравственной цѣлесообразности для расширенія области разума — и вытѣсняютъ воображеніе изъ его владѣній. Такимъ образомъ у Шиллера поставлена, какъ коренное начало, полная раздѣльность морали и красоты, доходящая до того, что не все нравственное красиво, и что художество можетъ заниматься изображеніемъ даже и того, что совсѣмъ безнравственно. Эту полную самостоятельность художества по отношенію къ морали выражаетъ особенно рельефно письмо Шиллера къ Кёрнеру, 25-го декабря 1788 г., № 357: «Я убѣжденъ, что художественное подлежитъ отвѣтственности только передъ правилами красоты самого искуства. Поэтъ, который ставитъ цѣлью одну только красоту и свято служитъ ей одной, пріобрѣтаетъ въ концѣ концовъ въ придачу, самъ того не вѣдая и не желая, то, къ чему ведутъ другія соображенія. Напротивъ того, кто перебѣгаетъ отъ морали къ красотѣ, и обратно — отъ красоты къ морали, или ухаживаетъ за обѣими, тотъ можетъ не успѣть ни у одной изъ нихъ».

X.

Кто предположилъ бы, основываясь на этомъ отрывкѣ и на множествѣ другихъ ему подобныхъ что Шиллеръ — теоретикъ сепаратизма искуства, проповѣдникъ вкусоваго сибаритизма или такъ-называемаго самодовлѣющаго искуства, выражаемаго избитою формулою: «искуство для искуства», тотъ ошибся бы самымъ рѣшительнымъ образомъ, потому что его мнѣніе было бы опровергнуто всею совокупностью идей Шиллера о судьбахъ человѣчества и въ особенности уцѣлѣвшими его письмами къ герцогу Аугустенбургскому и письмами объ эстетическомъ воспитаніи человѣчества. Шиллеръ выдаетъ себя многократно и неуклонно за настоящаго гражданина своего вѣка и своего народа (Zeitbürger und Staatsbürger); онъ и не желалъ принадлежать къ иному вѣку и народу. Онъ заявляетъ, что еслибы былъ близокъ къ осуществленію идеалъ политической свободы, то онъ Шиллеръ посвятилъ бы этому великому дѣлу всю свою жизнь, совсѣмъ разставшись съ музами. Но онъ извѣрился даже въ возможность начала политическаго возрожденія; самое ожиданіе этого начала онъ отложилъ на цѣлыя столѣтія, такъ какъ опытъ (т.-е. французская революція) не удался. Можетъ быть, моментъ для опыта и былъ подходящій, но поколѣніе оказалось испорченнымъ, либеральный режимъ разума оказался несвоевременнымъ. Современные люди съ трудомъ защищаютъ себя отъ дикой животной силы; они не подготовлены даже къ гражданской свободѣ, не только что къ общечеловѣческой. Всякія попытки государственнаго пересозданія будутъ напрасны, пока общество не выработаетъ широкой подкладки для устроенія въ облагороженномъ характерѣ народныхъ массъ, послѣ чего пойдетъ подготовка гражданъ для конституціи, наконецъ—и сама конституція. Къ выработкѣ характера ведутъ два пути: *разъясненіе понятій*—задача

философская, и *очистка* чувствъ, влекущая за собою и усовершенствованіе воли,—двѣ задачи эстетической культуры. Для первой уже кое-что сдѣлано, для второй приходится работать соединенными усиліями вкуса и искуства. Задачи искуства расширяются безмѣрно, техника же осталась гдѣ-то въ сторонѣ и назади, а на первомъ планѣ становится эстетика самой жизни, эстетика нравовъ.

Въ 4-мъ эстетическомъ письмѣ Шиллеръ отмѣтилъ три класса или типа людей во всякомъ обществѣ, даже и въ образованномъ. Первый классъ — это люди грубые и *дикіе*, обрѣтающіеся еще почти въ первобытномъ состояніи. Это — рабы своихъ чувствъ и похотей; они и изображены имъ въ стихотвореніи: «Die Künstler» «Слѣпыми кандалами похоти привязаны эти люди къ явленію; отъ нихъ ускользаетъ непрочувствованная, не принесшая наслажденій прекрасная душа природы» (An der Begierde blinde Fessel nur — An die Erscheinung angebunden... Es floh ihm ungenossen, unempfunden — Die schöne Seele der Natur). Второй классъ — это *варвары*, насилующіе свои чувства при осуществленіи своихъ нравственныхъ началъ (я полагаю, что Шиллеръ помѣстилъ бы и своего учителя Канта въ этомъ классѣ). Третій классъ—едва-ли не самый малочисленный — это люди *эстетически* образованные, съ уравновѣшенными чувственностью и разумомъ, дѣлающіе добро по склонности и вкусу, люди пользующіеся полною эстетическою свободою, то-есть, находящіеся въ переходномъ состояніи отъ страдательнаго ощущенія къ активному мышленію и дѣйствію воли. То, чему человѣкъ преданъ и къ чему стремится нереально, заключается въ совокупности красивыхъ вымысловъ, эстетическихъ видѣній, о коихъ онъ знаетъ, что они не соотвѣтствуютъ ничему дѣйствительно существующему. Сила движущая въ немъ не есть *чувственное* влеченіе (Sinntrieb), она и не наклонность къ *формѣ* (Formtrieb), которая господствуетъ въ строгой истинѣ и морали, а нѣчто посредствующее

между двумя этими силами: *наклонность къ игрѣ*, одно лишь непрестанное упражненіе чувства и воли, съ сознаніемъ, что все это не можетъ имѣть никакихъ положительныхъ, практическихъ результатовъ. Въ своемъ *физическомъ* состояніи, человѣкъ—покорный рабъ природы; въ своемъ *моральномъ*—онъ владычествуетъ надъ природою; въ *эстетическомъ*—онъ только отъ природы независимъ. Какъ къ пріятно-полезному, такъ и къ нравственному добру человѣкъ относится серьезно; но съ красотою, то-есть, съ милымъ вымысломъ, *онъ только играетъ*. Однако, несмотря на посредствующую лишь роль такого состоянія, Шиллеръ до того преданъ ему, до того обожаетъ свое призваніе, какъ художника, что превозноситъ человѣка-эстетика надъ всѣми другими людьми, дѣлаетъ его вѣнцомъ созданія и провозглашаетъ, что тотъ вполнѣ только человѣкъ, кто такимъ образомъ «играетъ красотою» (es ist nur da Mensch, wenn er spielt — письмо 15). Самъ Шиллеръ предусматриваетъ, что его положеніе объ «игрѣ» можетъ быть принято за парадоксъ,—а что оно парадоксально, на то мы укажемъ, когда къ этому положенію еще возвратимся. Пока отмѣтимъ словами Шиллера (письмо 27), что между ужасающимъ царствомъ силъ и святынею законовъ помѣщается мирный пріютъ игры видѣніями, въ которомъ съ человѣка сняты цѣпи всѣхъ отношеній, и онъ освобожденъ отъ всякаго принужденія и въ физическомъ отношеніи, и въ нравственномъ. Истина живетъ здѣсь въ художественномъ своемъ подобіи, и по подобію можетъ быть возстановляемъ самъ оригиналъ послѣ случающагося порою его затмѣнія и упадка. Самъ вовсе о томъ не старясь и не заботясь, въ своемъ служеніи красотѣ, художникъ является невольнымъ сѣятелемъ добра, что́ и выразилъ Шиллеръ въ слѣдующемъ двустишіи въ «Xenien»:

Wirke Gutes, du nährst der Menschlichkeit göttliche Pflanze;
Bilde Schönes, du streust die Keime des Göttlichen aus!

(т.-е., твори доброе — ты взлелѣешь божественное ра-

стеніе человѣчества; создай прекрасное — ты посѣешь сѣмена божественнаго).

XI.

Слѣдуя приведенному выше совѣту, преподанному Шиллеромъ, постараюсь снять съ представленной имъ въ главныхъ очертаніяхъ постройки, то-есть, съ его системы эстетики, лѣса, убрать инструменты каменщика и столяра—и бросить послѣдній всеобъемлющій взглядъ на цѣлость сооруженія.

Фундаментъ постройки — старый, кантовскій, довольно прочный: незаинтересованность ни художника, ни зрителей, или слушателей, въ изображаемомъ прекрасномъ. Искуство цѣломудренно; никакихъ похотей оно возбуждать не должно. Въ этомъ отношеніи не былъ настоящимъ художникомъ и Пигмаліонъ, когдъ онъ влюбился въ изваянную имъ Галатею, и мы въ художественномъ отношеніи потеряли бы безконечно, еслибы вмѣсто мраморной богини предъ нами очутилась еще болѣе красивая живая женщина. Каждому изъ насъ открыты двѣ дороги, изъ которыхъ надо пойти только по одной: либо чувственное удовлетвореніе, либо созерцательное наслажденіе одною лишь идеальною формою. «Однимъ видомъ подобаетъ человѣку наслаждаться, — за преходящія радости обладанія онъ будетъ наказанъ скорымъ исчезновеніемъ похоти» (Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden—Bleibt dem Menschen nur die bange Wahl... An dem Scheine muss der Blick sich weiden.—Des Genusses wandelbare Freuden—Rächet schleunig der Begierde Flucht—«Das Ideal und das Leben»).

Одинаково крѣпко держится и до сихъ поръ установленное Кантомъ начало субъективности искуства, выводъ его изъ чувства субъекта, невозможность опредѣлить его какими бы то ни было философскими фор-

мулами. Всѣ придуманныя Шиллеромъ основныя формулы эстетики оказались неудачными. Его опредѣленіе красоты какъ «свободы въ явленіи» — въ настоящее время невозможно уже потому, что, во-первыхъ, свобода воли, или произволъ, изъяты изъ обращенія «детерминизмомъ», и во-*вторыхъ*, конечныя цѣли, на которыхъ строилась разумоподобная безсознательная цѣлесообразность въ природѣ, упразднены въ философіи и замѣнены теоріями приспособляемости организмовъ къ средѣ и наслѣдственности. Оспаривается само пониманіе искуства, какъ дѣла чистой формы, а также и та излюбленная Шиллеромъ, изобрѣтенная имъ формула, что *форма уничтожаетъ вещество*; что вещество должно быть, такъ сказать, вытравлено безъ остатка и превратиться въ одну чистую форму *). Формула: «der Stoff ist durch die Form vertilgt» — не хороша уже потому, что даетъ поводъ къ двусмысленностямъ. Если смотрѣть на вещество какъ на сырецъ, изъ котораго выдѣлывается произведеніе, то, несомнѣнно, оно пропадаетъ и исчезаетъ въ формѣ; но это превращеніе совершается пока въ области одной только техники, а она—только подготовка, преддверіе, церковная паперть, вводящая въ церковь искуства, но еще не храмъ, и она сама вся внѣ этого храма. Въ области эстетики форма можетъ быть противополагаема не сырцу, а развѣ только *содержанію* произведенія, то-есть, тому, что́ называется сюжетомъ, фабулою, отвлеченнымъ замысломъ, который въ воображеніи художника превратился въ конкретный, жи-

*) «Das Ideal und das Leben»: Wenn das Todte bildend zu beseelen, — Mit dem Stoff sich zu vermählen — Thatenvoll der Genius entbrennt... und im Staube pleibt die Schwere — Mit dem Stoff den sie beherrscht zurück... Schlank und leicht wie aus dem Nichts entsprungen — Stehl das Bild vor dem entzückten Blick.

Т.-е.: Когда, одушевляя образуемое неодушевленное и сочетаясь съ веществомъ, геній возгорается и дѣйствуетъ... въ прахъ повергается тяжесть, вмѣстѣ съ веществомъ, которое она порабощала... Тонкій и легкій, точно изъ небытія возникшій, стоитъ образъ передъ восхищенными взорами.

вой, чувственный образъ, и который изъ яичка выклю-нулся и сталъ одушевленнымъ предметомъ. Процессъ художественнаго творчества заключается несомнѣнно въ превращеніи идей-замысловъ въ образы, причемъ сюжетъ растворяется въ поэтическомъ вымыслѣ, — но, несомнѣнно, не о такомъ погашеніи содержанія формою помышлялъ Шиллеръ; онъ только имѣлъ въ виду превращеніе чувственно-осязаемаго въ нѣчто созерцаемое идеально («Der Körper muss sich in der Idee verlieren». — Письмо Шиллера, № 646).

Самую характерную особенность шиллеровской эстетики составляетъ взятое имъ также отъ Канта, но всесторонне и великолѣпно разработанное, съ великимъ восторгомъ и увлеченіемъ провозглашенное начало нереальности поэтическаго вымысла, или эстетическаго призрака (des Scheins), сознательное выдѣленіе его изъ дѣйствительности. Это начало выражается слѣдующимъ образомъ въ стихѣ «An die Freunde»: «все только повторяется въ жизни — вѣчно молода лишь одна фантазія — одно то, что́ никогда и нигдѣ не бывало — не старѣется никогда» (Alles wiederholt sich nur im Leben, — Ewig jung ist nur die Phantasie; — Was sich nie und nirgends hat begeben, — Das allein veraltet nie)... «Умъ человѣка всевластенъ и самодержавенъ въ этомъ не-реальномъ царствѣ воображенія» (in dem wesenlosen Reiche der Einbildungskraft» — 26-е письмо). Слѣдовательно и наоборотъ, вымыселъ эстетиченъ только до тѣхъ поръ, пока онъ не претендуетъ на реальное существованіе, пока онъ и не пытается произвести обольстительную иллюзію. Разъ онъ начинаетъ обольщать до того, что исчезнетъ возможность распознать, гдѣ кончается правда и гдѣ начинается фикція, тамъ онъ превращается въ непозволительную ложь и обманъ. Непроходимая грань раздѣляетъ обѣ области: реальную и мечтательную. «Никогда кажущееся не должно равняться съ дѣйствительностью — гдѣ побѣждаетъ природа, тамъ искуству нѣтъ уже мѣста» — «Der Schein soll nie die

Wirklichkeit erreichen, — Und siegt Natur, so muss die Kunst entweichen» (Стихотвореніе по поводу постановки на сцену Вольтерова «Магомета»). Искуству не подобаетъ даже и хлопотать объ иллюзіи, объ обманѣ чувствъ. Его средства и пріемы условные, никого не обольщающіе; освѣщеніе его искуственное, рѣчь его мѣрная, риѳмованная; обнажены въ немъ и подчеркнуты тѣ только черты изъ жизни, которыя утопаютъ въ дѣйствительности среди множества несущественныхъ и ненужныхъ примѣсей и случайностей. Все, что происходитъ на сценѣ, есть только символъ дѣйствительности, — сказано въ предисловіи къ «Мессинской невѣстѣ» *). Эта нереальность поэзіи существенно важна, какъ необходимое условіе художественной мысли, какъ основаніе подсудности художника одному только суду своего искуства и только по кодексу этого искуства. Въ 1788 г., № 357, Шиллеръ писалъ къ Кёрнеру: «Художникъ и въ особенности поэтъ, никогда не обработываетъ дѣйствительное, а только идеальное,—иными словами, только художественно выдѣленное изъ извѣстнаго дѣйствительнаго предмета. Онъ обращается не съ моралью и не съ дѣйствительностью, а лишь съ такими особенностями каждой изъ нихъ, которыя онъ пожелаетъ мысленно выдѣлить и затѣмъ сочетать. Онъ не можетъ погрѣшать противъ которой нибудь изъ нихъ, а только развѣ противъ эстетическаго строя и вкуса. Если я успѣю изъ злоупотребленій религіею или моралью создать красивое, строй-

*) Изъ того же стихотворенія къ Гёте, по случаю Вольтеровскаго «Магомета»:

Verbannt aus ihrem festlichen Gebiet (der Scene)
Sind der Natur nachlässig rohe Töne,
Die Sprache selbst erhebt sich ihm zum Lied—
Es ist ein Reich des Wohllauts und der Schöne.
In edler Ordnung greifet Glied in Glied,
Zum ernsten Tempel füget sich das Ganze,
Und die Bewegung borget Reiz von Tanze.

Т.-е.: Исключены изъ области сцены небрежно рѣзкіе звуки природы, Самъ языкъ восходитъ къ пѣснопѣнію. Здѣсь царство благозвучія и красоты; въ стройномъ порядкѣ сочетались части, цѣлое составило великолѣпный храмъ. Само движеніе обаятельно, какъ танецъ.

ное цѣлое, то мое произведеніе будетъ хорошо, но не безнравственно и не безбожно — именно потому, что я взялъ оба предмета не такими, какъ они суть, но какими они стали послѣ насильственной операціи, то-есть послѣ насильственнаго отдѣленія и потомъ сочетанія».

Этой безпредѣльности эстетической свободы, играющей всѣми предметами на свѣтѣ и переиначивающей ихъ по своему, соотвѣтствуетъ также и особаго рода блаженство, столь же безпредѣльное,—тѣмъ болѣе, что оно не отъ міра сего. Вполнѣ и досыта этимъ блаженствомъ наслаждаются главнымъ образомъ только поэты. Поэтъ запоздалъ, по Шиллеру, къ раздѣлу земли, замѣшкавшись на небѣ; все уже было роздано Зевесомъ; но Зевесъ смилостивился и сказалъ: «Если со мной ты пожелаешь жить — то, когда ты на небо зайдешь, оно тебѣ откроется» — «Willst du in meinem Himmel mit mir leben,—So oft du kommst er soll dir offen sein» («Theilung der Erde»). Но не однимъ поэтамъ небо доступно,— Шиллеръ неустанно зоветъ туда всѣхъ, заманиваетъ ихъ убѣдительно въ выраженіяхъ самаго пылкаго энтузіазма. Земное бытіе человѣка крайне убого (menschliche Bedürftigkeit). Поэтъ предлагаетъ намъ бѣжать изъ тѣсноты ощущеній на просторъ мысли (aus der Sinne Schranken in die Freiheit der Gedanken), въ тѣ ясныя страны, гдѣ витаютъ чистыя формы (heitre Regionen— Wo die reinen Formen wohnen). Поэтъ предлагаетъ намъ сдѣлаться богоподобными, переселяясь изъ душной жизни въ царство идеаловъ, гдѣ надъ нами вѣчная лазурь небесная и ликъ человѣческій, обожествленный, прохаживается по яснымъ полянамъ между богами *).

Одно только обстоятельство тревожитъ и смущаетъ насъ у входа въ этотъ рай. Въ жизни ничто не пріобрѣтается даромъ: за богатою подачкою всегда скрывается либо ловушка, либо обманъ. То райское блажен-

*) Fliehet aus dem dumpfen Leben in des Ideales Reich. — In der Ruhe heit'res Blau... Wandelt oben in des Lichtes Fluren—Göttlich unter Göttern die Gestalt.—«Das Ideal und das Leben».

ство, которое предлагаетъ Шиллеръ, достается человѣку совсѣмъ безмездно, безъ натугъ и страданій, безъ всякихъ терній и колючекъ въ срываемыхъ цвѣтахъ. Шиллеръ ободряетъ насъ, что въ этой странѣ чистыхъ формъ «не шумитъ бѣдствій жестокая буря, не врѣзывается въ душу боль; нѣтъ и слезы, извлекаемой видомъ страданія, а есть только слеза, уплачиваемая бодрости противодѣйствующаго духа»**). Это блаженство порождается не реальнымъ предметомъ, а только вымысломъ, однимъ призракомъ, подобіемъ вещей. Оно, повидимому, не ловушка, зато тѣмъ вѣрнѣе то, что оно только якобы счастіе, только призракъ счастія. Эта призрачность тѣмъ неоспоримѣе, что такое блаженство моментально. Убѣгая отъ дѣйствительности, человѣкъ погрузился въ мечту и тотчасъ же опять проснулся. И такъ, самъ Шиллеръ признаетъ (предисловіе къ «Мессинской Невѣстѣ»), что большинству людей искуство доставляетъ немногія, большими промежутками времени раздѣленныя, минуты забвенія дѣйствительности, и что только на художника оно дѣйствуетъ сильнѣе, укореняя въ немъ привычку отдалять гнетущій его чувственный міръ на бо́льшее разстояніе и на болѣе продолжительное время. Если же человѣку эстетическое блаженство доставляется только мечтою, то это наслажденіе мечтою ничѣмъ не отличается отъ радости ребенка, скачущаго на деревянномъ конѣ и считающаго себя героемъ и владыкою міра, когда онъ машетъ деревяннымъ мечомъ и надѣлъ картонный шлемъ или бумажную корону.

Точно такимъ же жалкимъ и призрачнымъ ребячествомъ представляется и чувство возвышеннаго, имѣющее столь важное значеніе въ художествѣ, такъ какъ оно-то и производитъ эстетическій подъемъ духа и ставитъ способнаго ощущать его человѣка превыше толпы.

**) Rauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr;
Hier darf Schmerz die Seele nicht durchschneiden,
Keine Thräne fliesst hier mehr dem Leiden,
Nur des Geistes tapfrer Gegenwehr.

Мы ходимъ въ театръ, чтобы ощутить въ себѣ этотъ подъемъ духа, но мы бы изъ театра убѣжали, еслибы намъ въ дѣйствительности пришлось трепетать за себя, подвергаясь ужасамъ и бѣдствіямъ, разыгрывающимся на сценѣ, или хотя бы быть просто ихъ зрителями-очевидцами. Они на сценѣ причиняютъ намъ только сначала боль; но эта непріятность превращается постепенно въ удовольствіе, когда мы одолѣемъ эти страданія мысленно, когда мы вообразимъ, что могли бы дать имъ отпоръ. Это чувство превосходное, когда оно—начáло возникающаго процесса; но оно пустое и жалкое, когда на немъ и обрывается процессъ, когда оно только игра въ геройство, въ великодушіе. Само по себѣ оно не вселяетъ никакой увѣренности въ томъ, что выдержитъ испытаніе при настоящемъ опытѣ жизни, что оно есть въ самомъ дѣлѣ—«des Geistes tapfre Gegenwehr». И такъ, напитокъ, подносимый намъ самымъ возвышеннымъ искуствомъ, вкусенъ, сладокъ и имѣетъ свойство возбуждать жизненныя отправленія,— но пользоваться безъ вреда этимъ напиткомъ можно лишь употребляя его въ мѣру, въ непреизбыточныхъ количествахъ; въ противномъ случаѣ—опохмѣлѣешь и уснешь. Злоупотребляющій этимъ веществомъ, имѣющимъ весьма наркотическія свойсвта, кончаетъ безплоднымъ и недостойнымъ самоуслажденіемъ возвышенными чувствами у непереступаемаго имъ никогда порога—настоящаго живого дѣла. Роль художника въ общемъ ходѣ жизни человѣчества только подготовительная. Она кончается, когда художество довело насъ до этого порога,—переступилъ этотъ порогъ оно ни въ какомъ случаѣ не поможетъ. Самъ Шиллеръ превосходно сознаетъ существованіе и этого живого дѣла, и не переступаемый грани, отдѣляющіе его отъ забавы вымысломъ. Никогда Шиллеръ не дошелъ бы до предпочтенія вымысла живому дѣлу, до той ереси, которую проповѣдовалъ и Пушкинъ въ извѣстномъ стихѣ: «тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ»! Въ 26-мъ эстетическомъ письмѣ Шиллеръ выражается весьма

основательно слѣдующимъ образомъ: «*Полнѣйшая простота и высочайшій разумъ* (то-есть, два крайніе члены дѣленія рода человѣческаго, между которыми стоитъ, какъ третій, эстетичность) имѣютъ между собою то сродство, что ищутъ только реальнаго и вполнѣ нечувствительны по отношенію къ вымыслу». Этотъ рядъ, восходящій отъ простоты, черезъ художество, до наивысшей ступени, то-есть, до высочайшаго разума, объемлетъ въ послѣднемъ классѣ великихъ вѣроучителей, какъ Моисей, великихъ философовъ, какъ Сократъ или Кантъ, великихъ строителей государствъ, какъ поражавшій воображеніе людей въ первой четверти XIX-го столѣтія—Наполеонъ. Собственно художники и поэты не стоятъ на первыхъ мѣстахъ въ кругу этихъ міровыхъ дѣятелей; между тѣмъ Шиллеръ поставилъ ихъ чуть ли не во главѣ всей этой группы, сдѣлавъ ихъ представителями полной человѣчности, и выразившись, что только тотъ вполнѣ человѣкъ, кто лишь играетъ красотою.

Шиллеръ увлекся, хватилъ черезъ край... suum cuique! Художникъ — не первенствующій работникъ въ великомъ дѣлѣ общественности; его незачѣмъ ставить во главу угла общественнаго зданія; но не подлежитъ сомнѣнію, что даже и послѣ освобожденія взгляда на него отъ всякихъ преувеличеній дѣятельность художника оказывается весьма существенною и плодотворною. Дѣятельность эта представляется намъ троякою.

Художникъ есть, *во-первыхъ*, изобразитель живой природы. «Природа,—говоритъ Шиллеръ въ предисловіи къ «Мессинской Невѣстѣ»,—есть идея, не подпадающая подъ чувства; она лежитъ гдѣ-то подъ покровомъ явленій и никогда сама не показывается. Только идеальному искуству дано обнять этотъ духъ свего сущаго и заключить его въ тѣлесную форму. Искуство не можетъ поставить природу предъ чувствомъ; но своею творческою силою оно ставитъ природу предъ воображеніемъ, вслѣдствіе чего это представленіе природы видимѣе всякой дѣйствительности и реальнѣе всякаго опыта».

Во-вторыхъ, искуство въ своихъ великихъ образцахъ представляетъ собою громадный запасъ веществъ, такъ сказать, санитарныхъ, необходимыхъ для освѣженія воздуха и для оздоровленія умственной атмосферы въ эпохи порчи вкуса и нравственнаго упадка. Искуство фиксируетъ жизнь въ данный моментъ въ вѣчно юной, никогда не старѣющейся формѣ. О цѣлительномъ вліяніи великихъ произведеній искуства на послѣдующія поколѣнія выражается слѣдующимъ образомъ Шиллеръ въ 9-мъ эстетическомъ письмѣ: «Человѣчество могло терять по временамъ свое достоинство, но оно было тогда выручаемо искуствомъ, которое сохранило достоинство человѣческое въ выразительныхъ камняхъ, въ храмахъ, остающихся священными для глазъ, хотя изъ нихъ бѣжали осмѣянные боги. Истина продолжаетъ жить въ вымыслѣ, и по этой копіи можетъ быть возстановленъ самъ оригиналъ».

Наконецъ, *въ-третьихъ*, искуство безконечно дорого всякому изъ насъ еще и потому, что оно есть одинъ изъ утѣшителей рода человѣческаго, одно изъ средствъ, вселяющихъ въ насъ бодрость, укрѣпляющихъ насъ въ борьбѣ съ судьбой, одно изъ сильнѣйшихъ лекарствъ противъ свирѣпствующей порою, въ нѣкоторыя эпохи, заразной болѣзни, противъ скорби бытія, весьма распространенной въ концѣ XIX вѣка, противъ такъ называемаго *пессимизма*. Фр. Ницше («Geburt der Tragödie», 1871) указываетъ на три такія средства, противодѣйствующія пессимизму и имѣющія то между собою общее, что они привязываютъ людей къ жизни посредствомъ распространяемыхъ ими несомнѣнныхъ иллюзій: либо *жажда* знанія, сопровождаемая обманчивою надеждою, что можно все въ мірѣ уразумѣть, а затѣмъ и исцѣлить вѣчно гноящуюся язву бытія; — либо порывъ къ *нирванѣ*, мысленное погруженіе въ небытіе, которое одно и есть нѣчто сущее, потому что всѣ вихремъ мчащіяся явленія дѣйствительности призрачны и обманчивы (Schopenhauer, Leconte de l'Isle);—либо, на-

конецъ, *волшебство искуства*, накидывающее на все сущее прозрачное покрывало, расшитое дивными цвѣтными узорами, которые до того плѣнительны, что у заглядѣвшагося на нихъ приходитъ охота сорвать это покрывало и взглянуть на вещи, какими онѣ представляются въ дѣйствительности. Человѣку хорошо извѣстно, что его обольщаетъ завѣдомо несуществующее, кажущееся, что его услаждаетъ мечта; но само это услажденіе — не мечта: оно было восхитительно и доставило ему не минуты, а можетъ быть года успокоенія; оно освободило его отъ жесткихъ объятій дѣйствительности. Одного этого достаточно, чтобы безконечно любить искуство и его цѣнить.

Итакъ, эстетика Шиллера согласовалась во многомъ съ обыкновеннымъ настроеніемъ Гёте, съ политическимъ индефферентизмомъ послѣдняго и даже съ его не очень большимъ расположеніемъ къ философіи. Гёте писалъ Шиллеру (19-го декабря 1798, № 532) по поводу Канта: «Я ненавижу все, что̀ меня только поучаетъ, не усиливая и не оживляя непосредственно моей дѣятельности». Оба поэта стояли внѣ партій политическихъ, общественныхъ и даже чисто литературныхъ. Они находились нѣкоторымъ образомъ внѣ времени и пространства, интересовались наиболѣе только задачами искуства и обозрѣвали ихъ, согласно различіямъ въ складѣ умовъ и темпераментовъ, съ различныхъ точекъ зрѣнія.

Нашъ дальнѣйшій разборъ результатовъ совмѣстной работы Шиллера и Гёте будетъ главнымъ образомъ основываться, какъ на капитальномъ источникѣ, на ихъ перепискѣ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ И ПОСЛѢДНЯЯ.

I.

Задача моего труда заключалась вовсе не въ томъ, чтобы представить жизнеописанія поэтовъ или хотя бы подробный разборъ произведеній, написанныхъ ими за десять лѣтъ ихъ дружбы. Я имѣлъ въ виду только сопоставить — въ извлеченіяхъ изъ ихъ же переписки — ихъ сужденія о своихъ произведеніяхъ, и ихъ понятія о задачахъ, предѣлахъ и законахъ какъ искуства вообще, такъ и въ особенности главныхъ родовъ и видовъ поэзіи, въ которыхъ они отличались. Они сблизились въ то время, когда сдѣлались уже почти-что непрактикующими художниками. Шиллеръ ушелъ весь въ исторію, эстетику, журналистику; цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ отдѣляютъ его «Донъ-Карлоса» отъ постановки на сцену слѣдующаго за тѣмъ произведенія, «Смерти Валленштейна» (1786—1798). На первыхъ порахъ Шиллеръ подносилъ Гёте свою философскую прозу и посылалъ ему по частямъ, въ рукописи, свои эстетическія письма, которыя Гёте залпомъ поглощалъ («ich schlürfte es auf einem Zug.»—№ 19, Briefwechsel, сентябрь 1794), а при второмъ чтеніи вполнѣ съ ними соглашался (№ 22). Шиллеръ пишетъ къ Кёрнеру (ноябрь 1794, № 768): «Эти письма озадачили и проняли Гёте насквозь... Гердеръ гнушается ими, какъ Кантовскими грѣшками, и дуется на меня».

Въ январѣ 1795 г. Шиллеръ читалъ продолженіе писемъ въ Іенѣ Гёте и Мейеру (№ 800), которые были увлечены отъ начала и послѣ самаго конца, и говорили, что никогда произведеніе краснорѣчія не могло бы произвести на нихъ такого впечатлѣнія. Шиллеръ интересовался литературной дѣятельностью Гёте не только какъ поэтъ, но и какъ издатель для успѣха своихъ «Ноген», которыя просуществовали три года (1795—

1797) и своего ежегодника «Musenalmanach»; онъ старался вытягивать изъ портфеля Гёте какъ можно больше залежавшихся тамъ рукописей, съ изданіемъ которыхъ Гёте никогда не торопился. Было еще одно лицо, котораго интересамъ служилъ Шиллеръ, а именно книгопродавецъ Котта, готовый платить самые высокіе по тому времени гонорары.

По манерѣ писать, произведенія Гёте дѣлятся на три различные роды. Въ пылкой своей юности Гёте былъ начинателемъ того движенія, которое потомъ слыло подъ громкимъ именемъ романтизма. Къ этому роду принадлежатъ крупныя вещи, написанныя до итальянскаго путешествія. Ко второму роду принадлежатъ произведенія, сочиненныя послѣ того, какъ Гёте сжился съ античными образцами подъ небомъ Италіи; они исполнены божественной ясности, олимпійскаго спокойствія. Онъ постигъ всѣ тайны высокаго стиля, сталъ эпикомъ, исчезающимъ въ произведеніи, такъ что посредствомъ величайшаго, какое дано художнику, мастерства, казалось, какъ будто бы устами поэта открывалась и вѣщала сама природа. Однако, то, что́ Гёте позаимствовалъ отъ древнихъ, не вытравило въ немъ окончательно прежней его натуры. Порою въ немъ воскресалъ сѣверянинъ, съ его порывами въ гущу лѣсовъ, въ туманную даль, съ его побѣгами изъ эпическаго въ трагическое. Таковы «Учебные годы Вильгельма Мейстера» и «Фаустъ», изъ которыхъ первые начаты, въ 1775 г., въ Веймарѣ (первыя двѣ книги), а затѣмъ докончены, по возвращеніи изъ Италіи, при дѣятельномъ участіи Шиллера въ ихъ окончательной обработкѣ; а второй начатъ еще въ Страсбургѣ и въ Вецларѣ, дополненъ нѣсколькими сценами въ Римѣ и напечатанъ неоконченнымъ отрывкомъ въ 1790 г. въ первомъ собраніи сочиненій Гёте. «Фаустъ» такъ и не былъ конченъ при Шиллерѣ; полная его первая часть появилась въ печати только въ 1808 году. Сильно заинтересованный отрывкомъ, Шиллеръ употреблялъ всевозможныя, хотя и без-

успѣшныя усилія къ тому, чтобы заставить Гёте довести до конца его работу. Не будь, однако, понуканій со стороны Шиллера, очень можетъ быть, что «Фаустъ» такъ и остался бы однимъ отрывкомъ. Начну съ «Фауста».

II.

«Мнѣ казалось,—писалъ Шиллеръ (29 Ноября 1794 г., № 26),—что я вижу торсъ Геркулеса. Въ этихъ сценахъ—страшная сила и полнота геніальности. Я бы хотѣлъ прослѣдить какъ можно дальше ту великую и смѣлую натуру, которая дышетъ въ этомъ произведеніи. Въ цѣломъ мірѣ поэзіи я ничего такъ не желаю, какъ прочтенія еще нѣсколькихъ сценъ изъ «Фауста» (№ 37, начало 1795 г.)». Отрывокъ, помѣщенный въ VII томѣ изданія 1790 г. сочиненій Гёте, былъ въ самомъ дѣлѣ только торсъ, начинался сценою въ лабораторіи Фауста, не заключалъ въ себѣ ни попытки отравиться, прерванной церковнымъ пасхальнымъ пѣніемъ, ни множества монологовъ и бесѣдъ Фауста съ Мефистофелемъ; значитъ, въ немъ не было настоящей философской части драмы. Но отрывокъ содержалъ уже сатирическія сценки,—какъ одѣтый въ тогу Фауста Мефистофель дурачитъ захожаго студента и фокусы въ Лейпцигскомъ погребѣ Ауэрбаха. Въ Римѣ сочинены двѣ сцены: Hexenküche и Wald und Höhle (...Позвольте мнѣ въ природы грудь—Какъ въ сердце друга, заглянуть). Вся такъ называемая Gretchentragödie была уже въ отрывкѣ налицо; она обрывалась на раскаяніи Маргариты и на внутреннихъ терзаніяхъ ея въ церкви, при звукахъ органа, до возвращенія на родину Валентина. То была часть драмы, животрепещущая, взятая изъ жизни Гёте, изъ горькихъ его воспоминаній и жгучихъ упрековъ совѣсти за то, что, еще будучи студентомъ, онъ въ Зезенгеймѣ безжалостно покинулъ влюбленную въ него

дѣвочку, Фредерику Бріонъ. За эту невѣрность Гёте сказнилъ себя троекратно: и въ лицѣ Вейслингена въ «Гёцѣ», и въ «Клавиго», и въ «Фаустѣ». На убѣжденія Шиллера продолжать «Фауста» Гёте отнѣкивался; у него не хватало рѣшимости развязать пакетъ съ старыми листками (№ 27 Briefen). Наконецъ, въ іюнѣ 1797 (№ 327), зарокъ былъ снятъ, пакетъ былъ развязанъ, съ тѣмъ, чтобы подвинуть впередъ произведеніе по новой основной идеѣ, при чемъ приходилось растворять то, что́ уже имѣлось въ другомъ, болѣе обширномъ матеріалѣ. Не сообщая Шиллеру своего плана, Гёте просилъ его: «обдумайте это дѣло въ одну изъ вашихъ безсонныхъ ночей,—вы же разсказчикъ и толкователь моихъ сновъ».

Шиллеръ запнулся; кромѣ напечатаннаго фрагмента, онъ ничего не зналъ. Онъ представилъ себѣ въ воображеніи, что нашелъ случайно этотъ фрагментъ, и задался мыслью, чѣмъ и какъ его дополнить? Тутъ онъ сразу почувствовалъ, что онъ—въ своей области, въ своемъ, мало свойственномъ Гёте, элементѣ рефлектирующаго ума; что нельзя въ этомъ произведеніи обойтись безъ символическаго содержанія, какъ подкладки, потому что оно основано на двойственности человѣческой природы, на неудающихся попыткахъ сочетать божественное съ физическимъ, что нельзя никакъ высвободиться изъ странной средневѣковой фабулы, не переходя къ идеямъ. «Требованія къ «Фаусту»,—писалъ Шиллеръ,—будутъ неизбѣжно двойныя и какъ-бы вы ни вертѣлись, а существо сюжета заставитъ васъ философствовать, воображеніе ваше должно будетъ довольствоваться поступленіемъ въ услуженіе къ идеѣ разума» (Briefw., № 328). Шиллеръ признается, что когда онъ прочиталъ фрагментъ (№ 330), то у него закружилась голова отъ размышленій о развязкѣ; что для осуществленія основной идеи необходима такая масса матеріала,—напримѣръ, для проведенія Фауста сквозь дѣловую жизнь,—что онъ не постигаетъ, какъ все это

можно будетъ поэтически связать. Онъ усматриваетъ противорѣчія между тѣмъ, чѣмъ должны быть Фаустъ и чортъ, и тѣмъ, какъ они себя держатъ на сценѣ, такъ что иногда они какъ будто бы мѣняются ролями. Трудности, съ которыми долженъ былъ бороться авторъ, были неимовѣрныя, *во-первыхъ*, потому, что самъ предметъ былъ среднѣковой, готическій, мало подходящій подъ вкусъ Гёте, превратившагося въ классика. Ему приходилось окунуться въ Symbol und Nebelwelt (№ 329), возиться съ сѣверными привидѣніями, скрывающимися за позднѣйшими южными воспоминаніями. Ему иногда становилось противно это варварское сочетаніе, такъ что Шиллеру приходилось ободрять его въ этомъ сочетаніи благороднаго съ варварскимъ (№ 765). Оно трудно было, *во-вторыхъ*, еще потому, что автору необходимо было воскресить то настроеніе, въ которомъ онъ писалъ двадцать пять лѣтъ назадъ имѣющіяся сцены, окружить себя призраками минувшаго, тѣми «колеблющимися ликами, которые являлись когда-то его смутному взору» (Schwankende Gestalten—Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt). «Вся моя работа,—писалъ Гёте о «Фаустѣ»,—*субъективная*, я могу только работать въ немногіе отдѣльные моменты» (№ 327). Гораздо важнѣе была *третья* трудность, заключающаяся въ томъ, что произведеніе заложено было сначала по одной символической идеѣ, а доканчивалось по другой, не совпадающей съ первою и даже съ нею несхожей.

Я не вхожу въ разборъ этой двойственности идей «Фауста» и сошлюсь на книжку, въ которой она помоему мѣтко изложена, на «Goethe's Faust», Куно Фишера, 1878 г. Въ «Фаустѣ» три главныя дѣйствующія лица: Фаустъ, Богъ и дьяволъ; содержаніе, влагаемое въ дѣйствующія лица, совершенно измѣнилось. По первоначальному плану, Фаустъ—средневѣковой ученый съ неутомимою жаждою знанія и титаническою силою. Онъ вызываетъ своими заклинаніями Бога, природу, духа земли, и отъ этого духа получаетъ опредѣленнаго

ему спутника, плута, проказника и насмѣшника въ родѣ кобольдовъ или шекспировскихъ Пука и Аріеля. По второму плану Богъ приблизился къ ветхозавѣтному библейскому, Мефистофель же превратился въ библейскаго сатану, въ духа отрицанія и сомнѣнія, въ искусителя, въ то идейное *нѣтъ*, отъ котораго колеблется всякое положительное *да*, хотя бы оно было міромъ или Богомъ. Пришлось согласовать оба замысла, завершать зданіе, начатое въ одномъ стилѣ,—въ другомъ, напримѣръ, передѣлывать романскую постройку въ огивальную готическую, замазывая только противорѣчія. Гёте уставалъ отъ этой работы, возможной только при извѣстномъ настроеніи, уставалъ, развязывая постепенно узелокъ за узелкомъ (№ 382). «Мнѣ кажется,—писалъ онъ,—что я разбалтываю въ водѣ порошокъ, и какъ будто порошокъ и распустился, но поставь я только стаканъ, порошокъ осѣдаетъ тотчасъ на днѣ» (№ 80). Въ концѣ концовъ, въ 1797 г. (№ 382), Гёте сильно желалъ отдѣлаться отъ этого *трагелава*, т.-е., по-гречески, отъ *козлооленя* (миѳологическое чудище, смѣшеніе двухъ натуръ), чтобы перейти къ болѣе высокому настроенію, можетъ быть, къ Теллю. Шиллеръ не дожилъ до этого поэтическаго разрѣшенія отъ бремени, но онъ зналъ о замышляемой второй части »Фауста», за которую Гёте взялся только въ 1824 г., когда ему было 75 лѣтъ; онъ зналъ, по крайней мѣрѣ, о сценахъ, въ которыхъ является воскресшая, имѣющая сочетаться съ Фаустомъ, троянская Елена. Первоначально многія сцены «Фауста» писались прозою, но Гёте нашелъ, что онѣ невыносимы по причинѣ ихъ реализма и рѣзкости, и взялся переложить ихъ въ стихи, такъ какъ съ одной стороны лучше, когда идея просвѣчиваетъ сквозь вуаль, а съ другой, когда стушевано вліяніе грубаго вещества (№ 457). Шиллеръ одобрилъ эту передѣлку, какъ подтверждающую его эстетическую теорію, что чистый реализмъ въ патетической ситуаціи чрезмѣренъ и производитъ излишнюю поэтическую серьезность, между

трагедіи, то-есть того зловѣщаго, непонятнаго, субъективно-чудеснаго, которое вносится въ разсказъ этими двумя лицами, такъ что читатель, натыкаясь на мракъ и загадку, не чувствуетъ подъ собою твердой почвы, на которой поставлено все остальное, что́ крайне неудобно. Однимъ словомъ, по мнѣнію Шиллера, Гёте употребилъ средства, которыя не разрѣшались ему по роду и духу сочиненія (№ 367). Шиллеръ, очевидно, заблуждался. Проза и есть настоящая подходящая форма современнаго романа. Родъ этотъ, самый свободный, не чуждается вовсе лирическихъ и трагическихъ примѣсей, лишь бы онѣ не задерживали хода эпоса, какъ его задерживаютъ вставочныя «признанія прекрасной души», составляющія шестую книгу романа, не имѣющую ничего общаго со всѣми другими книгами. Замѣтимъ мимоходомъ, что сама фраза: «прекрасная душа» заимствована какъ будто бы отъ Шиллера и взята изъ его эстетическихъ писемъ. «Вильгельмъ Мейстеръ» во многомъ устарѣлъ, что́ по необходимости бываетъ почти съ каждымъ романомъ. Романъ воспроизводитъ живьемъ и почти фотографически большія массы животрепещущей дѣйствительности, а потому со временемъ онъ перестаетъ интересовать читателей по мѣрѣ того, какъ съ одной стороны изображаемое измѣнилось, а съ другой стороны и самъ читатель измѣнился въ своей чувствительности, въ своей отзывчивости на представленныя ему романистомъ положенія и задачи.

Сдѣлаемъ съ этой точки зрѣнія оцѣнку въ концѣ XIX вѣка произведенія конца XVIII. Въ опредѣленіи основной задачи романа Шиллеръ и Гёте почти совсѣмъ сошлись. Шиллеръ предполагаетъ (Briefw., № 185, 8 іюля 1796 г.), что въ В. Мейстерѣ взятъ лучшій человѣкъ своего вѣка, и что въ немъ изображено, какъ онъ переходитъ отъ неопредѣленнаго, безсодержательнаго идеала къ дѣятельной жизни, не лишаясь при этомъ переходѣ своей способности идеализировать,—иными словами, какъ онъ опредѣляется, пріучаясь ограничивать себя, но и въ этой ограниченности находитъ въ формѣ своей дѣятель-

ности путь въ безконечное. — Въ своемъ же разговорѣ съ Эккерманомъ въ 1825 г. (Biederm., № 971), Гёте выразился такъ: «Романъ мой выражаетъ только то, какъ человѣкъ, направляемый *высшею рукою*, несмотря на всѣ свои промахи и ошибки, достигаетъ счастливой цѣли.

Скажемъ мимоходомъ два слова объ этой «высшей рукѣ»; Гёте разумѣлъ здѣсь не Провидѣніе, но просто самую природу, которую онъ обоготворялъ какъ пантеистъ, что я могу доказать ссылками на два мѣста изъ того же «Мейстера», изъ которыхъ въ *одномъ* (книга VIII) прорываются съ лирическимъ увлеченіемъ чувства вполнѣ вертеровскія: «О, ненужная суровость морали! Природа подготовляетъ насъ любезнѣйшимъ образомъ къ тому, чѣмъ мы должны быть. О, дикія требованія гражданской общественности, которыя насъ путаютъ и вводятъ въ заблужденіе, а потомъ требуютъ отъ насъ бо́льшаго, чѣмъ природа! Горе всякому роду образованія, который разрушаетъ надежнѣйшія средства образованія и указываетъ намъ на конецъ, вмѣсто того, чтобы осчастливить насъ на самомъ пути». *Другое* мѣсто я беру въ 17-ой главѣ I книги «В. Мейстера», гдѣ сказано: «мы воображаемъ, что мы благочестивы, когда мы проталкиваемся, не раздумывая, и рѣшаемся на дѣйствія, предаваясь пріятнымъ случаямъ, а затѣмъ результатамъ такого шатающагося житія даемъ названіе божественнаго промысла»...

Итакъ, В. Мейстеръ, списанный Гёте съ самого себя, есть наилучшій по своему времени идеальный человѣкъ, котораго отъ всѣхъ житейскихъ бѣдъ и треволненій спасаетъ высокая эстетичность его натуры. Замѣчательно, какъ мѣтко отыскалъ Шиллеръ въ этомъ человѣкѣ наиболѣе слабое и уязвимое мѣсто, ахиллесову его пяту (№ 188, 9 іюля 1796 г.). «Вы дали, — пишетъ онъ, — всему роману эстетическое направленіе. Внутри эстетическаго настроенія нѣтъ потребности въ утѣшеніяхъ, какія доставляетъ умозрѣніе (то-есть, этика, составляющая часть умозрѣнія); оно содержитъ въ себѣ и

самостоятельность, и безконечность, потому что только тогда необходимо прибѣгать къ помощи чистаго разума (умозрѣнія), когда чувственное сталкивается враждебно съ нравственнымъ. Здоровая и прекраная натура обходится безъ морали, безъ естественнаго права, безъ политической метафизики, она стоитъ и держится безъ Бога и безъ безсмертія души. Но достаточно ли твердъ нашъ общій другъ (В. Мейстеръ) въ такой эстетической свободѣ, чтобы уже не нуждаться въ помощи философіи? Онъ все-таки сантиментальный (рефлектирующій) человѣкъ, а всѣ сантиментальные люди склонны къ философствованію. При отсутствіи философскаго образованія, онъ, когда начнетъ мыслить, впадаетъ неизбѣжно въ мистицизмъ (т. е. туда, куда пришла «прекрасная душа» въ VI книгѣ «В. М».). Можетъ ли вашъ питомецъ вѣчно стоять такъ, какъ онъ вами поставленъ, безъ внѣшней поддержки? Можетъ ли онъ въ своей эстетической зрѣлости быть безопасно поставленъ безъ всякаго философскаго образованія, котораго онъ чуждается? Достаточно ли онъ реалистъ, чтобы никогда не прибѣгать къ чистому разуму? Не слѣдовало ли бы побольше позаботиться и о потребностяхъ идеалиста»?

Что эта критика попадала прямо въ цѣль, это доказывается дальнѣйшимъ ходомъ романа, въ которомъ описываются похожденія зажиточнаго купеческаго сынка, въ то же время литератора, художника въ душѣ и большого театрала, который желалъ бы посвятить себя сценическому искуству, и познаётъ на дѣлѣ, среди неожиданнѣйшихъ и порою весьма скабрёзныхъ приключеній, всю изнанку этой жизни, всю разнузданность и нечистоплотность этой кочующей цыганщины. Приставъ къ передвижной группѣ актеровъ, В. Мейстеръ попадаетъ вмѣстѣ съ ними въ аристократическіе хоромы и замки, гдѣ царствуетъ то же лицедѣйство, то же притворство, та же распущенность, но подъ искуственною глазурью церемоніальности и этикета. Пестрота отъ смѣшенія элементовъ комедіантскаго съ великосвѣтскимъ — пора-

зительна. Дѣйствующія лица до того живы и типичны, что имена ихъ сдѣлались общеизвѣстными, нарицательными,—напримѣръ, Филина. Случайно, по указанію одного изъ театральныхъ любителей-покровителей, Ярно, Мейстеръ знакомится съ Шекспиромъ и пристаетъ къ порядочнѣе составленной осѣдлой труппѣ, управляемой опытнымъ режиссеромъ—Серло. Ему вездѣ сопутствуютъ взятые имъ изъ милости подъ его охрану несложившаяся еще дѣвушка Миньона и полу-помѣшанный старикъ-арфистъ. Въ труппѣ Серло В. Мейстеръ становится руководителемъ, ставитъ на сцену «Гамлета» и беретъ на себя роль датскаго принца. Въ романъ введенъ цѣлый критическій этюдъ о «Гамлетѣ», изумительно глубокій и принадлежащій къ лучшимъ, какіе донынѣ были написаны о «Гамлетѣ».

Вся пятая книга романа посвящена первому представленію «Гамлета» и исполнена такого захватывающаго духъ интереса, что по словамъ Шиллера, онъ ошьянѣлъ отъ продолжительнаго, ничѣмъ неразвлекаемаго впечатлѣнія, заставляющаго читателя завертѣться точно въ водоворотѣ (№ 74, 15-го іюня 1795 г.). Самъ Гёте чувствовалъ, что былъ въ ударѣ когда писалъ эту часть: «sie mach Epoche». Эта часть обрывается на мѣстѣ, возбуждающемъ въ наивысшей степени любопытство читателя, на вопросахъ о томъ, кто былъ тотъ неизвѣстный, который вызвался явиться и явился, чтобы представить духа отца Гамлета?—онъ произвелъ такое впечатлѣніе, что сами актеры сторонились предъ нимъ какъ предъ привидѣніемъ, а потомъ безслѣдно исчезъ. Кто была та таинственная посѣтительница спальни В. Мейстера въ ночь послѣ представленія? Шиллеръ догадывается, не Миньона ли, которая научилась въ эту ночь многому относящемуся къ ея полу? (Таковъ былъ самомъ дѣлѣ первональный замыселъ Гёте, по предположенію Гримма).

Несмотря на нѣкоторыя картины, реалистическія до цинизма, которыя возбудили противъ Гёте и его произ-

веденія обвиненіе въ безнравственности, всѣ первыя пять книгъ доставляютъ читателю, по выраженію Шиллера, «чувство сладкаго душевнаго довольства (süsse und innige Behaglichkeit), душевнаго и тѣлеснаго здоровья (№ 40). Въ сравненіи съ этою жизнью, какая блѣдная и сухая вещь философія!» Шиллеръ, который самъ о себѣ выражался, что онъ больше, чѣмъ бы желательно, знакомъ съ театральнымъ хозяйствомъ и любительствомъ (№ 52), свидѣтельствуетъ о правдивости изображеній, но озадаченъ преобладаніемъ въ романѣ театральнаго элемента. Онъ пишетъ: «Кажется, вы намѣрены были писать объ актерахъ, а не для актеровъ. Техническія мелочи и подробности даютъ роману фальшивый видъ, какъ будто бы у васъ была спеціальная цѣль въ повѣствованіи. Не предполагающіе этой цѣли готовы винить васъ въ томъ, что васъ крайне увлекло личное расположеніе къ этимъ предметамъ» (№ 75).

Опасенія Шиллера были неосновательны. Послѣ пятой книги происходитъ въ романѣ поворотъ въ противоположную сторону; шестая книга, съ религіозными «признаніями прекрасной души», составляетъ родъ біографіи по юношескимъ франкфуртскимъ воспоминаніямъ о піэтисткѣ — дѣвицѣ Клеттенбергъ, Шиллеръ не хотѣлъ вѣрить религіозному настроенію Гёте, «не сродному съ вашимъ, — писалъ онъ, — существомъ. Религіозное мечтательство свойственно только умамъ, которые созерцательно и праздно погружаются сами въ себя, а съ вами не можетъ быть подобнаго случая» (№ 58). Исповѣдь «прекрасной души» въ шестой книгѣ, изображающая превращеніе свѣтской женщины почти что въ монашенку, въ гернгутерскую піэтистку, интересна для насъ только по заключительнымъ ея словамъ: «Я почти не помню заповѣдей, ничто не является мнѣ въ видѣ закона (опять какъ будто бы идеи Шиллера въ его приготовленіяхъ къ Калліасу, какъ будто бы «Freiheit in der Erscheinung»?). Есть въ душѣ влеченіе руководящее и почти всегда вѣрно ведущее. Я слѣдую сво-

бодно моему настроенію и ничего не знаю ни объ ограниченіи, ни о покаяніи. Никогда я не позволю себѣ гордиться моими умственными силами, зная, какія чудовища могутъ рождаться и питаться въ каждой человѣческой груди, если не охранитъ насъ отъ нихъ высшая сила» (опять та же природа, на которую указывалъ Гёте въ 1825 г. въ разговорѣ съ Эккерманомъ). Удивительно, какъ близко сошлись Шиллеръ и Гёте въ естественномъ влеченіи человѣка къ добру, упраздняющемъ суровый кантовскій императивъ. Кто изъ нихъ былъ иниціаторомъ? Я полагаю, что Шиллеръ, который поработалъ философски надъ этимъ предметомъ, и Гёте присталъ только къ Шиллеру. Разница между ними, несмотря на конечное совпаденіе ихъ взглядовъ, та, что, сознавая всю недостаточность эстетики для образованія полнаго человѣка, какимъ онъ долженъ быть, Шиллеръ предлагалъ ему точку опоры въ философіи, между тѣмъ какъ при всемъ пантеизмѣ Гёте и непринадлежности его ни къ какому исповѣданію, въ немъ было больше религіознаго чувства и наклонности къ непосредственному единенію съ тѣмъ неизвѣстнымъ, которое представляетъ силу объединяющую вселенную и движущую ее: Богъ-природа, или природа-Богъ.

Недостаточность самодовлѣющаго эстетическаго чувства проявляется въ В. Мейстерѣ вполнѣ. Онъ превосходно изобразилъ Гамлета на сценѣ и обнаружилъ всѣ условія, чтобы стать великимъ сценическимъ артистомъ, но чувствуетъ, что онъ не можетъ всю свою жизнь наполнить однимъ художествомъ. Онъ способенъ хорошо съиграть только то, что̀ ему по натурѣ, что̀ содѣйствуетъ его личному образованію, выработкѣ характера, а не отчужденію его чрезъ перевоплощеніе при помощи лицедѣйства въ другія лица, съ которыми онъ не имѣетъ ничего общаго. Оказалось, что въ своихъ похожденіяхъ за искуствомъ онъ созрѣлъ характеромъ и уподобился Саулу, сыну Киса, который шелъ искать ослятъ отца, а обрѣлъ вѣнецъ и былъ помазанъ на царство проро-

комъ Самуиломъ. На рукахъ у В. Мейстера оставались Феликсъ, сынъ его отъ Маріанны, Миньона и арфистъ; самъ онъ сдѣлался серьезнымъ человѣкомъ и вступилъ въ среду серьезныхъ людей. Вслѣдствіе такой перемѣны романъ перестаетъ быть занимательнымъ. Мы попадаемъ въ особаго рода утопію, весьма туманную и наполненную существами очень нравственными, но мало жизненными. Приходится сожалѣть о томъ, что Гёте не прекратилъ труда, кончая пятую книгу; мы бы имѣли превосходный торсъ, а вмѣсто того получилось неудовлетворительное цѣлое, о которомъ Гёте писалъ къ Шиллеру (26-го іюня 1796 г., № 174), что послѣ долгаго пути онъ ощущаетъ усталость и предлагаетъ читателю многое дополнять мысленно по намѣреніямъ автора. Утопія Гёте существенно разнится отъ подобныхъ ей современныхъ утопій тѣмъ, что она чуждается всякой организаціи, всякой государственности; что она переноситъ насъ въ состояніе, похожее на бытъ, напримѣръ, Польши подъ самый ея конецъ; что мы видимъ полное разложеніе верховной власти и неуваженіе къ ней. «Долой съ государствомъ и чиновниками!—говоритъ Филина во 2-ой главѣ IV-й книги;—я не представляю ихъ себѣ иначе какъ въ парикахъ; такъ и чешутся у меня руки, чтобы эти парики сорвать». «Увѣряю васъ,—говоритъ Вернеръ во 2-й гл. VIII книги,—(правда, тупой человѣкъ и филистеръ), что я никогда не думалъ о государствѣ, а только платилъ подати и сборы, какъ то заведено»... Идеальный человѣкъ въ романѣ, Лотаріо, заключаетъ: «патріотъ и хорошій гражданинъ—тотъ, кто прежде всего откладываетъ, что́ онъ долженъ заплатить государству». Общественный строй въ романѣ представленъ крайне туманно, изъ толпы выдвигаются лучшіе люди, родъ аристократіи, интеллигенція. Совокупность этихъ столповъ, таинственно между собою связанныхъ, образуетъ родъ масонства. Таковы Ярно, аббатъ, въ особенности Лотаріо, Тереза, Наталія. Они отыскиваютъ возможныхъ въ это братство кандидатовъ и, испытавъ ихъ,

пріобщаютъ къ своему союзу; вмѣстѣ съ вступленіемъ въ союзъ и кончаются «годы ученія» новопоставленнаго лица. Романъ додѣланъ на скорую руку и довершенъ нѣсколькими счастливыми бракосочетаніями. В. Мейстеръ получаетъ идеальную жену Наталію, которая такимъ образомъ сама себя опредѣляетъ (4 гл. VIII кн.): «На меня не дѣйствуютъ красоты природы, ни прелести искуства, но для меня величайшее наслажденіе, когда я усматриваю какой-нибудь недостатокъ, нужду. Тогда я ищу мысленно, чѣмъ его дополнить, ищу лекарства и помощи. Первое и послѣднее въ жизни, это—дѣятельность. Нельзя, однако, ничего сдѣлать, не имѣя къ тому расположенія, не имѣя инстинкта насъ къ тому увлекающаго».

Забывая о томъ, по какому плану произведеніе было заложено, читатель хотя и не находитъ въ окончаніи его прежней жизненной правды въ изображеніяхъ, но его подкупаютъ этическія стремленія и идеалы автора. Онъ мѣритъ и оцѣниваетъ происходящее по этому новому масштабу, и самъ начинаетъ благодушествовать между этими прекраснодушными людьми. Мнѣ кажется, что и Шиллеръ, какъ критикъ, увлекся и отступилъ отъ своихъ эстетическихъ убѣжденій, въ силу которыхъ прекраснымъ въ искуствѣ было только то, что̀ не серьезно, что̀ есть одна игра воображенія. Съ 27-го іюня 1796 г., когда получивъ конецъ романа, онъ предался сплошному перечитыванію его отъ начала до конца, по 9-ое іюля, Шиллеръ написалъ въ эти двѣ недѣли пять длиннѣйшихъ посланій къ Гёте, въ которыхъ онъ разобралъ по ниточкѣ каждое событіе и каждый характеръ. Ему понравилось даже и то, что̀ всего неестественнѣе. Онъ хвалитъ (№ 185) даже часть этого эпоса—машинообразную, напоминающую волю боговъ или рокъ греческой трагедіи, то-есть дѣятельность опекаемаго Мейстеромъ тайнаго союза, вслѣдствіе которой учебные года В. Мейстера имѣютъ видъ не слѣпой игры природы и случая, но составляютъ якобы рядъ опытовъ, направляемыхъ

издали разумными силами, которыхъ не угадываетъ руководимый, и которыхъ онъ и не долженъ знать. Шиллеръ совѣтовалъ Гёте довершить работу и послѣ годовъ ученія написать «годы мастерства» — идея, которую Гёте впослѣдствіи осуществилъ въ «W. Meisters Wanderjahren», самомъ слабомъ, растянутомъ и скучномъ произведеніи послѣднихъ годовъ своей жизни.

IV.

Издательство «Горъ» продолжалось только три года (1795—1797), оно было въ связи съ изданіемъ ежегоднаго «Musenalmanach'a» въ которомъ на первомъ мѣстѣ стояли стихотворенія и въ особенности эпиграммы. Шиллеръ былъ крайне недоволенъ холоднымъ отношеніемъ къ «Горамъ» публики и намѣренно систематически-враждебными на него нападками повременной печати, заурядныхъ критиковъ и рецензентовъ. «Нѣтъ въ нашей публикѣ,—писалъ онъ (май 1795, № 64),—ни единства дѣтскаго вѣрованія, ни единства высшей культуры,—есть нѣчто среднее. Наше время благое для плохихъ писакъ, но прескверное для пишущихъ не ради одной только наживы». Гёте въ особенности былъ противенъ этимъ, какъ онъ ихъ называлъ, собакамъ (Lumpenhunden, № 187); они его кусали или упорно замалчивали [1]), а между тѣмъ капитальный по тому времени вопросъ для критики заключался въ томъ, какъ будутъ приняты публикою «Года ученія В. Мейстера», выходящіе частями и проданные авторомъ еще до появленія «Горъ» издателю Іегеру въ Берлинѣ. Въ концѣ 1795 г., друзья-поэты порѣшили сдѣлать общими силами вылазку противъ злословящихъ порицателей и произвести повальное избіеніе авторитетныхъ посред-

[1]) Goethe, въ письмѣ № 120: geheime Fehde des Verschweigens, Verruckens und Vurdruckens.

ственностей или ничтожествъ тогдашней литературной критики, предать ихъ посмѣянію. Кличку для замысла они взяли отъ римскаго сатирика Марціала: они назвали свои эпиграммы *Ксеніями*. Въ обычаѣ было у римлянъ, что послѣ пира домохозяинъ раздавалъ расходящимся гостямъ въ видѣ подарковъ (xenia) разныя лакомства; впослѣдствіи раздача лакомствъ замѣнена раздачею шутовскихъ эпиграммъ въ двустишіяхъ. Мысль о сочиненіи общими силами громаднаго числа сатирическихъ стиховъ, на подобіе Марціаловыхъ, для помѣщенія ихъ въ альманахѣ на 1797 годъ пришла въ голову Гёте (№ 132, дек. 23-го 1795). Цѣлый 1796 годъ стрѣлы выдѣлывались, закалялись; подобрано ихъ до 2.000 штукъ. Работа до того была общая, что одинъ изъ поэтовъ предлагалъ идею, другой ее отчеканивалъ; одинъ приготовлялъ стрѣлу, а другой ее оттачивалъ и заострялъ. «Теперь мы можемъ нападать,—писалъ Шиллеръ (№ 135)—и на священное и на свѣтское; какой обильный предметъ для травли клики Штольберговъ, Рапницъ, Рамдоръ; міръ метафизическій со своими «я» и «не-я», другъ Николаи нашъ заклятый врагъ, лейпцигская трущоба вкуса, Тюммель, Гёшенъ и другіе». Гёте былъ мягкосердечнѣе; онъ сочинялъ не только хлесткія двустишія, но и похвальныя, имѣющія общій смыслъ и относящіяся къ жизни или къ искуству вообще. Шиллеръ былъ несравненно задорнѣе и злѣе; онъ-то и выпустилъ наибольшее число лисицъ съ зажженными хвостами на пажити филистимлянъ (№ 147). Сборникъ эпиграммъ увеличивался быстро въ объемѣ; но такъ какъ его полновластнымъ распорядителемъ былъ Шиллеръ, то, слѣдуя внушеніямъ своего воинственнаго темперамента, онъ исключилъ, къ великому сожалѣнію Гёте (№ 200), все болѣе мягкое, разсортировалъ остальное, сжалъ и расположилъ въ боевомъ порядкѣ все ехидное и колючее. «Когда они въ одной кучѣ и безъ примѣси серьезнаго, то тѣмъ ослабляется ихъ горьковатость; а при преобладаніи въ нихъ юмора выходитъ

нѣчто цѣльное» (№ 202). Изъ припасенныхъ 2.000 штукъ выбраны 200 спокойныхъ, не задирающихъ, и 414 сатирическихъ, и пущены безъ подписей, безъ обозначенія, что̀ кто писалъ. Альманахъ изданъ въ сентябрѣ 1796 года.

Успѣхъ его былъ громадный; въ мигъ разошлись двѣ тысячи экземпляровъ, послѣ чего потребовались еще два изданія. Побоище было усѣяно ранеными и изувѣченными; досталось святошамъ, педантамъ, болтунамъ, грубо чувственнымъ людямъ и морализующимъ эстетикамъ; самые благоразумные изъ числа задѣтыхъ промолчали и стушевались. Публика смѣялась; болѣе воспріимчивые изъ пострадавшихъ подняли вой, огрызались, ругались. Былъ моментъ, когда Шиллеръ, въ виду того, что его могутъ побить, помышлялъ о полиціи (№ 249). Всего забавнѣе, что публика ошибалась насчетъ того, кто былe зачинщикомъ предпріятія. «Мнѣ достается,—писалъ Шиллеръ,—мизерная роль соблазненнаго; вы же (т.-е. Гёте) можете утѣшиться тѣмъ, что васъ возводятъ въ соблазнители». Хотя идея о походѣ посредствомъ «ксеній» блеснула первоначально у Гёте, но несомнѣнно, что во главѣ предпріятія стоялъ не кто иной, какъ Шиллеръ, увлекшій Гёте, не представлявшаго себѣ наглядно результатовъ этой свалки; такъ втянулъ онъ его и въ журналистику. и вытаскивалъ постоянно изъ портфеля залежавшіяся тамъ вещи, которыя безъ того не были бы изданы при жизни Гёте. Результаты «ксеній» были весьма значительные. «Въ республикѣ нѣмецкой литературы искони царило безначаліе, существовало извѣстное число талантовъ, вліявшихъ каждый въ своемъ околоткѣ; теперь же, по молчаливому всеобщему соглашенію, установилось никѣмъ не оспариваемое господство только двухъ братьевъ Діоскоровъ. Когда оказалось, что у противниковъ ихъ нѣтъ никакого оружія въ рукахъ, кромѣ самой пошлой ругани, самъ Гёте далъ сигналъ къ отбою и писалъ (15-го ноября 1796 г., № 241), что «послѣ сумасшед-

шей штуки съ «ксеніями» мы должны заниматься только великими и достойными произведеніями и къ посрамленію противниковъ обязаны воплощать нашу протеевскую натуру въ одни только лики благородства и добра». Когда писались эти слова, въ умѣ у Гёте и были великія произведенія: онъ доканчивалъ «Года учебные В. Мейстера», а съ осени (т. е. съ изданія «ксеній») 1796 г. по іюнь 1797 сочинялъ свое мастерское и безупречное по формѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ самое свѣжее и, послѣ «Фауста», популярнѣйшее изъ своихъ произведеній: *Германа и Доротею*, по прочтеніи котораго въ печати Шиллеру показалось (октябрь 1797, № 367), что онъ слышитъ «голосъ гомеровскаго рапсода, раздающійся среди современнаго политико-риторическаго міра», Шиллеръ былъ настолько восхищенъ эпосомъ, что въ письмѣ къ Мейеру (№ 344) провозгласилъ, что это созданіе и есть вершина всего тогдашняго художества нѣмецкаго. Онъ былъ свидѣтелемъ того, какъ оно возникло, и удивлялся самому способу его возникновенія, той легкости, съ которою оно писалось: Гёте стоило только тряхнуть слегка деревомъ творчества, а сочные и зрѣлые плоды этого творчества падали съ него сами собою. Шиллерь былъ убѣжденъ, что Гёте не создастъ никогда ничего выше этого эпоса, что ему слѣдуетъ продолжать воспроизводить ту же прекрасную форму, не ища новаго матеріала; что онъ долженъ посвятить себя всецѣло поэтической практикѣ на счастливо открытомъ пути. Гёте оцѣнивалъ себя трезвѣе и лучше и относился къ своему громадному успѣху съ нѣкоторою долею ироніи (2-го янв. 1798, № 397): «еслибы мы, поэты, были фокусники; еслибы задача наша состояла въ томъ, чтобы не дать никому понять, какъ мы дѣлаемъ фокусы, то мы были бы въ полномъ выигрышѣ, наравнѣ съ тѣми, которые знаютъ, что публика на ихъ сторонѣ, и, плывя по теченію, безошибочно разсчитываютъ на удачу. По выбору матеріала я въ «Германѣ и Доротеѣ» угодилъ нѣмцамъ до-сыта, и

они весьма довольны. Думаю о томъ, нельзя ли написать, идя тѣмъ же путемъ, такую сценическую пьесу, которая бы прошла по всѣмъ театрамъ и была провозглашена всѣми какъ самая превосходная, хотя бы авторъ и не нуждался въ томъ, чтобы признавать ее за таковую». Изъ такой откровенности Гёте мы заключаемъ, что мы могли бы опредѣлить моментъ его творчества, соотвѣтствующій работѣ его надъ знаменитымъ эпосомъ, слѣдующими чертами: наивысшая степень намѣренности въ творчествѣ, къ какой только и могъ Гёте быть когда-либо способенъ; умѣренное вдохновеніе; величайшая умѣлость, полное знаніе какъ законовъ искуства, такъ и чувствъ, на которыхъ заигрываетъ въ читателяхъ поэтъ; весьма небольшая заботливость о матеріалѣ, т.-е. о фабулѣ, сюжетѣ, такъ какъ и ничтожнѣйшій сюжетъ можетъ быть возведенъ въ перлъ художества при помощи высокаго стиля, а тайну стиля артистъ постигъ и усвоилъ себѣ, вслѣдствіе чего все, что́ ни изображалъ онъ, бывало жизненно и природѣ подобно.

Главная поэма въ группѣ произведеній Гёте второй его манеры совсѣмъ непохожа на его произведенія первой манеры, задуманныя до итальянскаго путешествія. Сочиняя ее, Гёте отступился и отъ правила—ничего изъ моей поэмы никому до окончанія ея не показывать. Три первыя пѣсни онъ сообщилъ (февраль 1797) Вильгельму Гумбольдту и Шиллеру; потомъ онъ хотѣлъ послать Шиллеру планъ остального (26-го апр., № 303), но пріостановился (28 апр., № 304) и совѣщался съ Шиллеромъ затѣмъ только словесно, такъ что Шиллеръ могъ сказать, что онъ видѣлъ, какъ поэма созидалась (ich habe es entstehen sehen, № 944). Въ перепискѣ поэтовъ имѣется богатый матеріалъ для установленія тѣхъ теоретическихъ правилъ искуства, какія занимали Гёте, когда онъ писалъ «Германа и Доротею», и какъ онъ ихъ дедуктивно проводилъ и примѣнялъ въ произведеніи. Поэмы я разбирать не стану, но, пользуясь перепискою, введу читателей въ рабочій кабинетъ Гёте и познакомлю ихъ съ пріемами и методомъ автора.

V.

Въ Италіи, среди античныхъ образцовъ, Гёте пріучился къ высокому стилю, то-есть, къ такой объективлости въ творчествѣ, чтобы въ произведеніи не оставанось уже ни слѣда его личности, чтобы самъ онъ пропадалъ, исчезалъ, а имѣлось бы на лицо только само произведеніе, самостоятельно дѣйствующее какъ живой, цѣльный организмъ. Въ «Годахъ ученія В. Мейстера» нѣтъ еще такого мастерства; авторъ изображаетъ хорошо только то, чѣмъ самъ былъ и что̀ самъ перечувствовалъ, но Гёте «второй манеры» уже сталъ вполнѣ Протеемъ и былъ способенъ изображать по геніальной догадливости и то, что̀ совсѣмъ было чуждо его натурѣ. Эта способность, развитая вслѣдствіе общенія съ древними образцами, вела къ тому, что имъ были изображаемы не индивидуальныя характерныя лица, а только типы. Такъ было и у древнихъ. О греческомъ искуствѣ вѣрно сказалъ Шиллеръ (№ 290), что лица древнихъ не недѣлимыя, а идеализированныя маски. О древней пластикѣ Гёте замѣчаетъ (№ 291), что у нея лица — абстракты, которые доведены до совершенства только высокимъ стилемъ художника,—иными словами, что они не копіи съ натуры, а художественныя идеализаціи совершеннѣйшаго тѣла, которыя проще естественныхъ и состоятъ изъ красивѣйшихъ сочетаній поверхностей и линій, никогда реально въ такихъ сочетаніяхъ не встрѣчавшихся. Эта простота линій и поверхностей доведена до высочайшей степени въ «Германѣ и Доротеѣ», равно какъ и въ позднѣйшей—«Незаконной дочери» (Die natürliche Tochter). Въ девяти пѣсняхъ «Германа и Доротеи» есть только семь дѣйствующихъ лицъ: трактирщикъ, его жена, аптекарь, священникъ, судья и любовникъ, сочетающійся со служанкою изъ переселенцевъ. Обстановку этихъ лицъ составляютъ живописные берега Рейна; малое мѣстечко, вдали зарево международнаго пожара

и бѣгущія за Рейнъ толпы нѣмцевъ-переселенцевъ. Моментъ дѣйствія — самая послѣдняя современность, захолустный крестьянскій бытъ — самый простой; никакой образности, никакой вычурности нельзя было допустить въ незатѣйливомъ повѣствованіи; наконецъ, почти никакого драматизма нѣтъ въ событіи, занимающимъ всего одинъ день времени и дающемъ просторъ только чувствамъ физической любви, семейной привязанности и любви къ нѣмецкой родинѣ, тревожимой въ ея сонномъ покоѣ разливами французскаго революціоннаго движенія. Задавшись мыслью поэтизировать зауряднѣйшую житейскую прозу и возвести сельскую идиллію въ подобный гомеровскому эпосъ, Гёте поставилъ себѣ одну изъ труднѣйшихъ теоретическихъ задачъ, заключающуюся въ выборѣ для этого сырья подходящаго къ нему вида поэзіи, съ устраненіемъ всего что́ этому виду несвойственно. Онъ пишетъ Шиллеру (22-го апр. 1797, № 301): «Я теперь сильно заинтересованъ изслѣдованіемъ качества матеріаловъ для опредѣленія, насколько они требуютъ того или другого обращенія съ ними. Я сдѣлалъ въ жизни много промаховъ и хочу вполнѣ это дѣло себѣ уяснить, чтобы не впадать въ будущемъ въ ошибки». Постановка задачи сходна была съ тѣмъ, какъ ее ставилъ Аристотель и какъ ее теперь ставитъ F. Brunetière, въ «Évolution des genres» (Paris, 1890), то-есть, что въ литературѣ есть особи, но есть также и породы произведеній; что породы являются, плодятся, преобразовываются и вымираютъ, что онѣ совершенствуются посредствомъ подбора и вырождаются отъ противоестественныхъ скрещиваній; что каждая порода имѣетъ свои типическія черты и свои неизмѣнные законы, необходимые для красоты каждой особи въ породѣ, словомъ, — что каждое произведеніе не должно выходить за предѣлы своей породы.

Зародышъ идей Гёте о коренныхъ различіяхъ видовъ въ поэзіи содержится въ 7-ой главѣ V книги «В. Мейстера», въ которой Серло излагаетъ свои взгляды на

подвидъ эпоса — романъ, въ различіи его отъ драмы. «Романъ имѣетъ дѣло съ настроеніями и происшествіями; драма — съ характерами и дѣяніями. Романъ движется тихо, потому что изображеніе настроеній героя задерживаетъ развитіе цѣлаго. Драма торопится, характеръ героя гонитъ къ развязкѣ, его надо укрощать. Герой романа болѣе страдаетъ, нежели дѣйствуетъ, онъ запаздываетъ, а по его образцу моделировано все остальное. Въ драмѣ герой ничего не моделируетъ на свой образецъ, онъ только ломаетъ и упраздняетъ препятствія или самъ уничтожается ими. Въ романѣ играетъ роль и случайность, но опредѣляемая и увлекаемая настроеніями дѣйствующихъ лицъ; въ драмѣ же большое значеніе имѣетъ судьба, увлекающая людей безъ вѣдома ихъ въ катастрофѣ при посредствѣ несвязныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Случайность ставитъ людей въ патетическія, но не трагическія положенія, но судьба бываетъ всегда трагическая, когда она есть несчастное сплетеніе и запечатлѣнныхъ виною, и безвинныхъ дѣяній, другъ отъ друга не зависящихъ».

Гёте замѣтилъ, что ходъ эпоса спокоенъ, что всѣ его подробности должны быть разсудочно осмыслены, и что такъ какъ ходъ его похожъ на движеніе зигзагами, то всѣ задерживающіе ходъ моменты (а ихъ бываетъ много) эпичны. Это не должны быть препятствія, какъ въ драмѣ, а только задержки (№ 299). Шиллеръ соглашается съ этимъ заключеніемъ въ виду того, что цѣль эпоса есть спокойное изображеніе вещей по ихъ натурѣ и взаимодѣйствія этихъ вещей, слѣдовательно цѣль эпоса осуществляется въ каждомъ моментѣ его движенія. Мы не спѣшимъ къ концу, но останавливаемся съ удовольствіемъ на каждомъ шагу (№ 300). Гёте не перестаетъ доискиваться высшаго закона, который бы объяснилъ запаздываніе дѣйствія въ эпосѣ, въ узловыхъ его задержкахъ, то-есть въ отдѣльныхъ эпизодахъ. Ему представляется, что въ эпосѣ интересуетъ не то, *что* происходитъ, но только то, *какъ* оно

происходитъ («das Wie und nicht das Was das Interesse macht», — № 301); иными словами, въ эпосѣ догадываешься сразу, какой будетъ конецъ, а слѣдовательно, въ исходѣ поэмы любопытство не принимаетъ уже никакого участія. Въ своемъ эпосѣ Гёте затрудненъ тѣмъ, что ходъ его идилліи, совершающейся въ теченіи одного дня, до того прямолинейный, что въ немъ нѣтъ ни остановокъ, ни запаздываній. Шиллеръ его успокоиваетъ такъ (№ 302): причины запаздываній могутъ быть двоякія,—однѣ зависятъ отъ свойства пути, другія отъ способа хожденія; слѣдовательно запаздыванія могутъ быть при прямолинейномъ пути, что́ и имѣетъ мѣсто въ «Германѣ и Доротеѣ«; но, одобряя произведеніе Гёте съ этой стороны, Шиллеръ думаетъ, что эта поэма—не чистый эпосъ, а подвидъ эпоса, переходящій въ комедію, что́ совершенно вѣрно. Всю повѣсть «Германъ и Доротея» можно бы живьемъ перенести на сцену и поставить на одномъ ряду съ наивными повѣстями изъ крестьянскаго быта Жоржъ-Занда, подвергавшимися подобной же инсценировкѣ. Съ другой стороны, есть въ эпосѣ Гёте и трагическія черты, несвойственныя эпосу, напримѣръ, когда сынъ, возставая противъ воли отца, задумываетъ идти въ солдаты. Что касается до формулы: nur das Wie und nicht das Was,—то Шиллеръ думаетъ, что она слишковъ обща и примѣнима ко всѣмъ прагматическимъ или дидактическимъ родамъ поэзіи. Шиллеръ исправляетъ ее, передѣлавъ слѣдующимъ образомъ: и эпикъ, и драматургъ, изображаютъ извѣстное дѣйствіе, но у драматурга оно — сама цѣль, а у эпика оно только простое средство для достиженія высшей эстетической цѣли; вотъ почему драматургъ торопится и идетъ на проломъ, а эпикъ часто мѣшкаетъ и намѣренно воздерживается отъ положеній, возбуждающихъ столь сильно любопытство или соучастіе, что дѣйствіе само становится уже близко интересующею насъ цѣлью.

Работая надъ «Германомъ и Доротеею», Гёте читалъ только Гомера и Библію. Кончивъ свой эпосъ и

еще разъ перелистывая Иліаду и Софокла, въ виду новыхъ задуманныхъ имъ эпическихъ работъ (Ахиллеида), Гёте приходитъ къ заключенію, что у современниковъ (модерновъ) всѣ роды поэзіи смѣшались—до невозможности отдѣлить одинъ родъ отъ другого, вслѣдствіе стремленія публики къ достиженію наибольшей иллюзіи, наибольшаго правдоподобія (23-го декабря 1797, № 30). Въ практикѣ на первомъ планѣ стала у насъ живопись, доставляющая наибольшую иллюзію при помощи перспективы и красокъ. Въ поэзіи беретъ верхъ драма, какъ изображеніе вполнѣ настоящаго момента. Какъ только появится романъ, тотчасъ берутся его инсценировать, вслѣдствіе чего мы имѣемъ столько плохихъ драмъ. Лишь только обрисовалось интересное положеніе, тотчасъ гравируютъ эту сцену на мѣди, чтобы не осталось уже ничего додѣлывать воображенію, и чтобы по возможности приблизить драматическое къ дѣйствительному. Гёте возмущенъ этимъ варварскимъ безвкуснымъ направленіемъ и предлагаетъ противодѣйствовать ему всячески, отдѣлять родъ отъ рода непроходимыми гранями, держать каждый родъ особо, какъ то дѣлали древніе, вслѣдствіе чего они такіе мастера; но Гёте сомнѣвается, можно ли будетъ устоять противъ всеобщаго теченія. — Изъ своихъ замѣтокъ и изъ писемъ Шиллера Гёте составилъ родъ заключительнаго протокола (Absatz: Ueber epische und dramatische Dichtung), который онъ посылаетъ въ концѣ 1797 г., какъ бы для подписанія, Шиллеру. Главное содержаніе этого маленькаго трактата слѣдующее.

Оба, и эпикъ, и драматургъ, подчинены общимъ поэтическимъ законамъ, въ особенности закону единства и закону развитія. Они пользуются тѣми же предметами и употребляютъ всевозможные мотивы. Разница между ними та, что эпикъ повѣствуетъ о событіи какъ о *совершенно прошедшемъ*, а драматургъ представляетъ его какъ *вполнѣ современное*. Чтобы постигнуть это различіе во всѣхъ деталяхъ, надо себѣ вообразить съ

одной стороны рапсода въ спокойно слушающемъ его кружкѣ и мимика въ созерцающей его и волнующейся отъ его дѣйствій и словъ средѣ. Тогда станетъ ясно, что̀ каждому изъ нихъ наиболѣе подходитъ, чѣмъ онъ займется и какими мотивами онъ воспользуется. Предметы обоихъ видовъ должны быть важные, человѣчные и патетическіе. Дѣйствующія лица должны стоять на извѣстной степени культуры, всего лучше на той, когда занятія еще не спеціализировались, когда люди дѣйствуютъ самолично, а не наладились дѣйствовать механически по рутинѣ нравственной или политической. Эпосъ изображаетъ ограниченную личную дѣятельность, а трагедія — ограниченное личное страданіе; эпосъ изображаетъ человѣка внѣшне дѣйствующаго (битвы, путешествія, широкія предпріятія), а трагедія — человѣка въ себѣ самомъ сосредоточеннаго, арена дѣйствія коего по возможности весьма мала. Обстановка въ обоихъ родахъ состоитъ изъ слѣдующихъ элементовъ: 1) міръ физическій ближайшій и отдаленнѣйшій. Въ ближайшемъ драматургъ стоитъ обыкновенно на одной точкѣ, но эпикъ движется свободнѣе. Отдаленнѣйшее — это вся природа, которую эпикъ выводитъ въ образныхъ сравненіяхъ, между тѣмъ какъ драматургъ пользуется ими гораздо бережливѣе; 2) міръ нравственный во всевозможныхъ и физіологическихъ и патологическихъ состояніяхъ души; наконецъ, 3) міръ сверхъестественный, міръ предчувствій, призраковъ, судебъ. Ихъ надобно матеріализировать, что̀ для современныхъ людей затруднительно: у древнихъ были боги, чудеса, вѣщатели, оракулы—ихъ трудно намъ чѣмъ-либо замѣстить.

Расподъ обозрѣваетъ совсѣмъ прошлое. Онъ старается заставить слушателей внимать ему охотно и долго; онъ старается равномѣрно интересовать слушателей, потому что еслибы онъ сразу произвелъ весьма сильное впечатлѣніе, то ему уже было бы трудно какъ-нибудь его уравновѣсить. Онъ можетъ идти и впередъ, и назадъ; за нимъ послѣдуютъ, потому что онъ пробуждаетъ въ

слушателяхъ воображеніе, которое уже само собою рождаетъ образъ за образомъ. Онъ — высшее существо, — ему бы и не показываться, а стоять за занавѣсью, лишь бы его слышали, не видавъ его лица и внимая только голосу его, какъ музыкѣ. Напротивъ того, мимикъ требуетъ, чтобы наблюдали только его и его наиближайшую обстановку, чтобы сочувствовали его страданіямъ душевнымъ и физическимъ, а себя при созерцаніи ихъ забывали. Конечно, и у него есть постепенность, но онъ позволяетъ себѣ сильнѣйшіе эффекты. Слушатели обрѣтаются въ постоянномъ чувственномъ возбужденіи, имъ некогда раздумывать, фантазія ихъ бездѣйствуетъ, и даже то, что̀ имъ разсказываютъ, должно быть воспроизведено чувственно предъ ихъ глазами.

Шиллеръ прибавилъ къ этому трактату Гёте одно соясненіе и одно существенное дополненіе. Поясненіе постоитъ въ слѣдующемъ: дѣйствіе драмы движется предо мною, я прикованъ къ чувственному настоящему, моя фантазія не свободна, я волнуюсь, я привязанъ къ объекту, не раздумываю и повинуюсь чужой увлекающей силѣ. Но эпическое дѣйствіе столь тихо, что оно почти неподвижно, и только я самъ около него вращаюсь, могу поспѣшить, могу и остановиться. Оно вѣдь все прошлое, и конецъ его напередъ извѣстенъ, — значитъ, всякій моментъ дѣйствія равнозначителенъ; его характеръ — спокойная свобода.

Дополненіе Шиллера весьма существенно и состоитъ въ связи съ началами его эстетики. Оба вида поэзіи не не только граничатъ, но и дополняютъ себя взаимно, такъ что почти неразрывно одинъ съ другимъ сплетается. Отличительный призракъ эпики—*чувственность*, а трагики—*свобода*. Хотя эпикъ владѣетъ прошедшимъ, но чтобы сдѣлать его поэтичнымъ, эпикъ долженъ его модернизировать (vergegenwärtigen). Съ другой стороны, чтобы освободить зрителя отъ гнета грубаго матеріала, трагикъ долженъ отодвинуть въ даль дѣйствіе, идеализируя его настоящую, грубую дѣйствительность. Такимъ

образомъ, трагедія поднимается по необходимости къ эпосу, чтобы сдѣлаться поэтичнѣе, а эпосъ опускается къ драмѣ, чтобы сдѣлаться также поэтичнѣе. Оба вида помогаютъ себѣ взаимно, охраняя родовое отъ подчиненія его видовому. Задача искуства заключается въ томъ, чтобы не допустить сліянія видовъ и смѣшенія граней, примиряя характерное съ прекраснымъ, чистоту съ полнотою и единство съ многообразіемъ.

VI.

По мѣрѣ того, какъ оба поэта элленизировались при изученіи древнихъ образцовъ и дѣлали успѣхи въ теоріи разныхъ видовъ искуства, ихъ отношенія къ прежнимъ своимъ же собственнымъ произведеніямъ сильно измѣнялись, и ихъ сужденіе объ этихъ произведеніяхъ дѣлалось критичнѣе. Въ 1788 г., Шиллеръ сокрушался, что не въ силахъ создать что-нибудь столь совершенное, какъ гётевская «Ифигенія», а въ 1797 г. (№ 392) онъ уже признавалъ, что на этомъ солнцѣ есть пятна, что ходъ дѣйствія въ «Ифигеніи» слишкомъ спокойный, что слишкомъ много задержекъ, что развязка совсѣмъ не трагическая, а благополучная, противорѣчитъ понятію трагедіи. Впечатлѣніе, производимое пьесою, конечно, поэтическое, но не спеціально трагическое, что всегда бываетъ при наклоненіи трагедіи къ эпическому виду. Подобное же охлажденіе произошло и въ самомъ Гёте. Сюжетъ взятъ былъ у Эврипида, у котораго преслѣдуемый Эринніями за матереубійство Орестъ только тогда искупитъ свое кровавое дѣло, когда похититъ и привезетъ въ Грецію отъ тавровъ чтимое ими въ Тавридѣ изображеніе Діаны. Жрица Діаны, Ифигенія, помогаетъ похитителямъ, но они задержаны, и ихъ выручаетъ спасающая ихъ Аѳина, предъ которою преклоняются царь Тоасъ и его тавры. Въ пьесѣ Гёте весь религіозный механизмъ отсѣченъ и выкинутъ. Мѣсто

боговъ занимаетъ чистѣйшее чувство человѣчности, воплощенное въ лицѣ Ифигеніи-жрицы. Жрица отвергла любовь царя, но обаяніемъ своей кроткой и благородной натуры достигла того, раскрывъ предъ царемъ дерзкій планъ похитителей, что Тоасъ отпускаетъ и ихъ, и ее, вмѣстѣ со статуею Діаны и разстается съ ними дружески и безъ злопамятства. Ясно, что подобнаго чувства гуманности не могло быть ни у тавровъ, ни у грековъ. Гёте поступилъ такъ, какъ совѣтовалъ поэтамъ поступать Андрé Шенье (Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques). При такомъ переводѣ дѣйствія изъ внѣшности въ одни душевныя настроенія дѣйствующихъ лицъ, движенія въ драмѣ вообще мало. Когда въ 1802 г. поэты задумали поставить Ифигенію на веймарскомъ театрѣ, отдавая пьесу въ полное распоряженіе Шиллеру съ правомъ урѣзывать и измѣнять ее, Гёте называетъ ее gräzisirendes Schauspiel и выражаетъ, что произведеніе *чертовски гуманно* (ganz verteufelt human). Шиллеръ отвѣчаетъ (№ 832): «то, что́ вы называете гуманнымъ, вывезетъ пьесу; я ничего изъ этого гуманнаго не исключу». Онъ опечаленъ тѣмъ, что Гёте устранилъ изъ пьесы грозныхъ Эринній, и что затѣмъ продолжительныя душевныя терзанія Ореста длинны, утомительны и лишены содержанія. Такъ какъ собственно дѣйствіе происходитъ совсѣмъ за кулисами, то Шиллеръ спрашиваетъ, нельзя ли какъ-нибудь расшевелить Тоаса и тавровъ, чтобы они не стояли такъ неподвижно и чтобы Орестъ и Пиладъ могли чего-нибудь отъ нихъ опасаться. «Меня, — пишетъ Шиллеръ (№ 834), — пьеса сильно взволновала при новомъ чтеніи, хотя бы въ ней и можно было поубавить сырца. Она имѣетъ то преимущество, что въ ней есть и «душа»... Гёте относился гораздо строже къ своему шедѣвру и писалъ (май 1802 г., № 857): «со мной случилась при представленіи «Ифигеніи» курьезная вещь и въ моей жизни небывалая: непосредственное созерцаніе давно прошедшаго состоянія моей души».

Мы подошли почти къ концу разбора произведеній музы Гёте, въ которыхъ принималъ участіе Шиллеръ своими совѣтами и указаніями. Обдумывая законы эпической поэзіи, Гёте затѣялъ продолженіе Иліады, обывающейся на смерти Гектора; онъ началъ писать Ахиллеиду—повѣствованіе о судьбахъ Ахилла — предметъ трагическій, которому онъ пытался дать эпическую форму (№ 463). Въ 1830 году Гёте признавался (Biederm., № 1276), что писать баллады его подбивалъ Шиллеръ, нуждавшійся въ матеріалахъ для «Горъ». «Я былъ не тотъ, что смолоду, когда позывъ къ писанію приходилъ внезапно, и когда я набрасывалъ приходящее мнѣ въ голову на бумагу, не замѣчая, пишу ли я прямо или вкось. Сюжетъ давно лежалъ въ головѣ въ видѣ красивыхъ образовъ и мечтаній, которыми я наслаждался, играя ими въ воображеніи. Я неохотно съ ними разставался, воплощая ихъ въ скудныя слова, и ощущалъ, что какъ будто бы я прощаюсь съ дорогими друзьями». Для поэтовъ годъ 1797 былъ по преимуществу *балладный* годъ. Наибольшее число балладъ задумано и написано во время частыхъ пребываній Гете въ гостяхъ у Шиллера въ Іенѣ. Въ числѣ балладъ имѣется самое таинственное по замыслу изъ произведеній Гёте: «Коринѳская Невѣста» (іюль, 1797), фабулу которой Гёте цѣликомъ извлекъ изъ сочиненія «О чудесныхъ вещахъ» Флегонта Траллескаго, вольноотпущенника императора Адріана (W. E. Weber, Vorlesungeu aus der Aestetik. Hannover 1831). Произведеніе состоитъ изъ дивнаго противопоставленія двухъ религій: языческой и эллинской, съ сердечнымъ предпочтеніемъ эллинизма христіанству по красотѣ и ясности (Biedermann, № 947). Напрасно мы бы искали ключа къ раскрытію смысла этой загадки у Шиллера. Шиллеръ сообщилъ только Кёрнеру 12-го февр. 1798 г.), что «Гете пошутилъ, сочиняя то, что было внѣ его натуры и наклонностей». Шиллеръ не принималъ также никакого участія въ другомъ загадочномъ сценическомъ произве-

деніи Гёте: «Die natürliche Tochter» (Незаконня дочь), исторія котораго такова. Въ началѣ 1799 г. появились въ печати неважныя записки: «Mémoires historiques de Stéphanie Louise de Bourbon Conti». Заимствуя драму изъ этихъ записокъ, Гёте не обмолвился, по своему обычаю, ни словечкомъ о томъ, что онъ ее сочиняетъ, вплоть до ея окончанія и постановки на сценѣ въ Веймарѣ, 2,-го апрѣля 1783 г. Драма понравилась въ Веймарѣ, но съ трескомъ провалилась въ Берлинѣ и не осталась въ нѣмецкомъ репертуарѣ, хотя Гёте ее считалъ однимъ изъ задушевнѣйшихъ своихъ произведеній, и хотя онъ ее тщательнѣйше обдѣлалъ бѣлыми стихами (См. «Düntzer: «Goethes Leben», Leipzig, 1880, S. 504). Оно не пришлось по вкусу публикѣ, когда появилось, не нравится и теперь. Оно составляетъ въ дѣятельности Гёте переходъ отъ второй его манеры (обезличенныхъ, но художественныхъ классическихъ произведеній) къ третьей его манерѣ—символической. Отрѣшеніе отъ характеристики мѣста, времени и фактической обстановки доходитъ до того, что дѣйствуютъ на сценѣ не лица, а званія и типы: король, герцогъ, судья, губернаторъ и т. под. Вслѣдствіе полнаго обезличенія выводимыхъ на сцену типовъ, они изображены не чертами, а какими-то расплывающимися штрихами. Несмотря на эти художественные недостатки, самъ замыселъ богатъ по содержанію и гораздо современнѣе (moderne) всего театра Шиллера въ совокупности. При всемъ своемъ политическомъ индифферентизмѣ Гёте былъ необычайно отзывчивъ на болѣе глубокіе соціальные вопросы далекаго будущаго. Не проходитъ нынѣ года безъ того, чтобы не появились книжки и брошюры о Гёте, какъ пророкѣ, о Гёте, какъ соціалистѣ. И французскую революцію понялъ онъ сразу лучше, чѣмъ увлекавшіеся ею его современники, и несравненно глубже проникъ онъ мысленно въ значеніе этого мірового событія для строя европейскихъ обществъ; онъ постигъ полную гнилость и разложеніе верхнихъ слоевъ французской націи, до-

ходящія до самыхъ корней, прибой демократической волны и излишества побѣдителей. Наконецъ, ему приснилось какое-то примиреніе враждебныхъ началъ, приходящихъ къ новому укладу, нѣчто въ духѣ Тэновскихъ идей въ «Origines de la France contemporaine». Ему представился выдвигающійся и всѣхъ уравнивающій подъ собою единый общегражданскій законъ (вспомнимъ, что годъ постановки пьесы, 1803, совпадаетъ съ годомъ опубликованія Code Napoléon). Гёте задумалъ цѣлую серію драмъ (трилогію), но остановился, окончивъ только первую часть. Сюжетъ драмы не могъ быть оцѣненъ даже и Шиллеромъ—до того онъ внѣ области эстетики и поверхностныхъ теченій тогдашней политики. Что касается до формы произведенія, то она не могла также понравиться Шиллеру, который постоянно боролся съ бывшими въ ходу взглядами теоретиковъ эстетики, Винкельмана и Лессинга, утверждавшими, что настоящая красота, какъ ее понимали неподражаемые греки, состоитъ въ отрѣшеніи образа отъ всего, что въ изображаемомъ предметѣ могло быть индивидуально-характернаго (№ 338, іюня 7-го, 1797 г.). По мнѣнію Шиллера, теоретики забѣжали впередъ слишкомъ далеко, и до того выдолбили понятіе красоты, что подъ ея оболочкою образовалась полнѣйшая пустота.

VII.

Отъ работъ Гёте перехожу прямо къ работамъ Шиллера, и прежде всего къ исключительно почти занимавшему его въ теченіе трехъ лѣтъ Валленштейну. Тутъ Шиллеръ является въ полномъ своемъ величіи, въ лучшемъ и самомъ зрѣломъ своемъ произведеніи, принадлежащемъ притомъ къ тому виду поэзіи, въ коемъ Шиллеръ не имѣлъ себѣ равнаго, и сочиняя которое онъ дѣйствовалъ во всеоружіи теоретическаго знанія. Онъ былъ подготовленъ къ своей работѣ тремя превос-

ходными научными своими трактатами: 1) Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen, 1792; 2) Ueber die tragische Kunst, 1792; и 3) Ueber das Päthetische, 1795. Шиллеръ безконечно далекъ отъ такого узкаго пониманія трагизма, какое мы встрѣчаемъ, напримѣръ, у Георга Гюнтера (Grundzüge der tragischen Kunst, 1885). Гюнтеръ думаетъ, что въ наше время, при полномъ отсутствіи элементовъ для свойственной грекамъ трагедіи *рока* или *судьбы*, воспроизводящей конфликтъ героя съ непостижимымъ уму міровымъ порядкомъ, олицетворяемымъ въ произволѣ боговъ,—трагедія, будучи подвидомъ драматическаго искуства вообще и подчиняясь его техникѣ, имѣетъ еще ту спеціальность, которую авторъ именуетъ *трагикою*, что въ области явленій она прославляетъ окончательную побѣду отвлеченнаго нравственнаго порядка, при чемъ примиряетъ междоусобіе началъ чувственаго и нравственнаго (стр. 439), иными словами, что суть трагедіи заключается въ *винѣ* героя, составляющей неизбѣжное условіе трагедіи; герой затѣмъ пріемлетъ должное наказаніе для удовлетворенія нравственнаго чувства зрителей. Надъ такимъ закрѣпощеніемъ трагизма этикѣ жестоко подтрунилъ Шиллеръ въ послѣднихъ словахъ своей пародіи: «Тѣнь Шекспира»: «когда вырветъ порокъ, добродѣтель садится обѣдать» (Wenn sich das Laster erbricht, setzt sich die Tugend zu Tisch). Сцена не имѣетъ ничего общаго съ судомъ, ни религіознымъ, ни политическимъ, ни нравственнымъ. Она не мѣсто для отправленія какого бы то ни было, хотя бы только поэтическаго, правосудія. Нѣтъ человѣка безъ грѣха; герои трагедіи всѣ люди грѣшные, люди со слабостями; святые въ трагедію негодятся. Но во всякомъ случаѣ эти герои должны быть люди необыкновенные. (Ничше сказалъ бы: Uebermenschen—надчеловѣки), люди способные: Grosses begegnen, Grosses muss durch sie geschehen (нѣчто большое испытать, нѣчто большое совершить). Они входятъ на сцену уже со сложившимися характерами; съ такими же страстями,

зависящими отъ характеровъ, они дѣлаютъ промахи, зачастую даже совершаютъ преступленія. Наибольшее, что̀ можетъ выразить о нихъ поэтъ —что они провинились, но никогда онъ не скажетъ, что они свои страданія заслужили. Для трагика вины и страданія—величины несоизмѣримыя; самыя малыя вины влекутъ за собою иногда гибель и смерть; притомъ страданія могутъ быть и безъ всякой вины. Чѣмъ виноваты Эдипъ, Антигона, Гамлетъ? чѣмъ виноваты всѣ герои, гибнущіе только вслѣдствіе того, что изъ двухъ прямо противоположныхъ и исключающихъ себя взаимно долговъ они избрали только одинъ и притомъ тотъ, который, можетъ быть, былъ самый почтенный и священный? Такъ какъ ни у поэта, ни у зрителей нѣтъ въ рукахъ вѣсовъ Ѳемиды, но нѣтъ также и на глазахъ ихъ повязокъ, то они ни на минуту не остаются нелицепріятными судьями, но пристращаются къ герою, съ замираніемъ сердца и притая дыханіе участвуютъ въ процессѣ борьбы героя съ его судьбою, то-есть съ противодѣйствующими ему внѣшними силами, вспомоществуемыми послѣдствіями его промаховъ, ошибокъ или даже преступленій. Зрители всегда бываютъ на сторонѣ бойкости, храбрости и сверхъественныхъ усилій бойца, будь этотъ боецъ Макбетъ или Ричардъ III. И сама гибель пострадавшей единицы не всегда бываетъ наказаніемъ,—оно иногда настоящее торжество, апоѳеозъ героя въ міровомъ безконечномъ, когда, по словамъ Шиллера, «гигантская судьба превозноситъ человѣка въ то самое время, когда она его растаптываетъ»*). О поэтическомъ правосудіи не можетъ быть и рѣчи, судъ предполагаетъ вмѣненіе; вмѣненіе предполагаетъ свободу воли, а свобода произвола оспаривается и вытѣсняется нынѣ даже и изъ юриспруденціи. Бывшій всегда фаталистомъ, Гёте потѣшается въ одномъ изъ

*) Woher nehmet ihr aber das grosse gigantische Schiksal,—Welcher den Menschen erhebt, wenn er den Menschen zermalmt.

своихъ писемъ (№ 631) надъ Кантомъ, вѣровавшимъ въ свободу, но вѣровавшимъ также и въ естественную по природѣ наклонность человѣка къ злу: «въ поэзіи и въ религіи свободѣ воли отводится преплохая роль. Если человѣкъ по природѣ добръ (какъ полагаетъ Шиллеръ), то свобода воли есть глупая способность расходиться съ добромъ, и такимъ образомъ провиняться. Если же человѣкъ по природѣ золъ, то-есть если онъ постоянно слѣдуетъ только своей наклонности, то свободная воля есть, значитъ, нѣкая знатная особа, которая по своей природѣ позволяетъ себѣ дѣйствовать наперекоръ природѣ».

На эту выходку Шиллеръ отвѣчаетъ (№ 632): «Слава Богу, что мы не призваны поучать родъ человѣческій въ этой матеріи и навсегда останемся только въ области явленій, иными словами, что, не входя въ суть вопроса, мы, поэты, должны стоять только на томъ, въ чемъ всѣ убѣждены; всѣмъ кажется, что они свободны, значитъ они свободны». Каковъ бы, впрочемъ, ни былъ трагикъ,—детерминистъ или не-детерминистъ—ему нѣтъ дѣла до корней дѣйствій въ свободѣ воли, потому что задача его не состоитъ въ томъ, чтобы что-нибудь изслѣдовать, а только въ томъ, чтобы услаждать жизнь, радовать и тѣшить, задача же трагика—какъ мастера въ особомъ, самомъ высокомъ и трудномъ видѣ поэзіи—заключается въ томъ, чтобы трогать людей видомъ человѣческихъ страданій, пробуждать въ ихъ сердцахъ возвышенныя чувства, и тѣмъ доставлять зрителямъ и слушателямъ наивысшее изъ доступныхъ поэзіи наслажденій. Такая постановка задачи вмѣщаетъ въ себѣ какъ будто бы явное противорѣчіе. Всякое страданіе, и свое, и чужое, рождаетъ печаль; если же оно жестокое—вселяетъ ужасъ; оба чувства крайне непріятны. Спрашивается: какъ они могутъ сдѣлаться источникомъ высокихъ наслажденій? Съ этимъ вопросомъ возился эстетикъ Шиллеръ и далъ ему слѣдующее рѣшеніе.

Видъ страданія непріятно поражаетъ нашу чувственность; самъ по себѣ онъ только печаленъ, но если въ

страдающемъ проявляется противодѣйствіе, если страдающій борется съ гнетущимъ его зломъ, то къ нему привлекается сверхчувственное нравственное начало нашего существа. Между страданіемъ и борьбою должна быть извѣстная пропорціональность. На страждущаго долженъ быть возложенъ полный грузъ страданія, и нельзя никакъ довольствоваться разсказами о страданіяхъ самого героя или постороннихъ лицъ, какъ то бываетъ въ псевдо-классической французской лжетрагедіи, въ которой лицедѣи декламируютъ, оглядываясь на зрителей и слѣдя за впечатлѣніемъ, какое производитъ ихъ разсказъ, а цари и царицы до того заняты церемоніаломъ, что даже и въ постель ложатся съ коронами на головахъ (Ueber das Pathetische). При оцѣнкѣ противодѣйствія страданію расходятся безконечно моралистъ и художникъ. Моралистъ цѣнитъ только подчиненіе воли категорическому императиву, и тѣмъ болѣе заслугъ приписываетъ дѣйствію, чѣмъ болѣе усилій употреблено лицами на укрощеніе противныхъ дѣйствію естественныхъ влеченій, но само это обузданіе влеченій совсѣмъ не эстетично. Художникъ берется за дѣло иначе; исходная его точка—порывъ къ свободѣ и поставленію себя въ полную независимость отъ всякихъ внѣшнихъ цѣпей, отъ законовъ природныхъ или людскихъ, божескихъ или общественныхъ, игра при содѣйствіи воображенія со всѣми ограниченіями, при чемъ страданіе является какъ нѣчто самимъ героемъ желаемое, либо имъ на себя пріемлемое, вслѣдствіе чего онъ становится *высоконравственнымъ субъектомъ*; либо герой подвергаетъ себя всѣмъ карамъ и даже смерти за попраніе законовъ, вслѣдствіе чего онъ дѣлается *эстетически* увлекательнымъ *объектомъ*. Трагикъ ничѣмъ не стѣсняется; возводитъ въ герои онъ одинаково можетъ и служителей добра, и одаренныхъ демоническою силою злодѣевъ; лишь бы они были мощны, лишь бы какою-либо стороною своего существа они были симпатичны или достойны удивленія.

VIII.

Мы уже привели выше опредѣленіе Шиллеромъ драматической поэзіи въ рецензіи «Эгмонта»—самое широкое и по которому содержаніе трагедіи можетъ быть троякое: либо необычайныя положенія, либо страсти, либо характеры. Трагедія необычайныхъ положеній, въ которой герой—кто бы онъ не былъ и что бы онъ ни дѣлалъ—разбивается своимъ жизненнымъ предпріятіемъ о гранитную твердыню мірового порядка,—преобладала на античной сценѣ; это трагедія судьбы или рока. Трагедія страстей не нуждается въ рокѣ: страсть губитъ человѣка, завладѣвая имъ всецѣло (Отелло, Макбетъ). Начиная съ Шекспира, новая сцена предпочитаетъ трагедію характеровъ. Ее превосходно опредѣлилъ стихъ Шиллера въ «Валленштейнѣ»: In deiner Brust sind deines Schiksals Sterne (въ твоей груди созвѣздіе твоей судьбы). Таковъ трагизмъ въ «Гамлетѣ», таковъ и въ «Валленштейнѣ». Изучая своего мрачнаго героя въ «Исторіи 30-лѣтней войны», Шиллеръ написалъ въ концѣ четвертой книги его историческій портретъ: величайшій честолюбецъ, политикъ, нелицемѣръ, довольно равнодушный къ религіи, врагъ іезуитовъ. Весьма сомнительно, былъ ли онъ измѣнникомъ. Еслибы и нашлись со временемъ положительныя доказательства измѣны, то они бы обнаружили, что, окончательно проваливаясь, онъ прибѣгъ по необходимости и къ измѣнѣ. Онъ былъ мощный и властный человѣкъ, страхомъ господствовавшій надъ людьми, хитрый и щедрый, лишенный всякихъ нѣжныхъ чувствъ, всякой человѣчности. Въ разговорѣ, въ 1827 г., съ Эккерманомъ Гёте выразился такъ: «еслибы Шиллеръ спросилъ меня, писать ли ему «Валленштейна», я бы непремѣнно отсовѣтовалъ, потомум что не могъ бы допустить, чтобы нѣчто путное могло выйти изъ такого сюжета». Однако Шиллеръ остановился на «Валленштейнѣ», начиная съ

18 марта 1796 г. (№ 187), и занятъ былъ имъ почти непрерывно до 17 марта 1799 г., когда отправилъ къ Гёте послѣднія дѣйствія «Смерти Валленштейна».

Автора подавляла громадная масса матеріала (№ 239), его обдавала холодомъ личность самого героя—сюжетъ трагедіи неблагодарный и непоэтическій. «Онъ меня совсѣмъ не интересуетъ,—писалъ Шиллеръ,—но я работаю съ большимъ жаромъ, то-есть, отношусь къ нему съ чисто-художественной любовью» (№ 246). Еще въ концѣ 1796 г. Шиллеръ сомнѣвался, сложится ли въ его рукахъ настоящая трагедія, одолѣетъ ли онъ страшное сопротивленіе сыраго вещества (№ 244), думалъ, что, можетъ быть, выйдетъ не трагедія, а только рядъ историческихъ картинокъ. Всего затруднительнѣе было то обстоятельство, что герой уже слишкомъ много посодѣйствовалъ окончательной катастрофѣ своими ошибками, и слишкомъ мало въ паденіи его участвовала сама судьба, то-есть, непредвидѣнное и случайное. Войдя въ предметъ и очутившись на почвѣ самой сухой политики, Шиллеръ былъ самъ не свой и рѣшилъ писать *милой прозой*, какъ вполнѣ подходящей къ предмету (№ 258). Тутъ-то и сказались благія вліянія артистической зрѣлости, достигнутой при общеніи съ Гёте. Шиллеръ убоялся попасть въ свою нѣкогда имъ излюбленную реторическую манеру, а какъ самъ сюжетъ былъ и безъ того прозаиченъ, то онъ пришелъ къ заключенію, что во избѣжаніе и реторичности, и прозаичности, нужно дать цѣлому болѣе поэтическое настроеніе (№ 364). Послѣ громадныхъ усилій ему удалось не только облагородить характеръ Валленштейна, но и ввести въ трагедію новый поэтическій элементъ въ лицѣ имъ вымышленномъ—въ Максѣ Пикколомини. Тогда и совершился неизбѣжный переходъ отъ прозы къ ритмическому языку бѣлыхъ стиховъ. «Нельзя поэтическое выражать прозаически,—пишетъ Шиллеръ (№ 375),—вышло бы нѣчто похожее на то, какъ еслибы владѣльцу парка, рѣшившемуся завести въ паркѣ прудъ, пришло въ го-

лову для вящшей натуральности устроить не прудъ, а просто только болото: всѣ театральныя произведенія должны бы быть ритмическія».

Въ своей перепискѣ Шиллеръ выражаетъ многократно мысль, что поэзія представляетъ только *символическія* существа, въ томъ смыслѣ, что всѣ они изображаютъ нѣчто общечеловѣческое (№ 490). Не нова была также идея о томъ, чтобы поставить на сцену двойниковъ, до того взаимно связанныхъ, что у нихъ какъ бы одна душа, но въ которыхъ только не одинаково отражаются переживаемыя ими событія. И у Гёте бываютъ двойники, напримѣръ Фаустъ и Мефистофель; послѣдній изъ нихъ завѣдомо аллегорическое лицо, отвлеченная олицетворенная идея. Шиллеръ представилъ такими двойниками, впрочемъ конкретными лицами, донъ-Карлоса и Позу, Макса и Валленштейна, свѣтлое пятно на фонѣ темномъ и почти черномъ. Веденіе на сцену такъ сказать бѣлокрылаго Макса съ его безпредѣльною вѣрою въ обожаемаго вождя-героя, но и съ его непоколебимою солдатскою вѣрностью своему знамени, и изображеніе затѣмъ его любви къ дочери Валленштейна, разомъ освѣжили воздухъ, лишили сюжетъ сухости, ввели струю поэзіи въ отратительную среду грубой солдатчины, генеральскаго себѣ на-умѣ, циническаго своекорыстія, шпіонства, интригъ, подвоховъ и козней. Но и Валленштейна пришлось очеловѣчить, сдѣлать менѣе мрачнымъ, чтобы преданность ему Макса могла сдѣлаться сколько-нибудь правдоподобною. Герцогъ Фридландскій есть прежде всего крупный практическій реалистъ, властолюбецъ, человѣкъ одного лишь живого политическаго дѣла, съ широкимъ умомъ и далекими задачами, не соотвѣтствующими его роли полководца Австріи, въ которой тогда на многіе вѣка свили себѣ гнѣздо застой, косность и самый тупоумный религіозный фанатизмъ. Валленштейнъ желалъ бы умиротворить Европу, быть по возможности толерантнымъ, щадить изъ своихъ личныхъ видовъ даже и самихъ шведовъ. Онъ чувствуетъ,

что широка мысль, но свѣтъ крайне тѣсенъ (Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit. «Wall. Tod.», II д., 2-ая сцена). Чтобы выйти въ люди, чтобы занять свой почти царственный постъ, Валленштейнъ совершилъ многія вопіющія дѣла *). Онъ теперь видитъ, какъ изъ этихъ дѣяній образуется громадный валъ, преграждающій ему обратный путь **). Та сумма противодѣйствующихъ ему силъ, которая и составляетъ для него судьбу, ростетъ ежеминутно и расположена такимъ образомъ, что подвигается съ усиливающеюся страстью; но только онъ медлитъ, запаздываетъ и успокаиваетъ себя тѣмъ, что онъ лишь мыслью тѣшится, а само дѣло еще изъ рукъ его не ушло ***). Однако обстоятельства надвигаются столь быстро, что у него нѣтъ свободы выбора, и онъ долженъ идти и на бунтъ, и на измѣну ****). По мнѣнію Шиллера, эта неволя героя сильно возвышаетъ трагическое впечатлѣніе. Затѣмъ происходитъ крушеніе.

Такъ какъ герои были двойники: бѣлый и черный, то происходятъ двѣ катастрофы, сначала съ Максомъ, погибающимъ безъ вины (послѣ разрыва съ одной стороны съ отцомъ, а съ другой—съ Валлештейномъ, ему только и оставалась одна доблестная смерть солдатская въ стычкѣ съ шведами), а потомъ другая катастрофа: безславная смерть самого Валленштейна руками подосланныхъ убійцъ. Вслѣдствіе этой двойственности двухъ разныхъ дѣйствій, трагедія разростается почти до невозможныхъ размѣровъ. 18-го марта 1796 г. существовалъ только одинъ ея остовъ; въ январѣ 1797 г. планъ у Шиллера еще не установился прочно, но уже предвидѣлось, что будутъ десять дѣйствій, подраздѣленныхъ

*) Es übte dieser Kaiser durch meinen Arm im Reiche Thaten aus,— Die naeh der Ordnung nie geschehen sollten.

**) Eine Mauer aus meinen eignen Thaten baut sich auf,—Die mir die Umkehr thurmend hemmt.

***) War's möglich? Könnt ich nicht mehr wie ich wollte?—Ich müsste die That vollbringen, wie ich sie gedacht.

****) Max: Ihr könnt ihn, weil ihr ihn schuldig wellt, noch schuldig machen.

на двѣ пьесы: два Пикколомини и Валленштейнъ. По своему обыкновенію Шиллеръ начиналъ съ отдѣльныхъ набросковъ сценъ, которыя затѣмъ приходилось спаивать. Въ апрѣлѣ 1797 г., изложенъ на бумагѣ полный ходъ дѣйствія обѣихъ пьесъ; въ октябрѣ Шиллеръ сообщаетъ, что онъ уже крѣпко сидитъ въ сѣдлѣ (№ 365), такъ какъ «Валленштейнъ» уплотняется (№ 377); автору даже непріятно, что «Валленштейнъ» сильно пухнетъ (№ 379), вслѣдствіе того, что Шиллеромъ овладѣваетъ эпическій духъ, который онъ приписываетъ вліянію на него Гёте. Онъ полагаетъ, что произведеніе его совсѣмъ не можетъ быть поставлено на сцену, какъ по его громадности, такъ и по трудности заучиванія ролей артистами (4-го мая 1798, № 456). По первоначальному замыслу судьба Макса отнесена цѣликомъ къ пьесѣ «Два Пикколомини», въ которую должны были войти и разрывъ сына съ отцомъ, и знаменитая сцена съ кирасирскимъ полкомъ Папенгейма, и прощаніе Макса съ Валленштейномъ, одномъ словомъ, все кромѣ смерти Макса, совершающейся, какъ извѣстно, за кулисами. Для пьесы «Смерть Валленштейна» оставалась бы только гибель самого Валленштейна — нѣчто трагически прямолинейное, между тѣмъ какъ въ «Двухъ Пикколомини» еще много волнообразнаго, то-есть эпическаго. Но невозможность держать публику на одномъ представленіи дольше $4^1/_2$ часовъ заставила Шиллера перенести два бывшія послѣднія дѣйствія «Пиколомини» въ «Смерть Валленштейна». Даже и послѣ того сокращенія «Двухъ Пикколомини», Шиллеръ медлилъ съ выдачею рукописи для представленія, пока не послѣдовалъ, 27 -го декабря 1798 г. (№ 557), шуточный приказъ, за подписями Гёте и режиссера труппы, исходящій «отъ Мельпоменовской коммиссіи», о заарестованіи обоихъ Пикколомини, отца и сына, и препровожденіи ихъ по начальству.

Есть въ перепискѣ друзей одно мѣсто очень характерное, потому что въ немъ сказался Шиллеръ какъ

чистокровный трагикъ, а не моралистъ. Мнѣ кажется, что оно относится къ явленію, въ которомъ дѣлается поворотъ къ катастрофѣ паденія, то-есть къ тому моменту, когда кирасиры Папенгеймовскіе, уже готовые къ бунту противъ правительства императора, съ вождемъ своимъ Валленштейномъ во главѣ, поворачиваютъ вдругъ направо кругомъ по командѣ ефрейтора, когда они почуяли союзъ съ шведами. «Я радъ,—пишетъ Шиллеръ (27-го февр. 1798 г., № 430),—что я вышелъ изъ положенія, въ которомъ требовалось выразить обыденное нравоученіе о преступленіи Валленштейна и представить умно и поэтически такую тривіальную и не-поэтическую матерію. Мнѣ кажется, что я угодилъ нашей весьма моральной публикѣ, но и въ этомъ случаѣ я вполнѣ чувствовалъ, какая въ сущности пустота въ этой морали, и сколь много труда стоитъ поэту, чтобы удержать предметъ на поэтической высотѣ».

Гёте оказалъ весьма существенное содѣйствіе Шиллеру правильною постановкою вопроса объ астрологіи, какъ одномъ изъ главныхъ мотивовъ въ жизни Валленштейна. Безъ астрологіи Валленштейнъ немыслимъ. Шиллеръ сталъ изучать ее основательно, но не могъ справиться съ задачею, потому что выходила странная и совсѣмъ непоэтичная чепуха (№№ 543 — 547); но Гёте надоумилъ его, объяснивъ, что астрологическій предразсудокъ есть плодъ смутно сознаваемой идеи о единствѣ вселенной, о зависимости нашей отъ отдаленнѣйшихъ силъ и фактовъ въ природѣ. При восхожденіи отъ каждой нашей единицы до безпредѣльной міровой громады, нѣтъ грани, за которую бы прекращалось вліяніе отдаленнѣйшихъ предметовъ на нашу нравственность, на наше счастіе и несчастіе. «Я бы не хотѣлъ,—говоритъ Гёте, — называть это заблужденіе предразсудкомъ, оно такъ близко къ нашей природѣ, что не хуже любого вѣрованія». Шиллеръ вполнѣ убѣдился и благодарилъ Гёте: «Не знаю, какой злой геній опуталъ меня: я не хотѣлъ серьезно приступать къ астрологическому

мотиву въ «Валленштейнѣ», хотя я по натурѣ расположенъ брать вещи съ ихъ серьезной, а не съ легкомысленной стороны». Въ этомъ замѣчательномъ умѣ былъ свой темный уголокъ. Этотъ мистицизмъ, заставляющій Валленштейна вѣрить звѣздамъ, даже когда совершались дѣла «наперекоръ теченію звѣздъ и судьбѣ», — этотъ мистицизмъ дѣлаетъ его слѣпымъ и онъ не видитъ опутывающаго его со всѣхъ сторонъ шпіонства и предательства. Мы окружены подъ конецъ пьесы душною атмосферою, чувствуемъ приближеніе чего-то ужаснаго, мы въ ожиданіи какого-то громового удара. Шиллеръ проболѣлъ, дописывая этотъ конецъ, что́ и приписывалъ своему физическому нездоровью (№ 383), но Гёте объяснилъ ему, что подобныя трагическія положенія не обходятся безъ приведенія себя самого авторомъ въ патологическое состояніе: «вотъ почему я,—говоритъ Гёте,—скорѣе избѣгалъ подобныхъ сюжетовъ, нежели ихъ отыскивалъ» (№ 384). Изъ этого наставленія Шиллеръ вывелъ заключеніе, что трагедія представляетъ только рѣдкіе чрезвычайные моменты, между тѣмъ какъ дѣло эпоса изображать болѣе постоянное, болѣе спокойное состояніе, свойственное людямъ при всякомъ ихъ настроеніи.

Въ теченіи почти трехъ недѣль, съ 11-го по 29-е ноября 1798 г., Гёте гостилъ въ Іенѣ и ежедневно бесѣдовалъ съ Шиллеромъ, послѣ чего Шиллеръ написалъ (№ 541): «Я такъ привыкъ къ тому, что каждый вечеръ вы заводили часы моихъ мыслей и поправляли на нихъ стрѣлки, что теперь въ одиночествѣ я самъ не свой». Есть въ «Валленштейнѣ» одна крупная часть его, одна бытовая картина, написанная столь бойко, какъ умѣлъ до сихъ поръ писать ихъ только Гёте. Это—«Wallenstein's Lager», картина пестрая, шумная, написанная съ величайшимъ знаніемъ сброда людей, проникнутыхъ сплошь однимъ солдатскимъ духомъ, но совсѣмъ не имѣющихъ никакого отечества *). Она объясняетъ въ концѣ кон-

*) Der Oesterreicher hat ein Vaterland, — Doch dieses Heer, das Kaiserlich sich nennet,—Hat keins.

цовъ и судьбу Валленштейна, потому что съ этимъ бичемъ народовъ въ рукахъ ни геніальный умъ, ни геройское сердце не въ состояніи были бы создать что-нибудь исторически великое и прочное.

Гёте былъ въ восторгѣ отъ «Смерти Валленштейна», потому что въ ней все содержаніе перестало быть политическимъ и сдѣлалось только человѣчнымъ, и даже само историческое превратилось въ тонкую дымку, изъ-за которой проглядываетъ чисто-человѣческое (№ 585). Трилогія даваема была три дня сряду въ Веймарѣ на сценѣ въ апрѣлѣ 1799 г.; она имѣла неслыханный успѣхъ; весь театръ рыдалъ, не исключая и самихъ играющихъ актеровъ. Явилась колоссальная, образцовая, національная драма. Шиллеръ впервые послѣ трехъ лѣтъ вздохнулъ свободнѣе, точно гора съ груди его свалилась; но вдругъ онъ испыталъ, что онъ какъ будто бы колышется безъ всякаго собственнаго направленія въ безвоздушномъ пространствѣ, и какъ будто бы онъ потерялъ уже способность произвести что-нибудь новое (№ 556, 19-го марта 1799 г.). Онъ искалъ прилѣпиться къ чему-то совсѣмъ новому, совсѣмъ не-историческому, а чисто фантастическому, лишь бы оно было страшно и человѣчно: «Довольно съ меня солдатъ, государственныхъ людей и героевъ, довольно, довольно»! Однако онъ не переступилъ чрезъ заколдованный кругъ своего исключительно историческаго творчества, къ которому принадлежатъ, за исключеніемъ «Мессинской Невѣсты», «Марія Стюартъ», «Орлеанская Дѣва» и «Вильгельмъ Телль». О нихъ я не буду распространяться, тѣмъ болѣе, что самъ источникъ, которымъ я пользовался, значительно оскудѣваетъ, вслѣдствіе того, что, переселившись въ Веймаръ, Шиллеръ не могъ уже вести съ Гёте пространной переписки. Они ежедневно другъ съ другомъ видались.

IX.

Въ то самое время (апрѣль 1790), когда происходила постановка на сцену трилогіи «Валленштейнъ», Шиллеръ уже работалъ надъ государственнымъ процессомъ, затѣяннымъ противъ шотландской королевы соперницею ея во всемъ, королевою-лицемѣркою Елизаветою. Шиллеръ не обѣлялъ нисколько Марію Стюартъ; онъ изобразилъ многогрѣшную женщину, имѣвшую на совѣсти бездну преступленій, но уже узницу, надъ головою которой съ первой же сцены виситъ на ниточкѣ роковой топоръ. Она сама на себя спускаетъ этотъ топоръ, разорвавъ ниточку при вспышкѣ страсти, послѣ чего ее поражаетъ смертельный ударъ. Она—существо въ высшей степени чувственное, натура демоническая; она не знаетъ и не внушаетъ нѣжныхъ чувствъ; судьба ея та, что она и сама ощущаетъ, и въ другихъ пробуждаетъ однѣ только сильнѣйшія страсти (№ 607). Первое представленіе послѣдовало 14 іюня 1800 г. Гёте ужаснулся, когда узналъ, что Шиллеръ намѣренъ поставить на сцену написанное имъ въ текстѣ драмы явленіе съ предсмертнымъ причащеніемъ королевы (№ 741). По его настаянію это явленіе выпущено.

Когда, окончивъ «Марію Стюартъ», Шиллеръ затѣялъ новую романическую трагедію—«Орлеанскую Дѣву» и занялся сюжетомъ, который страшно загразнилъ Вольтеръ (La Pucelle), то герцогъ Карлъ-Августъ, настоящій французъ по воспитанію и литературнымъ вкусамъ, возсталъ рѣшительно противъ выбора сюжета; но, прочитавъ твореніе Шиллера, онъ долженъ былъ измѣнить свое мнѣніе, хотя не разрѣшилъ однако представленія въ Веймарѣ, такъ что постановка на сцену состоялась лишь по близости, въ маломъ провинціальномъ городкѣ Лаухштедтѣ. Въ «Дѣвѣ» Шиллеръ отступилъ отъ правила, имъ же преподаннаго въ рецензіи «Эгмонта»,—что, избирая героемъ историческое лицо, авторъ можетъ сдѣлать его

красивѣе, нежели какимъ оно является по несомнѣннымъ историческимъ даннымъ, но не долженъ его ставить ниже того, чѣмъ онъ былъ въ дѣйствительности;— идеализировать его можно, но нельзя его умалять и портить. Орлеанская дѣва была существомъ, можно сказать, безполымъ; эта воительница, воспріявшая мученическую жизнь, можетъ быть и не годилась для трагедіи, не занимающейся вообще святыми людьми, но тогда не надо было и трогать Жанну д'Аркъ, нельзя было ее превращать въ обыкновенную женщину, дѣтски нѣжную, доступную слабостямъ любви и даже не совсѣмъ наивную, потому что въ рѣчахъ ея слишкомъ много лиризма, декламаціи и резонерства. Смерть ея на полѣ битвы, вымышленная въ драмѣ, не стоитъ настоящей ея смерти на кострѣ. Несмотря на явные недостатки, трагедія Шиллера имѣла успѣхъ, притомъ такой, какого Шиллеръ вѣроятно и не ожидалъ. Написанное безъ всякаго предвзятаго намѣренія, оно прославляло любовь къ отечеству, чувство жгучее, наболѣвшее и сильно раздражаемое въ тогдашней Германіи, въ этотъ періодъ иноплеменнаго преобладанія и хозяйничанья. Дѣйствіе трагедіи представляетъ борьбу французовъ съ англичанами за національную независимость, но чувства, воодушевляющія нѣмцевъ въ началѣ XIX в., были похожи на чувства французовъ по отношенію къ англичанамъ въ началѣ XV столѣтія; въ этой поэзіи звучали уже аккорды десятками годовъ позднѣйшей освободительной войны.

Перехожу къ послѣднему по времени произведенію Шиллера—«Вильгельму Теллю», поставленному впервые на сценѣ въ Веймарѣ 17-го марта 1804 г. Самъ авторъ далъ ему названіе не трагедіи, а только Schauspiel— исторической драмы; оно единственное въ своемъ родѣ въ цѣломъ театрѣ Шиллера и отступаетъ отъ правильнаго вида, которому Шиллеръ всегда служилъ: въ немъ нѣтъ героя, а есть множество героевъ; оно есть дивный, сценически представленный эпосъ великой національной самообороны. Сюжетъ былъ открытъ Гёте и переуступленъ имъ Шиллеру при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Осенью 1797 г., въ то самое время, когда Шиллеръ цѣликомъ былъ погруженъ въ «Валленштейна», Гёте совершилъ поѣздку въ Швейцарію, началъ съ Шафгаузена, побывалъ въ Цюрихѣ и въ Стэфѣ у друга своего Мейера, на берегахъ озера Четырехъ-кантоновъ въ Альтдорфѣ, Швицѣ, Флюэлленѣ и Унтервальденѣ. Въ концѣ XVIII вѣка исторія Телля уже считалась сказкою. Гёте задался мыслью обработать ее, эпически, населить эти дивныя горныя мѣстности выдуманными имъ лицами (Biederm., № 1097, «Разговоръ», 1827 г.). Онъ себѣ вообразилъ, Телля, какъ добрѣйшаго и безобиднѣйшаго простяка, по ремеслу носильщика, семьянина. И Гесслеръ представился ему не какъ по натурѣ своей злой тиранъ, а какъ полнѣйшій самодуръ, къ добру и злу людей совершенно равнодушный. Между этими двумя крайними довольно пассивными лицами помѣщалъ Гёте активныхъ дѣятелей національнаго освобожденія швейцарцевъ, старшинъ и лучшихъ людей изъ горнаго простонародья: Вальтера Фюрста, Штауфахера, Винкельрида. Эти особы двигаются на разнообразномъ фонѣ швейцарскаго пейзажа. Гёте предполагалъ изобразить озеро при солнечномъ и лунномъ свѣтѣ и во время бури, свѣжесть лѣсовъ и пажитей, ужасы пропастей и горныхъ тропинокъ, надъ обрывами. «Я обо всемъ разсказалъ Шиллеру,—говоритъ Гёте,—а такъ какъ гекзаметры мои шли туго и откладыванію сюжета не предвидѣлось конца, то я уступилъ сюжетъ Шиллеру, у котораго пейзажи и дѣйствующія лица сложились въ драму»...

На первое сообщеніе о задуманномъ «Теллѣ» Шиллеръ отвѣтилъ, поздравляя Гёте за счастливую идею (30-го окт. 1797, № 369), при чемъ замѣтилъ, что предметъ страшно стѣсненъ ограниченностью и малой горной мѣстности, и историческаго момента, такъ что надо разработывать его вглубь и интенсивно, но съ перспективами черезъ горные гребни на свободную даль равнинъ и на ширь всего рода человѣческаго. Сюжетъ—

освобожденіе швейцарцевъ—былъ вполнѣ въ духѣ времени, соотвѣтствовалъ настроенію общественному. По ходячимъ слухамъ, Шиллеръ получалъ отъ разныхъ лицъ запросы о томъ, когда появится «Телль», прежде еще, нежели онъ началъ писать драму (1801). Къ писанію Шиллеръ приступилъ только въ 1802 году, когда онъ отыскалъ почти совсѣмъ подготовленную для своей работы канву въ швейцарской лѣтописи Чшуди (Tschudi). Весь фактическій матеріалъ взятъ Шиллеромъ цѣликомъ отъ Чшуди, со включеніемъ и самого Іоанна Парриціды, то-есть племянника, убивающаго своего дядю императора Альбрехта, того самаго, который насылалъ своихъ намѣстниковъ въ горныя вольныя сельскія общины, съ тѣмъ чтобы ихъ закрѣпостить и превратить изъ имперскихъ въ австрійскихъ подданныхъ. И безчинства намѣстниковъ, и тайный сговоръ на Рютли, и стрѣляніе изъ лука въ яблоко, положенное на головѣ сына, къ которому Гесслеръ принуждаетъ Телля, имѣются уже въ лѣтописи. Эпизодъ съ Теллемъ былъ одной случайной искрой, которая превратила въ пламень весь горючій матеріалъ, подготовленный въ сердцахъ годами угнетенія. Природу страны Шиллеръ изучилъ не по однимъ разсказамъ Гёте, а по множеству книгъ географическихъ и историческихъ о Швейцаріи. Пріискивая для изображенія народныхъ сценъ подходящее настроеніе, онъ зачитывался «Юліемъ Цезаремъ» Шекспира (№ 918). Получая рукопись отдѣльными дѣйствіями съ января 1804 г., Гёте былъ этимъ произведеніемъ восхищенъ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что Шиллеръ значительно облагородилъ своихъ швейцарцевъ XIV вѣка и вложилъ въ нихъ всю полноту общечеловѣческихъ чувствъ, какая только была возможна въ тотъ вѣкъ по его задачамъ. Шиллеръ избралъ такой сюжетъ потому, что онъ ему понравился; онъ сочинялъ драму безъ всякой предвзятой мысли возбуждать нѣмцевъ противъ французовъ, и начинять ихъ для политическаго движенія,

но онъ былъ сынъ своего вѣка и народа, его одушевляли чувства свободы и независимости, которыя, такъ сказать, сами собою струились изъ него и проникали въ произведеніе. Онъ это сознавалъ и писалъ къ Кёрнеру: «Если боги мнѣ посодѣйствуютъ исполнить то, что́ мною задумано, то выйдетъ мощная вещь, которая потрясетъ германскія сцены». Она и потрясла эти сцены; впечатлѣніе оказалось еще сильнѣе въ Берлинѣ (іюль 1804), чѣмъ въ Веймарѣ.—Если мы сопоставимъ «Телля», какъ конецъ творчества Шиллера, съ «Разбойниками», какъ началомъ, то окажется, что въ «Теллѣ» не осталось ни малѣйшаго слѣда отъ бывшаго ученика Руссо, отъ бывшаго бунтовщика, посягающаго на весь строй общественный. Свобода, прославляемая «Теллемъ», есть свобода особаго рода, свобода историческая, мелкая и ограниченная, безъ всякихъ сверхъестественныхъ порывовъ въ мечтательно возможное, въ утопію. Это — свобода по обычаю и старинѣ, за которую долгъ велитъ человѣку и жизнь свою положить, — свобода, которую слѣдуетъ отстаивать даже противъ воли монарха, даже и поражая исполнителей воли деспота, но только не посягая на его особу. При чтеніи «Телля» чувствуется вполнѣ, что мы вышли изъ революціонной струи и обрѣтаемся въ совсѣмъ противоположномъ теченіи, въ средѣ умѣреннаго практическаго либерализма, задающагося цѣлью закрѣплять конституціонными путями въ законахъ, въ необходимой мѣрѣ, свободу и права человѣка.

X.

Послѣ столькихъ произведеній великихъ и блистательныхъ приходится коснуться и тѣневой стороны быта великановъ нѣмецкой литературы, какъ гражданъ небольшого государства, которое было возвеличено ихъ пребываніемъ въ немъ, притомъ въ моментъ, когда Гер-

манія, въ силу внѣшнихъ условій, обречена была на полнѣйшее политическое бездѣйствіе. Саксенъ-Веймарское государство имѣло свой дворъ, своего государя. Serenissimus, онъ же и личный другъ обоихъ поэтовъ, имѣлъ свой личный вкусъ — особый. Онъ былъ человѣкъ XVIII-го вѣка, и хотя на его глазахъ рождались шедѣвры нѣмецкой сцены, но онъ всегда предпочиталъ этимъ шедѣврамъ французскую лже-классическую трагедію, и Шекспиру Расина. Шиллеръ былъ всегда самымъ взыскательнымъ критикомъ французкой драмы. Онъ писалъ въ 1799 г. (№ 599): «Двадцать лѣтъ подъ рядъ мнѣ хвалятъ Корнеля, я же удивляюсь громадной несостоятельности его произведеній: дѣйствіе, построеніе, характеры, нравы, языкъ и даже стихи исполнены величайшихъ недостатковъ. Виною тутъ не только ложный вкусъ, но и убожество въ изобрѣтательности, худоба и сухость характеровъ, холодность въ страстяхъ, хромота и чопорность въ ходѣ дѣйствія и полная незанимательность. Расинъ несравненно выше Корнеля, хотя и ему присущи всѣ уродливости французской манеры». Но, несмотря на свою не-любовь къ французской сценѣ, распорядители по веймарскому гофъ-театру должны были считаться со вкусомъ и пристрастіемъ къ французамъ герцога, хотя бы по самой ихъ любви къ нему; они должны были ему порою угождать. Гёте переводитъ или, лучше сказать, передѣлываетъ Вольтеровскихъ «Магомета» (1799) и «Танкреда» (1800), а Шиллеръ — Расиновскую «Федру» (январь (1805). Вспомнимъ, что эти переводы предшествуютъ тому, какъ въ 1808 г. на эрфуртскомъ съѣздѣ актеры французскаго театра будутъ давать представленія передъ Наполеономъ и его публикою, состоящею изъ царей, то-есть изъ людей, не признававшихъ въ то время, чтобы могла существовать сцена лучше и образцовѣе французской. Сознавая всю унизительность такого колѣнопреклоненія предъ умственнымъ иностраннымъ игомъ, Шиллеръ сдѣлалъ нѣкоторую, неудовлетворительную впрочемъ, попытку оправда-

нія себя и Гёте (въ стихѣ по поводу постановки «Магомета»), объясняя, почему Гёте «дѣлаетъ жертвоприношеніе на разбитыхъ алтаряхъ поддѣльной музы, которой мы уже не чтимъ» (Du opferst auf zertrümmerten Altären— Der Aftermuse die wir nicht mehr ehren). «Ты не берешься,—говоритъ онъ, продолжая обращаться къ Гёте, возлагать на насъ разбитыя цѣпи и возвращать насъ къ годамъ безхарактернаго малолѣтства».

Въ чемъ же состоитъ въ такомъ случаѣ опредѣленіе поступка ухаживанія за поддѣльною музою. Въ томъ, якобы, что нигдѣ въ такой степени, какъ на французской сценѣ, не проведено то коренное начало шиллеровой эстетики, что сцена и жизнь—двѣ несоприкасающіяся и разнородныя вещи; сцена есть переводъ грубой дѣйствительности въ условной облагороженной формѣ, что́ и поясняетъ Шиллеръ уподобленіемъ сцены древнегреческой Тесписовой колесницѣ, то-есть перевозимому на телѣгѣ театру этого кочующаго драматурга. Эта колесница похожа на Ахеронову ладью; она перевозитъ только однѣ тѣни да идоловъ (Nur Schatten und Idole soll es tragen); она распадается, разъ только вступитъ въ нее суровая жизнь».

Подобная опасность грозила, по словамъ Шиллера, искуству: здѣсь «воцарилась дикая фантазія, грозящая зажечь и сцену, и весь міръ, смѣшивающая низкое съ высокимъ; у однихъ только франковъ можно было найти искуство, хотя это искуство не доходитъ никогда до своего высокаго первообраза»... «Французъ не можетъ быть для насъ образцомъ, въ его искуствѣ нѣтъ живого духа... однако онъ годится намъ въ проводники къ лучшему... пускай является онъ, какъ образъ прошлаго, очищать часто оскверняемую сцену и дѣлать изъ нея достойную обитель древней Мельпомены» (Es komme wie ein abgeschiedener Geist — Zu reinigen die oft entweihte Scene—Zum würd'gen Sitz der alten Melpomene). Оправданіе вышло неловкое,—оно чуть ли не хуже откровеннаго принесенія повинной. Шиллеръ хвалитъ

французскую Мельпомену съ ея холоднымъ лоскомъ и неестественностью за тѣ качества, которыхъ она не имѣла. Онъ позабылъ, что эта Мельпомена насквозь тенденціозная, что она есть непрестанное политиканство на сценѣ, ораторствованіе подъ вымышленными именами героевъ прошлаго о наипослѣднѣйшихъ политическихъ событіяхъ и вопросахъ настоящаго. Не иначе понималъ трагедію самъ Наполеонъ въ Эрфуртѣ, въ 1808 г., въ своемъ разговорѣ съ Гёте (Biedermann, № 372): «Трагедіи рока возможны только во времена мрака; чего хотятъ отъ рока?—Рокъ—это политика». Тотъ переворотъ въ искуствѣ, которымъ себя прославили Гёте и Шиллеръ, состоялъ именно въ возвратѣ отъ искусственности и отъ политики къ правдѣ и къ природѣ (vom falschen Regelzwange zur Wahrheit und Natur). Въ этомъ только смыслѣ каждому изъ нихъ приличествовали бы стихи Шиллера:

Einheimscher Kunst ist dieser Schauplatz eigen:
Hier wird nicht fremden Göttern mehr gedient.
Wir können muthig einen Lorbeer zeigen,
Der auf dem deutschen Pindus hat gegrünt *).

Шиллеръ самъ объяснилъ далѣе, какими путями нѣмецкій геній дошелъ до своей самостоятельности, а именно послѣ изученія лучшихъ и совершенѣйшихъ образцовъ:

Und auf der Spur des Griechen und des Britten
Hat er dem bessern Ruhme nachgeschritten **).

Не уступая нисколько Гёте въ обожаніи Шекспира, Шиллеръ передѣлалъ для нѣмецкой сцены «Макбета», исключивъ изъ него все грубо-комическое, перевелъ Эврипида «Ифигенію въ Авлидѣ»; наконецъ, рѣшился состязаться съ Софокломъ, противопоставивъ его «Эдипу

*) «Родному искуству посвящена эта сцена; здѣсь не поклоняются чужимъ богамъ. Мы можемъ съ гордостью показать лавръ, развившійся на нѣмецкомъ Пиндѣ».

**) «И по слѣдамъ грека и британца (т.-е. Гомера и Шекспира) дошелъ онъ (т.-е. нѣмецкій геній) до лучшей славы».

Царю» такую же, но поновѣе—трагедію судьбы или рока: «Мессинскую Невѣсту» (1803 г.). «Эдипъ Царь» есть самый типическій образецъ древне-греческой трагедіи рока. То ужасное, которое предопредѣляетъ судьбу Эдипа безъ всякой его собственной, личной, намѣренной вины, лежитъ уже безповоротно позади Эдипа въ прошедшемъ. Весь интересъ сценическаго представленія заключается только въ томъ, какъ постепенно обнаруживается для дѣйствующихъ лицъ то ужасное, отъ начала представленія извѣстное зрителямъ, но неизвѣстное дѣйствующимъ въ трагедіи лицамъ. Въ «Мессинской Невѣстѣ» мѣсто дельфійскаго оракула, то-есть, иными словами—рока, занимаетъ одно опасное для извѣстной династіи предсказаніе, грозящее только въ будущемъ и могущее осуществиться только при посредствѣ воли дѣйствующихъ лицъ. Самъ рокъ сильно модернизированъ. Вмѣсто того неизвѣстнаго, которому мы привыкли давать наименованіе случая, и которое съуживается съ успѣхами нашего проникновенія въ тайны міроваго порядка, является новый трагизмъ, гораздо болѣе намъ понятный, трагизмъ *собственной вины*, отчеканенный въ послѣднемъ двустишіи хора: Das Leben ist der Güter höchstes nicht,—Der Uebel grösstes aber ist die Schuld (жизнь не есть наивысшее благо, но наибольшее зло есть несомнѣнно вина).

Фабула пьесы заимствована отъ древне-греческаго рода Атридовъ; она перенесена въ фантастическую среду—не то христіанскую, не то языческую. Лица искуственно загримированы средневѣковыми рыцарями; сдѣлана смѣлая, но неудавшаяся попытка ввести въ составъ и строй трагедіи лирическій, рефлектирующій элементъ въ видѣ хора. Далеко не всѣ и античныя трагедіи сводятся къ одному виду—трагедіи рока; да и въ наше время нѣтъ никакой возможности, съузивъ само понятіе трагедіи, втиснуть ее насильственно въ рамки одного только вида трагизма, а именно трагизма собственной вины. Со стороны Шиллера опытъ съ «Мес-

синскою Невѣстою» былъ намѣренно подражательный; онъ не привелъ, однако, къ пересадкѣ греческой трагедіи на нѣмецкую почву, хотя онъ написанъ прекрасно, дивнымъ языкомъ, и имѣетъ высоко-художественную форму. Онъ далеко не лучшее созданіе поэта, но онъ не въ состояніи умалить его славу.

Между тѣмъ еще недавно были критики, которые усматривали въ «Мессинской Невѣстѣ» признаки глубокаго упадка таланта Шиллера и упрекали его за то, что, переставъ бороться за идеальные интересы человѣчества, что онъ предался исключительно культу одной только художественной формы, что онъ сталъ заниматься искусствомъ только для искуства и заботился только объ эстетической техникѣ. Мы поставлены въ необходимость опровергнуть самыми краткими словами этотъ вполнѣ ошибочный и односторонній взглядъ, выраженный въ изданныхъ въ 1891 г. лекціяхъ скончавшагося въ 1877 г., на 27 году жизни, довольно способнаго писателя А. Шахова. Шаховъ былъ весьма честный и благонамѣренный критикъ-публицистъ и служилъ весьма вѣрнымъ выразителемъ отношенія нашего молодого поколѣнія въ началѣ семидесятыхъ годовъ къ братьямъ Діоскорамъ германскаго Парнасса. Близкаго знакомства съ Гёте и Шиллеромъ по источникамъ Шаховъ не обнаруживалъ; онъ пользовался только трудами нѣмецкихъ критиковъ для фактической части своего сочиненія; но онъ далъ слѣдующее освѣщеніе и слѣдующую оцѣнку критикуемымъ имъ лицамъ: одинъ былъ геній, другой—большой талантъ. Оба погрузились въ душную, кухонную и семейную атмосферу провинціальнаго захолустья, гдѣ часть общества сплетничала и кляузничала, а другая все мечтала и все училась, пока не разучилась жить. Оба свихнулись на грекоманіи, Шиллеръ вполнѣ, а Гёте отчасти. Этого послѣдняго выручила сохранившаяся въ немъ до гроба слабость—*природа*, въ которой онъ прилѣпился, и которую непрестанно изучалъ.

Характеристика выходитъ каррикатураня и ненамѣ-

ренно фальшивая. Свободы мысли, потребной для поэтовъ, они не нашли бы ни въ Вѣнѣ, ни въ Берлинѣ, но они ею могли пользоваться вполнѣ въ одной изъ мелкопомѣстныхъ столицъ нѣмецкихъ или въ одномъ изъ маленькихъ университетскихъ городковъ. Несмотря на свой идеализмъ, Шиллеръ питалъ въ сердцахъ современниковъ любовь къ свободѣ и къ національной независимости. Вдвоемъ дѣйствуя, они освободили народный вкусъ отъ иностраннаго ига, при чемъ «греки и великій британецъ» служили имъ только средствомъ для освобожденія отъ французской моды и для возведенія національной музы на устроенный ими высокій для нея престолъ. Будучи величайшими мастерами и въ творчествѣ, они изслѣдовали научно красоту во всѣхъ ея областяхъ и развѣтвленіяхъ. Оба были отзывчивы на вѣянія времени и теченія вѣка,—Шиллеръ въ особенности по отношенію къ практическимъ вопросамъ политики и морали, — но оба были насквозь художники, то-есть люди не постигающіе, какъ можетъ быть закабаляемо искуство политикѣ, морали или тому, что́ считается въ данный моментъ прогрессомъ. Оба были люди высоконравственные,—Шиллеръ до того чистъ и брезгливъ, что современные критики и писатели нѣмецкіе считаютъ его творенія подходящею пищею для однихъ только юношей и подростковъ. Они не только не превозглашали формулы, за которую ихъ корятъ: искуство для искуства,—но едвали бы они ее и поняли—до того она безсодержательна. Искуство служитъ только средствомъ и никогда не бываетъ цѣлью. Такихъ высшихъ цѣлей человѣкъ имѣетъ только три: истина, добро и красота. Никто не сомнѣвается, что истина ищется ради одной истины, что добро дѣлается ради только добра. Такимъ точно образомъ и красота бываетъ любима ради одной только красоты. Вспомнимъ, съ какою настойчивостью Шиллеръ указываетъ на противоположность требованіи эстетики и морали, съ какимъ жаромъ онъ отвергаетъ употребленіе сцены для опытовъ морально-соціальныхъ въ духѣ

господствующаго теченія или настроенія. Я позволю себѣ заимствовать слѣдующій отрывокъ изъ указаннаго мною сочиненія Бергера (стр. 214): «Шиллеръ отвергаетъ предположеніе, что поэтъ долженъ исправлять человѣка или воспитывать гражданина. Поэзія не исполняетъ порученій и не вдается въ подробности, — она имѣетъ задачею цѣльность человѣческой природы. Поэзія человѣку ни въ чемъ не поможетъ, ничего ему не посовѣтуетъ, ничего съ нимъ вмѣстѣ не сработаетъ, но она можетъ сдѣлать изъ него героя, вселить въ него расположеніе къ великимъ дѣламъ, вооружить его на жизненный бой: такое *формальное* воспитаніе она можетъ ему дать». Иными словами, по выраженію Шиллера, относящему къ «Теллю», поэзія должна открывать человѣку перспективы изъ тѣсноты горныхъ ущелій на ширь всего рода человѣческаго въ его прошломъ, настоящемъ и будущемъ...

(«Вѣстникъ Европы» за 1894 г., выпуски 2, 3 и 4).

ВЫШЛИ и НАХОДЯТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ

Сочиненія В. Д. Спасовича.

Томъ I. *Литературные очерки и портреты:* Предисловіе. — Владиславъ Сырокомля.—Шекспировскій Гамлетъ.—Мартинъ Матушевичъ и его мемуары. — Нѣсколько словъ о Кавелинѣ. — Рѣчь о Пушкинѣ. — Винцентій Поль и его поэзія. Ц. 1 р. 50 к.

Томъ II. *Литературные очерки и портреты.* Байронъ и нѣкоторые его предшественники. — Мицкевичъ въ раннемъ періодѣ его жизни (до 1830 г.) какъ Байронистъ. — Пушкинъ и Мицкевичъ у памятника Петра Великаго. — Байронизмъ у Пушкина. — Байронизмъ у Лермонтова. Ц. 1 р. 50 к.

Томъ III. *Статьи, диссертаціи, лекціи юридическаго содержанія:* О правахъ нейтральнаго флага и нейтральнаго груза. — Объ отношеніяхъ супруговъ по имуществу по древнему польскому праву. — Теорія судебно-уголовныхъ доказательствъ.—Теорія взлома — О языкѣ въ области судопроизводства.—Вопросъ о кодификаціи русскихъ гражданскихъ законовъ. — О вызовѣ свидѣтелей къ судебному слѣдствію. — Вопросъ о литературной собственности. — О правѣ собственности въ литературѣ — Объ акціонерныхъ обществахъ. — О гминахъ и гминныхъ судахъ въ губерніяхъ Царства Польскаго.—Черногорія и имущественный законникъ Богишича. Ц, 2 р.

Томъ IV. *Пережитое.—Полемика.—Путевыя замѣтки.—Критика:* Пятидесятилѣтіе петербургскаго университета. — Вопросъ о національностяхъ.—Опытъ построенія соціологіи.—Разборъ послѣдняго труда К. Д. Кавелина «Задачи этики». — Отвѣтъ Г. Юркевичу. — По поводу брошюры Ор. Миллера «Славянскій вопросъ въ наукѣ и въ жизни».— По поводу полемики Н. И. Костомарова съ профессоромъ А. Г. Градовскимъ. — Польскія фантазіи на славянофильскую тему. — Рѣчь на обѣдѣ въ честь И. С. Тургенева. — Письмо изъ Кракова. — Поѣздка въ Брюссель.—Двѣ недѣли въ Болгаріи. — Поѣздка въ Далмацію, Боснію и Герцеговину въ 1882 году. Ц 2 р.

Томъ V. *Судебныя рѣчи (1867—1874):* Изданіе П. Гайдебурова книги Вундта.—Шомбергъ-Колонтай.—Шишкины.—Графъ И. Морковъ.—Изъ дѣла о скопцахъ Плотицыныхъ и др. — Изданіе писемъ объ Англіи Луи-Блана Щаповымъ. — Дѣло объ убійствѣ фонъ-Зона. — Нечаевское дѣло. — Изданіе Поляковымъ «раціонализма» Лекки. — Дуэль между Утинымъ и Жоховымъ. — Пальмъ. — Дементьевъ. — Терпигоревъ. — Дѣло объ убійствѣ Чихачева. — Дѣло Долгушина и др. Ц. 2 р.

Томъ VI. *Судебныя рѣчи (1875—1882):* Дѣло Овсянниковское. — Истязаніе семилѣтней дочери. — Поручикъ Всеволодъ Крестовскій. — Злоупотребленіе въ московскомъ коммерческомъ судебномъ банкѣ. — Политическое дѣло о 50 подсудимыхъ. — Смерть Нины Андреевской. — Угощенія и подкупы на земскихъ выборахъ. — Крестьянинъ Малиновскій.—Судья Савицкій.—Клевета въ «Новомъ Времени» противъ издателя «Порядка».

Томъ VII. *Судебныя рѣчи (1883—1892).* Дѣло Островлевой. — Дѣло Мельницкихъ.—Чиншевыя дѣла. — Административно-ссыльные Теселкинъ и др.—Принцъ Кейкубатъ.—Бачуринъ.—Симесъ.—Дѣло Нотовича съ Тульскимъ Банкомъ.—Дѣло Дорна съ Шанявскимъ.—Административно-ссыльные Кранихфельдъ и др.—Гросманъ. Ц. 2 р.

Типографія Н. Финдейзена, М. Морская, 9.

Цѣна 2 руб.

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

WIDENER
BOOK
CANCELLED
215.2308